23-1-14

80 коп. ИНДЕКС 73274

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Продолжение романа Александра СОЛЖЕНИЦЫНА
"Октябрь Шестнадцатого"
(из цикла романов "КРАСНОЕ КОЛЕСО")

Повесть Владимира КРУПИНА
"Великорецкая купель"

Повесть Бориса ЕКИМОВА
"Высшая мера"

"Послания" Патриарха ТИХОНА

Наш современник, 1990 № 3, 1–192.

НАШ СОВРЕМЕННИК
№3 1990

ISSN 0027–8238

НАШ СОВРЕМЕННИК

Журнал писателей России



№3 1990



СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА.

Художник И. Шилкин.

"Слово художнику" читайте на стр. 192.

НАШ СОВРЕМЕННИК



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОСНОВАН А. М. ГОРЬКИМ В 1933 ГОДУ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
РСФСР

№3 1990

ИПО
«ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА»
МОСКВА

Содержание



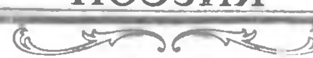
Технический редактор **Л. Л. Ежова.** Корректоры **Н. М. Данич, М. И. Кононова.**

Адрес редакции: 103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 30. Телефоны: 200-24-24 (главный редактор), 200-24-83, 200-24-94 (заместители главного редактора), 921-43-59 (ответственный секретарь), 921-48-71, 200-23-05 (отдел прозы), 200-23-07 (отдел поэзии), 200-23-88 (отдел очерка и публицистики), 200-24-70 (отдел критики), 928-32-16 (международный отдел), 200-24-32 (технический редактор), 200-23-54 (корректоры), 200-24-12 (зав. редакцией), 200-24-76 (отдел писем)

Сдано в набор 12.12.89. Подписано к печати 21.02.90. А-13400
Формат 70×108 1/16. Бумага типографская № 2. Печать высокая.
Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 17,24. Уч.-изд. л. 23,27. Тираж 488295 экз. Заказ 2608
Цена 80 коп.

ИПО «Литературная газета», 103750, Москва, Цветной бульвар, 30.
Ордена «Знак Почета» типография газеты «Красная звезда»,
123826, Москва, Хорошевское шоссе, 38.

ПОЭЗИЯ



ВАЛЕНТИНА ЯКУНИЧЕВА



ОДНА ЛЮБОВЬ

* * *

Задыхаюсь от воли, от воли!
Душно даже на сквозняке.
Задыхаюсь от адской боли —
Чувства легкости в правой руке.

Сотни принцев — тростинок певучих
(Нынче принцев —
хоть пруд пруди!),
Упражняются в сладкозвучьях,
Усмиряют тоску в груди,

Яснооки и белоруки,
Сыплют нежности жемчуга...
О, нашествие принцев! О, мука
Ждать — смешно сказать — мужика,
Домостроевского, земного,
Чтобы снял с меня воли хомут!..

— Я к другому! —
а вслед ни слова,
Даже за́ руку не возьмут.

Сто послушностей, сто любовей,
Сотни замков на облаках...
О, тиранство тщедушной крови:
Ни перста,
ни хлыста,
ни замка!..
Лишь, как благо,
сойдут пред рассветом,
Прямо на́ сердце, в лучшем
из снов:
Сто амбарных замков.
Сто клеток.
Сто запретов.
Одна любовь.

* * *

Мучительная сила нежно-грубых
Любимых линий... Полночь, не сотри!
Высокий лоб и крупной лепки губы,
И взгляд, сурово замкнутый внутри,
И сотни черт, почти неразличимых.
Да что мне ночь с ее слепой луной? —
Когда лицо желанного мужчины
Так высо́ко восходит надо мной!

Но ты — не Ты! — какая в сердце стужа!
Как проступили вдруг во тьме ночной
Неясные черты другого мужа,
Целованного первою женой...
Ну и пускай! — Ведь ты не знаешь силы
Второй жены, второй любви — гляди! —
Сама судьба моей рукой водила
И, разрешенья не спросив, чертила
Знак бесконечности — да по твоей груди.

Мать

Александру Цыганову

Трое суток, как топлена русская печь,
А еще и тепла, коль прижаться.
Муж на совесть сложил: и испечь, и прилечь.
Не печник был — а грех обижаться.

От замерзших окошек неслышно, как тать,
Подбирается темень сырая.
Хоть бы кто заглянул — телеграммы подать,
Только вряд ли — метель-то какая!

Так и воет, и воет, бездумно кружа,
И царапает снегом окошко...
Хорошо хоть под боком живая душа:
Помолчит-помурлыкает кошка.

Кабы дров принести, развести бы огонь
Да чайку заварить бы немедля...
Только моченьки нет — ни рукой, ни ногой,
Как там дети-то: чуют ли—нет ли? —

Кто над матерью в эту минуту стоит?
Лютым холодом сводит сердечко...
— Что там?
Что там далёко так ясно горит? —
Не моя ли венчальная свечка...

* * *

Светлой струйкой над полем протекли журавли,
Поднялись на крыло на окраине ночи,
Чтоб суметь оторваться от этой земли,
От родимых гнездовий, от клюквенных кочек.

Журавли-журавли — задушевная песнь,
Величальные хоры глухого болотца.
Обнаженная сила краем синих небес,
Ах, как тонко летит, что боишься — сорвется!..

Все светлей, все нежней, истончаясь вдали,
Вот уж за горизонт как по капле стекает...
Унесли свои крылья и песнь унесли,
Только звук от нее все дрожит — не стихает.



ПРОЗА



АНАТОЛИЙ ТКАЧЕНКО

ЖИЗНЬ ВОКРУГ НАС

РАССКАЗЫ

МОСКВИЧ-КРЕСТЬЯНИН

Поселившись в новом районе на окраине Москвы, я стал ходить по утрам в лес за Кольцевую дорогу и вскоре приметил этого человека: с лопатой или тяпкой он ковырялся на старой городской свалке, заросшей бурьяном и скудным кустарником.

Подобные места невеселы, а тут еще, как напоминание о прежнем свалочном разгуле, сбоку, вроде бы скромненько (и временно, конечно), прилепился пункт вторсырья, там что-то постоянно сжигали, и едкий дым часто накрывал свалку, ветром разносило его по окраинным рощам.

«Что он там, — думал я о согбенном человеке, стараясь быстрее миновать свалку, — клад ищет? Или вещички какие нужные выкапывает? В наших свалках чего только не найдешь...»

Шло время, как тому и полагается быть. Похоронили у кремлевской стены многоорденоносного генсека. За ним — еще двух. Началась перестройка. Узнали мы, что после Хрущева жили в политическом и экономическом застое, ужаснулись застольно-запойному брежневизму, жадно принялись читать ранее запрещенные художественные произведения и радоваться гласности. Оказывается, все можно, что не запрещено! И мы — не империя зла, и Америка — не загнивающий капитализм. Чернобыльскую аварию пережили. Кооперативы, как при нэпе, пооткрывали... А на старой московской свалке за Кольцевой дорогой все так же трудился одинокий человек.

Я уже знал, что не клад он там ищет и не вещи бросовые раскапывает, — возделывает садово-огородный участок. Очистил от всяческого хлама площадку соток на пять-шесть, огородил ее проволокой, листами ржавого железа, даже калитку из кроватной спинки с никелированными шарами-украшениями соорудил. На ровненьких грядках у него что-то уже зеленеет, растет понемножку, а он все носит и носит ведрами землю, беря ее в овражках и низинах вокруг свалки.

«Жук, муравей! — и восторгался, и осуждал я человека. — Какое надо иметь упрямство, какое терпение! И почему на гнилой свалке, среди этой вони?..»

Когда он построил из разного бросового материала аккуратный домик и покрасил его в голубой цвет, терпение мое иссякло: я решил познакомиться с упрямым огородником.

В хорошее июльское утро поднялся по твердой тропинке на плоское возвышение обширной свалки, вошел в калитку, увидел хозяина у двери домика на низенькой скамейке, поздоровался, извинился за незваный приход, спросил:

— Можно с вами поговорить?

— Отчего же нельзя? — несколько обидчиво, как показалось мне, отозвался крупный старик, чисто выбритый, с седыми хмуроватыми

бровями, покивал головой в белой пляжной шапочке с козырьком, приглашая на лавочку, заговорил, теперь уже веселее: — Мы с вами как бы давно и знакомы: вы прогуливаетесь мимо моего сада-огорода, я работаю. И назваться могу — Сухов Федор Тимофеевич. А вас как? Благодарю. Вот и познакомились окончательно.

Я хотел пожать ему руку, но он, показав мне испачканные землей ладони, проговорил серьезно, считая, конечно же, рукопожатие делом немалой важности:

— В другой раз.

После такого знакомства наступает обычно минута неловкого молчания, и я поторопился, впрочем, вполне искренне, восхититься грядками Федора Тимофеевича:

— Да у вас тут все цветет, растет и благоухает!

— Клубника хорошо взялась, верно, третий год не покупаю, соседей еще одариваю. Помидоры и огурцы будут свои. И вон, посмотрите, — он повел рукой, словно бы сверху озирая свой участок, — кусты смородины, крыжовника по краям как пошли, стенкой встали. А деревца фруктовые медлят, будто боятся корни вглубь пустить — там ведь метров на двадцать отходы городского быта. Одних консервных банок многие тонны. Ямы под деревца я, понятно, глубокие вырыл, землей хорошей засыпал. Может, испарения какие оттуда идут, как думаете?

Мне вообразилась эта гигантская «подушка» из всякой всячины, еще, пожалуй, гниющая и преющая внутри, — кое-где, в особо ядовитых местах зияли не заросшие травой сырые коричневые проплешины, точно гноящиеся раны, — и я сказал то, что только и мог сказать:

— Удивляюсь, как может хоть что-то здесь расти!

— А я думаю совсем не так. Присмотритесь внимательней. По обочинам пошли осины и березы. Дерево пошло, без подсыпки земельной. Привьются, значит, и мои яблоньки с грушами. Поболеют, верно, какое-то время.

— Да, от леса осинки и березки на свалку взбираются, а им навстречу — вонь от пункта вторсырья...

— А вы заметили, у меня на участке почти никаких запахов, кроме огородных?

— Заметил и поразился. Когда шел к вам, думал, что и пяти минут у вас не пробуду.

— Микроклимат, а вернее сказать, микрооазис создается, со своим биоценозом. Вообразите, как здесь будет, когда поднимутся мои кустарники и деревья. Я ведь и лозой обсадил свой участок — живым как бы забором. Приглашу тогда на чаек из самовара.

— Спасибо. Приду. А пока объясните мне, несообразительному, что вас толкнуло на эту свалку?

Федор Тимофеевич покивал веселой пляжной шапочкой, будто поклевал козырьком-клювом невидимое зерно, проговорил с чуть приметной улыбкой на сухих, припеченных солнцем губах:

— Не вы первый спрашиваете. Всем отвечаю: жизнь.

— Что же это за жизнь такая?

— Обыкновенная. Кто мне участок хороший даст? Я на пенсии уже десятый год. А выхлопочу километров за сто от столицы — как, на чем буду ездить туда? Одна дорога вымотает. Пенсия у меня семьдесят рублей, на машину денег не накопил. Услышал — на свалках вроде бы можно, не прогонят: свалки нужно осваивать, озеленять. Мне ведь от моей квартиры до этого места пятнадцать минут ходу. — Он помолчал, о чем-то раздумывая, вздохнул, но не огорчительно, а как вздыхают при недоумении. — Ходил в райисполком, тогда еще, как на пенсию вышел, спрашивал: есть постановление о свалках? Не добился. Застойное время процветало, и свалки были засекреченные. Правда, одна симпатичная женщина сказала: осваивай, дед, к тебе туда никакая комиссия не доберется без противогазов. Я поверил ей. А комиссия все-таки явилась. В вашем лице пока что.

Мы охотно посмеялись. Федор Тимофеевич сходил в домик, принес термос, налил чаю — себе в чашку, мне в крышку от термоса. Пили, молчали какое-то время. И я видел: по саду-огороду Федора Тимофеевича летали бабочки, пчелы, множество других насекомых, не считая прилипчивых слепней. Запахи живой, с утра политой земли, самой разной овощной растительности, особенно укропа и цветов под окошками у домика, — все это стойкое и ароматное невидимым облаком витало над участком Федора Тимофеевича, оберегало его от свалочного окружения.

— Теперь верю, что можно оживить мертвое, — сказал я. — Но ведь сколько усилий! Вы не из крестьян?

— Москвич, можно сказать, коренной. Мой прадед, Сухов Макар Фаддеевич, пришел в Москву из брянской деревни, приказчиком устроился, потом на купеческой дочке женился... Вот сказал вам это и подумал: выходит, все равно из крестьян. А тяга к земле у меня возродилась после войны, как бы даже принудительно: вернулся с фронта, прихрамываю, на лопату как следует налечь не могу, а надо, без картошки голодно. Семья какая-никакая — жена с дочерью, старики еще живы были... Потом хлеба стало вдоволь, крупы появились, и москвичи побросали огороды. Иные навсегда. А я вышел на пенсию с беспокойной должности — экспедитором в одной стройконторе работал — и разваливаться начал: ни спать, ни есть, ни по гостям ходить... Девять болезней в поликлинике насчитали. Можно сказать, отвернулись: пусть старик понемногу отходит в мир иной. И стал я, как вы, ходить за Кольцевую в лес. На третий или четвертый раз жена попросила земли для цветов принести. Снял в овражке дерн лопаткой, вывернул пласт сырой... и все, вот на этой свалке оказался. Недавно был в поликлинике, нарочно пошел. Врачиха крутила, вертела меня, выслушивала, выстукивала, давление мерила, а потом спрашивает: у Кашпировского лечились? Одну болезнь нашла, и та фронтового происхождения.

Федор Тимофеевич угостил меня крупной, спелой, землянично тонко пахнущей клубникой, пошутил, но с привычной для себя серьезностью:

— Если не побрезгуете... Зато у меня без нитратов. И мыть не буду — мытая теряет вид и вкус.

Не побрезговал. И, кажется, до сих пор помню земляничный запах клубники со свалки.

Минул еще год. Мы вывели войска из Афганистана, избрали новый, перестроечный, Верховный Совет. С забастовками и межнациональной розню познакомились (раньше это считалось «враждебными происками»). Узнали, что при инфляции рубль ничего не стоит, сахар по талонам и за мылом огромные очереди. Появились недовольные, иные вслух ругают правительство — теперь это можно, критиков не наказывают. Но больше все-таки таких, кто готов и поголодать ради социализма «с человеческим лицом», хорошо понимая: застой сопротивляется! Возникли неформальные организации, общества. Все средства массовой информации заговорили о СПИДе, кислотных дождях, озоновых дырах... А Федор Тимофеевич Сухов с тем же усердием возделывал свой садово-огородный участок.

Я стал замечать: на свалке появляются новые изгороди, за ними — люди с лопатами и тяпками. Решил навестить знакомого «первопроходца».

Он встретил меня у калитки, уже деревянной, крашенной в голубое, провел к столу под навесом — вроде летней кухоньки, — указал на сияющий медью самовар:

— Настоящий, тульский, с медалями. Дедов еще. И уголек есть в запасе. Сам нажег. И сапог старый для раздувания жара. Даже заваркой индийской богат: дочка где-то раздобыла.

— А с сахаром как? А то ведь сядешь в гостях чай пить и поду-

маешь: сахар-то по талонам! Помните, как в войну — в гости со своими припасами ходили.

— Мне моей нормы хватает. С избытком. Так что не стесняйтесь. К тому же — много сладкого вредно.

— И соленого.

— Не говоря о копченом и маринованном.

Мы посмеялись нашей невольной шутке, принялись пить чай, и я спросил:

— У вас соседи, вижу, появились?

Федор Тимофеевич сощурился вправо, за свою проволочную изгородь, вдоль которой густо пошел ивняк, — там копошился седобородый человек, одетый для грязной работы в самый что ни на есть затрапез, — ответил, одобрительно кивая пляжной шапочкой, кстати, прежней, той же свежести и белизны:

— У него сейчас самое трудное дело — чистить участок, носить землю. Работает хорошо. И другие, вон слева и дальше, не отстают. Считайте всю свалку поделили. — Федор Тимофеевич усмехнулся, пустив по темно-загорелому лицу множество беглых морщинок. — Я в сравнении с ними — интеллигент уже. У меня тут плантация, как у латифундиста! Заметили, и яблоньки с грушами пошли в рост.

Заметил, конечно, и радовался крестьянским способностям Федора Тимофеевича, но не оставляло меня досадное недоумение: при наших-то немеренных просторах люди копошатся на свалках! Сколько бросовой, никому не нужной земли по обе стороны этой же свалки. Но вскопай там грядку — придет бульдозер, сметет все подчистую. Да еще штрафом припугнут.

Вспомнилась туристическая поездка во Францию. Париж буквально окольцован тысячами дачек, аккуратных, ухоженных. В них живут парижане летом и зимой. И разве это не есть зеленая зона огромного города? У нас же столь строго заботятся о лесах вокруг Москвы, других городов (к слову, очень запущенных, с пустырями и неудобьями), что участки под сады-огороды отводят за сто и более километров. Кому какое дело, на чем и как ты будешь туда ездить? Слаб — поживай в своем панельном доме, мечтая о рябине под окном.

Мы сидели, неспешно переговариваясь, а людей на свалке все прибавлялось. Окликали друг друга приветствиями, брались за работу. Дальних едва можно было различить в утреннем дыме с пункта вторсырья. Невесело думалось: когда-то сплошь раскрестьяненный, коллективизованный народ рад любому клочку земли, лишь бы только почувствовать его своим.

— Федор Тимофеевич, а говорят вот, даже писатели некоторые, мол, погиб в русском человеке крестьянин, не возьмет он земли.

— А кто ее давал? Ту, которой председатель колхоза наделяет, не возьмет. Надо по закону, в вечное пользование... Да что там!.. — Федор Тимофеевич нахмурил седые брови, но сразу же и усмехнулся, как бы и сердясь на кого-то, и над собой подшучивая. — Боюсь вот: меня со свалки этой прогонят. Хотя, скажите, кому она нужна?..

ОРЛИКИ

В зале ожидания на Курском вокзале подсел ко мне мужичок в новеньком неприношенном костюме, галстуке, чуть съехавшем набок, и великоватой фетровой шляпе, которую он то и дело сталкивал на затылок. По крупным, шишковатым кистям рук, морщинистому, коричнево пропеченному лицу легко угадывалось: мужичок — сельский житель, из тех, кто с земли не ушел, но и счастья большого на ней не обрел. В столице наездом, приоделся вот, приобщился, так сказать, к культуре, выпил сколько-то по такому особому случаю и нужен теперь ему собеседник — скоротать время до поезда.

Оглядев меня улыбчиво и доверительно, мужичок решил, вероятно, что я вполне подхожу для беседы — тоже в годах, да еще с бородой, и по виду вроде бы интеллигентный, а такие чаще всего отзывчивы на случайные знакомства, — и мужичок, небрежно расстегнув негнущиеся полы дорогого пиджака, заговорил напористо, с чуть стеснительной веселостью:

— Прошу извинить и подвинуться, как говорится, на общественной скамейке ожидания. И не подумайте, будто я такой невежливый. У меня лично к вам наболевший вопрос имеется. Серьезный, прямо скажу. Наболел за долгие годы жизни. Смотрите, какой я из себя? Правильно, по внешности не представляю интереса, фигура мелкая. Но тут такое дело: в роду у нас особо крупных не бывало, однако на силу не жаловались, корневые потому что. А хромаю на левую ногу — так это мета войны, нас еще много таких, дохрамываем свою жизнь. Вы глубже вникните, душу мою разгадайте: какой я есть человек? Трудно, говорите? Согласен, вопрос — для мыслящих. Душа, она глубоко в человеке сидит, такое она нежное существо. Иной век проживет, а души своей не покажет, может, и сам ее не увидит. Похоронит в себе, как говорится. В старое время убеждали — душа на том свете жить будет. Теперь и мальцу любому известно: душа без тела ценности не имеет, несмотря на восстановление в последнее время церковности и избрание попов в народные депутаты. Вы с этой мыслью согласны? Нет, говорите, церковь совести нам прибавит? Сомневаюсь шибко по личным причинам, но спорить не будем, у нас гласность, каждый отстаивает свое личное понимание, и в газетах пишут: это хорошо, потому что перестройка мнений. Значит, имею право на несогласие. Я тоже кое-что кончал, к технике пристрастие имею, но воспитан на гуманности наших идей: все от земли, материи окружающей то есть. На чем сидим, во что одеты, что кушаем... Выходит, душа тоже из матерьяльности произрастает. Не попитайся плодами земли, не выпей малость для настроения — какая в тебе душа? А потому напрашивается, как говорится, серьезная мысль: при жизни свое душевное содержание раскрывай, на пользу людям и повышения благостояния. Хорошую раскрой — поучимся, плохую тоже давай сюда — подлечим, если подпортилась в застойное время. С этим, я думаю, вы согласны, тем более — я высказываю мысли о сплочении нашего народа. Или вам по душе шовинизм, антисемитизм, трагические столкновения на национальной розни?

Я слегка отстранился от мужичка, прямо-таки впившегося в меня серыми горячими кругляшками глаз, и пока он, прервавшись, аккуратно расправлял твердый квадратик магазинно пахнущего носового платка, не собираясь, конечно, пользоваться им, я успел сказать поспешно и даже волнуясь (вот ведь, раззадорил мужичок своей непоколебимо уверенной речью!):

— Зачем же вам нужно, чтобы я разгадывал вашу душу? Вы ее сами прекрасно раскрыли!

— О том и разговор, — спокойно и наставительно прервал меня негаданный собеседник. — Никто другой на этот вопрос не ответит. По вашему виду заключаю. Выходит, каждому о себе надо. Ответственно! Вот и послушайте мои убеждения. Предупреждаю, однако: я пенсионер, жизнь, как говорится, позади, а времени в запасе много. В этом наша главная опасность для людей. Чтобы короче получилось, начну по пунктам излагать: порядок, он и душе требуется. Значит, пункт первый: про самое главное. Как вы интеллигентно мыслите, что есть в нашей жизни наиважное? У каждого свое, отвечаете? Это книжная философия. С этим я конкретно и категорически не согласен. Главное для всех людей — наши дети: как они, так и мы. Отдельно от них нет у меня живой души, она мне ни к чему для личного пользования. Вот и вы вроде киваете? Надеюсь, дети у вас имеются? Хорошо и предметно, как умно выражается наш бригадир механизаторов-овощеводов. У меня их двое. Сыновья. Орлики, только что не летают! Оба мастера спорта, в загран-

соревнованиях участвуют. Один ядро толкает, другой молот мечет. Любуйтесь, как одели-обули отца — во все импортное. Великоват немножко костюм, а старший говорит: мы ж тебя, батя, считай, два года не видели, за это время ты на размер убавился, теперь тебе задание: набирай тела, чтоб в полгода одежка дорогая натуго заполнилась. Шутники они у меня, на высоком уровне общаются, оба орденá за спортивные достижения имеют. Удивляюсь я им, будто и не мои вовсе орлики. Ну, кто я такой? Механизатор средней руки. Им та же стезя могла выпасть. Талант выручил, задатки природные — думаю, средь наших предков были силачи, — и выпорхнули сынки в большую зажиточную жизнь. На спортсменках поженились, квартиры в Москве имеют. Можно сказать, международную политику для страны делают, сближают государства в перестроечное время. И отцом родным не гнушаются. Пригласили вот, погостил. Теперь едем мать навестить: уговорил, выкроили, орлики, время. Правда, без женушек своих. Оно и лучше, может быть. У нас как там пока? Никаких культурных благоустройств — туалет чтоб, горячая вода, отопление батарейное... Хотя надо положительно отметить: обратили внимание на Нечерноземье, воинские части дороги строят. Ну, не знаю, какие дороги будут, а детишек в деревнях, глядишь, поприбавится, это ведь тоже хорошо для заселения средней полосы. Но, как говорится, не будем увиливать от темы. Мы не зайцы, чтоб скидку на пять метров в сторону делать, за нами не гонятся. Курите?..

Мужичок привычно обхлопал карманы пиджака, ничего в них не обнаружил, слегка смутился; услышав, что я не курю, обрадованно сказал:

— Тоже бросил. Сынки уговорили. После микроинсульта... Значит, без табачного дурмана обсудим второй важный вопрос: труд человека на благо народа... — Он столкнул на затылок шляпу, вскинул голову и повел перед собой руками, как бы охватывая весь неумолчно рокочущий вокзальный зал. — Что мы видим? Видим советский народ на отдыхе. Это если в целом воспринимать. А мы возьмем в отдельности...

— В отдельности каждого? — попробовал пошутить я.

Серьезный мужичок шутки не понял и потому удивился моей несообразительности:

— Зачем каждого? Мы же с ними не знакомы. Возьмем нас с вами...

Он вдруг примолк, как-то нервно толкнул шляпу, завороженно уставился в провал эскалатора, поглощавшего и извергавшего людские потоки, покивал смущенно каким-то своим мыслям, повернулся ко мне, шепотом проговорил:

— Идут мои орлики... Вы это... будто бы мы давнишние знакомые...

И я увидел их — белобрысых, румянощеких, тренированно плечистых, в дорогих «варенках» и пружинистых кроссовках, не иначе фирмы «Саламандра». Они шли, небрежно переговариваясь и сдержанно посмеиваясь, совершенно свободно чувствуя себя в толпе, да и толпа вроде бы покорно расступалась пред их уверенным напором. Действительно орлики! Разве можно вообразить их сельскими механизаторами?

Вспомнился мне знаменитый прыгун с шестом, по какой-то, вероятно, внешней похожести на этих ребят. Он из шахтеров, кажется. Недавно орден Ленина получил. А работал бы в шахте, где еще — кто бы его знал, славил? Да и шахматные гроссмейстеры меня давно смущают: ну, умеют остроумно передвигать фигуры, натренировали мозг, набили руку — и что же? Часто ли идут их мыслительные способности дальше квадратной шахматной доски? А сколько шуму, мировой славы, какие финансовые траты! Будто человечеству нечем другим заняться, как... ага, они уже рядом, сыновья моего случайного знакомого, — да, будто бы нечем заняться, как холить таких вот орликов — прыгунов, игроков, метателей чего-то и куда-то... Не ведали мудрые изобретатели спортивных игр, во что мы превратим эти игры!

Старший сын — он покрупнее, поувереннее в движениях — остановился у нашей скамейки, скрипнув кроссовками, как автомобильными шинами, подозрительно оглядел отца, нахмурил белесые бровки, спросил, заметно сдерживая чуть брезгливое огорчение:

— Вижу, ты выпил, батя?

— Да вот, с товарищем... — виновато понурился мужичок.

— Ясно. Оправданий не принимаем. Для тебя честное партийное слово дешевле рюмки дерьмового вина. А инсульт, а язва, а сердце?.. Тебя в поезде удар хватит, и привезем матери труп в импортном костюме. Так, что ли?

Мужичок согласно помотал головой, извинительно захихикал: мол, все так и есть, чего тут скажешь! — положил, как наказанный, на колени тяжелые темные руки и совсем уменьшился в плечистом пиджаке, будто спрятавшийся в пустой раковине насмерть перепуганный рачок.

— Погоди, Коля, — взял под локоть старшего брата менее строгий младший. — Давай разберемся. У бати же не было денег, я сам карманы обыскал.

— Значит, угостили?

— Наверно.

— Кто?

— Вот же, батя говорит: с товарищем встретился.

Окатив меня беглым, холодно-голубоватым, с явной презрительностью взглядом, старший кивнул младшему: понятно! И заговорил, искренне возмущаясь:

— Ну скажи, откуда берется вся эта пьянь беспробудная? Сидит вот, беседует, седой, солидный вроде, а инвалида фронтовика напоил. Ни жалости, ни совести человеческой! Помнишь, на съезде народных депутатов один академик выступал, о генофонде говорил? Как мы экономику поднимем, накормим, оденем себя, если куда ни глянь — пьяный этот генофонд! — Старший помолчал, справляясь с непривычным для него, вероятно, волнением, спросил младшего: — Может, сдадим эту седую бороду в милицию? Пусть его там протрезвят, беседу о вреде алкоголя послушает? Надо же чего-то с ними делать!

Мое любопытство заметно поугасло: ведь и вправду позовут милиционера... А вон и скучающие на скамейках граждане начали прислушиваться, идущие мимо приостанавливаются — долго ли толпе собраться? Надо сказать этим молодым людям, что я не поил их отца и что ведут они себя слишком уж по-хозяйски, а это неумно, ибо спортсмены пока еще (к счастью!) не управляют миром. Я собрался встать, намереваясь тут же уйти, но успел лишь чуть приподняться, как был усажен на прежнее место увесистой рукой старшего орлика, придавившего мое плечо.

— Сиди, — сказал он, — я раздумал: таких могила исправит. Старый к тому же, почти как наш батя. Пожалеем. Но в долгу остаться не можем. — Он приподнял указательным пальцем шляпу на голове понурившегося отца, спросил: — Сколько прогуляли?

Встрепенувшись и опять нервно захихикав, мужичок ответил:

— Пустяки, сынок... Не стоит... Пятерик всего-то...

Старший сдвинул молнию на боковом кармашке спортивной сумки, достал пятирублевую бумажку, протянул мне. Отгородившись поднятыми ладонями, я наконец-то стал говорить то, что хотел сказать несколькими минутами раньше, но сразу же понял: не буду услышан.

— Какие мы принципиальные! — недоверчиво удивился старший, отстранил мои руки, ловко сунул свернутую квадратиком пятерку в нагрудный карман моего пиджака. — Гуд бай и оревуар, борода! По утрам делай аэробику, вместо этого... — Он звучно щелкнул себя по шее и, видя мое крайнее возмущение, предупредил: — Шуметь не советую. Сколько батя сказал, столько и выдано. Понимаю, мало. Но на пропой не подаем.

Сыновья-спортсмены дружно взяли отца под руки, поволокли его,

безвольно обвисшего в костюме-панцире, еле ковыляющего ногами, к ненасытному жерлу эскалатора.

Вскоре объявили и мой поезд.

А пятерку я не тронул. Ни в командировке, ни позже, вернувшись домой. Ношу ее в том же кармане пиджака, чтобы при случае отдать кому-либо из орликов.

Надеюсь, они прочтут этот рассказ и освободят меня от насильственно навязанных мне денег.

ПОЭТ-КООПЕРАТОР

Кладбище подмосковного городка. Похороны. Народ самый разный — от древних старушек до малолетних детей. Торжественно-печально, но и празднично как-то; детишки то и дело затевают ссоры, беготню; молодежь по случаю погожего осеннего денька одета легко и нарядно. Словом, похороны на прежний деревенский манер — вон за крестами и надгробиями краснокирпичные развалины церкви, и кладбище это когда-то было погостом, — с рыданиями плакальщиц, любопытством случайных людей (таких, как я), разговорами на житейские темы, безобидными шуточками тех, что стоят подальше от гроба.

Распоряжается похоронами некто Двориков, как объяснила мне охотно хроменькая, вся в черном старушка, знаток этого непростого обряда, он же гробовых дел мастер. Сохранились кое-где, в некоторых маленьких и тихих подмосковных городках, такие вот «похоронщики» (впрочем, часто их так и называют). Двориков некрупен, моложав, с крепким повелительным баском, и спиртного принял всего лишь рюмку-другую, исключительно для твердости духа.

Над разверстой могилой у гроба произносятся последние речи. Отошел в сторонку кто-то из дальних родственников, Двориков развернул мятую бумажку, близко поднес к глазам, объявил:

— От лица кооператива поэтов выступает известный литератор... — Двориков чуть отстранил бумажку, строго пощурился в нее, вполголоса пробормотал: — Тут написано... — И громко выкрикнул: — Выступает поэт Корней Тетюнский!

Из толпы принялись подсказывать:

— Тютюник, Тютюник...

Двориков поднял руку, прося тишины, и твердо произнес:

— Поэт Тентюник!

Корней Тютюник не обиделся на распорядителя похоронами, слегка взмахнул шляпой в руке: мол, какая разница, как и кого назовут здесь, в преддверии вечности, — влез на уже притоптанный бугорок свежей глины, вскинул голову с темными, чуть седеющими, встрепанными ветром волосами и так, глядя поверх гроба, людей, кладбища, колокольни, поросшей молодыми березками, в только ему видимую даль, прочел четко, с явно ощутимым в голосе надрывом:

Иван Степаныч, что это такое?
Угас ваш несравненный свет,
Не знали вы ни счастья, ни покоя,
А вот теперь вас вовсе нет.

Мы похороним вас, как генерала,
Жаль только пушек нет у нас,
Чтоб вся страна о вас узнала,
Чтоб возрыдал рабочий класс! ,

Как вы росли, как вы служили,
Как вы трудились до конца
И только честной правдой жили
С лицом партийного бойца.

Последние слова прозвучали особенно сильно в какой-то стылой и немой, лишь на кладбищах бывающей тишине, и тут же послышались высокоголосые рыдания плакальщиц — двух не старых еще женщин, облаченных по-монашески во все темное.

Медленно достав из нагрудного кармана пиджака носовой платок, Тютюник промокнул глаза, в которых поблескивали самые настоящие слезы, сутуло сошел с холмика и затерялся в толпе.

Через несколько минут, когда зачастили тупые удары молотка по гвоздям крышки гроба (почему-то всегда тупые, будто потусторонние уже), я вновь увидел Корнея Тютюника. Простившись за руку с похоронщиком Двориковым, он неторопливо, в одинокой задумчивости, направился по уклону вниз, к стоявшему на дороге автобусу.

Мне захотелось познакомиться с этим, ни на кого здесь не похожим, уверенно несуетным человеком. Я догнал его, извинился за, может быть, нарушенные тихие размышления, искренне похвалил его эмоциональное чтение, спросил:

— Вы действительно состоите в кооперативе поэтов?

— Что же тут удивительного? — слегка скосил он на меня выпуклые, матовой коричневости, еще влажные глаза. — Кооперативы общественного питания, строительства дач, перепродажи компьютеров — хорошо, а поэтический, как говорится, духовного питания — удивляет?

— Нет, нет! — поспешил я успокоить Тютюника. — Мне просто интересно, ни о чем подобном не слышал... В принципе, почему бы и не объединяться поэтам?

— Именно! — подтвердил он. — Мы обслуживаем самые разные общественные мероприятия: свадьбы, дни рождения, юбилеи заслуженных людей, похороны... Я больше по похоронам, товарищи посоветовали — глубже других проникаюсь этой темой.

— К каждым похоронам пишете отдельное стихотворение?

Корней Тютюник вновь скосился в мою сторону, теперь с явным любопытством, которое я мог объяснить себе так: ну и наивное создание, откуда только берутся такие редкостные экземпляры в наше реалистическое время?.. Пояснил, однако, вежливо и терпеливо:

— Это же поток... Разве музыканты каждому покойнику сочиняют персональную музыку? Есть, конечно, варианты. А главное — не текст, главное — голос, чувство, вживание в обстановку... И в оплате какая разница? Музыка пятьсот рублей стоит, а мое стихотворение — пятьдесят. Важно и другое: люди к поэзии тянутся, теперь многие вместо музыки стихи заказывают. Дешевле и душевней, как говорится. Индивидуального подхода тоже куда больше. Хоронят молодую женщину — один текст, пожилую — другой, старика — третий... И всякий раз ты должен быть иным. Вот, например, стихи на смерть ребенка:

Дитя ушло от нас невинное,
И мы осиротели на Земле.
Не жалко б — пьяница у винного,
А это ж — звездочка во мгле.

Смотрите, я рыдаю, люди,
О том, что гибнут малыши.
И стих мой — нет, не словоблудье,
Он — крик надорванной души!..

Голос Тютюника вдруг сорвался, будто в груди не хватило воздуха, он как-то обреченно помотал тяжелой головой: мол, не могу дальше читать... Я глянул на поэта и удивился несказанно: по его щекам текли слезы. И при этом он улыбался — кротко, извинительно, словно бы признавая свою личную вину в смерти всех «отпетых» им детей.

— Вы, оказывается, такой чувствительный, — проговорил я, не зная, как вести себя с человеком то неприступно суровым, то плачущим при чтении своих стихов.

— Дети же! — негромко воскликнул Тютюник, вынул из нагрудного кармана носовой платок и приложил к глазам.

— Вы что же, только здесь читаете свои стихи?

— Теперь здесь. И еще в кооперативе поэтов.

— Печатаетесь?

— Раньше к революционным праздникам заказывали. Даже в Москве иногда проходил. Теперь говорят: довольно победных рифм!

— Вы где-нибудь работаете... кроме кооператива, конечно?

Корней Тютюник в третий раз, но с большим вниманием и, как показалось мне, с подозрением оглядел меня: действительно ли этот случайный собеседник столь наивен или прикидывается таковым для какой-то своей цели?.. Помедлив немного, ответил наставительно и твердо:

— Нигде. Никогда.

Я наконец понял: рядом со мной грузновато вышагивает одержимый поэзией человек. Когда-то в детстве или ранней юности он пережил сильнейший восторг, сочинив несколько стихотворных строк, решил, что он истинный поэт, и вся последующая его жизнь была самоотверженно отдана поэзии.

Мне приходилось видеть, даже быть знакомым с такими поэтами. Они обычно одиноки, неудобны для общения, семейная жизнь им как бы противопоказана — женятся и разводятся. С годами от них отступаются родственники: неисправимые, ненормальные... И все-таки, я думаю, они истинные и великие поэты. Еще неизвестно, кто больше предан поэтическому слову, такой вот гравфоман, как их принято называть, или процветающий, признанный поэт. Там ведь — успех, прочное положение в обществе, здесь — трагедия. Спроси Корнея Тютюника: согласен за изданный сборник стихов расплатиться жизнью? — вполне может случиться, что без колебаний примет это предложение.

Кто они, графоманы-поэты?

Кем-то удачно подмечено: стихотворение делает поэзией какая-то неуловимая малость, то самое «чуть-чуть», без которого строки мертвы. Тютюнику как раз, пожалуй, и не хватает этой малости при его редкостной чувствительности, отзывчивости. Или загадочное «чуть-чуть» — и есть искра божья? Но ведь поэты нужны «хорошие и разные». Особенно — порядочные, хочется прибавить. Сколько мы знаем талантливых вертухаев! За что же они божьим даром отмечены? Тютюника печатать нельзя, слушать вполне можно. Значит, должна быть устная поэзия. Не ее ли ради объединились самодеятельные поэты этого города?

Я обдумывал, как бы необидно изложить эти свои мысли Тютюнику, услышать еще что-либо о кооперативе поэтов, да и молчание затягивалось, при случайных знакомствах оно особенно тяготит, но Тютюник заговорил сам, и конечно, совершенно о другом:

— У меня мама в Америку уехала. Зовет. Не рискнуть ли мне, как считаете?

Теперь мы хорошо наслышаны о разных странах, больших и малых, я живо вообразил Америку небоскребов, лакированных лавин автомобилей, сплошной компьютеризации, с убыстряющимся темпом жизни и отчаянной борьбой за все большее преуспеяние и процветание и не смог найти там сколько-нибудь удобного места для Корнея Тютюника. А потому сказал:

— Вы думаете, там нужна ваша поэзия?

Тютюник тихо, как-то задумчиво рассмеялся, медленно покивал головой, ответил:

— Вы правы. Россия — последняя страна, где слушают стихи.

Он вошел в автобус, оказавшийся почти заполненным, повернулся ко мне, поднял руку на прощание.



ПОЭЗИЯ

НАДЕЖДА МИРОШНИЧЕНКО



С ТОБОЙ Я – НАДЕЖДА!

* * *

Все уже было: будни и праздники.
В голос смеялись и плакали досуха.
Набезобразничались безобразники,
и намолчались молчальники досыта.
И по дороге кривой и единственной
наспотыкались без роду и племени.
И надышались чужим
и таинственным,
и наскитались в пространстве
и времени.

За безъязыкую, за оскорбленную,
за погребенную, за одноликую
я выхожу на тропу раскаленную
и говорю: «Поднимайся, Великая!»
И поглядела, родная и ясная,
непозабытая, непобедимая.
И поднялась — да такая прекрасная,
и позвала — да такая любимая!

□ □

* * *

Нет, то не гунны и не супостаты
кричат, аж скулы сводит добела,
то Русь моя, смиренная когда-то,
колотит в сердце, как в колокола.
То горы, и пещеры, и равнины,
единою крещенные бедой,
глядят, что могут люди-исполины,
и мертвой умываются водой.

Грешно сегодня уповать на бога,
ждать перемен откуда-то извне,
когда сам Космос около порога
и бездна на родимой стороне.
И что сейчас пророки и предтечи
на всеми позабытом рубеже?!
Но слабый ручеек народной речи
еще наивно тянется к душе.

* * *

Сегодня хотят интеллекта и такта,
и храбрая пресса в чести.
А мне бы тебя уберечь от инфаркта,
от ложного шага спасти.
Мы нашу историю делали сами:
звезда, лебеда, купола.

И ты был массовкой
в классической драме,
и я той массовкой была.

Да, все тяжело: и словарь,
и одежда.

Но все-таки не забывай:
я Ольга в миру, а с тобой
я — Надежда,
и крепче меня обнимай.
Люблю тебя больше свободы и воли
за бедную землю свою,
за то, что на послевоенное поле
ходил, как в родную семью,
за то, что и в голову
не приходило
податься в чужие края,
что верил: на родине даже могила —
чужая, а все же своя.
И если ни русского, ни золотого
из нас не сумели известь,
то, может, и прожили мы
бестолково,
но что-то в нас все-таки есть.

□ □

* * *

То ли в детстве огонь,
то ли в юности пламя,
то ли в зрелости слово и честь,
но мне кажется,
что прорастет куполами
все, что лучшего было и есть.

А еще говорили: живут бестолково.
Но когда оглядишься окрест,
что ни поле — то Пулково
да Куликово,
что ни путь — то звезда
или крест.

Эта русая прядь, эта вольная воля,
этих глаз незабудковый цвет...
А когда оглядишься (пригрезилось,
что ли?!) —
всюду мрак, а мерещится: свет.
А мерещится:
рожь на полях колосится,
красна девица воду несет,
серый волк звездным оком на небо
косится,
добрый молодец диво пасет.

То ли в детстве тоска,
то ли в юности мука,
то ли в зрелости —
избранность встреч.
Что ни радость, то боль,
что ни дом, то разлука,
что ни память, то русская речь.

□ □

* * *

Сойти с ума, чтоб и глаза,
и руки
не видели ни солнца, ни небес,
а только этот краешек разлуки,
где ты да я, да истина, да лес.
Сойти с ума и больше не очнуться,
всему на свете память предпочтя,
где прошлое — расколотое блюдце,
где будущее — алчное дитя.
Сойти с ума
и радоваться свету,
возникшему в кромешной темноте,
пробившему Викторию и Лету,
приникшему к голицинской версте.
Сойти с ума, но возродиться,
чтобы,
и обронив рубин да изумруд,
все повторять: люблю тебя
до гроба
и после гроба, ежели не врут.

□ □

* * *

Тот голос знакомый,
тот голос ликующий,
тот голос, возникший из тьмы беспросветной,
тот голос надменный, но не торжествующий,
прошедший сквозь дали, сквозь дали запретный.
Тот голос, бог знает о чем размечтавшийся,
за что благодарный и в чем неповинный,
тот голос,
лишь голосом так и оставшийся,
не ставший ни омутом и ни лавиной.
Тот голос,
дитя ли на сказку набросится,
метель ли завьется в трубящие свитки, —
возникнет с небес, в небеса и попросится,
едва ли коснувшись души и калитки.
Едва ли способный на воспоминание,
он сердце тоской изведет до кручины,
тот голос бессмертия и мироздания.
Он в прошлом всего только голос мужчины.

* * *

Все хмурится в мире. Замучили злые напасти,
да грешные мысли, да черные чьи-то дела.
Возьму тебя за руку, выведу к ясному счастью:
— Ну, как тебе, любый, все так же ли жизнь тяжела?

Возьму тебя за руку, выведу к чистому люду.
— Ну, как тебе, любый?
Я лишь одного и прошу:
будь сильным, мой добрый. Я ждать тебя до смерти буду.
Я грязному люду ни слова о нас не скажу.

А солнце все ниже. А небо, как черная крыша.
А ворон все ближе. А сердце все тише в глуши.
— Ну, как тебе, любый?
А он мне: — Не слышу, не слышу.
— Да я напишу, — а в ответ: — Не пиши, не пиши...

* * *

Смешно,
неужели сегодня еще упрекают
за грубое слово, за взгляд на чужую жену?!
Любовь моя, девочка, дочка моя дорогая,
неужто и нынче возможна ты, как в старину?!
Когда позади перепаханы поле и люди,
когда небеса зарешечены или когда
в старинном, изысканном и равнодушном сосуде
река задыхается и плесневеет вода.
Неужто и нынче возможны нелепые вздохи:
«Люблю тебя!» или еще безнадежнее «Мой!»,
когда распадаются связи и гибнут эпохи,
неужто и впрямь ты сама остаешься собой?!
Из грязи и нечисти,
из бормотухи площáдной,
из терпкого «Хватит» и скучного «Не прекословь»
возможно ли, так ослепительно и беспощадно,
земле возвратить это древнее слово — Любовь?!

ПРОЗА

Конкурс: «Честь и здоровье береги смолоду!»

МИХАИЛ ЧВАНОВ

ВЕЩИЙ ИГОРЬ

РАССКАЗ

Когда я еще учился в университете, мои родители взяли вдруг и переехали в небольшой уральский городок — невмоготу стало. Я не сторонник был этого переезда, но мне ли судить, сам-то я из деревни еще раньше убежал — под видом учебы. Но все равно зябко на душе было: как это — поехать на родину, а в доме, в котором ты родился, который поставлен еще твоим прапрадедом, живут чужие люди. И как бы в отместку, что ли, долго не ехал я в их распрекрасный город.

Но вот наконец собрался посмотреть на их новое житье-бытье. Сошел я с автобуса, что привез меня со станции, огляделся: разумеется, не понравился мне тогда тот город, впрочем, и сейчас не все в нем нравится. «Было на что менять, — с обидой думал я, — такая же грязная деревенская улица, разве только дома побогаче, а люди еще и угрюмей, неприветливей». Может, сам себе в том не признаваясь, ревновал я родителей, не мог простить им свою брошенную неказистую родину.

Вот и нужный номер дома. Низкий, глядящий окнами в ноги прохожим, дом мне совсем уж не понравился. «Хотя можно подумать, — усмехнулся я, — у нас в деревне дворец был! Тоже хибара — видавшая виды половина прапрадедовского дома. Зато из окна такие дали! — тут же нашелся я. — И в нем я родился!»

Не успел я переступить порог и оглядеться — дома одна мать была, — стукнули ворота.

— Отец? — спросил я.

— Нет, рано... Да, наверно, вещий Игорь, — засмеялась мать. — Идет знакомиться.

— Какой Игорь? — не понял я.

— Да соседский мальчишка. Сейчас увидишь.

— А почему — вещий?

— А я не знаю, — смутилась мать. — Вот ведь и у меня вырвалось... Ребята так прозвали.

Но в дом никто не шел.

Мать выглянула в сенное окошко:

— Снег с ног счищает, набирается солидности... Ты посмотри, посмотри, как старается и с каким серьезным видом... Ничего не делает как попало. Все с расстановкой, обстоятельно. Не знаю — в кого. Отец — волк волком, сколько живем — ни разу не улыбнулся, одно слышишь: мать-перемать, зимой снегу не выпросишь, чужая курица во двор зашла — взял и прибил сразу, а если уж запьет, так Маша несколько дней по соседям прячется. А Игорь этот — душа нараспашку, глаза навстречу тебе радостно растопырены, любому человеку рад, а если уж кто новый появится на улице — сразу же идет знакомиться и будет заботиться о нем, как о больном или маленьком. Другие — ребятишки как ребятишки, играют себе, а он так и дежурит у ворот: как бы помочь кому да как бы успокоить кого. Тут ведь народ-то — бирюки бирюками. А он!.. Таких я раньше только в деревне у нас и видела, да и то, наверно, один Федя-дурачок. И этот — никакой тайны... Так ведь никому не нравится, что он такой. Одногодки-то его, клопы-несмышленыши, и то уже над ним смеются. Не сами, конечно,— от взрослых слышат. Вон Витька Сапронов, напротив живет, и ходить-то до сих пор толком не умеет, а стоит как-то на сугробе: «Игорь-то у нас дурак...» Что за народ! Да чего я говорю — а у нас в деревне не так разве? Э-э! — махнула она рукой и ушла на кухню. — Когда приехали мы, никого не знаем, трактор стоит посреди улицы, его отпускать надо, тракторист на часы смотрит, замерзли, одним не управиться, — из кухни продолжала мать. — И вдруг из соседних ворот выходит парнишка, четыре года ему еще было, важно подходит: «Приехали, что ли? Меня Игорем зовут. Помогать пришел. Сейчас мужиков позову». И побежал по улице, колотя по всем воротам палкой: «Новые приехали. Помочь надо. Замерзли, как вороны...» Нечего делать, стали люди выходить. Так и перезнакомил нас со всеми... Да где же он?— вернувшись в комнату, уже с беспокойством снова выглянула она в сенное окно. — Так ведь с коровой о чем-то говорит, ломоть хлеба ей притащил...

Вскоре отворилась дверь и вошел в избу крепкий мальчишка лет пяти-шести с широко расставленными пытливыми глазами, без всякого смущения, по-взрослому протянул мне руку:

— Знакомиться пришел. Игорь.

Мать торопливо, как важному гостю, придвинула ему табуретку.

Он не спеша, с достоинством взгромоздился на нее.

— Приехал наконец? А тут уж, ожидаючи, все глаза проглядели. Что ж к отцу, к матери не соберешься никак, словно чужой?!

— Да вот, так уж получилось... — невольно растерялся я.

— Корова-то еще не отелилась? — повернулся он к матери.

— Нет пока, со дня на день ждем, — серьезно ответила мать.

— У нас тоже еще не отелилась... А Юрка-то, что, не пришел еще? — спросил он про моего братишку, который был на три года старше его.

— Да нет, — откликнулась мать. — По дороге где-то заигрался. Да скоро придет, наверно. Садись с нами, сейчас обедать будем.

— Некогда, — отказался Игорь. — Надо идти дома сидеть, пока мамка на работе. Я только познакомиться пришел. Смотрю в окно — идет... В магазин теперь пойдешь? — спросил он мать.

— Зачем? — не поняла она.

— Как зачем? — удивляясь ее недогадливости, засмеялся Игорь. — За вином. Гостя-то чем угощать будешь? Или, может, скажешь, дома есть? Нет, у вас тоже не устоит...

— Так не пьет он.

— Ну да! — ухмыльнулся тот, подмигивая мне.

— Правда, Игорь, — подтвердила мать.

— Правда, что ли? — пытливо посмотрел он на меня. — Какой же ты тогда мужик?

— А зачем пить-то? — спросил я его.

— Как зачем? — удивился он. — Надо...

— А зачем — надо? — настаивал я.

— Ну... все пьют... — пожал он плечами.

— У нас все пьют, вся улица... Витька Макеев вчера вон бабу гонял, у нас в бане ночевала. Некоторые совсем ум пропили... — Он вдруг заторопился: — Ну ладно, я пошел...

Я прожил тогда у родителей три дня. Игорь приходил по нескольку раз в день, стоило мне выйти во двор или за ворота, словно он меня караулил. И когда я взял в руки колун, — хоть и отговаривала мать, трудно было сидеть без дела, — Игорь тут же появился из своих ворот:

— Ты коли, а я складывать буду... Ногу-то не разрубишь?

После того, как мать сказала, что я не пью, он присматривался ко мне то ли с удивлением, то ли с некоторым подозрением.

— Дома тоже помогаешь? — спросил я его.

— А как же! — чуть не обиделся он. — Но дома скучно. Да дома у нас и так мужиков много...

— Кем будешь, когда вырастешь? — спросил я, когда Игорь серьезно, без улыбки, объявил «перекур» и мы уселись с ним на еще не распиленные кряжи.

— Дрова-то надо пилить, — вместо ответа хлопнул он березовую лесину под собой. — Высохнут, не расколешь. Пусть отец у Сапроновых бензопилу спросит, мигом можно раскатать.

— Не думал, что ли, кем будешь? — напомнил я.

— А чего думать... шофером.

— А почему шофером?

— Почему, почему, — засмеялся он. — Ты что, маленький, что ли? Я же не спрашиваю, почему ты учишься и учишься. Борода вон уж какая, а все учишься. Второгодник, что ли?.. А шофером — хорошо. Дров привезти или сена. Папка вон поехал и стащил. А на лошади дров много не увезешь...

— Как — стащил?

— Ну, поехал ночью в лес и стащил, — удивляясь моей непонятливости, объяснил Игорь.

— А разве хорошо это?

— А у нас все тащат. Из леса, из завода... Шофером — хорошо. Я бы вам, тете Матрёне дров привез. Картошку из огорода. Старики Парфеновы вон мучаются. Никому заботы нет... Шофером — милое дело. Всегда людям помочь можно. И люди спасибо скажут... И бутылку поставят, — неожиданно добавил он, засмеявшись.

В это время мимо проходил высокий чернявый парень. Не поздоровался: город, пусть и небольшой, — не деревня, не принято здесь это.

— Подожди, — сказал мне Игорь и слез с дров. — Эй ты, Макеев! — громко крикнул.

Парень, не обращая на него внимания, шел мимо.

— Ты что, не слышишь? С тобой говорят.

Парень не столько удивленно, сколько тупо уставился на него.

— Ты зачем свою бабу гонял? Она же у тебя с пузом. Ты что, дурак?!

— Да иди ты!.. — опешил, не сразу нашелся парень. А потом наклонился, подхватил с земли щепку и зло швырнул в Игоря. Щепка, разумеется, не долетела, но Игорь на всякий случай заранее отскочил в сторону.

— Еще бросается... Не умеешь пить, не начинай... Тоже мне, мужик называется...

— А ты вырастешь — будешь пить? — спросил я Игоря, когда Макеев исчез за поворотом.

— А ну ее... В праздник только.

— Ну а зачем — в праздник?

Игорь сбоку внимательно посмотрел на меня: не разыгрываю ли?

— Ну праздник же! Для этого и праздник — Октябрьская или Первомай. Тогда все пьют. Или я белая ворона, что ли? — засмеялся он...

Вечером я уезжал. Вышел провожать и Игорь.

— Ты приезжай почаще, — протянув мне руку, серьезно сказал он. — Мать только о тебе и говорит. Жалеть мать надо, мать —

Михаил Андреевич ЧВАНОВ родился в 1944 году в деревне Старо-Михайловка Салаватского района Башкирской АССР. Окончил филологический факультет Башкирского государственного университета. Автор прозаических книг «Вера из бухты Сомнения», «Загадка штурмана Альбанова» и других. Член Союза писателей. Живет в Уфе.

По итогам конкурса М. Чванову за публикуемый рассказ присуждена вторая премия.

оя одна... А так-то ты не бойся, я помогать тут буду...

Поезд уже давно оставил позади последние уральские скалы, а у меня из головы не выходил Игорь, которого почему-то прозвали вещим. Нравился он мне. И в то же время тревожил: была в его простоватости какая-то незащищенность, что ли...

И так всякий раз: когда — пусть редко, пусть не каждый год — я приезжал к родителям, Игорь тут же приходил, как только узнавал о моем приезде, крепко, по-мужски, пожимал мне руку, расспрашивал о здоровье, о моей непонятной, впрочем, не только для него, жизни, интересовался, почему редко приезжаю. Разумеется, он, как и все дети, быстро менялся, с каждым следующим моим приездом выглядел взрослее, не говоря уже о том, что становился выше и шире в плечах; его уже в классе пятом со спины спокойно принимали за взрослого. Но что меня поражало: оставалась в нем неизменной какая-то, чуть не младенческая, открытость и бесхитростность, готовность всем и всему помогать, какая-то простота и даже простоватость, которая раньше умиляла, а теперь от нее порой становилось неловко, как если бы он по-прежнему, как в раннем детстве, продолжал ходить без штанов.

Привыкнув в своей жизни ни минуты не оставаться без дела, а может быть, стараясь заглушить в себе какую-то вину перед родителями, хотя бы за редкие приезды, я каждый раз тут же принимался за какую-нибудь работу, чаще всего начинал колоть дрова, и Игорь сразу же выходил, брался помогать.

— Вдвоем-то веселее,—широко улыбаясь, говорил он.

В один из приездов я спросил своего младшего брата:

— А как хоть Игорь учится-то?

— Вещий-то? — засмеялся Юра.

— Да.

— Так двойка на двойке, — усмехнулся брат. — По труду вроде только пятерка...

— Не хватает у него, что ли? — спросил я осторожно.

— Да нет, — почти обиделся Юра. — Он соображает. Захочет, так и задачки щелкает. Да как тебе сказать... вещий он и есть вещий. Не как все. А другим это не нравится, вот и смеются над ним. И в то же время нравится, что есть над кем посмеяться... Нет, он соображает, а в машинах — так я побольше других. Ему лишь бы в машине возиться. Идем в школу, где-нибудь на обочине шофер в моторе копается, Игорь портфель бросает и давай помогать, ключи подносить, воду, на педаль давить. Да и в моторе не хуже иного шофера разбирается. Как-то с одним проезжим чуть не подрался. Тот говорит одно, а Игорь другое: подшипник у тебя полетел. Ну тот и разозлился: мальчишка, а учит... Или — набедокурят чего-нибудь в школе. Кто сделал? На него свалят. Ну, а он и не откажется, только глазами моргает...

— Почему?

— А такой уж. Смеются ребята над ним, вроде как бы дурак, а ему в компанию хочется. Может, мол, тогда примут.

— А почему вещий-то? — пытался выяснить я.

— А кто знает... Вякнули — и пошло. У нас ведь здесь без прозвища не живут, вроде бы уже и не человек без прозвища-то... Старуха какая-то, богомолка, к тете Матрене вон приезжала, вместе они в церковь ездят, наслушалась его, еще маленького. «Берегите, — говорит, — Игоря. Он у вас вещий...» Много она еще чего-то говорила, не разберешь-поймешь... Ну, вещий так вещий. И привязалось. Хотя никто толком и не знает, что это такое...

В классе, наверное, еще в седьмом был Игорь на голову выше меня, а в плечах — вообще мужик; топор и пила казались игрушками в его руках, но он по-прежнему был таким же бесхитростным и открытым, как и в детстве, когда я с ним только познакомился...

Одно время долго, несколько лет, не приезжал я к родителям. И вот снова иду по тихой городской, похожей на деревенскую, улице. Казалось, ничто не изменилось тут, только еще ниже стали дома да еще пустыннее округа.

В ожидании, когда придут с работы брат с сестрой, я, как всегда, принялся за дрова.

Вышла мать:

— Да брось ты, отдохни с дороги, перед соседями аж неудобно, не успеешь приехать — за дрова.

— Игоря что-то не видно. Уехал, что ли, куда?

— Уехал, — вздохнула мать. — В тюрьме он.

И я поймал себя на том, что не особенно-то удивился этому.

— Кого-то по пьянке избили. Говорят, что он как раз и не бил. Остальные-то сразу поразбежались, женатые уж, а он здоровый, а ум-то детский, принялся доказывать, спорить, а пьяный-то он плохой, как и отец... Ну и потом, на суде, взял все на себя. Выгородил дружков, потом уж, в тюрьме, говорил: у них, мол, дети... Водка все. Безотказный, хоть на работу, хоть на водку, дружки и втянули. Душа нараспашку, что в уме, то и на языке. Похвалят, и рад стараться. Как был вещий, так вещим и остался. Ребята смеются, а не думают, что, может, завидуют ему. Девчонкам вроде неловко с ним. Вот и связался с забулдыгами. Год уже скоро, как сидит. И там, в тюрьме, уже, Маша ездила, его избили, кого-то защищать полез, в лазарете, говорит, лежал.

И в каждый следующий приезд я уже не заставал Игоря — он сидел во второй, в третий раз...

— Выйдет — месяц, другой — и опять в тюрьму! — сокрушалась мать. — Пока трезвый — ласковый, отзывчивый, не как отец, мухи не обидит. Мимо идет, обязательно о здоровье распросит, поинтересуется: может, помочь чем надо? И дома все переделает, и соседям: на сеном ли ехать, за дровами — безотказный! А как выпьет — ну чисто отец. Да еще и пострашнее. Как-то с ним, с Николаем, схватился из-за матери, так тот едва убежать успел. В третий раз из-за отца, считай, и попал. Только пришел из заключения, веселый, в новом костюме, там заработал, а отец бутылку на стол: как же, радость, сын вернулся... Ну, выпил он — и на улицу. А там драка какая-то. А разве пройдет он мимо, да он словно издалека чует, его туда как магнитом тянет... Ну, и опять все разбежались, а у него две судимости...

В позапрошлую поездку я, как всегда, колол дрова. Неожиданно подсел ко мне здоровенный улыбающийся парень; несмотря на мороз, был он в одном пиджаке, и такая открытость, такое добродушие на лице, что начал меня даже слегка раздражать.

— Помочь приехали? — широко улыбнулся он. — Надо. Старые родители-то уже. Я вон все смотрю на мать — и минуты отдыха себе не дает, вот что значит деревенский человек... Не узнаете меня? Да Игорь я, сосед ваш. Впрочем, как узнать — давно не виделись, приезжаете редко, а я... все в длительных командировках, — хохотнул он. — Как здоровье? Слышал, прибаливали...

— Да теперь вроде бы получше, — неуверенно ответил я. — А... ты как?

— Как я? — усмехнулся Игорь. — Вот опять «отслужил». Уже три раза, сам удивляюсь. Выйду, не успею оглядеться, смотрю: уже опять там... Как выпью, так там.

— Так, может, бросать надо, — осторожно сказал я.

— Надо, конечно, — серьезно согласился он. И впервые в его глазах я увидел резкую и пронзительную боль, но она, как искра, лишь мелькнула, так быстро он ее заглушил. — Люди здоровье берегут, а его нет как нет. А я вроде бы специально гублю его, а оно у меня — словно на десятерых. Неловко даже. Вон все болеют, даже моложе меня. А я... И били меня не раз смертным боем, и на работе ломался — и ничего мне, — удивленно покачал он головой. — Подурил... Посмешил людей... Да уж больно они любят посмеяться над другими... А я помню наши разговоры за жизнь, — улыбнулся он мне. — Вы отдыхайте, расколю я дрова-то. Если уж только в охотку вам — тогда ладно... Я люблю дрова колоть, да еще если морозец. А вот пилить — нет. А вот еще люблю косить, когда роса, на рассвете. А вот грести — нет, лучше я уж тогда с вилами... Обидно порой, жизнь стороной летит, а я добровольно от нее за колючую проволоку. Зачем живу — не знаю. И никто не скажет, каждый только стакан сует. Людям хоть не делай хорошего, сделал — сразу стакан к носу. Как тут бросишь? Бросать, конечно, надо. Только вот как-то не получается. Как будто кто водит мной: как только унюхал этот запах сивушный, так и забыл все. Или уж я родился какой-то не такой? — горько усмехнулся он. — Может, и впрямь шалопутный?.. А водка, будь она неладна, хоть на улицу не выходи...

— Да как ты втянулся-то?

— А черт знает! Да и как не втянуться. Родитель-то мой — какой пример. Да и куда ни пойдешь — выпивка. Хоть к родным, хоть к друзьям. Посадка картошки, копка, праздник, поминки... Водки разве минуешь. А выпью, я — не человек, ничего не помню, потом кажется, что не обо мне рассказывают. Слушаю на суде — как будто о ком другом мне читают. И в то же время ведь всем известно, что я из-за водки сидел, но опять в рот суют. Начинаешь отнекиваться — ты что, ненормальный, что ли?! А выпью, — продолжал говорить он удивленно, — словно кто другой в меня вселяется...

Я смотрел на него, и не верилось, что он уже тянул столько сроков — в сумме больше десяти лет, никак не походил он на закоренелого лагерника, много я повидал их на своем веку, чем-то они все, самые разные, похожи: какая-то замкнутость и настороженность в лицах; какая-то нервность — откладывает на человека отпечаток этот «санаторий»; а он, Игорь, никак не был похож на них: веселый, открытый, широко распахнутые радостные глаза, голубая рубашка, так подчеркивающая его красоту и силу...

Я обратил внимание на его руки — в свежих порезах; мелькнула нехорошая мысль: неужели опять?..

— А-а, вчера, — отмахнулся он, перехватив мой взгляд. — Иду через пруд. Слышу — кричат. То ли бьют кого, то ли еще что. Ну, думаю, надо уносить ноги — опять в историю попадешь; судимости, как псы, следом тянутся — никуда от них не денешься. Но больно уж кричат. Вернулся. А это ребятишки. Лед слабый, чуть присыпало снегом, они и обманулись — угодили в полынью. Все орут, а толку. Ну что, едрена мать, тут все ясно: там враги, а здесь наши — надо лезть. Одного-то сразу вытащил, а другого успело под лед заволочь. Я головой лед-то, головой, до сих пор словно с похмелья гудит, как бы чем тяжелым по ней ахнули. Ну, схватил я их обоих под мышки — и в котельную, баня-то рядом там. А тут милиция подкатила, позвонил им кто-то. Корреспондент приехал; пока я сушился — давай было меня фотографировать. А мент — ему: «Да у него ж три судимости!» Они, менты, все меня знают. Тот: «Не может быть?! Жалко!.. Такой фотогеничный парень!» А и смеюсь: «Факт! Как три ордена. Только все равно сними меня, не для газеты, на память, а то у меня все фотографии только анфас да профиль, да и те все в дела подшиты». Не стал, сука, убежал сразу. Смех один. А мать-то — этих ребятишек — повисла на мне: да как отблагодарить, да как? Да никак, да отстаньте вы все от меня: что и, ради благодарности лез! А кто-то из истопников кричит: да ты водки ему купи, что ему еще-то, литра два, вот и хорошо будет! Так она сегодня на самом деле притащила. Я ей говорю: зачем? А она плачет и сует. За дверью вон бутылки стоят. Может, пойдем — одному-то неловко?..

— Да нет, Игорь, — виновато начал я, — не пью я...

— Да знаю я... Так ведь стоят же... Вроде бы мертвые, а как морзянку, что ли, отстукивают: мы тут, мы здесь... Сейчас пить — на работу идти, опять в какую-нибудь историю попадешь. А оставить?.. Где это видано! — хохотнул он. — Стоят, суки, как мины, ждут своего часа...

— А где ты работаешь-то?
— Да так... — замялся он. — Разнорабочим. За руль-то меня не пускают. А может, зря... — усмехнулся он. — Руки просятся. Иду на днях мимо универмага—«Москвич», ключи торчат. Думаю: ну, что ты, голубь сизый, ворон ловишь, толкаешь меня на преступление?! Сейчас заведу — и... Да не нужна мне эта консервная банка, я бы лучше КрАЗ... — Он помолчал, вздохнул. — За руль тянет — аж зубы сжал, так хочется прокатиться! А докажи потом — вмиг угон состряпают... Ладно, пойду я...
— Ну, ты уж сейчас-то не пей...
— Да нет, — засмеялся он. — Пусть стоят, тоскуют, никуда они от меня не денутся. Пусть помучаются, пусть знают, как нам иногда терпеть приходится. Я-то вытерплю, пусть они потерпят...

Недавно я снова навестил родителей. Опять колол дрова. За день перездоровался со всеми соседями.
— Приехал? — спрашивали они.
— Приехал, — отвечал я.
— Ну и хорошо, — говорили они.
Стало темнеть. Я вытащил лампочку-переноску — до отъезда хотелось покончить с дровами. Конечно, расколят и без меня, есть кому, но, может быть, хотелось, чтобы, как в детстве, мать похвалила.
Вышла мать:
— Эк какую кучу наворотил! Да хватит, поздно уже. Отдыхай, ребята докончат.
— Что-то Игоря не видно. Опять «служит»?
Мать отвернулась, утерла краем платка слезы.
— Убили Игоря... Уже полгода почти... Думала, потом тебе скажу... Болела я тогда сильно. С месяц на улицу не выходила. А в тот день отца нет и нет с работы. Ну, думаю, опять какая-нибудь история. Взяла клюку, выбралась за ворота, села на лавочку. И Игорь идет, веселый.
— Здравствуй, тетя, давно что-то тебя не видно.
— Да болею вот.
— Самого ждешь? Да придет, никуда не денется. Не переживай. На-ка вот к чаю.— И сует мне в руки конфеты. И во все карманы насыпал. И еще норовит дать.
— Да что ты, Игорь! Небось, девкам купил, а меня, старуху, балуешь.
— Девкам я еще куплю. Девки, они дуры!.. Иди домой, не мерзни тут, иди ставь самовар. И пей чай с конфетами. Сразу согреешься... Может, помочь чем надо? Ты не стесняйся, соседи ведь. Я мигом.
— Да нет, Игорь, спасибо...
И тут почувствовала я, что припахивает от него.
— Да куда ты, Игорь, такой на ночь глядя собрался?
— Да к ребятам надо сходить, наказывали.
— Не ходил бы, не денутся никуда твои ребята.
А тут вышла тетя Матрена. И она тоже:
— Опять ты, Игорь, выпил. У самой — такой же, вроде бы грех мне тебя судить, но у меня хоть тихий... Не ходи! Нельзя же так! Бога побойся. Сейчас пойдешь — и опять что-нибудь случится. И свалят опять на тебя. Снова ведь попадешь. Я вон шла даве, у винного магазина колготня, прямо как за хлебом в голодный год. Получка ведь сегодня, не ходил бы ты лучше. Сердешный ты, всех жалеешь, так матерь бы свою пожалел.
— Тетя Матрена, я ученый уже... Я стороной...
— Не ходи, Игорь, я тебя богом прошу!..
— Тетя Матрена, у меня к тебе дело есть. Давно собираюсь. Только не отмахивайся, выслушай. Я серьезно. Я не шучу... Ты окрестила бы меня, что ли... — говорил он торопливо; и вдруг заплакал, горько и навзрыд. — Я на все готовый... Может быть, потому я такой несуразный, шалопутный... Все от меня, как от холеры... Я серьезно, тетя Матрена, на самом деле, может, окрестила бы...
— Да что ты, Игорь! — перепугалась тетя Матрена.
— Ну вот, — махнул он рукой, — ты и обиделась... Эх ты!..
А на другой день его убили. Отпустило меня немного. Я еще подумала: увижу Игоря, посмеюсь — это, наверно, с твоих конфет... Потащилась до магазина, не то чтобы уж больно надо, а так — хоть на людей поглядеть. Смотрю: у автобусной остановки мужик лежит, а все в автобус лезут, и дела никому нет. Я подумала: уж не отец ли? Ноги подкосились, подхожу, а это — Игорь... Так и не выяснили ничего толком. Одни сказывают: угораздило его кого-то разнимать. А вон Тимониха говорит: сноха видела — шла мимо какая-то большегрузная машина с дальними номерами. Ну, у магазина красный свет и переехала: какой, мол, у вас тут город. — напугала ребятишек, грязью окатила. И тут окажись Игорь пьяный. Ну, и полез к тому в кабину доказывать. Тот — на газ, а от Игоря так просто не отцепишься, повис он у него на подножке и отбирает руль. Тот за угол-то оттянул — да монтировкой его!..
Вот какие дела. В милиции-то, видно, не больно и выясняли. Там, небось, обрадовались, хоть одним меньше, замучились они с такими-то... А у меня он все в глазах стоит. Как вспомню — и опять ходить не могу. А недавно полезла в карман фуфайки, а там — конфеты его... Как что — в слезы. Вон и отец уж на меня: нашла по ком плакать...

И я тоже — сколько уже времени прошло, но не выходит у меня из головы этот вешний Игорь...

ПОЭЗИЯ



ГЕННАДИЙ СТУПИН



РАДИ ГРЯДУЩЕГО — СЛОВО БЫЛОГО

В Рассудовском лесу

Здесь, где люди случайны и редки
И не всякому жить по плечу,
Я, как все мои честные предки
В безымянных могилах, молчу.

И, холодную левую руку
Сжав горячею правой рукой,
Всю немую я чувствую муку
Их, ушедших на вечный покой.

Тьма веков надо мною клубится,
И сквозь этот клубящийся мрак
Проступают в лице моем лица:
Дьяк, художник, гончар и бурлак...

И из той бесконечной могилы,
Где бессчетные Ступины спят,
Все когда-то кипевшие силы
Переходят в меня и кипят...

Как бы спал я здесь, горя не зная,
Если б рядом не ты, моя мать,—
Четверых в нищете поднимая,
Не могла, не умела ты спать.

Иль не вынес бы ночи бурливой,
Если б рядом не ты, наконец,
Как и в жизни всегда молчаливый,
Вечно в землю глядящий отец.

И ни в жизнь не соривший словами,
Ступа где-то молчит,
думный дьяк...
Спите все вы. Недаром ночами
Я не сплю и молчу вместе с вами
И, вперяясь в толпящийся мрак,
Затяну вдруг,
как в лямке бурлак...

*О личной жизни**

Я живу теперь дерева вроде,
Личной жизни — совсем никакой.
И пишу больше все о природе,
Наблюдая ее день-деньской.

Далеко и друзья, и родные,
И от нужных людей — был таков.
Только слушаю шумы лесные
В ожиданье великих снегов.

* Стихотворение опубликовано в книге «Ясная моя судьба» не полностью. Мы восстанавливаем первоначальный авторский текст.

Стали лишними многие вещи,
Даже книги почти не нужны.
Все гляжу, как темнеет зловеще
Небо с северной стороны...

А когда одиноко мне очень,
Выпью чаю погорячей
И пойду в эту темную осень
Я любою дорогой моей.

Потому что любая дорога,
Полем, лесом ли, вдоль реки,
Приведет меня, близко ль, далеко,
На бесчисленные огоньки.

Где живут испокон и вовеки,
Этой доле до гроба верны,
Люди русские, человеки —
Личной жизнью великой страны.

И, от собственной жизни свободен,
Буду думать, счастливый такой:
Это, видимо, в русской природе,
Это, может, бессмертия вроде:
Личной жизни — совсем никакой.

* * *

...Где дом мой? Где моя семья?
Родимый край степной?
Живу один безвестно я
Меж небом и землей.

Поют чужие соловьи,
Казенная постель...
Где жажда славы и любви?
Где страсти дикий хмель?

Поют чужие соловьи,
Лягушки вторят им...
Где гордые мечты мои?
Развеялись, как дым.

Где жизнь моя? На всей земле.
Где счастье? В небесах.
В остывшей копошусь золе
С печатью на устах.

Осталось мне с десяток лет,
Дорога в три версты,
Да этот ясный божий свет,
Да чистые листы.

Лишь времени беззвучный гром
В седеющем виске.
Лишь воля думать обо всем
На русском языке.

О бесконечность дум моих...
Благодарю, судьба,
За высшее из благ земных —
Свободу от себя.

Смерть грузчика

Было свежее солнечное утро.
Народ шел с электричек и автобусов на работу.
А он лежал около дороги на пыльной траве,
Вытянувшись, выгнувшись и тяжело дыша...

За двенадцать часов ночной смены
Он переворочал более шестидесяти тонн груза —
Двадцать рублей по наряду и пятнадцать наличными.
И выпил бутылку «Старорусской».

К нему подходили, пытались помочь.
Не замечали. Говорили: человек умирает.
Кто-то побежал звонить в «скорую».
А он вдруг стал черный, со стеклянными глазами.

Все отошли от него,
Тихо переговариваясь и качая головами.
Спрашивали: кто его знает? Никто не знал.
Говорили: пить надо меньше... а жена небось ждет...
Наверное, и дети есть... И все шли на работу.

Приехала «скорая». На носилки вместе с ним
Положили маленький дерматиновый чемоданчик,
В котором были шоколадки и вишни для детей,
Хороший кусок мяса для жены
И две бутылки пива на похмелку.

Когда вечером народ шел с дневной смены,
Около дороги на пыльной траве никто не лежал.
Кто-то сказал: сегодня утром здесь кто-то умер.
Был свежий солнечный вечер,

Апрель

Выбеленный, из-под снега, бурьян,
Ломкий, сухой,
как столетние кости
На половодьем размытом погосте,
И над могильною сыростью ям
Воздух качается, вечностью пьян.

Солнце не греет почти,
лишь слепит.
Остановившись пред самым
заходом,
По перелескам, оврагам и водам,
Золотом все пронизая, скользит
И по ту сторону жизни сквозит.

Тенью прозрачной, холодной,
пустой
Жизни, отжившей давно и забытой,
Той, разоренной, спаленной,
убитой,
И похороненной с музыкой той —
Только бурьяна скрипит сухостой.

И на задворках мальчишки траву
С криками радостными поджигают,
С треском расходится пламя
кругами,
Слабо колебля теплом синеву...
Что-то мерещится мне наяву.

Все повторяется в мире... Молчу.
Голову кружит весенним простором,
Светы и тени слились
перед взором.
В тихом смятении мыслей и чувств
Не шелохнусь,
только сердцем стучу.

И, угасая подобно лучу,
В воздухе быстром,
от солнца белесом,
Над пробужденными полем и лесом,
С духом последним собравшись,
лечу —
Кануть и вновь воплотиться хочу...

* * *

Как лик луны за дымкою летучею
То прояснеет, то померкнет вновь,
Так и моя, то радуя, то мучая,
Мерцает одинокая любовь.

Безмолвная, вовеки несказанная,
К тебе, моя родимая земля,
Повергнутая многажды и заново
Встающая из мрака и огня.

К тебе, то разудалый,
то тоскующий,
То горько и беспамятно хмельной,
Но вечно правды истово
взыскующий,
Все превзошедший мой народ
родной.

На мировом стоишь ты раздорожии,
Открытый всем друзьям
и всем врагам...
Я жизнь свою кладу тебе
в подножие,
И ляжет смерть моя к твоим ногам.

Пусть всходами она взойдет
могучими,
Моя в тебя впитавшаяся кровь.
Как солнца лик
за мчащимися тучами,
Горит, горит твоя ко мне любовь,
То убивая копиями жгучими,
То ясным светом воскрешая вновь.

□ □

* * *

О мои ночи, бессонные ночи...
Ночи безумья и ночи прозренья,
Ночи отчаянья и воскресенья,
Ночи молчания и откровенья...
Ночи, когда больше нет моей мочи
И восстают мне на помощь все мощи.

Рядом встают они, словно живые,
Мощи замученных всех и убитых,
И торопливо и молча зарытых,
Всех безутешно почивших,
забытых —
Все мои мощи святые, родные,
Заполонившие глуби ночные...

И над раскрытой земною могилой
Очи, степные огни или звезды
Льют мне свои неизбывные слезы,
Веют несбывшиеся свои грезы —
Полнит нечеловеческой силой
Давнее, дальнее родины милой...

Древней, старинною и незабвенной
Болью, любовью сжимает мне
сердце,
Словно полынною горечью детства,
И никуда от нее мне не деться —
От этой памяти вечной, нетленной,
В тесной ночи,
в бесконечной Вселенной.

И в полумраке рассвета немого,
Весь от страданья бесслезного
каменный,
От ожиданья бессонного пламенный,
День упреждая слепой
и беспамятный
В виде встающего града иного —
Мощи поправшего, — снова и снова
Молвлю я тихое твердое слово,
Ради грядущего — слово былого...

□ □

Заклинание

Помоги мне, о ночь огромная,
Земляная, лесная, темная
И луною со звездами светлая,
Помоги мне, сила несметная!
Вся невидимая, молчаливая,
Необидимая, терпеливая...
Все родимые мощи зарытые
И все души, в небо завитые...
Заблудился я, изнемог на земле,
В пустоте этой тесной,
в слепящей мгле!..

Ты раздайся, ночь,
не вперед — хоть назад,
Дай мне бросить на путь мой
последний взгляд...
Ты верни мой миг на круги времен,
Чтобы зрел я мир,
а не страшный сон...
Ты промой мне кровь
ключевой водой,
Воскреси любовь лучевой звездой...
Дух верни душе и разум — уму,
Чтобы на рубеже зрел я свет
и тьму...
Дай покой страстям и вере —
оплот...
Или душу — к чертям!
И собакам — плоть.

Опять...

Опять над Россией вороны,
Как тучи, кружат и кричат,
Чужие дымы и знамена,
Как змеи, встают и шипят.

Да сколько же, сколько же можно
Пытать эту светлую даль
И хаять и застить безбожно
Ее вековую печаль!

За то, что без жалоб приемлет
Свою роковую судьбу
И с горьким терпением внемлет
Любому лжецу и врагу.

За то, что всем бурям открыта
И только на небо глядит,
И что до сих пор не убита
И душу живую хранит.

И ни на кого не похожа,
Несоизмерима ни с кем.
И если поругана — тоже
Сама виновата... Зачем!

И если не вынесет больше
Неправды и злобы, о Боже,
Что станет со всеми, со всем...



ПРОЗА

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

КРАСНОЕ КОЛЕСО

ПОВЕСТВОВАНЬЕ В ОТМЕРЕННЫХ СРОКАХ

Узел II

ОКТЯБРЬ ШЕСТНАДЦАТОГО

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

РЕВОЛЮЦИЯ

19′

(Общество, правительство и царь — 1915)

С первых дней этой войны кадеты попали в неожиданное и сложное положение. Даже не в днях первых, а в самых первых часах всеобщей мобилизации во всенародном и даже общественном настроении властно проступил тот самый «патриотизм», которым до сих пор бранились и о котором даже думать забыли как о реальности. И выступить против этой войны, как выступали против японской,— сразу оказалось невозможным. И невозможно стало вообще поносить правительство, как делали всё время,— потому что оно внезапно оказалось популярным. И кадетским лидерам оставалось определить:

Да будут забыты внутренние распри. Да укрепится единение царя с народом.

Не возомнить, что кадеты полюбили царя, но уже формировался у них проницательный дальний расчёт: вступив в войну в союзе с Англией и Францией, русский император сам себя отдал в руки великих западных демократий, и будущая победа будет — уже не царя, но — свободной русской общественности. Довольно быстро кадеты сообразили и нашли даже вкус в патриотизме: не в примитивном дикарском смысле — к России как обиталищу русского духа, но — к государству, крепко сколоченному, твёрдо ставшему, в котором есть где пожить и есть чем поуправлять, войдя в наследство.

Отложим наши споры... Удержать положение России в ряду мировых держав...

Неяркий, но в своих средних решениях упорнолобый, Милюков протолкнёт черезо всю войну:

Константинополь и достаточная часть примыкающих берегов, Hinterland... Ключи от Босфора и Дарданелл, Олегов щит на вратах Царьграда — вот *заветные мечты русского народа* во все времена его бытия.

Ну и добавочно:

Защита культуры и духовных ценностей от варварского набега германского милитаризма. Эта война — во имя уничтожения всякой войны.

Продолжение. Начало в №№ 1, 2 за 1990 год.

И Милюков с Пуришкевичем в Думе публично обменялись рукопожатием.

Но так безотказно поддержав свою ненавидимую отечественную власть, в какое же кадеты попали положение? — идти в хвосте за правительством? Немыслимо! К такой роли они не привыкли! Значит, у них не было теперь иного выхода, как опередить правительство в патриотизме и даже в самой борьбе с германским милитаризмом. И даже оттеснять правительство от многого, что связано с войной (не от ведения военных действий, конечно), и тем временем захватывать повсюду как можно больше видных мест.

В соревновании перехватывать себе отрасли вокруг войны помогли Земский Союз и новосозданный Союз Городов (вскоре почти слитные под именем Земгора). В чрезвычайной атмосфере первых дней войны они получили у Государя разрешение на помощь больным и раненым воинам на государственные средства — и при этом оказались не связаны никакими формальностями в расходовании казённых денег, ни отчётами, ни сметами, ни штатами, ни размерами окладов, — ибо не могли допустить государственных контролёров из общественной гордости. Они необузданно платили своим служащим в 3—4 раза больше, чем на таких же должностях у казны. А так как работа в Союзах ещё и освобождала от военной службы, то они быстро и беспрепятственно набирали численность. Ещё Союзы сами выбирали и области работы, дающие наибольший внешний эффект и симпатии общества, а казне невыгодно доставалось обслуживать всё подряд. Правительство не смело препятствовать, уже так довольное общественной поддержкой.

И ещё не все были исчерпаны у кадетов возможности, как постепенно подрывать престиж правительства. Например, им неплохо удалось превратить в издевательство сухой закон. В первые дни войны, создавая очищенную народную атмосферу, Государь распорядился отменить (государственную монопольную) продажу водки в России. Это собрало правительству всенародное сочувствие. И тогда кадеты публично предложили: а пусть правительство запретит и всем частным торговцам всякую продажу всякого вина, даже и слабого виноградного. Расчёт был: если правительство откажется, значит, оно покажет, что с водкой лицемерило, но хочет спаивать другими средствами, чтобы увеличить доход с акциза. Правительство — клюнуло приманку и согласилось, был провозглашён запрет всеобщий. Но так создалась, выяснилась с месяцами всеобщая нелепость: торговля вином лишь была загнана в тайную продажу, озлобляя многих.

Такие манёвры то и дело представлялись кадетам, иногда местные, и они их нигде не упускали.

И всё же несколько месяцев вынужденная лояльность кадетов была поразительна — правда, тем облегчена, что не было в стране ни студенческого движения, ни социалистического, все сидели тихо, кроме единственной большевистской фракции Думы. И когда в феврале 1915 её судили (по обвинениям совсем пустяшным: составление прокламаций — «смести с лица земли царское самодержавие! за горло его и колено ему в грудь!», «у нас нет врагов по ту сторону границы», для России благо, если победит Германия, шифры, фальшивые паспорта и подготовка вооружённого восстания) — кадеты удержались от своего постоянного долга влево и не вступились за судимых депутатов.

И, как всё-таки принято в людском общении, имели они право за такую долгую лояльность ожидать и каких-то ответных уступок от власти: укрепления Думы, благожелательного акта евреям, амнистии революционерам. Но не последовали ни амнистия, ни благожелательный акт. Кадетского подвига власть не вознаградила.

А так далеко вклинились между российским обществом и российской властью — раздор, недоверие, подозрение, хитрость, в таком взаимном разладе они вступили в войну, что даже оба теперь желая победы, подозревали другое в пораженчестве.

Что война сразу потекла дурно — долго не ведали думские круги, заставленные щитами сводок о наших блестящих победах в Галиции. И когда Гучков первый, ещё осенью 1914, приехал из Действующей армии и привёз преувеличенные вести, что всё разваливается, что война «уже почти проиграна»,— вечно оппозиционные кадеты не поверили этому разгорячённому бретёру, постоянному хвастуну в знании армейских дел. Только к январю 1915 через бюджетную комиссию Думы стали они что-то узнавать и понимать о недостатках со снарядами и снабжением. Но и на закрытых заседаниях комиссий жизнерадостный, упоённый собой Сухомлинов напевал так же несмущённо, как всё в армии хорошо. В январе 1915 на кадетских закрытых заседаниях уже

было решено, что конфликт с правительством возобновляется. Но на открытой сессии Думы — насмешно короткой, трёхдневной, чем выражало правительство, что не нуждается в Думе,— Милюков сохранял прежде взятую линию: хотя правительство и пользуется перемирием с оппозицией, чтоб укрепиться во внутренней политике,— а кадеты не вступят в публичную борьбу: не подрывать бодрость армии, не давать пищу злорадству противника.

Это был уже не тот Милюков, приглашавший студентов к террору (с тех пор и ему ведь грозили покушениями, а это совсем не приятно) и примирявший конституцию с революцией,— погосударственел он и сильно поосторожнел. Да и нехотно было идти на штурм власти, когда так немо молчали студенты и так пугливо социалисты. Кадетам приходилось занимать первый ряд?

Коротка была январская сессия, но Дума ещё и не настаивала на долгих: при длящемся перемирии с правительством думцы сами не знали, как вести себя. Однако в мае вернулся с фронта председатель Думы Родзянко и нарисовал уже такую картину грандиозного отступления — едва ль не до Западного Буга! — что стало невозможно дальше молчать: правительство явно губило Россию — и не *заговор* ли это был? Нарочно отдать страну под немецкий сапог, чтобы подавить общественность? Один за другим тут сдали и Перемышль (взятие которого праздновали так недавно и так необдуманно, с поездкою самого Государя), и пресловутый, столь отпразднованный Львов. Ещё как бы в насмешку возглавлял правительство никто иной, как двубородый царедворец Горемыкин — ослабелый 75-летний старик, он никак не умирал, непотопимый статс-секретарь: он был министром внутренних дел ещё до Столыпина, до Плеве, до Сипягина,— но тех всех убили подрид, а он, чередуясь с обречёнными, не попал ни под одну революционную бомбу — хотя разогнал 1-ю Думу. И теперь, как старая шуба, вынутая из нафталина, снова был в употреблении. Всех поражало, что во главе правительства в такое грозное время — дряхлый старик.

Современникам не бывает известна тайная подкладка правительственных перемещений. Прошёл, правда, в обществе слух, что министру земледелия Кривошеину не раз предлагали быть министром-председателем, и как будто многие были к тому данные, и в кабинете он состоял уже семь лет, дольше всех, — а вот почему-то не он.

И действительно, это было собственное решение Кривошеина — не принять место премьера, предложенное ему уже не раз. И даже к этой проблеме — единосогласного кабинета, он имел касательство самое внутреннее и давнее: это он был автором проницательной докладной записки Государю летом 1905 года, ещё до взрыва революции: в русском правительстве все министры рассогласованы, каждый из них подчиняется непосредственно царю и на короткое время после доклада как бы выражает высочайшую волю и тем менее считается со своими коллегами. Это напоминает состояние правительства Людовика XVI в момент созыва Генеральных Штатов. Между тем созываемой Думе должна быть противопоставлена сильная объединённая власть, и недопустима оппозиция правительству в нём самом. Тень революционной Франции произвела впечатление на Государя, он чуток был к истории, и он хотел это условие включить в Основные Законы 1906 года — однако снова колебнулся, отговаривали, не включили,— и правительство поплыло дальше без неотклонимого регламента. (Да если правительство будет жёстко объединено — то не оказывался ли самодержец в стороне?..)

В кругу русских государственных людей Кривошеин был фигурой выдающейся. Не принадлежа к высоким ветвям и не имея высоких знакомств, всем своим восхождением он был обязан лишь собственным талантам и усилиям. На правительственной службе он состоял уже так долго, что казался «бюрократом по крови». Но совпадая с другими в погоне за успехом, болезненном переживании неудач, он отличался от них большим политическим смыслом, жаждой делать крупные дела,— плодоносный государственный тип. Вместе с тем он и знал пределы своего возможного взлёта: у него не было столыпинской воли творить Историю, стать вождём. Итак, при его осмотрительности, тонком чутье, он избегал занять самое первое место (да оно и стягивает людскую зависть и ненависть), но избрал находиться близко к нему, чтобы сохранять преимущества реальной власти. Его характер был — направлять события, но не брать полной ответственности за них, не имея уверенности в полной удаче, да ещё зная ненадёжность царского характера. Кривошеин имел поразительную чуткость угадывать смены настроений и авторитетов, благовременность шагов и действий. Он слыл устойчивым консерватором, был лично хорош с бюрократией, с придворными кругами, с каждым, кто становился влиятельным, даже стал близок царской чете, мил императрице (через

русские кустарные промыслы), доверенный советчик царя (и это он написал возвышенный царский манифест об объявлении германской войны), — но и, когда-то верный сподвижник ненавистного обществу Столыпина, с годами всё более приятен и приемлем для общества, а с крутым своенравным московским купечеством так и прямо связан через жену, Морозову (одновременно и обеспечен денежно всегда). Он был готов и к Столыпину, с 1896 года уже возглавляя Переселенческое управление, и к его земельной реформе (он раньше Столыпина уже работал в кругу этих проблем, но не имел волевого решения избрать спорящую сторону), и после смерти Столыпина много лет честно дорабатывал и реформу общины, и укрепление земледелия и землеустройства, и переселенчество, и довёл их за зримый победный перевал,— но при этом широко и доверчиво использовал общественную самодеятельную помощь, в земстве доверял «третьему элементу», и тем благорасположил общество, особенно же своим небольшим киевским тостом в 1913 году:

> В таком огромном государстве, как Россия, нельзя всем управлять из одного центра, необходимо призвать на помощь местные общественные силы и в их распоряжение предоставить материальные средства. Я считаю, что отечество наше лишь в том случае может достигнуть благоденствия, если не будет больше разделения на пагубное «мы» и «они», разумея под этим правительство и общество, а будут говорить просто «мы» — правительство и общество вместе.

Он искал выход из конфликта, действительно основного для России с XIX на XX век: как прорвать органическое непонимание правительства и общества? Он решался стать посредником между ними. (Впрочем, кадетская «Речь» увидела в этом призыве бессилие и капитуляцию правительства. И министр-председатель Коковцов тоже выговаривал за него как за капитуляцию.) Ещё умел Кривошеин, 7 лет министром, сохранять лучшие отношения с Думой, через личные отношения с влиятельными депутатами, и получать кредиты для земледелия,— и ни разу не выступить в самой Думе: в таком бы выступлении пришлось бы чётко формулировать взгляды и действия, а значит не угодить либо обществу, либо Верховной власти. А Кривошеин достигал невозможного: одновременного доверия и Государя и Государственной Думы!

Весть об убийстве Столыпина застала Кривошеина в Крыму, на даче. Его положение в кабинете было уже настолько видным, что он мог теперь ждать предложения занять пост премьера. Но — не хотел бы его принять. Однако в тот момент и отказаться было крайне неудобно: это выглядело бы как боязнь террористов. А Государь как раз ехал в Крым! Кривошеин же поспешил разминуться с ним, умчавшись в Киев на похороны.

Но то же самое увенчание карьеры было предложено ему Государем в Ливадии через 2 года — и Кривошеин уже открыто отказался, сославшись на болезнь сердца, что придётся публично выступать, а он слишком волнуется во время выступлений. Роковую черту высшей власти он переступить не посмел, у него не хватало дерзновения. А между тем уже становилось тесно ему в кабинете под рукой сухого Коковцова, и к тому же Коковцов, как министр финансов, более всего заинтересованный не в развитии производительных сил страны, но в накоплении мёртвого золотого запаса, отказывался широко кредитовать развитие земледелия и землеустройства («такая бережливость разорительнее самых безрассудных трат», — говорил Кривошеин). Чтобы сменить финансовый склероз развитием, Кривошеину же было и необходимо сменить Коковцова. На путях государственных интриг пригождаются и самые подозрительные карты: вот — правый князь Мещерский, утерявший прежнее царское благоволение, но Кривошеин всегда предвидел, что они снова сдружатся с Государем, из-за сходства взглядов на природу царской власти, и поддерживал субсидиями журнал князя,— и верно, Мещерский вернулся в фавор и теперь помог Кривошеину менять правительство: как министра финансов заменить Коковцова преданным Барком, а как премьер-министра — ?.. Мещерский уговаривал Кривошеина принять пост самому. Но — снова отказался Кривошеин и предложил старика Горемыкина, с которым был в наилучших отношениях ещё с того давнего времени в конце прошлого века, когда министр Горемыкин сильно способствовал продвижению чиновника Кривошеина, а теперь мог занять высокий пост временно, не мешая Кривошеину вести власть в кабинете реально, а если понадобится — то старик и охотно уступит пост премьера. (Настоящей власти после Столыпина никому не дадут,— объяснял Кривошеин близким,— при ревнивой подозрительности Государя премьеру достаётся больше ответственности, чем власти. А Коковцов, почти

повторяя Столыпина: «В России первому министру опереться не на кого. Его жалуют, пока он не выдвигается слишком определенно в общественном мнении и не играет роль действительного правителя.») Вот такой длинной скрытой историей объяснялось, что в начале рокового 1914 дряхлый уступчивый Горемыкин возглавил правительство цветущей могучей России.

В этом правительстве Кривошеин и состоял фактическим премьером, и в конце 1914 ещё усилил свои позиции, введя в министры просвещения либерального земца графа Игнатьева, своего сторонника. (Царь, исключительно памятливый на лица и встречи, согласился охотно: он помнил, как 21 год назад граф Игнатьев, унтером преображенцев, был отличным запевалой после утомительных манёвров. Как вскоре затем и князь Шаховской был назначен министром торговли-промышленности при благодарной государевой памяти, как он в столыпинском сентябре благоустроил речную поездку Государя из Киева в Чернигов по плохосудоходной Десне, а в май 300-летия династии — чудесную поездку по Волге, и к тому же отлично совершенствовал и крымские шоссе, по которым Государя возили с большой скоростью.) Горемыкин преднамеренно выдвигал Кривошеина на первый план и предоставлял ему действовать. По всем крупным вопросам они были согласны до лета 1915 года. Влияние Кривошеина распространилось и на общую политику, и на иностранную (было хорошее понимание с Сазоновым). Он носил звание «статс-секретаря Его Величества», и это давало ему право устных приказаний от имени Государя. Однако в правительстве сохранялась группа министров, никак ему не подчинявшихся или в устойчивой оппозиции справа: Сухомлинов, Николай Маклаков, Щегловитов, Саблер. Внутренний конфликт вёл к тому — в интересах единосогласности правительства — чтоб от этих министров освободиться. На заседаниях кабинета Кривошеин и Сазонов делали вид, что не видят и не слушают Маклакова. Отступление Пятнадцатого года ускорило события.

Полгода войны при сияющем оптимизме Сухомлинова и особенностях управления войсками, от которого правительство было отодвинуто, министры разделяли общее незнание о недостатках военного снабжения. Лишь в феврале 1915 года из частного разговора в Ставке Щегловитов и Барк узнали о катастрофической недостаче снарядов. Тут накладывалось весеннее отступление и возбуждение общественной оппозиции,— и среди министерского большинства возник тайный сговор — энергично убрать министров, ненавидимых обществом, иначе угрожая общей отставкой остальных. Первая мысль о том была Сазонова, а собирались тайно на квартире Кривошеина,— его кружок, и включая морского министра Григоровича, но без Горемыкина. Итак, возник мятеж внутри правительства! — но он казался благодейственным: успешное ведение войны возможно только в примирении правительства с общественностью. Сам Горемыкин не виделся им помехой, и слишком много было бы — просить убрать ещё и его. Все заменительные кандидатуры тотчас представил Кривошеин, он хорошо видел, кого брать.

Государь, хотя был возмущён, что одна группа министров сговорилась за спиной других («в полках так не делают»), но сдался: военные поражения смягчают к уступкам. Он был ошеломлён отступлением от Перемышля и Львова, не хотел ссориться ни со своими министрами, ни с обществом, и авторитет Кривошеина стоял у него высоко как никогда. И как ни сердечно любил Государь Николая Маклакова — он согласился снять его с внутренних дел.

Смена военного министра потребовала больших усилий: Кривошеин поехал в Ставку раньше, чем туда вызывались другие министры, и энергично убедил сперва Николая Николаевича на замену Сухомлинова Поливановым. (Поливанов был настойчивая кандидатура Гучкова, с которым Кривошеин и дружил и был связан родственно.) На июньском совете министров в Ставке, в Барановичах, торжественно распубликованная фотография, все министры в белых кителях,— не присутствовали Щегловитов и Саблер, и тем легче было тут же убедить Государя уволить и их. Горемыкин выполнял волю Кривошеина и тоже стремился к необходимому единству кабинета. Только министром юстиции назначили не кривошеинского кандидата, но горемыкинского — Хвостова-дядю. Зато уж обер-прокурором Синода был назначен Самарин, избранный Кривошеиным по его влиянию в Москве. Но объявленье о смене этих двух было задержано Государем до начала июля.

А ситуация — утекала. В июне кадеты на конференции сформулировали свои обиды на правительство. Военные неудачи и дурная организация тыла шли для них даже на последнем месте, а раньше того наболело: почему оказывается недоверие обществен-

ной помощи, раздражающее наблюдение за сношением интеллигентных работников с нижними чинами (отбираются у раненых книжки революционных лет)? почему так круто гнали галицийское униатство и нет уступок в еврейском и польском вопросах? почему осуждены большевистские депутаты, и террорист Бурцев, патриотически воротившийся из эмиграции, не почтён, но отправлен в ссылку? Кадеты клонились теперь к тому, чтобы начать публично критиковать правительство, главную беду видели в составе его (не насытясь двумя отставленными министрами) и главное излечение в дальнейшей смене лиц: так пересоставить правительство, хотя б из бюрократов, но симпатичных, чтоб оно пользовалось *доверием общества*. (Это был новейший кадетский ход. Словом «доверие» прикрывалось невозможное пока парламентское ответственное министерство. За такое легче агитировать, легче и добиться,— а потом оно постепенно превратится в «ответственное».) Кадеты намеревались теперь настаивать на созыве Думы и длительной сессии её.

Горячие головы предлагали собрать Думу *явочным* порядком, то есть не спросясь властей. Милюков охлаждал:

> Вся Россия сейчас повёрнута лицом в сторону фронта. А если Дума соберётся явочным, революционным порядком — на секунду вся Россия повернётся с изумлением посмотреть на зрелище, которое может радовать только наших врагов. А сама «явочная» Дума будет без труда распущена. И получится бледная скверная копия выборгского воззвания... Или звать на помощь выступление масс? Правительство не отдаёт себе отчёта, что происходит «во глубине России», но мы, интеллигентные наблюдатели, ясно видим, что ходим по вулкану. Характер сохраняемого равновесия таков, что достаточно лёгкого толчка, чтобы всё пришло в колебание и смятение. Это была бы вакханалия черни, новая волна мути со дна, которая уже погубила прекрасные ростки революции в 1905. Какова бы ни была власть — худа ли, хороша, но, твёрдая, она необходима сейчас более, чем когда-либо... Всё, что́ можно сделать, это — раскрыть глаза правительству и обновить кабинет без особого нажима.

Были голоса, что излечение страны — в амнистии революционерам и в кадетском правительстве, но лидеры — В. Маклаков, Шингарёв, Родичев, удержали, что всему тому не время, а надо помочь победе армии, даже забывая чистоту программы.

Отступление армий под Варшавой и едва ли не за Неман казалось современникам ни с чем не сравнимой военной катастрофой. Часть подробностей была в печати, другая нагонялась слухами. И кого же могла обвинить печать и молва, если не бездеятельное, неспособное, а может быть и злонамеренное правительство?

А царь молчал, замеревши в Царском Селе, как будто всё это отступление его не касалось, не на его земле происходило?

И на кого же могла быть надежда, если не на Государственную Думу? Думцы самочинно съезжались в Петроград и требовали длительной сессии.

Тем временем на правительство стали давить и Союзы, Земский и Городов. Всё более видели они своей дальнею целью не столько военную победу России, от которой будет ли ещё прок для свободы, а — занять политические позиции для будущих конституционных изменений. Теперь на своих съездах в июне, требуя созыва Думы, они предупреждали правительство крепчающим голосом:

> Тот, кто умеет работать, — тот и будет хозяином страны.

Усильно распространялось убеждение, что правительство и весь государственный аппарат работать не могут, и всё больше отраслей снабжения фронта захватывали Союзы. И власть, как будто признавая худшее, что о ней думали, безропотно отдавала новые и новые поля деятельности в воюющей стране — самозванным комитетам, не подчиняя их никакому единому руководству. Общественные организации настаивали на своём бескорыстии и своей талантливости — и не было голоса, кто посмел бы усумниться.

Правительство, избалованное 10-месячной молчаливой поддержкой Думы, именно в эти горячие июнь—июль 1915 оказалось обнажённым, упрекаемым и всеми поносимым. В сводках уже появилось Рижское направление, а из угрожаемых Либавы и Риги, из полутысячи их заводов, не вывозили станков (то распоряжался вновь возвышенный Курлов),— в таком раскалении снятие нескольких ненавидимых министров нисколько не ублажило разгневанное общество. 11-го июля Союзы самочинно созвали всероссийский *съезд о дороговизне* — раскалённую сковороду да óплеском! — что ещё

можно придумать жарче против правительства? — общество само собралось обсуждать дороговизну! (Позвали и рабочих.)

И верно, со стороны в отчаяние могла привести беспомощность, неуверенность, бездействие правительства, особенно в хаосе прифронтовых областей при отступлении. Невозможно было изобрести объяснение, и никто не давал его услышать гласно.

Мы ещё мало ведаем, как многое в великой истории народов зависит от ничтожных людей и ничтожных событий. В марте 1914 российский военный министр, болтун и царедворец Сухомлинов (более занятый капризами своей молодой красивой жены, чем обороной империи), рекомендовал императору назначить на пост начальника Генерального штаба — своего выслуженца, профессора военной администрации, вкрадчивого лже-военного генерала Янушкевича. Как всегда при нашем троне, такие важнейшие назначения легко решались по расположению к просящему, не слишком сообразуясь с качествами, нужными для должности. Этот ничтожный самоупоённый Янушкевич начерпал России столько зла, что достало бы трём выдающимся злодеям. Упущений довольно набралось и прежде него, но за 3 месяца в должности он не только ничего не исправил, а даже не осмыслил, что́ нуждается в исправлении. Так в июле 1914 он оказался без плана частичной мобилизации и был тем главным советником и действователем, кто втянул царя во всеобщую мобилизацию, не оставляя России избежать злосчастнейшей войны. И в тот же роковой день 16 июля он подсунул императору, и никогда не слишком ретивому к скучным бумагам, а тут истомлённому кризисными днями, подписать, не вникая, ещё толстую бумажную пачку — «Положение о полевом управлении войск».

По этому Положению, очень удобному для военных и для самого Янушкевича, поскольку он рассчитывал занять пост начальника штаба Верховного Главнокомандующего,— военному командованию отводилась полнота прав кроме театра военных действий также и на всей территории развёртывания вооружённых сил (куда входили Петербург и даже Архангельск!) — и не оставалось прав Совету министров даже в самой столице, ни даже порядка его сношений с Верховным Главнокомандованием, ни — как решаются на территории развёртывания общегосударственные вопросы. Империя делилась на две отъёмные части: одна подчинена Ставке, другая правительству. Так один неконтролируемый случайный выскочка определил весь ход тыла.

Правда, Положение составлялось исходя из того, что Верховным Главнокомандующим будет сам Государь и примирит две части империи. Когда же оказался не он, то отмена военных распоряжений достигалась длинным путём: жалобою Государю, от него передавалось великому князю Николаю Николаевичу, а там всевластен был Янушкевич, который и объявлял правительству решение. Это ещё не проявилось резко, пока мы не испытали глубоких отступлений. Но с началом отступления 1915 года такое сношение и вовсе не успевало. Прежде армии покатились назад военные администраторы, распоряжаясь уже глубью страны. Невозможно было понять, чьи приказы следует выполнять. Приказывали любые этапные коменданты и прапорщики, а ответственных людей не было. Особенно хаотически производилась эвакуация, затеянная широко. Иным учреждениям давался приказ всего за несколько часов до сдачи города. Почти всем указывались места водворения без согласовки с теми губерниями, куда они направлялись. Так поезда с чиновниками, грузами и эвакуированные лазареты прибывали на места совершенно неожиданно, для них не было ни помещения, ни продовольствия.

Правительство повсюду теряло власть, но, ещё сложней и горше, оно не могло о том заявить публично, ибо это подрывало бы Верховную власть, императора, и даже до сих пор не жаловалось самой Верховной власти. Министров прорвало 16 июля — на секретном заседании, всегда следовавшим за открытым обычным. (Старательный секретарь Яхонтов донёс нам крупные обломки тех заседаний.) Когда остались одни, военный министр *Поливанов* заявил резко и театрально:

> Считаю своим гражданским и служебным долгом заявить, что *отечество в опасности*.

Наступило нервное молчание. Ещё никто не заявлял перед полным правительством так сенсационно. (Впрочем, группа министров частно встречалась на даче Кривошеина на Аптекарском острове, и они были подготовлены сегодня к этому выступлению.) Военный министр (но не военный человек), пробывший в должности месяц и с трудом осведомлённый, но не замкнутою Ставкой, а по косвенным донесениям, теперь спешил заявить свои выводы. Приближаются моменты, решающие для всей вой-

ны. Пользуясь неисчерпаемыми запасами снарядов, немцы заставляют нас отступать одним артиллерийским огнём, не пуская в дело пехотные массы и не неся потерь, тогда как у нас люди гибнут тысячами. Нельзя предвидеть, чем и как нам удастся остановить наступление. Вера в военных вождей подорвана. Учащаются случаи дезертирства и добровольной сдачи в плен. Людей вливают в боевую линию безоружными, с приказом подбирать винтовки убитых.

Поливанов: Но особенно чревато последствиями, о чём больше нельзя умалчивать: в Ставке — растущая растерянность, ни системы, ни плана, ни одного смело задуманного манёвра. Вместе с тем Ставка ревниво охраняет свои прерогативы и не считает нужным посоветоваться с ближайшими сотрудниками. Печальнее же всего, что правда не доходит до Его Величества. На рубеже величайших событий в русской истории надо, чтобы русский Царь выслушал мнение всех ответственных военачальников и всего Совета министров. Приближается, быть может, последний час и необходимы героические решения. Наша обязанность — умолять Его Величество немедленно собрать под своим председательством чрезвычайный военный совет.

Министры, частью уже подготовленные, дружно согласились — ходатайствовать, причём указать Государю, что

население недоумевает по поводу внешне безучастного отношения Царя и Его правительства к переживаемой на фронте катастрофе.

Всех охватило возбуждение, шёл беспорядочный разговор. Да должны ж были министры что-то узнать о ходе дела, наконец! И должны были быть услышаны! Даже в самой столице гражданская жизнь — продовольственный или рабочий вопрос, зависели больше от командующего 6-й армией, чем от них!

Кривошеин: Никакая страна не может существовать с двумя правительствами. Или пусть Ставка возьмёт на себя всё и снимет с Совета министров ответственность, или пусть считается с интересами государственного управления. Жутко становится за будущее. На фронте бьют нас немцы, а в тылу добивают прапорщики.

Князь Щербатов (внутренних дел): Губернаторы заваливают меня телеграммами о невыносимом положении с военными властями. При малейшем возражении — окрик и угрозы.

Хвостов (юстиции): Польские легионы, латышские батальоны, армянские дружины формируются без согласия Совета министров. А потом они лягут бременем на нашу национальную политику.

Рухлов (путей сообщения): Мы все так же работаем для России и не меньше господ военных заинтересованы в спасении родины. Невыносимо: все планы, предположения нарушаются произволом любого тылового вояки. Правительственный механизм разлагается, всюду хаос и недовольство. Нам, министрам, дают из Ставки предначертания и рескрипты.

За всё время войны ещё не было такого тяжёлого заседания правительства. И, кажется, все единодушно и неуклонно осуждали Ставку. Только предусмотрительный царедворец Горемыкин предупреждал:

Господа, надо с особой осторожностью касаться вопроса о Ставке. В Царском Селе накипает раздражение против великого князя. Императрица Александра Фёдоровна, как вам известно, никогда не была расположена к Николаю Николаевичу и в первые дни войны протестовала против призвания его на пост Верховного Главнокомандующего. Сейчас же она считает его единственным виновником переживаемых на фронте несчастий. Огонь разгорается, опасно подливать в него масло. Доклад о сегодняшних суждениях Совета министров явится именно таким огнём.

И предложил — отложить, ещё хорошо подумать. Убедил министров.

Прошла неделя — не только не стало лучше, но 23 июля сдали Варшаву. Это произвело в стране оглушительное впечатление: Варшава — не рядовой город, но столица. Давно ли по её улицам демонстративно проводили лучшие сибирские дивизии, ещё не тронутые боями, как знак, что мы не отдадим Польшу немцам,— и с тротуаров, из окон, с балконов и крыш восторженно приветствовали их польки и поляки, поверившие в обещанную нами автономию. И вот — сдана?..

На другой день секретное заседание министров снова было напряжённо-нервное — уже при созванной Думе и всё большем общественном негодовании, подогреваемом печатью. У кривошеинского кружка стало расти раздражение и против Горемыкина. А критику Ставки стали поворачивать остриём на Янушкевича.

Кривошеин: Я не могу больше молчать, к каким бы это ни привело для меня последствиям. Я не смею кричать на площадях и перекрёстках, но вам и Царю обязан сказать.

Министры дружно соглашались, что великий князь должен быть освобождён от Янушкевича. Этот поворот довёл до конца

Сазонов (иностранных дел): Ужасно, что великий князь в плену у подобных господ. Из-за таких самовлюблённых ничтожностей мы опозорили себя на весь мир. Его Высочеству не свойственно пренебрегать общественным мнением, он всячески старается привлекать его на свою сторону.

А уладчивый Горемыкин повторительно предупреждал:

Мой настойчивый совет: с чрезвычайной осторожностью говорить перед Государем о делах Ставки и великого князя. Раздражение против него принимает в Царском Селе характер, грозящий опасными последствиями.

Для единства ли с обществом или наперекор царскому раздражению критика министров всё более поворачивалась не на великого князя, а лишь на Янушкевича. Да воинственный вид и высокий рост великого князя располагали к нему и армию и публику, его всё более возносили как национального героя, передавали легенды о его строгости к генералам и любви к простому солдату, и всем импонировала его известная ненависть к немцам. (До 1914 года общество не любило его, но он стал популярен за то, что явно не одобрял правительства.) Теперь тяжесть отступлении и брань о поражениях как будто не висла на нём.

19 июля, в годовщину войны, собралась Дума. Горемыкин глухо, неубедительно прочёл перед ней правительственную декларацию, составленную Кривошеиным:

Правительство идёт на путь усилий и жертв не иначе, как в полном согласии с вами, господа члены Думы.

Лидер кадетов отточенно возгласил, что Дума переходит

от патриотического подъёма к патриотической тревоге. Правительство надменно считает себя способным справиться обветшалой бюрократической машиной...

(о, если бы ею-то дали!..)

...А источник ошибок — в ненормальном отношении с общественными силами. Народ хочет сам исправить, в нас он видит первых законных исполнителей своей воли.

Как всегда, русский либерализм говорил прямо от имени народа, от народного ума и чувства, не предполагая отличения или трещины между народом и собой.

Тон Думы и пафос её быстро повышался, с возбуждённым красноречием вносились сотрясательные запросы, особенно о хаосе в прифронтовой полосе, но не Ставке, это и в голову никому бы не пришло, в — всё тому же неказистому, нерасторопному, немому правительству. И министр внутренних дел Щербатов должен был выворачиваться, не смея открыть, что ему преграждена не только власть, но даже сведения о происходящем. Итак, обличительные речи падали на правительство, расходились по стране и за границу, вызывая всеобщее мнение о безнадёжной бездарности министров. Дума требовала уже и следствия и суда над виновниками худого снабжения фронта (и Совет министров учреждал следственную комиссию над своим недавним членом Сухомлиновым). И не проступал никто властный, кто мог бы услышать, принять к действию или не принять, но не закисать будто в неслышимости и параличе, как правительство. По нашему характеру всем было бы легче, если бы министры отбранивались, спорили, сами нападали, чем так вот трусливо жаться. Их скрытых обстоятельств никто не обязан был знать и не мог предположить. Во всех слоях населения думские речи произвели грозное впечатление и глубоко повлияли на отношение к власти.

А едва не больше всех других взжглись ниспровергательным духом промышленники, купцы и банкиры. Ещё в конце мая собрался их промышленный съезд, якобы для существенного дела, но нет: для поношения негодного правительства. К истерической речи Рибушинского добавил негодовании и Коновалов. И началось движение предпринимателей: самим снабжать фронт, отобрав у правительства! Повсюду стали создаваться «военно-промышленные комитеты», не везде успевая разграничиться между собой по

географическим районам и областям деятельности, но все напряжённо-возбуждённые. Это движение перенял и возглавил Гучков, всегда предприимчивый, а тут и обиженный, за эти годы растеряв и свою партию октябристов и общественное лидерство. 25 июля он был избран председателем Центрального Военно-промышленного комитета — и уже 4 августа получил от правительства утверждение своего устава. (В этом ему помог родственник его и дружественный ему Кривошеин: стремительно ввёл проект через Горемыкина, не дали ознакомиться-подготовиться министрам, ни даже торговли-промышленности, впрочем военный Поливанов был с Гучковым заодно, экстраординарно пригласили Гучкова на заседание кабинета, он держался огрызчиво, как в стане разбойников, и не дал ничего существенно исправить: представители желают служить бескорыстно и нечего здесь отвергать.) И в газетах появились сообщения о кипучей деятельности военно-промышленных комитетов, спасающих страну, тогда как проклятое правительство губит её. Всё перемешалось: члены этих комитетов получили свободный доступ в военное министерство, в отделы заказов и заготовок, от них не стало там секретов, и всё распределение заказов между заводами стало зависеть теперь от них, возбуждая к ним заискивание производителей, а их патриотическое посредничество оплачивая за казённый же счёт процентом от многомиллионных военных заказов. — для воюющей страны достаточно безумная обстановка. Центральный Военно-промышленный комитет изображал теперь ещё одно правительство, более озабоченное ходом войны, чем Совет министров.

И — как же было Совету министров в этом общественном разгорячении? прежде всего с Думой? вместо работы, законопроектов

её тон повышается. Всё ярче видны захватные стремления. Это уже не «штурм власти», но наскок на власть.

Горемыкин: Дать ей короткий срок с условием провести законопроект о ратниках 2-го разряда и распустить.

И Кривошеин был вполне согласен: скорей прервать!

Собирая её, мы имели в виду короткую сессию, так до первых чисел августа. (Даже) середина августа — срок неприемлемый. Дума мешает нам проводить по 87-й статье экстренные мероприятия. Надо разъяснить благожелательным депутатам, которые хоть способны разговаривать с «ненавистной бюрократией», невозможность в обстановке войны обходиться нормальным порядком законодательства.

Призыв ратников 2-го разряда был ещё одной непомерной и тиранической крайностью Ставки: не смеряясь с национальными силами, с хозяйством тыла, великий князь требовал новые миллионы под ружьё (и даже не под ружьё, потому что ружей не хватало). Правительство разумно не хотело мобилизовать ратников. Но уж если мобилизовать, —

Щербатов: Безусловно важно провести закон о ратниках через Государственную Думу. Наборы с каждым разом проходят всё хуже и хуже. Полиция не в силах справиться с массой уклоняющихся. Люди прячутся по лесам и в несжатом хлебе. Без санкции Думы, боюсь, при современных настроениях мы ни одного человека не получим. Агитация идёт во всю, располагая огромными средствами из каких-то источников.

Григорович (морской): Известно каких — немецких.

Щербатов: Не могу не указать, что агитация принимает всё более откровенно пораженческий характер. Её прямое влияние — повальные сдачи в плен.

Самарин (обер-прокурор Синода): В тылу разгуливает масса серых шинелей. Нельзя ли найти им более полезное применение на фронте?

Кривошеин: Обилие бездельников в серых шинелях, разгуливающих по городам, сёлам, железным дорогам и по всему лицу земли русской, поражает мой обывательский взгляд. Зачем изымать из населения последнюю рабочую силу, когда стоит только прибрать к рукам и рассадить по окопам всю эту толпу гуляк? Однако этот вопрос относится к области запретных для Совета министров военных дел.

Поливанов, чья язвительная раздражённость так и рвалась со всех привязей, из острых глазок, из выставленных челюстишек, докладывал, что положение на театре войны у этой Ставки — разгром и растерянность:

Уповаю на пространства непроходимые, на грязь невылазную и на милость угодника Николая Мирликийского.

Харитонов (государственный контроль): А на Кавказе шествие вперёд не прекращается. Куда мы там, с позволения сказать, прём?

Поливанов: Известно куда — к созданию Великой Армении. Собирание земли армянской составляет основное стремление графини Воронцовой-Дашковой,

жены Кавказского наместника.

Но едва ли не всего разрушительнее от нашего отступления на Западе катится волна беженства. Поднялась стихия — и никакие учреждения не могут ввести её в правильное русло.

Кривошеин: Из всех тяжких последствий войны — это самое неожиданное, грозное и непоправимое. И что ужаснее всего — оно не вызвано действительной необходимостью или народным порывом, а придумано мудрыми стратегами для устрашения неприятеля. По всей России расходится проклятия, болезни, горе и бедность. Голодные и оборванные повсюду вселяют панику. Идут они сплошной стеной, топчут хлеба, портят луга, леса, за ними остаётся чуть ли не пустыни. Даже глубокий тыл нашей армии лишён последних запасов. Я думаю, немцы не без удовольствия наблюдают результаты и освобождаются от забот о населении. Устраиваемое Ставкою второе великое переселение народов влечёт Россию к революции и к гибели.

В 1812 году маневрировали сосредоточенные армии на небольших площадях, тогда беженство не было таким массовым. Теперь, обезьянничая с той войны, повторяют его при сплошном фронте, опустошают десятки губерний, вырывая миллионы из вековых жилищ, не смерив, что же делать со скотом и лошадьми в век железных дорог. Только под жильё беженцев занято 120 тысяч товарных вагонов.

Но и ещё может быть удержался бы Янушкевич, при своём всевластии всё же недостаточно заметный рядом с великим князем, если бы он не применил такого же насильственного массового выселения во внутренние русские губернии и ко всем евреям, да ещё обвинив их сплошь в сочувствии к врагу и шпионстве. Янушкевич горел боязнью оказаться виновным в грандиозном отступлении — и так пришёл к злополучной идее свалить военные неудачи на евреев. И хотя все его меры утверждались же великим князем — внутри страны был безусловно обвинён Янушкевич. А извне — обвинена вся Россия. Ожесточённая реакция на Западе была мгновенна. Союзные правительства твёрдо указали, что надо с евреями примириться немедленно, иначе это отразится на положении России.

В начале августа этот вопрос большой спешности обсуждался на нескольких закрытых заседаниях русского правительства: повсюду на Западе (и от внутренних банков тоже) тотчас были обрезаны кредиты России на ведение войны, недвусмысленно закрыты все источники, без которых Россия не могла воевать и недели. Наиболее ощутительно это сказалось в Соединённых Штатах, ставших банкиром воюющей Европы.

Щербатов: Наши усилия вразумить Ставку остаются тщетными. Мы все вместе и каждый в отдельности говорили, писали, просили, жаловались. Но всесильный Янушкевич считает для себя необязательными общегосударственные соображения. Сотни тысяч евреев продвигаются на восток от театра войны — и распределение всей этой массы в границах черты оседлости невозможно. Местные губернаторы доносят, что всё заполнено свыше пределов вместимости, и кроме того они не отвечают за безопасность новых поселенцев ввиду возбуждённого состояния умов и погромной агитации возвращающихся с фронта солдат. Это приводит нас к необходимости хотя бы временно водворять эвакуируемых евреев вне черты оседлости. Эта линия уже и сейчас нарушается. Руководители русского еврейства настойчиво домогаются легальных оснований. В пылу беседы мне прямо говорилось, что среди еврейской массы неудержимо растёт революционное настроение. За границей тоже начинают терять терпение, пожелания принимают почти ультимативный тон: если вы хотите иметь деньги на ведение войны, то... Мы должны временно приостановить действие правил о черте оседлости. Нужен акт, который служил бы реабилитацией для ев

рейской массы, заклеймлённой слухами о предательстве. И надо спешить, чтоб не оказаться позади событий. Иначе значение жеста пропадёт.

Кривошеин: Министр финансов, который сейчас находится на растерзании в Государственной Думе, просит о таком акте в еврейском вопросе, который имел бы демонстративное значение. К нему на днях явились Каменка, барон Гинцбург и Варшавский с заявлением о всеобщем возмущении. Кратко беседа была: дайте, и мы дадим. Нож приставлен к горлу, ничего не поделаешь. Пока ещё вежливо просят, мы можем ставить условия: мы существенно изменим черту оседлости, а вы нам дайте денежную поддержку и окажите воздействие на печать, зависимую от еврейского капитала (это равносильно почти всей печати), в смысле перемены её революционного тона.

Сазонов: Союзники тоже зависят от еврейского капитала и ответят нам указанием прежде всего примириться с евреями.

Щербатов: Мы попали в заколдованный круг. Мы бессильны: деньги в еврейских руках, и без них мы не найдём ни копейки.

Горемыкин: Право жительства евреям — только в городах. Сельские местности мы обязаны оградить.

Щербатов: И есть убедительный мотив: в деревне растёт погромное настроение. Против него мы не в состоянии оберечь евреев, так как сельской полиции у нас почти не существует.

Кривошеин: Сами евреи отлично это понимают. Их и не тянет в деревню. Все их интересы связаны с городскими поселениями.

Сазонов: Я знаю из верного источника, что и всемогущий Леопольд Ротшильд не идёт дальше городов.

Рухлов (путей сообщения): Вся Россия страдает от тяжестей войны, но первыми получают облегчение евреи. Подтверждается поговорка, что за деньги всё покупается. Несомненно все узнáют происхождение акта и мотивы. Какое впечатление это произведёт не на еврейских банкиров, а на армию и на весь русский народ? Как бы не явился взрыв возмущения и кровавые бедствия для тех же самых евреев. Постановка вопроса для меня неожиданна, я затрудняюсь дать ответ по чистой совести.

Самарин: Я вполне понимаю это чувство протеста в душе. Мне тоже больно давать своё согласие на акт, последствия которого огромны и с которым русским людям придётся считаться в будущем. Но таково сплетение обстоятельств, приходится жертвовать.

Поливанов: В качестве министра, ведающего казачьими областями, я обязан заявить, что едва ли право свободного жительства евреев применимо в этих областях даже в отношении городов. Казачьи городские поселения следовало бы изъять в интересах самих евреев. Казаки и евреи исторически никак не могли ужиться друг с другом, встречи их всегда кончались неблагополучно. Не надо упускать из вида и то, что казачьи отряды — главные выполнители приказов генерала Янушкевича о спасении русской армии от еврейской крамолы.

Через день, 6 августа, министры заседали вновь, и секретная часть началась с того же. Горемыкин доложил, что он сообщил Государю о суждениях министров — и Его Величество в принципе одобрил отмену черты еврейской оседлости в отношении городов. (На что он не согласился в 1906, когда настаивал Столыпин. Нужда убеждает. В это летнее отступление 1915 года отрыгались России три раздела Польши.)

Кривошеин: Интересы народного хозяйства давно требуют привлечения широкой предприимчивости. Перенос с западной окраины еврейских предприятий даст толчок развитию промышленности и обеспечит подъём местной жизни. Евреи встряхнут сонное царство и растрезожат излененившееся на покровительственной системе русское купечество. Да уже и теперь в самых исконных русских городах немало евреев, но по преимуществу богатых.

Рухлов: Моё чувство и сознание протестуют, что военные неудачи отзываются в первую очередь льготами евреям. И ещё: тут говорилось о финансовых и военных соображениях в пользу жеста. Но достаточно припомнить роль евреев в событиях 1905 года, и какой процент иудеев при-

ходится на лиц, ведущих революционную пропаганду и участвующих в подпольных организациях. Я категорически отказываюсь дать свою подпись. Но не считаю себя вправе заявлять разногласие и переносить бремя столь кардинального вопроса на русского Царя.

Щербатов: Конечно, Сергей Васильич глубоко прав, указывая на разрушительное влияние еврейств. Но что же нам остаётся делать, когда нож приставлен к горлу? А деньги в еврейских кругах.

Барк (финансы): Не мы создали этот острый момент, а те, кого мы тщетно просили воздержаться от возбуждения еврейского вопроса казацкими нагайками. Сейчас заграничный рынок для нас закрыт, и мы там не получим ни копейки. Мне откровенно намекают, что нам не выйти из затруднений, пока не будет сделано демонстративных шагов в еврейском вопросе. Иного выхода я, как министр финансов, не вижу. Времена Минина и Пожарского, по-видимому, не повторяются.

Кривошеин: Я тоже привык отождествлять русскую революцию с евреями, но тем не менее подписываю акт о льготах. Будемте спешить. Нельзя вести войну сразу и с Германией и с еврейством, это непосильно даже для такой могучей страны, как Россия, хотя генерал Явушкевич и держится другого мнения.

Обсуждения исчерпались, стали готовить форму проведения.

Горемыкин: В настоящих условиях недопустимо возбуждение в Государственной Думе прений по еврейскому вопросу, они могут принять опасные формы и явятся поводом к обострению национальной розни. Нет уверенности в благополучном прохождении законопроекта. И длительный законодательный порядок лишит меру необходимой демонстративности и характера милости.

Харитонов: Поверьте мне — никто и не пикнет о незакономерности и не станет протестовать. Не только кадеты и более левые, но и октябристы сочтут долгом приветствовать акт, какие тут запросы и протесты.

Барк: Французские Ротшильды искренно желают помочь союзникам в победе над Германией. И Китченер неоднократно повторял, что для успеха войны одним из важных условий является смягчение режима для евреев в России. Наше сегодняшнее постановление крайне благоприятно отразится на наших финансах.

(Однако, этого не произошло. В августе же союзники потребовали для начала отправить в Англию и в Америку четвёртую часть русского золотого запаса для обеспечения платежей по военным заказам.

Харитонов: Значит, с ножом к горлу прижимают нас добрые союзники — или золота давай, или на грош не получишь. Дай Бог им здоровья, но так приличные люди не поступают.

Кривошеин: Даже сам Шингарёв не одобряет поведения Лондона и Парижа. Они восхищаются нашими подвигами для спасения союзных фронтов ценою наших поражений, миллионами жертв, которые несёт Россия, а в деньгах прижимают не хуже любого ростовщика. А Америка пользуется обстановкой нажиться на несчастьи Европы.

Шаховской: Итак, мы под ультиматумом наших союзников?

Барк: Да. Если мы откажемся вывезти золото, то американцы будут требовать с нас золотом за каждое ружьё.)

Затем стали обсуждать, какие же встречные условия выставить влиятельным еврейским кругам: чтоб они воздействовали на еврейскую массу в смысле прекращения революционной агитации, а также к перемене направления печати.

А тем временем ещё на заседании 6 августа ожидала министров новая встряска. До этой минуты во всём обмене мнениями генерал Поливанов принимал малое участие. Он сидел мрачно и обычное у него подёргивание головы и плеча проявлялось особенно сильно. Затем Горемыкин попросил его сообщить о положении на театре войны. (Раньше Сухомлинов не баловал их такими сообщениями, ибо и сам не был осведомлён никогда.) Поливанов приступил с охотой: как за ним заметили, чем мрачней и безнадёжней были его сообщения (а он всегда их сгущал и преувеличивал), тем удовлет-

ворённей он выглядел, если не радостней: он сообщал как будто о крушении противника. Так и сегодня он нарисовал картину разгрома:

Можно каждую минуту ждать непоправимой катастрофы. Армия уже не отступает, а попросту бежит. Малейший слух о неприятеле вызывает панику и бегство целых полков. Пока спасает наша артиллерия. Но снарядов почти нет. Ставка окончательно потеряла голову: противоречивые приказы, метание из стороны в сторону. Психология отступления проела весь организм Ставки. Вне пресловутого заманивания пространством не видят никакого исхода.

Никакого исхода! И по всем статьям, очевидно: для спасения России — Ставку надо менять! Всем Советом министров просить Государя: менять Ставку!

Но — нет, ещё худшее приготовил Поливанов для своих коллег:

Как ни ужасно то, что происходит на фронте, есть ещё одно гораздо более страшное событие, которое угрожает России. Я сознательно нарушу служебную тайну и данное мною слово до времени молчать. Сегодня утром Его Величество объявил мне о принятом им решении устранить великого князя и лично вступить в Верховное Главнокомандование.

И тут среди министров поднялось сильнейшее волнение! Все заговорили сразу, и поднялся такой перекрестный разговор, что невозможно было уловить никого отдельно.

Поразительно: казалось бы, насточертела им всем самоуправная Ставка, и оголтелый великий князь с интриганом Янушкевичем. Казалось бы: теперь-то, когда Государь возьмёт Верховное Главнокомандование, только и могло оправдаться действующее Положение о полевом управлении войск, ничего и менять не надо. Но нет! Именно этой новостью министры были оглушены более всего.

Поливанов: Зная подозрительность Государя и его упорство в решениях личного характера, я пытался с величайшей осторожностью его отговаривать. Сейчас по состоянию наших сил нет надежды добиться хотя бы частных успехов, тем более надеяться на приостановку победного шествия немцев. Я не счёл себя вправе умолчать о возможных последствиях во внутренней жизни страны, если личное предводительствование Царя войсками не остановит продвижения неприятеля. Подумать жутко, какое впечатление произведёт на страну, если Государю пришлось бы от своего имени отдать приказ об эвакуации Петрограда или Москвы. Его Величество ответил, что всё им взвешено, и решение неизменно.

Щербатов: Именно теперь, в самый неблагоприятный момент! Рост революционных настроений. В письмах, полученных через военную цензуру, во многом винят самого Государя. А великий князь, несмотря на всё, происходящее на фронте, не потерял своей популярности, и пользуется благорасположением среди думцев за своё отношение к общественным организациям!

— то есть Земгору. В этом был и ключ: а вдруг царь станет ограничивать Земгор? Общественность истолкует неприязненно. Народное впечатление будет глубоко задето: за что сняли великого князя? И как же быть, его фотографии всюду. И как же Государь, став Верховным, сможет отлучаться в столицу? Да со времён Петра I цари не становились сами во главе армии!

...И если Его Величество отправится на фронт, я не могу поручиться за безопасность Царского Села. Войск там почти нет, полиция недостаточна. Кучка предприимчивых злоумышленников — и гарнизон окажется в тяжёлом положении. От сообщённого легко потерять равновесие.

Горемыкин: Я должен подтвердить слова военного министра. Его Величество уже несколько дней назад предупредил меня. А я предупреждал вас с осторожностью касаться вопроса о Ставке.

Сазонов: Как же вы могли скрыть от своих коллег по кабинету эту опасность? Решение Государя пагубно!

Горемыкин: Я не считал для себя возможным разглашать то, что Государь повелел мне хранить в тайне. Я сейчас говорю об этом лишь потому, что военный министр счёл возможным нарушить тайну и предать её огласке без соизволения Его Величества. Я человек старой школы, для меня Высочайшее повеление — закон. Должен сказать, что вы никакими доводами не убедите Государя отказаться от задуманного им шага. В данном решении не играют роли ни интриги, ни чьи-либо влияния. Оно подсказано сознанием Царского долга. Я так же просил отложить это решение до более благоприятной обстановки. Но Государь, отлично понимая риск, не хочет отказаться. Нам остаётся склониться перед волей нашего Царя и помочь ему.

Сазонов: Бывают обстоятельства, когда обязанность верноподданного настаивать перед царём. Надо учитывать и то, что увольнение великого князя произведёт крайне неблагоприятное впечатление на наших союзников, которые в него верят. Нельзя скрывать и того, что за границей мало верят в твёрдость характера Государя и боятся окружающих его влияний.

Кривошеин: Вполне соответствует душевному складу Государя и мистическому пониманию своего царского призвания. Но абсолютно неподходящий момент. И правительство поставлено предрешённо перед актом такой величайшей исторической важности. Ставятся ребром судьбы России и всего мира. Протестовать, умолять, настаивать, просить, удержать Его Величество от бесповоротного шага! Ставится вопрос о судьбе династии, о самом троне, наносится удар монархической идее, в которой вся сила и будущность России! Народ ещё с Ходынки и японской кампании считает Государя несчастливым, незадачливым. Напротив, великий князь — это лозунг, вокруг которого объединяются великие надежды. Нужно иметь особенные нервы, чтобы выдерживать всё происходящее.

Щербатов: Решение Государя будет истолковано как влияние пресловутого Распутина. Об этом влиянии уже идут толки в Государственной Думе, и боюсь, как бы не возник скандал.

Харитонов даже пугал, как бы нервный, впечатлительный, самолюбивый великий князь не оказал из Ставки сопротивления. Поливанов разводил руками: всё может быть. Другие отклонили, не поверили.

Барк: Решение Его Величества ухудшит наш кредит. Царь во главе армии — это наша последняя ставка.

Шаховской: Просить аудиенции всему Совету министров и умолять Государя о пересмотре решения.

Все были напряжены сверх меры, и только преклонный председатель сохранял покойное углубление в отстранённую мудрость. Он был председателем и того правительства, год назад, когда они дружно отговорили Государя брать Главнокомандование.

Горемыкин: Я против такого коллективного выступления. Вы знаете характер Государя и какое впечатление на него производят подобные демонстрации. Государю и без того нелегко, чтобы нам ещё тревожить его нашими протестами. Я уже всё сделал, чтоб удержать Государя. Но решение его непоколебимо. Я призываю вас преклониться перед волею Его Императорского Величества, сплотиться вокруг него в тяжёлую минуту и посвятить все силы нашему Монарху.

Но обновлённый, олибераленный совет министров уже был не таков, чтобы слишком возвышенный призыв председателя произвёл тут впечатление: даже не все и вслушались, продолжали горячо о том, как отговаривать. Кривошеин смотрел на Горемыкина с грустью и удивлением: он сам его на этот пост предложил, и полтора года старик дружественно соглашался, выполнял, ладил. И вот первый раз он упорно закрепился на своём, и вот когда Кривошеин пожалел, что не взял премьера. Теперь, хоть и пренебрегая стариком, не могли министры без своего председателя обращаться коллективно. Оставалось все умоления Государя поручить Поливанову, кому и доверена была тайна. Все были возбуждены и даже раздражены: как мог Государь принять такое решение, не посоветовавшись с правительством?!

А Государь уже несколько месяцев готовился к этому решению. Он никогда не мог простить себе, что во время японской войны не поехал стать во главе Действующей армии. Долг царского служения — в момент опасности быть среди войск. В первые дни нынешней войны Государь твёрдо хотел брать на себя Верховное Главнокомандование, но в те дни его отговорила сплотка негодующих министров. А дядя (Николаша), его бывший эскадронный в гусарском полку, стал очень видное лицо в русской армии, и мог пока естественно возглавить её, — и так был назначен Верховным Глав-

нокомандующим, хотя государыня уже и тогда была против этого назначения. С тех пор Государь постоянно сожалел, что не взял на себя своего естественного жребия. Его многочисленные поездки на фронты и смотры полков были попыткой соединиться с армией, хотя бы и помимо Ставки. Он любил свою армию и себя в армии, и ревновал к Николаше. Теперь же, когда на фронте наступила катастрофа,— Николай тем более считал своим священным и мистическим долгом стать во главе войск, вместе с ними победить или погибнуть. (А к тому ж переход из военное существование обещал освободить его от тягостных тыловых проблем, размышлений, министерских приёмов и петербургских сплетен.)

Государыня давно разделяла такое его решение и укрепляла в нём. Ещё с первой военной осени она заподозрила, что Николаша, пользуясь Верховным Главнокомандованием, хочет перенять себе трон. Подтвержденье этого она видела затем во многих действиях и манерах Николая Николаевича. Он не делал Государю регулярных военных докладов. Минуя Государя, вызывал к себе в Ставку министров для объяснений и указаний, и ряд дел Государь получал уже решёнными в Ставке помимо него. Николай Николаевич слишком много занимался делами всего государства, а не фронта. (Разжигали и подпольные открытки с изображением Николая Николаевича и подписью «Николай III».) Нам сохранились те из настойчивых внушений государыни, которые были высказаны в письмах во время разлук. (Помещая их рядом с публичными выступлениями других лиц, приём неравноправный, мы надеемся на смягчающую поправку читателя: может быть *те* все среди близких выражались в грубей.)

> Он старается играть твою роль. Перед Богом и людьми никто не имеет права, как он это делает. Он наделает беды, а потом тебе будет трудно исправить. Он так мало понимает во внутренних делах и нашу страну, но импонирует министрам громким голосом и жестикуляцией. Все возмущены, что министры отправляются с докладами к нему. Говорят, что Государя лишили власти. Нашего Друга и меня одинаково поразило, что Николаша, отвечая губернаторам, составляет телеграммы в твоём стиле. (К тому ж) это вина Николаши и Витте, что вообще существует Дума. Николаша далеко не умён, упрям — и его ведут другие. Его подстрекают его черногорки. Он действовал неправильно — к твоей стране, к тебе и к твоей жене. И так как он пошёл против Человека, посланного Богом, — его дела не могут быть угодны Богу, и мнения его не могут быть правильны. Человек, который сам стал предателем Божьего человека, — не может быть угоден Богу.

И отсюда советы к действиям:

> Чёрт бы побрал Ставку! — оттуда добра не может быть. Солдатам нужен ты, а не Ставка. Ты не должен смотреть глазами Николаши, но заставить его смотреть твоими. Нужна непоколебимая власть среди развала. Помни, что ты — император, и другие не смеют брать на себя так много. Ты долго царствуешь и имеешь больше опыта, чем они. Пошли Господь тебе больше уверенности в твоей собственной мудрости, чтобы ты не слушался других, но только нашего Друга и твоей души. Никогда не забывай, кто ты есть и что ты должен остаться самодержавным императором. Иногда хороший громкий голос и строгий взгляд делают чудеса. Будь решительней и увереннеи в себе! Они должны лучше помнить, кто ты такой.

Так за весну и лето 1915 созревало решение Государя сместить Николая Николаевича и взять на себя Верховное Главнокомандование — одновременно разрушив затеваемый (только болтаемый) в Ставке заговор уволить императрицу в монастырь.

И в эти же месяцы, уступая негодованию общества, Государь сменил нескольких министров. Часть этих смен произошла с ведома и согласия императрицы. Все снятия она считала правильными. Так, министр юстиции Щегловитов, хотя и очень правый,

> не нравится на своём месте. Не обращает внимания на твои приказания, разрывает прошения, пришедшие, по его предположению, через нашего Друга.

И разделяла тяжёлое сердце Государя при отставке Сухомлинова. Но императрица не уследила за всеми назначениями новых министров, часть этих назначений была внушена Государю и подписана в Ставке, в отлучке из дому, — и быстро оказалось, что назначения эти неудачны.

> Прости, но мне не нравится выбор военного министра. Такой ли человек Поливанов, на которого можно положиться? Хотелось бы знать все основания, которые у тебя были? Возможно ли, чтоб он разошёлся с Гучковым? И не враг ли он нашего Друга? А это всегда приносит несчастье.

А Щербатов, неизвестно почему назначенный с коннозаводства, потому ли, что брат его — адъютант Николаши,

> трус и тряпка. Даёт слишком большую волю печати. Вероятно и он враждебен нашему Другу, а потому и нам.

Но хуже всего обернулось с Самариным в роли обер-прокурора Синода:

> Я в отчаянии от его назначения. Он — из скверной ханжеской клики, московской банды, которая опутает нас как паутина. Теперь у нас опять начнутся истории против нашего Друга, и всё пойдёт дурно. Я несчастна с тех пор, как услышала об этом назначении. Его предложил Николаша, специально зная, что он будет вредить Григорию. Глуп, нахал, дерзко разговаривал со мною. Я чувствовала его антагонизм. Он не успокоится, пока он меня, нашего Друга и Аню не впутает в беду. При первой же встрече говори с ним очень твёрдо, что ты запрещаешь всякие интриги против нашего Друга или разговоры против него. Ты — глава и покровитель Церкви, а он старается подорвать тебя в глазах Церкви, начинает сомневаться в твоих приказаниях. Самарин упадёт в яму, которую он для меня роет. Россия не разделяет его мнения. Мы должны выгнать Самарина, и чем скорее, тем лучше. Кто угодно лучше него... Если бы ты знал, какие слёзы я сегодня проливала, ты бы понял огромную важность этого. это не женская чепуха, но настоящая правда.

И ещё, при таком опасно изменённом составе правительства,

> почему ты должен ездить к Николаше в Ставку и собирать своих министров там? Могут воспользоваться твоим сердцем и заставить сделать тебя вещи, которых ты бы не сделал, если бы был тут. Меня — боятся и приходят к тебе, когда ты один. Меня боятся. зная, что моё дело правое.

Но вот — все убеждения и колебания были, кажется, позади, и в горшую минуту отката русских войск Государь принимал бремя Верховного. Своего доверенного военного министра Поливанова (не понимая его истинного настроения) он 9 августа послал в Ставку, чтобы тактично, негласно объявить Николаше решение и столковаться с ним о порядке сдачи командования. Великому князю предлагалось принять пост Кавказского наместника вместо Воронцова-Дашкова.

Для великого князя отставка в период сплошных неудач была как бы открытым признанием негодности. Но он — перенёс удар, не взбунтовался, даже как милость воспринял, что его не вовсе отставляют, а посылают командовать Кавказом, — и только одного настоятельно просил: отпустить с ним туда же драгоценного Янушкевича. Напротив, Янушкевич и другие штабные чины испытали полное разочарование, и на ближайшие недели Ставка как бы забастовала: мало прикасалась к работе и к руководству отступающей армией.

Но и тут же Государь ответил великому князю, что смена командования произойдёт не так быстро, в течении недель.

А города сдавались за городами. Под салюты немецких фугасов 5 августа сдано было Ковно (комендант Ковенской крепости генерал Григорьев сбежал), к 15-му — Гродно и Брест-Литовск. Многим не верилось, что такое отступление происходит не от измены. Рабочие Коломенского завода и некоторых других волновались, обвиняя своё правление в нежелании напрячь производительность предприятия и в угоде немецким интересам. Волнения грозили насилием. Рабочие готовили депутацию, но не к правительству, настолько было всюду втолковано, что оно ничтожно, а в Думу и в Ставку. Министры спешили просить Родзянку не принимать таких депутаций (а он любил).

> Горемыкин: Председатель Государственной Думы находится в таком возбуждённом состоянии, что разговаривать с ним бесполезно. Министру внутренних дел и военному надо принять все меры к прекращению безобразий. Мы знаем, к чему приводят мирные депутации.
>
> Шаховской: Вообще сейчас на заводах настроения напряжены до последней степени. Рабочие повсюду ищут измены, предательства, саботажа в пользу немцев, увлечены поисками виновников наших неудач на фронте.

Щербатов: Настроением рабочих пользуется революционная агитация, раздувает в массах патриотическое негодование о нехватке снарядов. Этот вопрос самый модный и в Думе, и в обществе, и в печати. На нём удобно создать почву для беспорядков. Кому-то важно любыми способами вывести толпу на улицу.

Но и снова же, снова тяжело обсуждали, как остановить решение Государя, пока оно не объявлено официально.

Самарин: Я был в Москве и не присутствовал на последних заседаниях. Дай Бог, чтоб я ошибся, но я жду от перемены Верховного Главнокомандования грозных последствий. Смена великого князя и вступление Государя Императора явится уже не искрой, а целой свечою, брошенной в пороховой погреб. Революционная агитация работает, не покладая рук, стараясь всячески подорвать остатки веры в коренные русские устои. И вдруг громом прокатится весть об устранении единственного лица, с которым связаны чаяния победы. О Царе с первых дней царствования сложилось в народе убеждение, что его преследуют несчастья во всех начинаниях. Я хорошо знаю многие местности России и особенно близко Москву и утверждаю, что весть будет встречена как величайшее народное бедствие. Надо на коленях умолять Государя не губить свой престол и Россию. Неужели ближайшие слуги Царя не могут добиться, чтоб их выслушали? Как же они тогда могут вести государево дело?

Горемыкин не терял взвешенного хладнокровия:

Наша беседа может завести так далеко, что и выхода не будет.

Но дошло до сведения министров, будто Государь, приняв звание Верховного Главнокомандующего, обоснует свою Ставку в Петрограде, так что она будет как бы и не Ставка, тут рядом, а на фронте всем будет верховодить генерал Рузский, у которого, кажется, прекрасные отношения с генералом Алексеевым. Это сразу было воспринято как облегчение: существенные плюсы — устранение Янушкевича, и непосредственная близость Ставки к правительству, и даже может быть, наконец, объединение гражданской и военной власти? Или, напротив, эта близость приведёт к ещё большему сумбуру?

Кривошеин, мастер составлять толковые бумаги, предложил: если смена командования, действительно, решена бесповоротно, то как бы сделать её мягче и понятнее народу? Просить Государя объявить свою монаршью волю в форме всемилостивейшего рескрипта на имя великого князя и в нём объяснить: не в победное время Царь идёт делить опасности с войсками, он готов погибнуть в борьбе с врагом, но не отступить от долга. И как он ценит великого князя. Кривошеин уже набрасывал и проект. Таким рескриптом можно сгладить многие углы, и великому князю тоже не будет обидным перемещение.

Сазонов взялся доложить эту мысль царю на своём ближайшем докладе. (Один Самарин упорно возражал, что нужен не рескрипт, а отговаривать.) Государь одобрил и просил представить проект рескрипта поскорее.

Между тем слух о смене Главнокомандования просачивался шире, о нём узнал и шумливый кипливый Родзянко. Как «второе лицо» в государстве, как супер-арбитр он кинулся в Царское Село отговаривать Государя. 11 августа Государь принял его, неблагосклонно, стоял на бесповоротности своего решения. Тогда Родзянко кинулся ругать правительство. Он застал их на заседании, вызвал в вестибюль Кривошеина как самого влиятельного из министров и расположенного к обществу, и стал ругать его, что правительство не сопротивляется Государю. Кривошеин уклонился, что он всего лишь министр земледелия. Тогда Родзянко вызвал Горемыкина. Но этот тем более не поддавался: правительство делает, что подсказывает совесть, а в советах со стороны не нуждается. Родзянко воскликнул:

Я начинаю верить тем, кто говорит, что у России нет правительства!

—и, не прощаясь, с сумасшедшим видом бросился к выходу. Он был уже так невменяем, что когда швейцар подал ему забытую трость — он закричал: «К чёрту палку!», и вскочил в экипаж.

На другой день Родзянко послал Государю письменный доклад, распространённый затем по читающим рукам:

Государь! Вы являетесь символом и знаменем — и не имеете права

допустить, чтобы на это священное знамя могла пасть какая-либо тень. Вы должны быть вне и выше органов власти, на обязанности которых лежит непосредственное отражение врага. Неужели вы добровольно отдадите вашу неприкосновенную особу на суд народа, — а это есть гибель России. Вы решаетесь сместить Верховного Главнокомандующего, в которого безгранично ещё верит русский народ. Народ не иначе объяснит ваш шаг, как внушённый окружающими вас немцами. В понятии народном явится сознание безнадёжности положения и наступившего хаоса в управлении. Армия упадёт духом, а внутри страны неизбежно вспыхнет революция и анархия, которые сметут всё, что стоит на их пути.

Сумбурный толстяк начал как будто и убедительно, Государь и сам мучился этой мыслью: если под его предводительством не изменится ход отступления — что будет с авторитетом престола? Но дальше Родзянко превзошёл все ступени бестактности и, как это он умел, лишь отвратил от своих доводов.

И так слух о смене любимого Главнокомандующего перекидывался всё шире, уже узнавала, Дума, Земгор, Петроград, Москва — и все, разумеется, негодовали.

В правительстве радовались, что смена, однако, затягивается: может быть, Государь и отвратится? А нельзя ли направить его возглавление не на фронт, а на дела тыла? А между тем отступление продолжается — и доверие масс к великому князю быстро падает. При некоторой ещё оттяжке может быть вступление Государя станет и допустимым? Лишь Самарин категорически настаивал, что государев шаг — смертельный риск для династии и для России. Поведение Поливанова, и всегда с предвзятостью и задней мыслью, становилось всё более противоречиво: он был и против принятия Главнокомандования Государем, и науськивал против великого князя, и настраивал министров против Горемыкина. А Кривошеин рассуждал так, всё более объёмно:

Длить создавшуюся неопределённость дальше нельзя хотя бы потому, что с нею длится и генерал Янушкевич. Его присутствие в Ставке опаснее немецких корпусов. Кроме того зло в значительной степени уже сделано: решение Государя ни для кого не секрет, о нём говорят чуть не на площадях. Дальнейшие задержки могут отнять у царского намерения то, что в нём есть красивого. Без замедлений просить Государя о созыве военного совета с участием правительства для пересмотра плана войны. Наилучшее место для такого собрания — Ставка, присутствие великого князя безусловно необходимо. Его Величество обладает таким исключительным талантом обходиться с людьми, даже заведомо ему несимпатичными, что сумеет произвести впечатление добрых отношений с великим князем. И если нам суждено пройти через смену командования, после военного совета это будет как бы следствием совещания с правительством и военачальниками. Это смягчит остроту в общественном сознании. Все с тревогой говорят, что сверху не видно никаких действий.

А Государь все недели и все дни — мучительно думал. Он поехал в Елагин дворец к матери, и она отвечала ему то же: ты не подготовлен к такой роли, и тебе этого не простят, не веди Россию к гибели, и государственные дела требуют твоего присутствия в Петрограде. Не повтори ошибку Павла I: и он в последний год стал удалять от себя всех преданных людей.

И верный старик Воронцов-Дашков тоже отсоветывал: сейчас вы — глава государства и судья. А сделаетесь главой войска — можете быть судимы.

И ещё многие уговаривали подобно, гня и испытывая волю Государя.

И только неумолкающий, лучше всех слышимый голос царственной супруги поддерживал взятое направление:

Скромность есть высший дар Бога, но верховный повелитель должен показывать свою волю чаще. Будь увереннеей в себе и действуй! Будь энергичен ради твоего собственного государства. Все пользуются твоей ангельской добротой и терпением. Ты чуточку медлителен в решениях, а колебаться никогда не бывает хорошо. Ты должен показать, что у тебя свои решения и своя воля. Будь твёрд до конца, дай мне в этом уверенность, иначе я заболею от тревоги. В России, пока народ необразован, надо быть господином.

Ото всей этой разноголосицы Государь, видимо, ослабел, и решённая смена иначе

не происходило. Ни на что в жизни ему не приходилось решаться так трудно. Самое ужасное: кому же верить? кто же говорит истину? Опыт октября 1905 с Витте Государь вспоминал как кошмар: непоправимо ужасно — уступить, когда уступать не надо. Вот, на него наседали министры в мае: уволь только вот этих четырёх министров, и сразу всё пойдёт хорошо. И он — уволил четверых, и своего любимого преданного Николая Маклакова,— и чем же смягчил общество? Всё равно не угодил, не умилостивил, как если б и не увольнял: Дума заявляла теперь, что и с нынешним правительством работать невозможно. И новые министры не изобрели же новых способов управления. Как будто добавил четырёх министров вовсе и не левых — а правительство в целом сильно полевело, и еле сдерживал его старый верный Горемыкин. Уступки, нет, никогда не приводили к лучшему. Чтобы спасти Россию, чтобы Бог не оставил её — может быть и вправду нужна искупительная жертва, — вот Государь и станет этой жертвой. И если нужно будет отступать до крайности — он и возьмёт это отступление на себя. Но вместе с тем не мог Государь забыть и своей извечной неудачливости: все несчастья, которых он опасался, всегда на него падали, не удавалось ему ничто предпринимаемое. Он теперь молился — наедине и в разных церквах, и с государыней ездили в Казанский собор. Он уверял себя, что тут — не только внушения её и Григория, но когда он стоял в церкви Большого царскосельского дворца против большого образа Спасителя — какой-то внутренний голос будто убеждал его утвердиться в принятом решении. Всю жизнь он страдал от робости — но надо было её превозмочь!

А между тем смена командования всеми перемалывалась — и не происходила. Наконец, и для великого князя обращалось из милости в позор. (Ещё и Распутин кому-то заявлял, что это он убирает князя.) Николай Николаевич нервно просил ускорить его перемещение на Кавказ. Обиженного Янушкевича уже убрали, заменив генералом Алексеевым.

Кривошеин: Я не ожидал такой недостойной выходки от его высочества. Как бы ни были тяжелы личные переживания, он не имеет права бросать армию на произвол судьбы.

Самарин: За последнее время возобновились толки о скрытых влияниях, которые будто бы сыграли решающую роль в вопросе о командовании. Я откровенно спрошу об этом у Государя, имею на это право. Когда Его Величество предложил мне принять пост обер-прокурора, он лично мне сказал, что все эти россказни придуманы врагами престола. Сейчас я напомню о нашей беседе и буду просить уволить меня. Готов до последней капли крови служить своему законному Царю, но не... Надо положить предел распространению толков, подрывающих монархический принцип сильнее, чем всякие революционные выступления.

Горемыкин: Я неоднократно говорил, что решение Государя бесповоротно. Вместо того, чтобы изматывать его нервы нашими ходатайствами, наш долг сплотиться вокруг Царя и помогать ему.

Шаховской: Я был против перемены командования. Но сейчас уже поздно перерешать, ибо все знают о намерении Его Величества. Отказ будет истолкован как признак слабости воли и боязни.

Кривошеин: С великим князем, по-видимому, кончено. Популярность его упала не только в войсках, но и среди мирного населения, возмущённого наплывом беженцев и бесконечными наборами в то время, когда некому убирать великолепные хлеба. Есть пример в истории. Когда наше отступление перед Наполеоном приняло чересчур поспешный и безнадёжный характер, то Аракчеев, Шишков и Левашёв потребовали отъезда Александра I из армии: если бьют Барклая — Россия только огорчится, если же будут бить Императора Всероссийского, то Россия этого не вынесет. Пусть генерал Алексеев сыграет роль Барклая, а Государь пусть собирает армию в тылу.

Да правительство теперь не было уверено, что само-то оно долго останется в Петрограде, тайно предусмотрительно обсуждало, не начать ли эвакуацию сокровищ Эрмитажа, дворцов, Публичной библиотеки — водными путями, до Нижнего Новгорода. Но опасались этим породить панику: и без того уже в столицах выбирали вклады из сберегательных касс в опасных размерах. А генерал-адъютант Иванов предлагал эвакуацию позади Юго-Западного фронта глубиною в 100 вёрст, а через несколько

дней, и вовсе никого не дождавшись, стал готовить эвакуацию Киева, даже не спрося правительство.

Щербатов: Военные власти окончательно потеряли голову и здравый смысл. Вся местная жизнь перевёрнута вверх дном. Лучше погибнуть в последнем бою, чем подписывать смертный приговор России.

Харитонов: Со всех сторон вопли, что людей бессмысленно напрасно разоряют. Хорошо бы Государю лично посмотреть, что творится с эвакуацией. Надо передать её из рук скоропалительных прапорщиков в руки опытных гражданских администраторов. Злость берёт от нашего бессилия перед генеральской отступательной храбростью.

Кривошеин: У меня вся душа переворачивается при мысли, что Киев — мать русских городов, вековая русская святыня, обрекается на ужасы эвакуации. Действительно, невероятные условия созданы отмежеванием части России под театр военных действий. Надо умолить Его Императорское Величество на созыв военного совета, элементарную меру, о которой 13 месяцев не желали подумать. История не поверит, что Россия вела войну и пришла к краю гибели вслепую, что миллионы людей приносились в жертву самомнению одних, преступности других. Военный совет и выработал бы план дальнейшего ведения войны и строгого порядка эвакуации.

У населения отбирали запасы, расплачиваясь какими-то бонами. Штабы отступали как в безумии — не во временный отход, но так разоряя местность — сжигая посевы, постройки, убивая скот, угрожая оружием землевладельцам — как будто никогда не надеясь вернуться. От генеральских распоряжений отступающие войска провожались проклятиями. Смоленская губерния и соседние стонали от наплыва беженцев, нехватки продовольствия, перегрузки солдатами. Санитарные поезда и военные грузы стояли в пробках на железных дорогах, отставленный вослед за Янушкевичем стратег Данилов-чёрный на одной из станций пировал в поезде. А Ставка уже проектировала отодвинуть границы театра войны — границу своей сумбурной власти и правительственного безвластия — ещё вглубь страны, до линии Тверь — Тула.

Щербатов: Невозможно отдать центральные губернии на растерзание орде тыловых героев. Упразднение нормальной власти — на руку революции.

Кривошеин: Людей охватывает какой-то массовый психоз, затмение всех чувств и разума.

Правительством овладела и высшая нервность, и чувство бессилия. Министры горячо и подолгу обсуждали все проблемы, и обрывали обсуждения, я не решались поставовить, и сами всё более видели, что от их обсуждений ничего не зависит. У них не было мер и методов воздействия, и даже при крайнем возмущении они не находили, как заставить, а только — поговорить, предупредить, внушить. Они ни в чём не проявляли решительности, категорического мнения, противостояния. Не только отобрана была от них четвёртая часть страны в управление генералов, но и в остальной её части они не имели ни в ком опоры, ощущали себя как бы висящими в воздухе. По рождению правительства и подчинению его естественная поддержка могла быть от монарха — но тот почти не ставил их ни во что, устранился от них и не прислушивался к их мнениям. Земский и Городской Союзы распоряжались по всей стране, не спрашивая правительства. Дума и общество всё ярее действовали захватно, игнорировали правительство нарочито — а в законодательной деятельности Дума только тормозила всё, так что ни одного серьёзного закона уже нельзя было провести, тем более спешного.

Кривошеин: Даже конвент запрещал общение палаты с чернью. А у нас пока, слава Богу, ещё нет революции. Но такое время может оказаться неожиданно близким. Не желают понять проявляемую правительством мягкость и пользуются для агитационных целей.

Харитонов: Дума сорвалась с цепи и кусает всех направо и налево, Царь не доверяет своим министрам, — неуявися, что будет.

Население питалось слухами о взяточничестве при военных заказах, возбуждаясь сенсационными листками со вздорными известиями. В Москве беспорядки начались от патриотической радости: от газетного сообщения, что взяли Дарданеллы. В Иванове-Вознесенске — от того, что усадили под арест подстрекателей к забастовке.

Щербатов: Пришлось стрелять, а не было уверенности в гарни-

зоне. Можно ждать отзвука и в других заводских районах. А министр внутренних дел бессилен: повсеместно господствуют тыловые прапорщики с деспотическими наклонностями и малыми познаниями в порученных делах. Я — простой обыватель даже в столице Империи, и могу действовать лишь постольку, поскольку это не противоречит фантазиям военных властей. Надо действовать, да, но как, если ни с какой сторочы нет поддержки?

Столичное общество билось в патриотической тревоге «всё для войны!», во не отказывалось от кафешантанов и пьяного сидения до утра, аквариумы и рестораны гремели музыкой и сияли огнями.

Щербатов. Вопрос не только принципиальный, но и практический: бесполезная трата электричества, когда его не хватает для заводов.

Самарин: Все эти торжествующие кабаки производят в народе крайне тяжёлое впечатление. Власть винят, что она допускает разврат в столице. Святейший Синод призвал православный народ к посту и молитве по случаю постигших родину бедствий. Православному правительству следовало бы закрыть увеселительные места на покаянные дни.

А печать — та и вовсе была распущена, как не попустили бы ни в какой республиканской стране (во Франции она под жёстким режимом служила борьбе с неприятелем).

Сазонов: Наши союзники — в ужасе от разнузданности, какая царит в русской печати.

Горемыкин: Наши газеты совсем взбесились. Всё направлено к колебанию авторитета правительственной власти. Это не свобода слова, а чёрт знает что такое. Даже в 1905 они себе не позволяли таких безобразных выходок. Его Величество указал тогда, что в революционное время нельзя к злоупотреблениям печати руководствоваться только законом, допускать безнаказанное вливание в народ отравы. Военные цензоры не могут оставаться равнодушны к газетам, если те создают смуту в стране.

Кривошеин: Наша печать переходит все границы даже простых приличий. Масса статей совершенно недопустимого содержания и тона. До сих пор только московские газеты, но за последние дни в петроградские будто с цепи сорвались. Сплошая брань, возбуждение общественного мнения против власть, распускание сенсационых ложных известий. Страну революционизируют на глазах у всех — и никто не хочет вмешаться. Ведь есть же у нас закон о военной цензуре?

Щербатов: Гражданская предварительная цензура у нас давно отменена, и у моего ведомства нет никакой возможности помешать выходу в свет той наглой лжи и агитационных статей, которыми полны наши газеты. У нас в законе нет права устанавливать гражданскую цензуру, ни наложить штраф, ни закрыть газету. Только на театре военных действий (правда, включая Петроград) существовала военная цензура, но она задерживала лишь то, что могло принести пользу неприятельскому осведомлению. Военные цензоры освобождены от просмотра печатных произведений в гражданском отношении. Распоряжением Янушкевича из Ставки запрещено только затрагивать августейших лиц — а всё остальное можно бранить, военная цензура не вмешивается в гражданские дела. Печать открыто проповедует решительный штурм на власть, нагнетает общественное мнение. То возбуждает неосновательные надежды («амнистия!»), чтобы тут же свалить на власть невыполнение их.

Кривошеин: Распространение революционных настроений полезнее врагу всяких других прегрешений печати. Кроме здравого смысла и патриотизма — какие указания можно дать военной цензуре? Никто из нас не был цензором, но всякий понимает, что недопустимо в разрушительной работе современной печати.

Тон Государственной Думы стал самый нападательный. Например:

Керенский: Та катастрофа, которая совершается, может быть предотвращена только немедленной сменой исполнительной власти... Мы должны сказать тем, кто сейчас не по праву держит в своих руках флаг: «Уйдите, вы губите страну! А мы хотим её спасти. Дайте нам управлять страной, иначе она погибнет!»

В Думе это звучало звонко. А из кабинета министров виделось:

Кривошеин: ...какой-то нето конвент, нето комитет общественного спасения. Под покровом патриотической тревоги хотят провести какое-то второе правительство. Наглый выпад против власти и лишний повод вопить о стеснении самоотверженного общественного почина. Нам нельзя всё время уступать — не будет предела претензиям. Дума зарывается, обращает себя чуть ли не в Учредительное Собрание и хочет строить русское законодательство на игнорировании исполнительной власти. Какой-то психоз, аберрация чувств.

Харитонов: До какого абсурда могут довести людей партийные стремления. Следовало бы всех этих господ посадить в Совет министров, посмотрели бы они, на какой сковороде эти министры ежечасно поджариваются. У многих быстро бы отпали мечты о соблазнительных портфелях.

Но эти мечты — были очень упорны. А русская власть казалась уже настолько несуществующей, что 13 августа Рябушинский со своей обычной грубостью возьми да и ляпни в своём «Утре России» на всю страницу проект нового правительства: премьер — Родзянко, внутренних дел — Гучков, иностранных — Милюков, финансов — Шингарёв, юстиции — В. Маклаков. Из бюрократии оставлены на местах лучшие для общества: военный — Поливанов, земледелия — Кривошеин.

Сознавая своё особое положение не проклинаемого обществом бюрократа, Кривошеин взял на себя и поиск выхода. Заседания Думы продолжились на август, Дума громчела, резчала,— надо было искать с ней сотрудничество. (Между делом подсадил в вице-председатели Думы благорасположенного князя Волконского.) Взору предносилось, как удавалось Столыпину: не воевать с Думой, во управлять, опираясь на думское большинство, — и притом не будучи перед Думой ответственным. Однако в Четвёртой Думе даже большинства не было, а дробные фракции. И Кривошеину первому пришла в голову мысль — создать такое большинство: возможно больше фракций сплотить а блок — и на этот блок премьер может опираться открыто, даже не считаясь с колебаниями и зигзагами царских настроений. Ибо только два пути и могло быть у правительства: либо внушительно указать, что власть в России существует, ввести железную диктатуру (но ви обстановки такой сейчас немыслимо было создать во всеобщей распущенности, ни диктатора такого, человека такого найти); либо — уступить общественности и править с нею заодно.

И думцы — переняли идею. В эти августовские дни в кулуарах и на частных квартирах стали собираться на заседания *прогрессивные деятели* и стало из них выпестовываться и сплачиваться желаемое большинство — Прогрессивный блок — включая и кадетов и как будто не совместимых с ними октябристов и националистов, исключая только крайне правых и крайне левых. Предусмотрительный трудолюбивый Милюков вёл краткие записи тех тайных переговоров.

Шульгин (националист): За то, что кадеты стали полупатриотами, мы, патриоты, стали полукадетами. Мы исходим из предположения, что правительство никуда не годится. Мы должны давить на него блоком в триста человек.

А. Д. Оболенский (центр). Напротив, если мы не сплотимся с правительством, немцы нас победят.

Блок создался, но что-то не проявлял расположения к умеренному правительству. В блоке модек такой образ:

Мы с правительством — спутники, увы, посаженные в одно купе, но избегающие знакомства друг с другом.

Сравнение — интеллигентское. А — есть ли кто на паровозе?

Крупенский (центр): Законодательные палаты вредно влияют на массы своим говорением.

Вл. Гурко (правый): Можно дать стране все *свободы,* а в войне получить поражение. Надо организовать — победу.

Д. Олсуфьев: Но мы должны приготовить страну даже и к поражению — чтоб неудача не повлекла внутреннего потрясения.

Обстоятельный Милюков предложил составить единую для всех программу.

Ефремов (лидер прогрессистов, бывших левых октябристов): Что— программа! Не программа, а — смена правительства!

Всё же начали обсуждать программу. Это сложно. Всякое естественное требование — уравнение сословий, введение волостного земства, кооперативы, утверждение

трезвости в России на вечные времена — кажется далёким мирным делом. А что неотступно сейчас, ждёт и отлагательства не терпит? Все национальные вопросы, и первее их еврейский.

Оболенский: В еврейском вопросе — три четверти значения всей программы. Это нужно для кредита, для значения России. Американцы ставят условием свободный приезд американских евреев к нам.

Крупенский: Я прирождённый антисемит, но я пришёл к заключению, что для блага родины необходимо сделать уступки евреям. Евреи — большая международная сила, от них зависит поддержка союзников.

А второй по важности вопрос — амнистия, уже третий год, как нет её.

Оболенский: Пока правительство не даст амнистии, мы ему верить не можем.

Милюков: Причём требовать амнистии всем политическим, включая террористов.

Шингарёв: Программа должна быть ультиматум правительству, а не добрый совет.

Натащено было в программу многое, а главное:

Привести отечество к победе может только правительство из *лиц, пользующихся доверием страны.*

Олсуфьев: Мы фактически требуем парламентского министерства.

М. Ковалевский: Мы выиграем, если в печать проникнет, что блок хотел создать правительство народной обороны, а Думу разогнали.

«Правительство доверия», то есть кому доверяют триста членов Прогрессивного блока, а значит весь народ. И — кто же эти лица?.. Заветный вопрос. Ясно, что мы, всем известные думские ораторы. Людей этих — знаем. Но —

В. Маклаков: Лица, популярные в Думе, быстро погаснут в министерстве.

Ну уж! неужели справимся хуже, чем тупоумные царские бюрократы!

Гурко: Да, центр тяжести в лицах. Точнее, в некоем лице, которое возьмёт полную ответственность и выберет себе лиц. Поставить у руля подходящего человека.

У многих колотится тайно сердце: уж не меня ли?..

Ах, как легко когда-то отвергли Витте с его министерскими постами для кадетов! Как легко отказались от власти в 05 году — а с тех пор так никто и не протянул больше...

Милюков и предлагает называть *кандидатов в желаемый кабинет.* Предлагает — он, а называть, естественно, — не ему. Когда станут называть, то первым именем может произнестись... Однако в ужасе

Вл. Бобринский: Обсуждение имён попадёт в печать! будет использовано против нас! А если наметить *одного* — тем пуще: этого кандидата — власти просто погубят!

Такая утечка и произошла в публикации Рябушинского. Очень неприятная разгласка.

Однако, всё же... Надо назвать премьера...

Неожиданно стали называть — Кривошеина! Вот русская робость, даже среди передовых! Называть бюрократа, когда есть прогрессивные деятели!

Милюков: Это меняет весь политический смысл блокирования.

Как воздуха на горе, не хватало смелости лёгким. От лозунгов к именам — всё же страшно перейти. Как это, не *они* привычные правители, а мы?

Назвали Гучкова.

Милюков: Это нас не устраивает.

А может быть и правда — ещё преждевременно называть премьера? Опытный, бывалый, даже вялый царедворец Горемыкин, с утомлёнными глазами, пушистыми усами и долгими бакенбардами, свисшими в две боковых бороды, ездит потихоньку между Петроградом и Царским Селом, в с блоком в переговоры не вступает. Государственные заботы либералов он истолковывает низко: что не терпится им перебраться с платных частных квартир на казённые министерские, на министерское жалованье да в автомобили. Уровень главы правительства!..

Обязанности свои Горемыкин тянул в полном равнодушии к занимаемому посту.

Он не делал движений подлаживаться к Думе, по старости не боялся террористов, по опыту — бунта министров, и уже не боялся царского гнева, а жалел царя.

И сам Кривошеин теперь с изумлением увидел, что столько раз отказавшись от премьерства, так уверенный, что всегда можно заступить вместо старого Горемыкина, — вот и не мог заступить. Такое пришло время: Горемыкин перестал быть согласным, послушным, он дальше всякого смысла упирался в верности царю, особенно в этом проклятом вопросе о смене Главнокомандования. Он тяготил либеральных министров, он портил отношения с Думой, его надо было убрать теперь!

Правда, в глазах Государя Кривошеин так ещё и сохранялся уговорённым наследником Горемыкина — но ведь ещё не отставлялся Горемыкин.

Нет, глубже, есть пределы в каждом характере: как и прежде, так и сейчас, Кривошеин просто не решился бы принять на себя ответственность премьера. Он был исконный, природный человек — второго места.

Почти все министры, кроме Горемыкина и старого Хвостова, интриговали, тайно частно собирались — по душному столичному лету на берегу Большой Невки, в Ботаническом саду на Аптекарском острове, на даче Кривошеина. И там, на их тайных совещаниях, стали решаться судьбы правительства. Кем заменить Горемыкина? Пришли к мысли: Поливанов. С Поливановым, человеком Гучкова, Кривошеин был в понимании, и Поливанова будет приветствовать Дума (он в каждом выступлении льстил ей), — и самому Государю должна понравиться такая мысль: в военное время сделать премьером военного министра!

И действительно, Кривошеин представил эту мысль Государю, и тому понравилось, хотя он и не любил Поливанова. Тогда Кривошеин ещё осмелел и предложил взять в министры — Гучкова.

Государь — отемнился, сразу уклонился. Гучкова — он понимал как своего личного, закоренелого врага.

И сразу всё предложение ему показалось заговором. (Оно и было им.)

И, рикошетом, он впервые за много лет отвратился и от Кривошеина.

И тут недремлющие события покатили дальше. Казалось уснувший, почти обойденный вопрос о смене Верховного Главнокомандования взорвала московская городская дума. 18 августа она приняла три резолюции: послать демонстративную восхищённую телеграмму великому князю; требовать *правительство доверия;* и требовать, правда в почтительной форме, приёма своих представителей Государем. Никакой городской думы не было это дело, но московская считалась знаменем российского общества, излюбленным голосом и центром его.

И 19 августа снова завихрились прения в напуганном, бессильном Совете министров. Спорили, не дослушивая и перебивая друг друга.

Щербатов: Требования московской думы об аудиенции недопустимы и по форме и по существу. Нельзя вести с Царём политические беседы помимо правительства и законодательных учреждений. Либо есть правительство, либо его нет. За Москвой потянутся другие города, и Государя завалят сотнями петиций.

Горемыкин: Самое простое — не отвечать всем этим болтунам и не обращать на них внимания, раз они лезут в сферу, им не подлежащую. Нам надо поддержать Государя Императора в трудную минуту и найти то решение, которое облегчит его положение. Так называемые общественные деятели вступают на такой путь действий, что им надо дать хороший отпор.

Харитонов: Вопрос, чреватый последствиями. Не надо забывать, что москвичи говорят под флагом верноподданнических чувств. Их обращение к великому князю — предупреждение, этого нельзя игнорировать.

Поливанов: Не могу согласиться с упрощённым решением вопроса величайшей политической важности. Смена командования после московской резолюции произведёт удручающее впечатление и будет истолкована как вызов. И что такого революционного в резолюции? Правительство, опирающееся на доверие населения, это нормальный государственный порядок.

Сазонов: Московские события убеждают меня в необходимости во что бы то ни стало отложить вопрос о командовании.

Самарин: Настроение в Москве — яркое и быстрое подтверждение

тому, что я говорил. Перемена командования грозит самыми тяжкими последствиями для нашей родины. Нельзя отказать и в приёме московского городского головы — это было бы незаслуженной обидой первопрестольной столице. И приём должен быть особенно милостивым и благосклонным, приласкать.

Всего несколько дней назад они все же примирились со сменой Главнокомандования, искали мягкие формы рескрипта, — теперь московская дума ожигательно подстегнула их прежние возражения.

Кривошеин: Таковы и мои сведения из Москвы: настроение там очень повышенное, и может создаться обстановка, в которой ведение войны окажется безнадёжным. Избегать обострять общественное раздражение. Вопрос представляется ещё более широким и принципиальным. В каком положении мы окажемся, если вся организованная общественность будет требовать власти, облечённой доверием страны? Такое положение не может длиться долго. Надо это откровенно сказать Государю, который не осознаёт окружающей обстановки, не даёт себе отчёта, в каком положении находится его правительство и всё государственное управление. Мы должны открыть монарху глаза на остроту настоящей минуты. Сказать Его Величеству, что либо надо реагировать с силой и верой в своё могущество,

— этот вариант он называл лишь формально, никто уже не верил в этот путь, —

либо открыто завоёвывать для власти моральное доверие. Золотая середина всех озлобляет. Или сильная военная диктатура, или примирение с общественностью. Наш кабинет не отвечает общественным ожиданиям я должен уступить место другому, которому страна могла бы поверить.

(Впрочем, сам он наверняка должен был сохраняться в том новом кабинете.)

Ставшее повсеместно известным решение принять Главнокомандование — пагубное, результаты его будут самыми тяжкими для России и для успеха войны. И это — риск для династии. Надо просить Его Величество собрать нас и умолять отказаться от смещения великого князя, в то же время коренным образом изменив и характер внутренней политики. Я долго колебался раньше, чем окончательно придти к такому выводу, но сейчас каждый день равен году. Это не революция, а бесконечный страх населения за будущее. Увольнение великого князя недопустимо, однако и полный отказ отразился бы на авторитете монарха. Нужен компромисс: назначить великого князя своим помощником. Перед Государем мы должны быть тверды, не только просить, но и требовать. Пусть Царь нам головы рубит, сошлёт в места отдалённые (к сожалению, он этого не сделает), но в случае отказа на наши представления мы должны заявить, что не в состоянии больше служить ему по совести.

Шаховской: Мы стоим на повороте, от которого зависит всё дальнейшее. Пока общественные пожелания остаются умеренными — опасно было бы отметать их огулом.

Поливанов: По слухам, доходящим до военного ведомства, солдаты в окопах высказываются, что у них хотят отнять последнего заступника, который держит генералов и офицеров.

Игнатьев (просвещение): Среди молодёжи высших учебных заведений идёт брожение на почве симпатий к великому князю. Со стороны студенческой массы возможны выходки и протесты.

Самарин: А какое впечатление произведёт на верующих, когда в церквах перестанут поминать на ектеньях великого князя, о котором уже год молятся как о Верховном Главнокомандующем? На эту подробность тоже обратить внимание Государя. Да неужели Совет министров настолько бессилен, что не сможет добиться принятия спасительного компромисса?

Так создалась стена дерзких министров, и Горемыкин согласился не препятствовать их последней попытке, хотя сам считал, что решение государево неизменно.

Но в беседе с Государем всячески остерегаться говорить об ореоле великого князя как вождя.

Он тотчас доложил Государю — и на вечер 20 августа они были позваны в Царское Село.

Государь поражался: его кабинет бушевал как левое крыло Думы? — хлестнула волна и сюда! И даже ещё в чём-нибудь другом он мог стерпеть их оппозицию, прислушаться к ним,— но как они смели залезать в самую сокровенную глубину царской души: в его долг перед страной, соединение со своим народом? В его царское положение как орудия Божьего Промысла? Почему они лезли туда, где может парить только беззвучие и царская молитва? И что они понимали в военном деле — разве они служили в полках? участвовали хотя бы в манёврах? И разве могли они оценить, что Николаша дерзко повёл себя как повелитель России? — он так использовал свой пост, что и действительно мог бы посягнуть на Верховную власть. И почему Верховное Главнокомандование должно решаться не Царём, но московской думой, но адвокатами и журналистами? да даже хоть и министрами? И не общественная ли запальчивая критика Ставки первая и толкнула Государя на мысль о смене? Что ж остаётся от монархии? Целый год Царь казался недвижим и безучастен — и всем это приходилось плохо. Наконец он решился проявить себя — и всем это пришлось ещё хуже.

А командовать своею армией — была его заветная мечта. Его звал к этому жребию внутренний голос, долг Помазанника, независимо от победы или поражения войск. Его совесть не могла обмануть!

И не оставлял его поддерживающий голос императрицы:

Они слишком привыкли к твоей мягкой всепрощающей доброте. Они должны выучиться дрожать перед твоим мужеством и твоей волей. Я знаю, как тебе это дорого обходится, но быть твёрдым — это единственное спасение. Слава твоего царствования приходит тогда, когда ты твёрдо держишься против общего желания. Меньше обращай внимания на советы других. Ах, когда ты наконец хватишь рукой по столу и накричишь, что они неправильно поступают. Тебя — не боятся. Ты должен их напугать, иначе все садятся на нас верхом. Если бы твои министры боялись — всё шло бы лучше. Меня приводит в бешенство, что министры ссорятся, это предательство. Ты слишком мягок, так не может продолжаться. Все, кто любят тебя, хотят, чтобы ты был строже. Ах, мой мальчик, заставь их дрожать перед тобой!

Да он — уже решился бесповоротно, и только досадно задерживали его министры все эти недели колебаниями и отговорками. (И так ему нравилось это новое название: «Царская Ставка» в конце будущих приказов!) Но вот — предстояло ещё раз выдержать столкновение с ними,— и Государь боялся, зная свою уступчивость, прислушливость, — боялся, что его отговорят. И перед выходом к министрам он расчесался магическим, как уверял Григорий, гребешком, придающим стойкость. И знал, что императрица с Аней Вырубовой будут подходить извне с балкона, к окнам их освещённого вечернего заседания — смотреть на него, молиться и гордиться.

И с напряжением небывалым, уже в крупных каплях пота, Государь выдержал это мучительное заседание 20 августа, выслушивал горячие, слитные и сумбурные отговоры, возражения и убеждения министров — и всё-таки не сдался! Устоял! Стягом всей своей воли, высшим усилием он ответил министрам: да! да! да! Принимаю Верховное Главнокомандование и немедленно уезжаю в Ставку, и вопрос окончен обсуждением.

Да ведь уже знала вся страна! — как же было отказаться?.. И ещё такое торжество доставить Николаше?.. (Написал ему: прощаю в а м — то есть с Янушкевичем — ваши грехи. То есть и наговоры.)

И оттого, что он так редкостно не уступил хору министров, — Государь им простил их дерзкое сопротивление, простил — за то, что оказался увереннее их. Восторжествовав над ними — он настроился благодушно. (А если б он уступил им — через час он уже тяготился бы своим поражением невыносимо, и должен был бы всех их увольнять, освобождаться от них.) И благоугодно согласился: через день, 22-го, торжественно и милостиво открыть Особые Совещания по военному снабжению, топливу, перевозкам, куда члены Думы и общества допускались теперь работать с министрами.

Но ещё 21-го кабинет собрался в Елагином дворце, крайне возбуждённый от своей неудачи. Сазонов и Поливанов исходили от раздражения. У них появился тон такой резкий, как если б они были не из правительства, а из думской оппозиции. Кривошеин вообще отсутствовал, уже не теряя времени тут. Оппозиционные министры тайно собирались накануне царскосельского заседания, предстояло им тайно собраться

и сегодня, а пока здесь, с Горемыкиным, сознание их двоилось, и что-то из тайного они выговаривали здесь, да ведь и это заседание было секретным.

Оказалось, что хотя вчера проспорили с Государем весь вечер — а ничего не решено: каково же будет направление внутренней политики: диктатура или уступки? и что же отвечать московской думе?

Горемыкин предложил: изъявить высочайшую благодарность за верноподданнические чувства. Ему возразили, что это будет ирония, а московская телеграмма написана кровью болеющих за родину людей. Самое правильное — исполнить все пожелания московской думы. (Так и о великом князе опять?)

Щербатов: А посыплются сотни таких телеграмм изо всех городов? Нельзя их признавать революционными. Ответом Москве предрешается направление внутренней политики.

Поливанов: В этом ответе Россия должна увидеть, что её ждёт в ближайшем будущем.

Григорович: В критической обстановке нельзя играть в прятки. Целый месяц мы топчемся на месте.

Вчера Государь заявил, что великому князю он верит. Но —

Сазонов: Какой стилист может соединить *доверие* великому князю с отчислением его на Кавказ? Начнут говорить, что Царь у нас вероломный.

Так оказалось — и о великом князе ещё не решено?

Григорович: Наша обязанность сделать ещё последнюю попытку — представить Его Императорскому Величеству письменный доклад об опасности для династии, верноподданно заявить: не делайте бесповоротного шага, не трогайте великого князя!

Горемыкин: Государь Император вчера совершенно определённо сказал, что на днях выезжает в Могилёв и там объявит свою волю. Какие же тут возможны доклады? Недопустимо, чтобы Совет министров тревожил Царя в исторический час его жизни и напрасно волновал бесконечно-измученного человека.

Сазонов: Наш долг в критическую минуту откровенно сказать Царю, что при слагающейся обстановке мы неспособны управлять страной, бессильны служить по совести.

Горемыкин начал понимать, что министры без него сговорились тайно:

То есть, говоря просто, вы хотите предъявить своему Царю ультиматум?

Сазонов: Нам доступны только верноподданнические моления. Не будем спорить о словах. Дело не в ультиматумах, а сделать последнюю попытку указать на всю глубину риска для России, предупредить его о смертельной опасности.

Щербатов: Правительство, которое не имеет за собой ни доверия Государя, ни армии, ни городов, ни земств, ни дворян, ни купцов, ни рабочих — не может даже существовать. Мы умоляли устно — попробуем в последний раз умолять письменно. Если с нашим мнением не желают считаться наверху — наш долг уйти.

Шаховской: В редакции доклада надо всячески избежать оттенка, который навёл бы на мысль о *забастовке* (министров). Государь вчера произнёс это слово.

Игнатьев: Мы должны снять с себя упрёк, что мы молчали в минуту величайшей опасности для России.

Самарин: Вопрос идёт о грядущих судьбах России, и мы участники великой трагедии. В общем голосе страны проявляется здоровье, правильное чувство, навеянное тревогой за родину.

Горемыкин: Чрезмерная вера в великого князя и весь этот шум вокруг его имени есть не что иное, как политический выпад против Царя. Добиваются ограничения царской власти. Левые политики хотят создать затруднения монархии и для этого пользуются несчастьем, переживаемым Россией.

Сазонов: Мы категорически оспариваем такое истолкование общественного движения. Оно не результат интриги, а крик самопомощи. К этому крику и мы должны присоединиться.

Горемыкин: Усердно прошу вас всех доложить Государю о моей непригодности и о необходимости замены меня. Буду до глубины души благодарен за такую услугу. Поклонюсь низко тому, кто заменит меня. Но сам прошения об отставке не подам и буду стоять около Царя, пока он не признает нужным меня уволить.

Такого резкого упрямства никто из них не ожидал от этого затяжливого рассуждательного старика. Но в спор их был никак не личный, а всё более вырастал в понимание монархии в её трудный час. Сазонов (более всех тут и виновный в возникновении этой войны):

Когда родина в опасности, рыцарское отношение к монарху красиво, но и вредно для неизмеримо более широких интересов. Мы хотим предостеречь Царя от фатального шага, вы — себя и Россию ведёте на гибель. Наш патриотический долг не позволяет помогать вам. Подыщите себе других сотрудников. А мы должны объяснить Царю, что спасти положение может только примирительная к обществу политика.

Горемыкин: В моей совести Государь Император — Помазанник Божий. Он олицетворяет собою Россию. Ему 47 лет, он распоряжается судьбами народа не со вчерашнего дня. Когда воля такого человека проявилась — верноподданные должны подчиняться, каковы бы ни были последствия. Поздно мне на пороге могилы менять мои убеждения. От своего понимания служения Царю я отступить не могу.

Щербатов: И Самарин, и я — бывшие губернские предводители дворянства. До сих пор никто не считал нас левыми. Но мы оба не можем понять такого положения в государстве, чтобы монарх и его правительство находились в радикальном разноречии со всей благоразумной общественностью (о революционных интригах говорить не стоит). Наша обязанность сказать Государю, что для спасения государства от величайших бедствий надо вступить на путь направо или налево. Положение не допускает сидеть между двух стульев.

Министры говорили: решиться на действия в какую-*либо* сторону, но решались именно на уступки.

Сазонов: Государь — не Господь Бог. Он может ошибаться.

Горемыкин: Хотя бы Царь и ошибался, но покидать его в грозную минуту я не могу. Не могу требовать увольнения в минуту, когда все должны сплотиться вокруг Престола и защищать Государя. Весь этот вопрос о командовании раздут намеренно. Сейчас отказ Государя от своего решения был бы гораздо более чреват последствиями.

Самарин: Я тоже люблю своего Царя, глубоко предан монархии и доказал это всей своею деятельностью. Но если Царь идёт во вред России, то я не могу за ним покорно следовать.

Харитонов: Если воля Царя грозит России тяжкими потрясениями, то надо отказаться от её исполнения и уйти. Мы служим не только Царю, но и России.

Горемыкин: В моём представлении эти понятия неразделимы.

Харитонов: В отличие от вас, мы считаем, что подчинение должно быть не с закрытыми глазами. Нельзя принимать участие в том, где мы видим начало гибели нашей родины.

Сазонов: Трудно при современных настроениях доказать совпадение воли России и Царя. Как раз обратно.

Самарин: Русскому Царю нужна служба сознательных людей, а не рабское исполнение приказаний. Царь может нас казнить, но сказать ему правду мы обязаны. На порыв общества мы должны ответить благожелательством.

Горемыкин: Русскому человеку нельзя бросать своего Царя на перепутьи. Так я думаю и в таком сознании умру.

И лишь один человек в правительстве поддержал председателя, министр юстиции, старый

Хвостов: Я сомневаюсь в правильности анализа, что мы имеем

дело с бескорыстным патриотическим движением. К нему примазываются тёмные личности, его используют для достижения партийных стремлений. Наиболее рьяные патриоты и приверженцы общественных домогательств обращались за активной поддержкой к московским рабочим, но потерпели неудачу: заводы ответили, что будут работать до окончательной победы. Подобные обращения — не патриотический акт, а уголовно-наказуемый. Предъявляются требования об изменении государственного строя не потому, что такое изменение необходимо для победы, а потому что военные неудачи ослабили положение власти, и на неё можно давить, ножом к горлу. По-моему, политика уступок вообще неправильна, а в военное время недопустима. Политика уступок нигде в мире не приводила к хорошему, а всегда влекла страну по наклонной плоскости. Призывы, исходящие от Гучкова, левых партий Думы и коноваловского съезда, рассчитаны на государственный переворот. Это повлечёт за собой гибель отечества.

Сазонов: Вы не верите даже Государственной Думе! А она со своей стороны не верит нам. Мы и считаем, что выход — в примирении, в создании такого кабинета...

Так снова и снова спор возвращался к главному. Дело было не в великом князе, а в министрах, которым доверит общественность. Нынешнего правительства не хотела Дума — и сами министры не хотели себя здесь. Они бушевали, не умеряя себя и сами себя уже не вполне понимая.

Горемыкин: Уступками вы ничего не достигнете. Все партии переворота пользуются военными неудачами для усиления натиска на власть, для ограничения монаршей власти.

И в тот же вечер, собравшись в служебном кабинете Сазонова на Дворцовой площади, у Певческого моста, 8 министров (было бы 10, но военный и морской не могли по уставу, а всего в кабинете без Фредерикса 13), подписали коллективное письмо Государю: их коллективную отставку по несогласию, в сущности ультиматум, — небывалый случай в истории императорской России. (Но их расчёт был, что не может Государь расстаться сразу с восемью министрами!) Изобрёл такой шаг — Самарин, и в нём же сложился проект текста, дорабатывали Кривошеин с Харитоновым, переписал Барк своим хорошим почерком. И передали через флигель-адъютанта.

...Не поставьте вам в вину наше смелое откровенное обращение... Вчера мы повергли перед Вами единодушную просьбу, чтобы великий князь Николай Николаевич не был отстранён. Но опасаемся, что Вашему Величеству не угодно было склониться на мольбу нашу и, смеем думать, всей верной Вам России... Мы теряем возможность с сознанием пользы служить Вам и родине.

А на следующий день, 22 августа, в Зимнем дворце состоялась заранее назначенная процедура открытия Особых Совещаний по обороне — и все министры должны были присутствовать и сверкать всеми орденами. Это был акт официального привлечения законодательных учреждений и торгово-промышленного класса к делам ведения войны. Государь произнёс речь, составленную для него Поливановым и Кривошеиным, затем милостиво обходил присутствующих. (Вошла и императрица с наследником. Болезненного вида и в солдатской гимнастёрке, мальчик производил щемящее впечатление.) Опасались, не выступил бы с неловкими поучениями сумасшедший Родзянко, но обошлось. Обе стороны сняли удовлетворением. Министры с тревогой следили за Государем и удивлялись, что он не переменился к ним в обращении. (А он просто ещё не получил их ультиматума.)

Казалось: страна сотрясается в свои роковые дни — а церемония в Зимнем выглядела мирно, торжественно, благожелательно.

И в тот же вечер, покинув министров в неведении о судьбе их отставки, Государь отбыл в Могилёв, сменять великого князя.

Сего числа Я принял на Себя предводительствование всеми сухопутными и морскими вооружёнными силами, находящимися на театре военных действий.

И в тот же день оглашено было важное заявление о создании Прогрессивного блока.

Но чем решительнее повели себя министры относительно Верховной власти — тем более они теперь зависели от единения с Думой. Уж не вспоминали совет Шаховского:

внести в Думу острый законопроект, чтобы рассорить разнородные партии блока, напротив, кривошеинский кружок министров искал в блоке опоры для правительства, искал, как сговориться о единой программе действий. Лозунги Думы проникали и сквозь оболочку правительства, в груди министров, соблазнительные лозунги — единство с обществом, доверие народа (а сами министры разве не считали себя обществом?), и ведь их тоже могли пригласить в то правительство, но уже не придётся заседать с неуступчивой енотовой шубой Горемыкиным, а уверенно вести Россию в полномочии от народа. Однако блок от соединения партий не стал средним арифметическим, а полевел, и ещё повраждебнел к правительству, и не скрывал, что его интересует прежде всего не программа, а смена лиц: прежде всего убрать Горемыкина, затем теснить и других.

Каждый день заседали между собой вожди блока и другие прогрессивные деятели.

Челноков: Условия Блока не должны быть ультимативны. Блок тоже может уступать. Общество ещё может влиять на правительство манифестационной кампанией.

Коновалов: Переговоры с правительством бесплодны. Низы народа близки к отчаянию.

(Фабрикант знает.)

Князь Г. Львов: Правительство толкает общество на отчаяние, а мы должны удержать его от анархии.

(За князем уже заметили, что он сам готовится в премьеры.)

Рябушинский: Никакая работа при данном правительстве невозможна. Сейчас клянчат в Англии заём. Как только получат — Думу разгонят.

Ефремов: Разгонят Думу — не расходиться! Воззвание к народу!!!

Милюков: Думу ни в коем случае не распустят.

А депутаты, прибывшие из Действующей армии:

Да что вы! Да если только Думу тронут — вся армия встрепенётся!

А правые, всегда против народа, шумели в Думе:

Довольно ваших заседаний! Дела зовут в деревню! и на фронт!

И покидая сессию, разъезжались самочинно.

И правительство размышляло, что же делать с Думой. При всей разноте между министрами, они склонялись, что удобней бы распустить её на вакации.

Кривошеин: Практически Дума исчерпала предметы своих занятий, и в ней создаётся тревожное настроение. Речи и резолюции могут принять открыто революционный характер. Словоговорение увлекает, и ему нет конца. Заседания без законодательных материалов превращают Думу в митинг по злободневным вопросам.

Горемыкин: На Западе сейчас не собирают законодательных палат, а только комиссии их, — но комиссии и у нас работают.

Срочные законы и меры, вызываемые военным положением, безнадёжно было бы пытаться провести через Думу, а при её сессии невозможно и в обход, по 87-й статье.

Щербатов: Нет, ещё не все законопроекты кончены. Нужна санкция Думы для Особого Совещания по беженцам. Присутствие в нём выборных представителей необходимо, чтобы снять с одного правительства ответственность за ужасы беженства и разделить её с Государственной Думою.

Кривошеин: Я думаю, пропустят без задержек. Слишком очевидна необходимость.

Харитонов: Дума отучила нас от оптимизма. Ею руководят не общие интересы, а партийные соображения. Если узнают, что роспуск откладывается из-за беженцев, то закон будут затягивать.

Горемыкин: Сказка про белого бычка. И всё равно будут взваливать всю ответственность на правительство. Совещание по обороне состоит из выборных, а за недостатки снабжения ругают исключительно нас.

Кривошеин: Перерыв сессии должен последовать до 1 сентября. Обстановка такова, что расставание с Думой надо обставить благопристойно, сговориться с президиумом, а не как снег на голову.

Харитонов: Родзянко встанет на дыбы и будет утверждать, что спасение России только в Думе.

Горемыкин: Если заговорить с Родзянко, то этот болтун сразу раззвонит на весь свет.

Игнатьев: Не исключена возможность, что Дума откажется подчиниться и будет продолжать заседать.

Щербатов: Вряд ли. Огромное большинство их трусы и дрожит за свою шкуру.

Шквал налетал за шквалом в это ужасное лето. Не успели перебояться народного взрыва от перемены командования — начинали бояться народного взрыва от роспуска Думы. У Горемыкина лежали уже готовые, подписанные Государем (из-за того, что он уехал в Ставку) указы о перерыве занятий законодательных учреждений, и ему предоставлено вписать день роспуска. Но — какой? но — можно ли?

Хвостов: Г-н Милюков, как мне передавали, откровенно хвастает, что у него в руках все нити и что в день смены Верховного Главнокомандования стоит ему только нажать кнопку, чтобы по всей России начались беспорядки.

Горемыкин: Я настолько верю в русский народ, что не допускаю мысли, что он ответит своему Царю беспорядками, да ещё в военное время. При всеобщем шатании умов — смуту создают речи левых депутатов в Думе и злоупотребления печатным словом.

Щербатов: Ведётся напряженная пропаганда во внутренних гарнизонах и лазаретах.

Сазонов: Несомненно разгон Думы повлечёт за собой беспорядки среди рабочих. Отметать общественные элементы недопустимо.

Григорович: Беспорядки неизбежны, настроение рабочих очень скверное. Немцы ведут усиленную пропаганду и заваливают деньгами противоправительственные организации. Сейчас особенно остро на Путиловском заводе: рабочие стоят у станков, но ничего не делают, требуя 20 процентов прибавки. Я очень опасаюсь, что прекращение занятий Думы тяжело отразится на внутреннем положении в России.

Поливанов: Вся подготовка обороны — на обществе и рабочих. Если те и другие будут доведены до отчаяния...

Горемыкин: Ставить рабочее движение в связь с роспуском Думы — неправильно. Оно шло и будет идти. Не спорю, роспуск будет использован для агитации. Но и если Дума будет оставаться, мы ничем не гарантированы. Будем мы с блоком или без него — для рабочего движения безразлично.

Кривошеин: Если всего бояться — то всё погибнет. Я повторяю: нельзя дальше держаться серединки.

В Кривошеине боролась любовь к сильной власти, определённым действиям. И — готовность к ним. И — неготовность к ним. И сейчас, когда дни Горемыкина казались всё более сочтены, и разумно ничья кандидатура взамен не могла стать раньше кривошеинской, и нависали переговоры с думцами о программе блока, — Кривошеин нуждался уйти со сцены, не связывать себя ни переговорами, ни программой, уйти от главных обсуждений, а тем временем — соприкоснуться с нутром оппозиционной Москвы. И в эти напряжённые дни уехал к своим купеческим родственникам и знакомым в Москву.

А между тем 25 августа Прогрессивный блок опубликовал и предложил правительству свою программу. Положение ещё более усложнялось.

Сазонов: Выгодно ли распускать Думу, не поговорив с большинством о приемлемости этой программы? Я уверен, что можно будет сговориться, тогда и распустить. Люди разъедутся по домам с сознанием, что правительство идёт навстречу справедливым пожеланиям. Этот блок, по существу умеренный, надо поддержать. Если он развалится, то возникнет гораздо более левый. Опасно провоцировать непарламентские формы борьбы. Эти люди болеют душой за родину, а их объявляют незаконным сборищем? Правительство не может висеть в безвоздушном пространстве и опираться на одну полицию.

Что за лето такое ужасное? Какой вопрос ни возьми, все они двоятся, троятся, множатся — и где же истина?

Горемыкин: Разговоры с блоком я считаю для правительства недопустимыми. Мы можем иметь дело только с законодательными учреждениями, а не со случайным объединением их представителей. Блок создан для захвата власти. Его плохо скрытая цель — ограничение царской власти. Он всё равно развалится, и его участники между собой переругаются.

Шаховской: И оставление Думы, и роспуск её одинаково опасны. Я высказываюсь за роспуск, но сделать это по-хорошему, поговорить с представителями блока о программе. Так мы откроем выход самим думцам, которые жаждут роспуска, ибо чувствуют безнадёжность своего положения.

Щербатов: Наш разлад с Думой раздражает страну. Но важно провести роспуск без поводов к скандалу. Отрицать нельзя, программа блока шита нитками и составлена в расчёте поторговаться. Но развал блока был бы правительству невыгоден, поставил бы его перед левыми течениями. Нельзя допускать, чтобы благоразумная часть Думы разъехалась, обиженная невниманием. А Родзянко больше всех обозлён, что правительство не принимает его всерьёз.

Сазонов: Большинство Думы считает, что роспуск нужен, и не будет нам мешать прервать сессию.

Пришли к тому, что нужно провести переговоры, пока неофициальные, частью министров с несколькими вождями блока. Продемонстрировать, что правительство не отвергает общественные силы.

Анализ программы блока приводил к удивительному выводу: кроме демагогических всплесков о власти, опёртой на народное доверие, программа блока была достаточно робкая, его требования либо уже находились в стадии выполнения, либо не были кардинальны, либо блок не очень на них и настаивал, готов был смягчать и уступать. Требовали политическую амнистию, но легко разгадывалось, что хотят прощения участникам Выборгского воззвания, дать им наконец возможность быть избираемыми, — против этого не возражало и правительство.

Хвостов: Да многие политические дела уже закончены в порядке монаршего милосердия, и не мало джентльменов гуляет на свободе.

Но думские лидеры конфиденциально и журили правительство за то, что постоянно кого-то из политических освобождая, оно не умеет устроить этому широкую рекламу и извлечь политический эффект, что было бы выгодно и думцам.

Щербатов: Надо сделать с рекламой. Взять десяток-другой особенно излюбленных освободителей и сразу выпустить их на свет Божий с пропечатанием во всех газетах.

Так же и с чисткой местной администрации и с улучшением приёмов управления — правительство не имело навыков рекламы.

Блок ещё раз настаивал на веротерпимости, но больше для приглядности своей позиции — веротерпимость и так уже осуществилась.

Горемыкин: Но как прикажете быть, когда люди прикрываются религиозной неприкосновенностью для достижения политических целей?

По польскому вопросу уже многое делалось и ничего ярко определённого блок не мог присоветовать. Льготы малороссийской печати (не сепаратной, вскормленной австрийцами) ничего не стоило и дать. По еврейскому вопросу сама программа блока была петлисто-оговорчива: «вступление на путь отмены ограничений в правах», — но черта оседлости только что была разломана, открыты все города, а в деревни евреи и не просились; и в учебные заведения ограничения для евреев всё снимались, и в профессиональной деятельности тоже. Развитие еврейской печати? — и очень хорошо, пусть тратят деньги на свои органы, а не на то, чтобы поворачивать русские. Не вызывала спора «благожелательность в финляндской политике». Да уж куда было больше благожелательности? Финляндия не участвовала в расходах на войну, её марка спекулятивно головокружительно повышалась за счёт рубля, за счёт основной России. Население было освобождено от призыва и не несло натуральных повинностей. Преследование рабочих больничных касс? Его и не было, если те не служили прикрытием подпольной деятельности.

И вот оказалось, что по большей части программы нет непримиримых разногласий, легко сговориться.

Сазонов: Если только обставить всё прилично, дать лазейку, то

кадеты первые пойдут на соглашение. Милюков — величайший буржуй и больше всего боится социальной революции. Да и большинство кадетов дрожат за свои капиталы.

Самарин: Слово «соглашение» недопустимо в отношении такой пёстрой компании, большинство которой движимо низменными побуждениями захвата власти любой ценою.

И так 27 августа на квартире Харитонова четверо министров встретились с лидерами блока с целью взаимного осведомления.

И встреча показала то, что уже и было ясно министрам: их разделяли с блоком не пункты, и в пунктах блок готов был уступать, но расплывчатая преамбула:

...власть, опирающаяся на народное доверие... Создание правительства из лиц, пользующихся доверием страны.

(Так сразу — доверием целой страны.)

Что ж это за люди? Где они?

Вожди блока подразумевали самих себя, и вся-то программа их только и сводилась — к людям, которые составят власть. Нынешняя обстановка казалась им очень удобной для такого вхождения. Они ждали возможностей поторговаться, а роспуска Думы как будто не ожидали.

Горемыкин: Правительству нечего идти в хвосте у блока. В нынешней внутренней и внешней обстановке надо действовать, иначе всё рухнет. Разойдётся ли Дума тихо или со скандалом — безразлично. Но я уверен, что всё обойдётся благополучно и страхи преувеличены.

Сазонов: Могут возникнуть серьёзные конфликты, которые тяжко отразятся на стране.

Горемыкин: Всё равно, пустяки. Никого, кроме газет, Дума не интересует и всем надоела своей болтовнёй.

Сазонов: Категорически утверждаю, что мой вопрос не «всё равно» и не «пустяки». Пока я состою в Совете министров, я буду повторять, что настроение депутатов влияет на общественную психологию.

Поливанов, Игнатьев: Вопрос сводится к форме и обстановке роспуска Думы, пройдёт ли он по-хорошему или во враждебной атмосфере.

Щербатов: За последнее время акции Государственной Думы в стране сильно пали. Но среди населения вкоренилось и то, что правительство стоит в стороне и ничего не хочет делать.

Это заседание, 28 августа, Горемыкин вёл в прежнем убеждении, что обсуждается только факт, акт и дата роспуска Думы, и всё никак он не мог получить ясного согласия от министров. А между тем воротившийся из Москвы и долго сидевший непроницаемо молча, вступил Кривошеин. Помнилось, что четыре дня назад, перед отъездом, он соглашался на роспуск Думы до 1 сентября и только требовал от правительства общей крутой решимости. Но вот он съездил в оппозиционную Москву — и чего-то иного набрался там, что-то в нём переменилось, однако он хотел бы это изобразить как прежнее. Теперь он выступил и повернул всё обсуждение:

Передо мной становится другой вопрос. Какое возможно при роспуске правительственное заявление в Думе? Что мы ни говори, что ни обещай, как ни заигрывай с Прогрессивным блоком, — нам всё равно ни на грош не поверят. Ведь требования Думы и *всей страны* сводятся к вопросу не программы, а людей, которым вверяется власть.

И надо не искать день для роспуска Думы, но принципиально спросить

об отношении Его Императорского Величества к правительству настоящего состава и к требованиям страны об исполнительной власти, облечённой общественным доверием.

Он — взрывал это застоявшееся нерешительное правительство. Он говорил — в формулировках блока, как представитель общества, а не кабинета министров, — вот какую уверенность дала ему эта московская поездка.

Пусть Монарх решит, как ему угодно направить дальнейшую внутреннюю политику, по пути ли игнорирования таких пожеланий,

выше назвачных требованиями,

или же по пути примирения, избрав во втором случае пользующееся общественными симпатиями лицо и возложив на него образование правительства.

То есть, он объявлял о снятии Горемыкина и, очевидно, сам шагал к посту премьера, решился!

Невозмутимый Горемыкин всё понял, но ещё пытался как ни в чём не бывало вести правительство к поиску даты роспуска. Однако Кривошеин — ничего не хотел говорить ни о какой дате, а министры, подхватываясь один за другим, выказывали, что они либо в сговоре с Кривошеиным, либо в душевном единстве с ним, и министерская забастовка не оставлена.

Сазонов: Всецело примыкаю. Кристаллизовано то, вокруг чего мы ходим уже много дней. Довести до сведения Его Величества.

Игнатьев: Присоединяюсь.

Харитонов: Совершенно согласен.

Горемыкин, оставаясь:

Следовательно, вопрос о роспуске Думы должен быть отложен до распределения портфелей? и ограничения Монарха в прерогативе избрания министров?

Кривошеин из нападательной позиции:

Я готов согласиться на одновременность роспуска Думы и смены кабинета.

Да ведь уже 7 дней прошло, как они решились на коллективную отставку — а Государь молчал. Весьма сомнительна была милость Государя, оставлявшего бунтовщиков на местах. Теперь возник неповторимый момент: овладеть правительством, опираясь на разгон Думы!

Щербатов: Действительно, пора перестать топтаться на одном месте. Недовольство в стране растёт с угрожающей быстротой. Надо призвать новых людей. Наш долг просить Его Величество покончить с неопределённостью. Перемены кабинета желает вся страна, и я к ней примыкаю.

Вытягивал неуклоняемый монархист

Горемыкин: Значит, решение надо перенести с нас на Государя Императора?

Да! — соглашались Щербатов и Шаховской, а Кривошеин расширялся дальше:

Мы, старые слуги Царя, берём на себя неприятную обязанность роспуска Думы и вместе с тем твёрдо заявляем Государю Императору, что положение страны требует перемены кабинета и политического курса.

Горемыкин: Кто ж эти новые люди? Представители фракций или чины администрации? Вы предполагаете одновременно назвать Государю кандидатов?

Кривошеин: Лично я подсказывать не собираюсь. Пусть Государь пригласит определённое лицо и предоставит ему наметить своих сотрудников

(как ещё никогда в России не делалось, Государь всегда сам назначал всех министров).

Горемыкин: Значит, поставить Царю ультиматум — отставка Совета министров и новое правительство, в согласии с пожеланиями Прогрессивного блока? Навязывать Государю Императору личностей, ему не угодных, я не считаю возможным. Мои взгляды архаичны, мне поздно их менять.

Но к прениям опоздал Самарин. И хотя именно он неделю назад был главным зачинателем коллективной отставки — теперь он показал свою самобытность:

Я бы затруднился подписаться под ссылкой на желание всей страны, ибо анкеты не было, и никто истинных стремлений не ведает. Государственная Дума не может считаться выразительницей мнения всей России, её непримиримые требования зависят от партийных соображений и интересов. Если же смена правительства есть наше личное требование, то мы не в праве переносить на Государя тяжесть выбора и тем отягощать его трудное положение. Надо представить Его Величеству основания программы и одновременно доложить, что в Совете министров нет сплочённости и поэтому мы ходатайствуем о создании взамен нас другого правительства. И тогда наш долг указать приемлемое лицо, ибо общие фразы об общественном доверии ничего не значат и являются лишь приёмом пропаганды.

Если же Государь наше общее ходатайство отклонит, каждому из нас останется поступить, как подскажет долг верноподданного своего Царя и слуги России.

Всё расплылось, и Горемыкин уже не мог просто вписать в указ недостающую дату роспуска. И теперь не было рядом Государя — и за подкреплениями и указаниями он естественно ездил в Царское Село на приёмы к государыне. От неё к супругу в Могилёв сперва лились одобрения:

Ты спас Россию и трон этим поступком. Ты исполнил свой долг. Это — начало торжества твоего царствования (наш Друг так и сказал!). Никогда раньше в тебе не видели такой твёрдости. Тебе пришлось выиграть бой одному против всех. Ты держался среди министров как настоящий Царь, я горжусь тобой. Ах, душка, чувствуешь ли ты теперь свою силу и мудрость, что ты хозяин и не даёшь себя оседлать другим? Ты доказал, что ты самодержец, без которого России не может существовать. Теперь — вели Николаше нигде не задерживаться, поскорее ехать на юг. Всякие дурные элементы собираются вокруг него и стараются воспользоваться им как знаменем.

Затем — и новые заботы:

Они (Дума) не могут переварить твою твёрдость — так продолжай в том же духе! Раз ты показал свою волю — теперь легко продолжать, показывай свои энергические стороны, используй свою метлу. Дума причинила тебе более хлопот, чем радости. Сейчас они должны бы работать по своим местам — а здесь захотят вмешиваться и говорить о вещах, которые их не касаются. От них будет только зло, они слишком много говорят. Эти твари пытаются играть роль и вмешиваться в дела, в которые они не смеют. Поскорее закрой Думу, прежде чем будут поставлены их запросы. (Они не смеют касаться нашего Друга!) Уже 2 недели назад её нужно было закрыть.

Но не многим лучше оказывались дела и в Совете министров:

Если только раз им уступить — они станут хуже. Надо бы выгнать нескольких министров, а Горемыкина оставить. Он — милый старик. С ним можно говорить совсем откровенно, одно удовольствие, всё видит ясно. И он откровенен с нашим Другом. Сердце жаждет единения среди министров. Мы с Горемыкиным думаем. Я поддерживаю в нём энергию. Как им всем нужно почувствовать железную волю и руку! До сих пор было царствование мягкости, а теперь должны преклониться перед твоей мудростью и твёрдостью. Прости меня, мой ангел, что и так много к тебе приставала. Поэтому и пишу тебе откровенно своё мнение, что другие тебе ничего не скажут. О, милуша, и так тронута, что ты хочешь моей помощи. Я всегда готова делать всё для тебя, но я никогда не любила вмешиваться без спроса. Да поможет мне всемогущий Бог быть достойной твоей помощницей. Ты скажи министрам, чтоб они просили разрешения представляться мне, один за другим, и я усердно помолюсь и употреблю все усилия, чтобы в самом деле быть тебе полезной. Я буду их выслушивать и повторять тебе. У меня надеты невидимые бессмертные штаны и я жажду показать их этим трусам. Необходимо всех встряхнуть и показать им, как надо думать и действовать.

Так уже через несколько дней сказывалось отсутствие Государя в столице. Посещения императрицы Горемыкиным узнавались и печатались в газетах. Горемыкин повёз свои старые кости в Могилёв — получить решение о Думе и доложить Государю о новом министерском бунте.

Этот осмеянный всем русским обществом старик сохранил мужество и твёрдость взгляда, которых не было у его министров, ни у лидеров Думы в их расцветном возрасте. Он незамутнённо видел, что волнение его министров — ажиотажное, до потери самоконтроля, но без веского основания. Уезжая в Ставку, он сказал:

Тяжело огорчать Государя рассказом о слабонервности Совета министров. Моя задача — отвести нападки и неудовольствия от Царя на себя. Пусть ругают и обвиняют меня — я уже стар и не долго мне жить. Но пока я жив, буду бороться за неприкосновенность царской власти. Сила России только в монархии. Иначе такой кавардак получится, что всё пропадёт. Надо прежде довести войну до конца, а не реформами заниматься. Когда повсюду видишь упадок веры и духа, тысячу раз предпочтёшь отправиться в окопы и там погибнуть.

В Могилёве он доложил Государю обо всех разногласиях в правительстве, предлагал и своё увольнение как выход. Получил высочайшее повеление: Совету министров оставаться на своих местах, а Думу немедленно распустить на вакации. Собирать военный совет с участием министров Государь отказался. Говорить с министрами обещал, когда минует острота на фронте.

1 сентября Горемыкин воротился из Ставки. 2 сентября на заседании правительства царила небывалая нервность, у Сазонова почти до истерического состояния. Поливанов, по свидетельству секретаря, обливался желчью и готов был кусаться, держал себя в отношении Горемыкина неприлично. Кривошеин был безнадёжно грустен. (Вот, он решился наконец на прямые действия — а события отталкивали их.) Беседа лихорадочно перескакивала, сбивалась, возвращалась.

Поливанов: За роспуском Думы все ждут чрезвычайных событий, всеобщей забастовки.

Горемыкин: Одно запугивание, ничего не будет.

Сазонов: Говорят, члены Думы вместе с Земским и Городским съездами собираются провозгласить себя Учредительным Собранием. Везде всё кипит, доходит до отчаяния, и в такой грозной обстановке последует роспуск Государственной Думы. Куда же нас и всю Россию ведут? Для всякого русского человека ясно, что последствия будут ужасны, что во весь рост встаёт вопрос о бытии государства. Что побудило Его Величество на такое резкое повеление?

Горемыкин: Высочайшая воля, определённо выраженная, не подлежит обсуждению Советом министров.

Но обстановка действительно была удручающая. Только что открытые Особые Совещания претендовали руководить всеми делами оборонного снабжения через общественность — и даже посылать в Америку для казённых закупок представителей Земгора, а не правительства.

Щербатов: Земский и Городской союзы являются колоссальной правительственной ошибкой. Нельзя было допускать подобные организации без устава и определения границ их деятельности. Их личный состав и конструкция не предусмотрены законом и правительству не известны. В действительности они являются средоточием уклоняющихся от фронта, оппозиционных элементов и разных господ с политическим прошлым. Эти союзы произвели фактическое, захватное расширение полномочий и задач.

Кривошеин: Князь Львов стал фактически чуть ли не председателем какого-то особого правительства, он спаситель положения, он снабжает армию, кормит голодных, лечит больных, устраивает парикмахерские для солдат — какой-то вездесущий Мюр и Мерелиз. Но кто его окружает, его сотрудники, агенты? — это никому не известно. Вся его работа вне контроля, хотя ему сыплют сотни миллионов казённых денег.

И теперь эти два подозрительных союза чуть ли не намеревались объединиться в Учредительное Собрание России? И на этих днях в Москве они громко и грозно собирали свои съезды.

Щербатов: В Москве всё бурлит, раздражено, настроено ярко антиправительственно, ждёт спасения только в радикальных переменах. Собрался весь цвет оппозиционной интеллигенции и требует власти.

А так как эти съезды изображают себя учреждениями, то закон даже не может послать туда чиновников для наблюдения. Заседания в таком случае должны бы быть закрытыми, но этого никак не удается достичь.

Горемыкин: В Москве действует чрезвычайная охрана, и поэтому можно отправить в заседание полицию. Если съезды начнут болтать лишнее — можно их и закрыть. Собрание людей налицо и грозит созданием смуты. Дело власти прекратить безобразия, а не отличаться корректностью.

Щербатов: Что прикажете делать министру внутренних дел, если в Москве я не обладаю полнотою власти, там распоряжаются военные.

Взрыв беспорядков возможен каждую минуту, а у власти в Москве нет почти никаких сил: один запасной батальон в 800 человек, из них половина занята караулами, сотия казаков да две ополченских дружины на окраинах. И всё это — далеко не надёжный народ, двинуть его против толпы будет трудно. В уезде войск совсем нет. Городская и уездная полиция не соответствует потребностям. Ещё в Москве — 30 тысяч выздоравливающих солдат, это буйная вольница, не признающая дисциплины, скандалящая, отбивающая арестованных в стычках с городовыми. В случае беспорядков вся эта орда станет на сторону толпы.

Вся беззащитность русского государства. Её и видели — и не могли внять.

С а з о н о в: И съезды Союзов будут происходить на фоне роспуска Думы. Не жду ничего хорошего.

Щ е р б а т о в: Говорят, среди думцев есть намерение в случае роспуска ехать в Москву и устроить там второй Выборг. Если они останутся в закрытом помещении и будут там редактировать новое воззвание — что может сделать власть?

К р и в о ш е и н: А кто сейчас распоряжается Ставкою, кто у нас Верховный Главнокомандующий! Страшно подумать, какие напрашиваются выводы. Фатальное время. Вы, Иван Логгинович, как решаетесь действовать, когда представители исполнительной власти убеждены в необходимости иных средств, когда весь правительственный механизм в ваших руках оппозиционен?

Г о р е м ы к и н: Свой долг перед Государем Императором я исполню до конца, с какими бы противодействиями и несочувствиями ни пришлось столкнуться.

С а з о н о в: Завтра потечёт по улицам кровь! И Россия окунётся в бездну!

Г о р е м ы к и н: Дума будет распущена завтра, и нигде никакой крови не потечёт.

С а з о н о в: Я не буду участвовать в деле, в котором вижу начало гибели своей родины!

Горемыкин закрыл заседание. Сазонов вслух обозвал его безумным, по-французски.

А Прогрессивный блок, торопя свою победу, перешагивая почти не существующее правительство, обратился прямо к Государю с меморией: теперь же учредить правительство доверия и точно определить направление политики (в пользу общества, разумеется). И им это казалось вполне возможным в обстановке тех дней. Волновались и московские рабочие, бастовали петроградские, к забастовке Путиловского присоединился Металлический (на поддержку забастовщиков всё время брались откуда-то обильные таинственные деньги) — и требовали не распускать Думу и вернуть из Сибири большевистских депутатов.

А между тем (хотя фронт именно в эти дни остановился) — катилась всё та же мнимо-стихийная, под нагайками, принудительная эвакуация прифронтовых районов со скарбом и скотом, угрожая глубинным губерниям немыслимой густотой. Новая Ставка подтвердила, что и Киев надо готовить к сдаче — и уже распоряжались несоответственно и противоречиво множество военных начальств, во всём городе возбудив панику, бестолочь и кавардак.

П о л и в а н о в извил, что теперь уже

> потребность бросить на произвол судьбы Киев подтверждена Его Императорским Величеством Верховным Главнокомандующим.

Горемыкин недоумевал, как же быть с киевскими святыми мощами, Государь говорил ему, что не следовало бы вывозить мощи, немцы их не тронут. Но Самарин извещал, что уже есть постановление Священного Синода, и вывоз мощей начался.

3 сентября опубликовали указ о перерыве думских занятий — но армия не *встрепенулась вся*, как грозили.

Главари блока узнавали внутриправительственные секреты через Поливанова и других министров — тотчас. Ещё до публикации указа собралось бюро блока на частной квартире. Тянулись руки — чем-то ответить обнаглевшей короне.

Е ф р е м о в: Если примиримся с роспуском — значит, говорили на

ветер. Первое средство борьбы: выход всех членов Блока изо всех Особых Совещаний.

Всегда невозмутимый и точный

В. М а к л а к о в: Участие в Совещаниях не есть акт доверия правительству, а работа на Россию. Что ж, тогда пусть и Союзы прекратят работу — и Россия погибает? Если бы страна забастовала, власть, может быть, и уступила бы ей, но **э т о й** победы я бы не хотел. Наше лучшее реагирование на разгон — в том, что мы промолчим.

К о в а л е в с к и й: Уход из Совещаний — как представит наш патриотизм? Союзники и нейтралы скажут: чтобы рассчитаться со стариком Горемыкиным, жертвуют обороной страны.

А. О б о л е н с к и й: Один англичанин сказал, что русские предпочитают прекрасный жест реальному результату. В момент опасности для родины нам, видите ли, важно быть не полезными, а принципиально-правыми. Если немцы нами завладеют, а мы будем возлагать ответственность на правительство, скажут: мы дети. Нет, разгону Думы не дать разгореться в пожар.

М и л ю к о в: Первый шаг — свалить Горемыкина. А это возможно политикой сдержанности.

Поди, попробуй — сдержанностью! Вот была сдержанная программа — разве её оценили? Разве пригласили в правительство? (Просочилось и передавали, что царица сказала кому-то про городскую думу: «эти твари пусть канализацией занимаются».)

Отчуждение с властью было — непереходимо, непреодолимо.

Но — чем ответить? Не расходиться? Объявить себя Учредительным Собранием?

Действие перенеслось в Москву, главный центр противоправительственного раздражения. Московские круги придумали: создавать по всей империи «коалиционные комитеты» в поддержку блока. И — торопили съезды союзов Земств и Городов, по телеграфу созывали их экстренно на 7 сентября.

Тем временем императрица в ежедневных обширных письмах сообщала в Ставку и предупреждала:

> Левые в ярости, потому что всё ускользает из их рук. Запрети съезд в Москве, это будет хуже, чем Дума. И думцы тоже хотят собраться в Москве — пригрози им, что за это Дума будет созвана позже. Я теряю терпение с этими болтунами, вмешивающимися во всё. Нужно твёрдо действовать, чтобы помешать им навредить, когда они вернутся. И следует крепко забрать в руки прессу: они собираются выступить с кампанией против Ани — это значит против меня, собираются писать о нашем Друге и Ане — всё для того, чтоб и меня запутать.

(И помощнику военного министра по цензуре было послано: запретить какие-либо статьи о Распутине и Вырубовой.)

> Я уверена, что за всем этим стоит Гучков. Надо бы отделаться от него. Только как? — вот в чём вопрос. Теперь военное время, нельзя ли придраться к чему-нибудь, чтоб его запереть? Он стремится к анархии, и он противник нашей династии — отвратительно видеть его игру, его речи и скрытую работу... Ах, неужели нельзя было бы повесить Гучкова?.. Серьёзное железнодорожное несчастье, в котором он бы один пострадал, было бы хорошим Божьим наказанием и хорошо заслуженным.

А московские рабочие (теперь они чувствовали себя крепко: в армию их уже перебрали, везде не хватало, и начинали из армии возвращать) — на роспуск Думы ответили трёхдневной забастовкой, зримее же всего — стал московский трамвай. Ловя подорожавших извозчиков или прошагивая много кварталов пешком, осязали московские деятели эту тяжёлую убедительность материального аргумента. И начали склоняться, что всякая смута — помощь внешнему врагу.

Теперь кадеты жалели, что в недавних переговорах с правительством Блок не пошёл на большие уступки, Милюков и Ефремов не проявили достаточно гибкости. А что правительство мог бы возглавить князь Львов — никто серьёзно и не верил. Вполне достаточно было бы, если б Горемыкина заменил Кривошеин: он способен был двигаться как бы между курсом чисто бюрократическим и общественных поже-

лаций. Теперь, когда соглашение с властью стало невозможней, — и требования оппозиции смягчились.

Но как же вести съезды Союзов и что там говорить? Это обсуждалось накануне вечером на квартире у Челнокова, и собравшимся как бы для поджога настроения было представлено рождённое в кругах «Русских ведомостей», самой просвещённой, «профессорской» русской газеты, мрачное, даже замораживающее объяснение событий.

Будто бы: в противовес простодушному Прогрессивному блоку (врагя называли его «жёлтым») тайно создан Чёрный блок. Они — германофилы, они уже разогнали от трона русских патриотов, создали безвольное правительство, удалили Николая Николаевича, захватили в свои руки Государя и рассчитывают, при его нерешительности, отвратить его от генерального сражения и склонить *изменить союзникам*! (Какой чёрный замысел! Да, теперь все действии власти становились понятны!) Пленнику Чёрного блока представляют такие аргументы: сепаратный мир укрепит династию, а при победе союзников царская власть, напротив, умалится и даже аннулируется; по сепаратному миру мы отдадим беспокойную Польцу, зато усилим русскую однородность за счёт русских областей Галиции. Железный союз всероссийского и германского императоров создаст грозный молот, могущий раздавить весь мир. (И как же мы не видели этой измены до сих пор?) Правда, Государь не может принять на себя такого бесславного поворота. Но если в России начнётся всеобщая забастовка, волнения, народ потеряет живую связь с армией, армия — веру в народ, — то вот и будет законная обстановка заключить сепаратный мир, якобы для спасения России, и ещё на революционные же круги и на думскую оппозицию всё свалить! Вот почему *власть и старается посеять в стране всеобщее недовольство и смуту*! Это власть мутит и толкает к мятежу. (Так родилась бредово и с этих дней язвяла русскую судьбу уже до конца — разлагающая легенда, что русский трон готовит сепаратный мир.)

Какой изворот судьбы! Так именно либералы, ставшие теперь патриотами, только и могут спасти Россию от непатриотической царской власти!

И — что же надо делать? Какая тактика? А — всё напротив Чёрному блоку: удержать Россию от внутренних смут! (И рабочие пусть не бастуют, и трамвай — ходит.) Когда разрешат — спокойно возобновить сессию Думы, чтоб иметь трибуну для публичных разоблачений. И постепенно создавать «правительство доверия».

Собственно, съезды Союзов должны были заниматься практической помощью фронту. Но узнав, что родина на краю гибели, оба съезда, то порознь, то вместе, стали обсуждать *текущий момент*.

> М. Фёдоров: Теперь *не время для деловых разговоров*. Мы, очевидно, накануне вооружённого восстания!

(О, как давно оно грезилось, в своих таинственных пурпурных ризах!)

> Недалеко то время, когда штыки с фронта повернутся на Петроград. Мы должны спасать Россию.
>
> Шингарёв: Каждая наша война заканчивается победой общества и падением реакции: 1812 год — и декабристы! Севастопольская кампания — и освобождение крестьян! Японская война — и победа Освободительного Движения! Наступает решительный момент: для светлого будущего ещё один дружный натиск, и мы достигнем того, о чём мечтали лучшие русские люди!

(Осведомитель охранки докладывает и о кулуарных разговорах Шингарёва:

> Откровенно говоря, роспуск Думы даже вывел нас из серьёзного затруднения: всё, что относится к войне, уже было решено, и Думе приходилось перейти к социальным вопросам, а при их обсуждении развалился бы Блок. Теперь же мы демонстрируем единство.)

Затем Астров «читал по тетрадке убийственную критику всех мероприятий правительства». Но

> мы дошли до роковой грани, за которой для конституционной общественности уже нет пути. Революционерами мы быть не можем.
>
> Гучков: Подобно Блоку, нам всем надо объединиться и организоваться — не для революции, а именно для защиты родины от анархии и революции. Сделать последнюю попытку открыть Верховной власти глаза на то, что происходит в России.

На обоих съездах всё склонялось к тому, чтобы послать Государю депутацию и осведомить его о настроении всего русского общества (как это делали в 1905). А если депутация не поможет, то

> мы знаем, что нам нужно будет делать.

Впрочем, резко возражал против депутации, считая её бесполезной и унизительной для общества, а ответ — известным заранее, присяжный поверенный

> Маргулис: Время челобитных прошло. Сейчас — *требуют*, а не просят! И подкрепляют требования — *силой!*

Левое крыло городского съезда требовало не к царю обращаться, а прямо *к народу!* Прекратить обслуживание фронта и тыла, начать открытую борьбу с правительством!

Но большинством съездов избрали именно депутацию к Государю, чтобы раскрыть ему глаза, что правительство обманывает его, не желая доводить войну до победного конца. Голосовали за почтительный всеподданнейший адрес. Там — разные были слова, были и очень возвышенные:

> Ваше Императорское Величество! Восстановите величавый образ душевной целости государственной жизни! Власть должна соответствовать духу народному, вырастать из него, как живое растение из земли. И нам, как и Вам, Государь, не дорога жизнь, лишь была бы сохранена Россия. В Ваших руках её спасение.

Были и грозные:

> Зловещее препятствие — в безответственности власти... Отсутствие всякой связи между правительством и страной... На место нынешних правителей нужны люди, облечённые общественным доверием.

А между тем в съезд Городов уже стучалась делегация из семидесяти рабочих: раз города говорят — рабочие тоже хотят говорить!

Неуютно съезду, когда улица стучится в его дверь. Челноков настоял: никого постороннего! строго наш состав! (Погибла и репутация Челнокова — тут же, за дверью, написали резолюцию: позор либеральной буржуазии!) Так строго свой состав, что не пустили на съезд двух первейших любителей поговорить — членов Государственной Думы Керенского и Чхеидзе, примчавшихся из Петрограда! И подёргливый Керенский в кулуарах отводил обиду с товарищами рабочими, доверчиво беря их за лацканы: забастовок не надо, а создавать организацию для будущего планомерного... и тогда трусливая либеральная буржуазия...

Ну, а если (наверняка!) высочайший ответ депутации не будет благоприятным? Левые: тогда — «все пути переговоров с правительством исчерпаны!» — и *обратиться к улице!* Или (что посадней?) — новый *съезд по дороговизне!* Казачий (тоже левый) делегат: «Теперь казаки — не те, что в Пятом году! Теперь правительству не опереться на казаков!»

Всё ж, при закрытии Земский съезд поднялся и крикнул царю троекратное «ура».

Кажется, это первый — и последний — раз за два десятилетия своего царствования император Николай II выдержал две недели волевого усилия в одном направлении, не сбиваясь.

И хотя всё взметнулось и вскричало, предвещая катастрофу, — тут же всё и улеглось. Не сотряслось бытие государства, и Россия не окунулась в бездну, и не потекла реками кровь. Вдруг даже окончилось самое грозное отступление этой войны. Давно ли эвакуирован Киев, считали пропащими Ригу, Двинск, опасались за Псков, — а вот остановились. Прекратилась беженская волна. Угомонялся тыл. И даже снаряды стали появляться. И теперь устояние наше даже можно было приписать новому Верховному Главнокомандующему.

Оппозиция не утихала, пожалуй, только в совете министров. Государыня зорко следила за министрами и сообщала в Могилёв, и понуждала:

> Горемыкину невыносимо управлять министрами, которые отвратительно ведут себя по отношению к нему. Боюсь, старик не сможет продолжать работать, так как все против него. Он очень просится отпустить его. Щербатов отказался послать лиц от министерства внутренних дел наблюдать за сентябрьскими съездами в Москве. Поливанов доказывает

Гучкову все военные распоряжения и все военные бумаги. Кривошеин тоже слишком много в контакте с Гучковым, он тайный враг и фальшив по отношению к Горемыкину, смотрит направо и налево, возбуждён невыносимо, ведёт подземную работу. А Сазонов — хуже всех, кричит, всех волнует и вовсе не является на заседания. (Но где взять человека вместо Сазонова?..) После заседаний они расходятся и рассказывают обо всём, что обсуждалось. Ненавистные министры, их оппозиция приводит меня в ярость! Мне так хотелось бы отхлестать почти всех министров и поскорее выгнать Щербатова и Самарина. Трусость министров вызывает у меня отвращение. Ты должен разнести их! Приезжай в Царское Село хоть на три дня. Твой приезд не будет отдыхом, а карательной экспедицией. Теперь ты должен показать им, кто ты, — я что они тебе надоели. Ты пробовал действовать мягкостью и добротой — теперь ты покажешь волю повелителя. И запрети Самарину увольнять Суслика (Варнаву, тобольского епископа). С Самариным — я теряю голову и прошу тебя торопиться. Не дай унижать Государя или его жену. Ты не имеешь права смотреть на это сквозь пальцы, это последняя борьба за твою победу. А как только уйдёт Самарин — ты должен пустить в ход твою метлу и вычистить всю грязь, которая скопилась в Синоде. Агафангела — услать на покой, других двух — убрать из Синода. Выгони всех, пожалуй ста, моя птичка, и поскорее!

На 16 сентября все министры были приглашены в Могилёв. Они были больно поражены, что на вокзале их никто не встретил из важных лиц, и им пришлось завтракать в обычном вокзальном буфете. Затем они были провезены в губернаторский дом — и там на заседании Государь, с трудом сдерживаясь, произнёс как будто спокойную сухую речь — ответ на их коллективное заявление. Подписавшим министрам он выразил крайнее своё неодобрение: взгляд министров на принятие Главнокомандования был высказан ещё до окончательного царского решения — и совершенно непонятно, на каких основаниях было повторять. Государь высказывал, что теперь министры могут видеть и насколько они ошиблись по существу. Истинная Россия думает иначе (и Государь получает многочисленные телеграммы с выражением восторга). Суждения министров он объяснил «страшно нервной атмосферой Петрограда». Вот здесь, в тишине и спокойной обстановке, он смотрит на вещи иначе.

Ему воистину невозможно было понять это упрямое сопротивление своей самодержавной воле, которая не могла быть ничем, как угадкою Божьего Промысла.

Наступило мучительное молчание. Невозможно было министрам ничего не ответить, и трудно было что-либо сказать. В коротком обращении Государя можно было увидеть, как раз наоборот, признание его поражения: вот, он отодвинулся от всех бурь и питается показными телеграммами. Ушёл от центра власти и центра борьбы, и как это может сказаться на судьбе России? Разве на нём держалась Ставка? Разве без него мог функционировать правительственный Петроград?

А можно было видеть и иначе: что они, министры, переоценили роль общественной негодовательной волны. Вот она и схлынула, а государственный корабль идёт. Их коллективное письмо было пережимом — расчётом на государеву слабость. Кривошеин ещё отвечал, что нельзя пренебрегать общественным мнением в такое критическое время, что надо дать обществу участвовать в войне (но оно сверх меры уже и участвовало), что правительство должно сотрудничать с народом (но — где был истинный народ? и тот ли народ в морозовском особняке?), — а между тем, он ощущал теперь, как при его собственной ошибке великое русское колесо не покатилось по какой-то незримой, но может быть лучшей колее. Оказалось, что фавор Государя, я фавор общества, и даже фактическое премьерство — это всё ещё не премьерство. Вот — движение шло без него, а его — оттирало в посторонние нежеланные советчики.

После царского реприманда было ясно, что министрам-бунтовщикам придётся уходить в отставку. 26 сентября были уволены Самарин и Щербатов. Тем более ясно теперь видя всю бестолковость, нестройность августовской пьесы — и со стороны общества, и со стороны министров, и справедливо не рассчитывая на царское прощение, Кривошеин понял, что, не дожидаясь отставки от царя, должен подать сам. (Да и не мог он задерживаться в реакционном правительстве, не позоря себя в глазах общества.) В ближайший свой доклад в сентябре же он и подал. Государь

сразу облегчился, почти обрадовался: теперь он не должен был сам увольнять своего долголетнего сотрудника. Но в сентябре это могло выглядеть как массовый уход министров, опять забастовка, — и он взял с Кривошеина слово хранить отставку в тайне ещё месяц.

Через месяц отставка его была объяснена расстроенным здоровьем, сопровождена самым похвальным государевым рескриптом и орденом Александра Невского.

И ещё оставалось решить о приёме земско-городской депутации. Императрица писала:

> Не принимай этих тварей, иначе будет иметь вид, что ты признаёшь их существование. Не позволяй им влиять на тебя, это будет принято за страх, если им уступить. И они снова подымут голову.

И правда, Союзы были невыносимы. Они занимались не своими делами, вносили в воюющую страну хаос, подрывали дух войск, теперь лезли и вовсе не в своё дело управления государством. (Но вы же сами их великодушно утвердили, Ваше Величество?..) И не были они настоящая сила, только очень громкий голос исходил от них. И на съездах уже прозвучали намёки о сепаратном мире (ещё не понятые Троном). И за прекрасными словами их адреса таилась мысль — научить монарха, ограничить его, а самим прорваться к власти. (По неопытности она казалась им сладкой.)

И ещё — саднило Государя воспоминание о приёме земской делегации в Петергофе, в 1905. Ведь он тогда с открытым сердцем поверил им и был милостив, а они потом — улюлюкали, и сами надсмехались над своей делегацией, и открыли, что это был — всего лишь манёвр.

И — опять?..

И указал Государь через министра внутренних дел, что не может принять депутацию по вопросам, не входящим в прямую задачу Земского и Городского союзов (помощь раненым).

И — всё верно. Так.

Но — когда-то же и к чему-то же надо было склонять самодержцу ухо, хотя бы в четверть наклона. Можно было представить, что в этой огромной стране есть думающие люди и кроме придворного окружения, что Россия более разномысленна, чем только гвардия и Царское Село? Эти беспокойные подданные рвались к стопам монарха не с кликами низвержения, или военного поражения, но — война до победного конца. Просила общественность — политических уступок, но можно было отпустить хоть царской ласки, хороших слов. Выйти и покивать светлыми очами. Всё это было у них неискренне? Ну что ж, на то ремесло правления. Нельзя отсекать пути доверия с обществом — все до последнего. Даже после пылающего лета 1915 года, сдачи Варшавы, грозного отступления, ещё многое можно было исправить добрыми словами. Всё же — смертельная рознь власти с обществом была болезнь России, и с этой болезнью нельзя было шагать гордо победно до конца.

Любя Россию, надо было мириться с нею со всей и с каждой. И ещё не упущено было помириться.

Но за десятками нерастворимых дубовых дверей неуверенно затаился царь.

Пребывающему долго в силе бывает опрометчиво незаметен приход слабости, даже и несколько их — включая предпоследний.

20

Жил Шингарёв на Петербургской стороне, на Большой Монетной. Извозчики сильно подорожали, да уже за день перенял Воротынцев бережливую сжатость семьи, что оскорбительно мотать на извозчиков, а лучше добавить в нянино хозяйство (дрова подорожали вчетверо, мясо и масло — впятеро). И Верочка со смехом рассказывала, как один важный прокурор, опаздывая на доклад к министру, а трамваи набиты, а извозчики не попадаются, — нанял пустые дровни из-под угля и, стоя с портфелем, балансировал в них по Фонтанке. И с душевной свободой поехали брат с сестрой трамваем.

Уже повидал Воротынцев сегодня кусок вечернего Невского, и обидно сжалось сердце. Множество красиво одетого и явно праздного

народа, не с фронта, отдыхающего, — но свободно веселящегося. Переполненные кафе, театральные афиши — всё о сомнительных «пикантных фарсах», заливистые светы кинематографов, и на Михайловском сквере, в «Паласе», рядом с верочкиным домом, — «Запретная ночь» (подумал: мерзко ей), — какой нездоровый блеск, и какая поспешная первность лихачей — и всё это одновременно с нашими сырыми тёмными окопами? Слишком много увеселений в городе, неприятно. Танцуют на могилах.

Теперь избежали Невского: скосили по Манежной площади мимо Николая Николаевича-старшего, невдали от Инженерного замка дождались синего и красного огоньков второго номера, уже не переполненного в вечерний час, — и повёз он их, как будто выбирая и показывая (да только уличного освещения не хватало сейчас), что есть покрасивее в Свято-Петрограде: с оглядом на Михайловский дворец через Мойку, Лебяжьей аллеей вдоль Марсова поля и прокидистым Троицким мостом с лучшим видом столицы оттуда налево — на Зимний со звеньями Эрмитажа, на стрелку Васильевского, особенно в тот миг, когда причудливые и мощные ростральные колонны, угадываемые в подсвете уличных фонарей, захватывают Биржу точно посеред себя и тут же, обращаясь, упускают. Одно светилось, иное было темно, но привычный взгляд вспоминал и в темноте всё равно как бы видел и контуры, и цвета, а больше — бурый нездоровый цвет петербургских дворцов.

Смотрел-то Воротынцев смотрел, и любовался с отвычки, но истого москвича не собьёшь, не смутишь: наша Москва — с душой, а тут — нет. Наша Москва всегда лучше.

Да и трамвай петербургский — не московский: у нас в трамвае незнакомые соседи разговаривают, здесь — тишина, только спутники между собой.

А там — успевай переводить глаза на крепость, всегда различимую на небе, если оно не вовсе черно (тёмный призрак, т а крепость и т а стена, напоминание всем будущим заговорщикам...). И покатил трамвай самым современным, самым лощёным проспектом столицы, успешливым соперником Невского. А вот уже и сходить. От Каменноостровского направо недалеко было им пешком.

Дорогою, подготовляя брата, Вера рассказывала ему о Шингарёве ещё, и он со вниманием слушал. По нужде Шингарёв стал и финансистом: профессоров-кадетов в Думе полно, а специалиста по финансам не оказалось, так взялся он. Знаменитые его бюджетные турниры с Коковцовым... Недоброжелатели из своих же кадетов зовут его дилетантом: мол, где-то надо остановиться...

— Нет, это ничего! — нравилось Георгию.

А прислушивался и к самому голосу сестры — тихому, уговорливому, что не болтает она по-сорочьи, но подаёт самое важное. Ещё от первой минуты, как увидел её тоненькую, миловидную на перроне, поразился, как мало думал о ней все эти годы, как мало чувствовал, что есть у него такая сестра — не яркая, не дерзкая, а взгляд такой понимающий, такой свой. И сейчас в трамвае: не потому, что твоя сестра, но правда же — какое скромно одушевлённое лицо. Человеку, кто направляется в трудную самоотверженную жизнь, только на такой и можно жениться: неслышно, неустанно, незаметно горы переворотит избранному, в постоянном некрикливом работливом скольжении. И почему, правда, сестрёнка, всё не замужем? Благодарность и даже влюблённость в сестру всё более забирали Георгия сегодня.

Рассказывала Вера, что Шингарёв одновременно и гласный петроградской думы и гласный усманского земства, и половину России объехал с общественными лекциями, с успехом невероятным:

— Он даже статистику так излагает, что заслушиваются люди. Не какой-нибудь блеск в его речах, он даже может и неправильно выразиться, а вот... искренность! захваченность!

Между тем, придерживая под невесомый локоток, вёл её Георгий

по Большой Монетной, и номера нарастали. Тут ещё немного пройти, и дома попростеют, будет граница приличного района, уже рядом с неприличным Выборгским.

— Он очень русский человек, но активность у него даже не русская, вроде твоей, почему я и думаю, что вы друг другу понравитесь. Больше всего он радуется, когда работать ему дают, не мешают.

— Слушай, а мы не наскочим на какое-нибудь кадетское сборище?

— Вообще ручаться нельзя, — тихо засмеялась Вера.

— А ты сказала — понедельник! Так ты меня в западню?

— Петербург! Жизнь в том и состоит, что друг ко другу всё время ходят и обмениваются—новостями, мыслями, теперь вот *списками*... Чем-то надо гражданские свободы заменять. И потом он — излюбленный депутат, к нему и незнакомые рвутся...

Вот был и 22-й номер, по фасаду отделанный под светлый плиточный кирпичик, значит постройки недавней. В парадное. Лифта нет, но лестница — шире обычной, можно рядом свободно идти троим, и окна лестничной клетки — трёхстворчатые, просторные.

— Пятый этаж? Всё-таки не понимаю. Такое положение в Думе, в партии — почему уж так стеснённо живёт?

Лёгким дыханием, несмотря на подъём, Вера объясняла:

— И даже за такую квартиру он отдаёт половину думского жалования. Депутатам платят весьма умеренно. Да по пятьдесят рублей теперь каждый отдаёт на думский санитарный поезд. Да — пятеро детей. Да — трём племянникам ещё посылает. Да он и аскет прирождённый: удобств не ценит, к еде равнодушен, сладкого совсем не ест. Он и сам вырос одним из шестерых детей.

— Вы так близко сознакомились?

Потолки не снижались, однако, ни на третьем, ни на четвёртом. На дверях квартир — узорчатые чугунные номера.

— Я сама, через меня, предлагали ему литературную работу — так он и не всякую берёт. А только — какая по душе. Хоть и бесплатная. Ну, вот ещё за лекции получает. Семья у него, правда, трудовая, поворотливая, особых забот не требует. А сам уж — и болен, на воды посылали. Годами без отпуска, месяцами без отдыха.

Из далёкого фронтового угла, из землянки представлялись главные думцы на некоей сияющей высоте, поставленные высоко над средними русскими гражданами. И вот не соединялось это теперь с рядовой петербургской квартирой и всем вериным рассказом. С тем большим интересом поднимался Воротынцев.

Лидеры кадетов, подобно знаменитым артистам, изображались на почтовых карточках. Так видел Воротынцев Милюкова, Маклакова, Родичева, Набокова — а вот Шингарёва почему-то нет.

А он сам и дверь распахнул, Андрей Иванович, — и каково это движение было, и всё сразу, охватимое одним взглядом, ещё не разделённое на признаки, открыто передавало, что этот человек из себя ничего не корчит, не строит.

— Здравствуйте, здравствуйте! Высоковато? Я, знаете, по сельской привычке терпеть не могу, чтоб у меня над головой ходили.

Энергично подал большую ладонь, жал не расслабленно.

— Зато, — пошутила Вера, — как и прилично теневому министру финансов — на Большой Монетной.

— Да разве вы ещё сельский?

— Вот, тринадцать лет по городам, а привыкнуть к городу не могу.

Правильно ли показывал первый взгляд, неправильно, но сердце Воротынцева всегда шло по нему. И сейчас, отстёгивая в передней оружие, зарадовался он, что можно со встречной открытостью, без чинов, без кривляний.

— Мы-то — в земле живём, над нами — всё топает.

Обе верины руки подхватил Шингарёв размашистей, чем это делают:

— Ну как хорошо! Как хорошо, что привели.

С первого вида и гласа вступал в душу этот человек.

Квартира вся в глубину, там кто-то ходил, был, выглянула девочка из другой двери, но кабинет Андрея Ивановича — тут же, первый. Тем же широким движением хозяин распахнул, пригласил и Веру, но та:

— Спасибо, спасибо, я — к Евфросинье Максимовне.

Узкая комната, ещё суженная книжными полками с обеих сторон да стульями, однако не свободными: на каждом стопы журналов, брошюр, бумаг. Проваленный диван — и тот не весь свободен, и на нём стопа. К единственному окну в глубину удвинут письменный стол, а уж на нём — тот ужасный разброс и наброс, который только одним хозяином понимается как осмысленный порядок.

А уж хозяин, в костюме домашнем, не новом, держится ещё и проще своего пятого этажа: вот, председательствует в военно-морской комиссии Думы и важен ему всякий понимающий человек с фронта, чтобы перенять наблюдения и выводы: сам же за всеми делами, думскими, партийными, лекционными, много не выберешься в Действующую, в этом году и в Европу катались на два месяца парламентской делегацией, и там успевай понимать. Мотался и на Западный фронт, поглядеть, — но наездом, посторонними глазами — что увидишь? А заседая в Совещании по обороне или в думских комиссиях, сколько надо чужого опыта собрать, соединить, стянуть, чтоб уверенно опираться. И он старается чаще видеть армейцев, очень нужны свежие оценки.

Та́к сейчас — сразу и говорить?..

Да знаете, фронтовому офицеру только и мечта, чтоб тебя послушали, ведь колотишься — пожаловаться некому.

На продавленный диван усаживая, а себе подтягивая плетёный стул:

— Так вы в какой армии сейчас?

— В Девятой.

— У Лечицкого? Кажется, хороший генерал, да?

Верно видит, молодец.

— Из лучших.

— Значит, вы — с самого, самого левого фланга?

— Как шутили до этой осени: мы — «крайние левые», левее всех социалистов. Того крайнего левого фланга, где был у нас бок защищён, а теперь румынами открылся. И потекло.

Вопрос — ответ, вопрос — ответ, — деловые, понимает, помнит. Да, да, с Румынией — всё самое горячее и непонятное. Как же Добруджу отдали? Как там Дунайский корпус? А что под Дорной-Ватрой? (И без карты всё представляет, молодец.) Почему же мы отступаем? А летние месяцы ваша Девятая ведь наступала, и удачно. Так — боевой дух сохраняется?

Вот ему что — боевой дух! Сейчас, сейчас, будем добираться, через румынские участки. Ждёт его узнать куда больше, чем он доведывается.

Но тут же и остановил Шингарёв — раз, и другой: дело в том, такая случайность, позвонил Павел Николаич, он тут, на Петербургской стороне, и собирается зайти, вот в течении часа...

— Павел Николаич? Простите, это...?

— Милюков. Такой случай жалко пропустить, ему тоже бы очень надо послушать! И Милий Измайлович придёт, Минервин. Вот мы бы все сразу толком вас и послушали.

Ах вот как, всё-таки затащила Верунька на сборище. Ну что ж, даже и забавно начинается Петербург. Даже и замечательно?

А пока — что? А пока Шингарёв, виноватый в задержке, и сам готов — отвечать, объяснять. Вот он весь, неукрывный, не похожий на думского лидера. Подстрижен, правда, как модно у общественных персон — бобрик, лишь чуть длинней. И на голове, в усах и в бородке уже

непоправимо двинулся тёмный цвет в проседь. Но в рассеянном свете матового колпака настольной лампы — вот эта карточка на стене: в белой косоворотке навыпуск, с кроликом на коленях — молодой лохматый весёлый цыган, прицыганенная порода, как много у нас по прежней степной границе, — и спросить неловко, вдруг не попадёшь, и не удержаться:

— Вы?? Неужели?

И самому не верится? — где теперь эти буйные неулёжные чёрные волосы вraспад, эти глаза горячие, бегучие, — улыбка! вскочить в секунду! — бежать, скакать, делать!

Двадцать лет назад, даже не земский, вольнопрактикующий врач за пятачок. Тех сельских участков, ему намежёванных, скудость, убогость, невежество — как же вспоминаются нежно:

— То корова «не пришлась по шерсти» домовому — значит, продавай. То от скотьего помора голые бабы идут вокруг деревни и пашут... А эта «народная медицина»? Трудные роды, так свешивают мать вниз головой с печи и — гонца в церковь за три версты: просить батюшку открыть царские врата, чтоб роженице легче. А детям — *пригрызают грызь? А — умывают с уголька?*

Он как будто жаловался на народ? Но — не с презреньем, а с печальным состраданьем.

— В Усманском уезде, где у меня хутор сейчас, — поразвитей, почище, и всегда были. А в Ново-Животинном, где мы эту статистику проводили, боюсь, что и сегодня... К земле прикованы как обречённые. Уже безземельны, безлошадны, нищи, двор не огорожен, хата убога, живут уже не от земли вовсе, отхожими промыслами, а всё равно: земля! Копаются в последнем клочке.

— А когда вы последний раз там были?

— Да уже семнадцать лет. Сейчас — везде лучше, да, и даже несравненно, деревня — другая, но ведь я же не врал: в 99-м году так б ы л о: что зимой не хватало кислой капусты! не сварить щей! Кто же с м е л так довести деревню, скажите!?

Его голос нутряной, забирающе-искренний, повлажнел.

— Ново-Животинное стоит над Доном. Вдоль берега — мощные слои известняка. Известняк — ничей, как говорится Божий, издавна его ломали на строительные работы. Так нашёлся сукин сын догадливый, свой же мужик, наплевал и попрал это народное представление — *ничей*. И отеческое начальство ему помогло: в Воронеже сунул взятки, кому надо, и все эти залежи получил в аренду. И никто уже больше не смел брать известняка, все подчинились, деться некуда. Вот так разлагается народная душа — и непоправимо от нас уходит. И как же можно с этим — на пять минут примириться и не бороться?

Даже не видя бы приветливого лица Шингарёва, только один его голос слыша, тембр удивительный, нельзя было к нему не расположиться: этот голос, ещё рождаясь, ещё по пути, как будто снимал с души всё тепло, не жалеючи, не оставляя в запас, — и выносил на собеседника:

— Раньше ломали камень вольно, везли в город, от себя продавали. Теперь стали получать у арендатора, сколько заплатит, лучшему работнику 30 копеек в день. Вкапывались узкими шахтами, душно, сыро, керосиновый ночник, согнутая поза. Крепленьем уже никто не занимался, лишь бы заработать, верхние слои обваливались, особенно весной. То про одного, то про другого: «задавлен горой». Один молодой, кормилец семьи, не успел выскочить за товарищем — глыба в спину, паралич обеих ног, калека и хуже: отказал сфинктер прямой кишки, отходы не сдерживает. И вот лежит на соломе в тесной избе, без ропота, и родители, и жена тоже покорились: знать, Бог велел... Страстотерпец наш великий, безответный серый русский люд...

Пробрало Воротынцева — и тот сукин сын арендатор, и тот парень раздавленный... Верный человек Шингарёв — и понимает, что надо. Да,

он и солдатское горе поймёт, ему — и не стыдно будет открыть такое, что вообще офицеру стыдно. Они друг друга поймут! Удачно попал.

— ...Не перестанешь поражаться ему никогда. Но и надежды на него не удержишь: нет, сами они свою жизнь никогда не изменят. Вытащить их можем — только м ы.

Каменоломня ли та. Дифтерит на грязной соломе. Или всё, что сгустилось в окопах за двадцать семь месяцев войны.

— ...И как же пять минут жизни отдать — чему-нибудь другому?. Я пошёл в народ — лечить. Но, собственно, — и не лечить. Что ж прикладывать пластырь голодному и безграмотному? Нет, ты разгрузи его спину, ты просвети его нагнутую голову. С университетских лет меня поразил этот разрыв: между торопливыми идеалами интеллигенции и покорной непросвещённостью масс. Разрыв — слишком опасный для страны, этак ей не сдобровать.

— Сегодня он — не меньше, — предупредил Воротынцев, уже о своём.

— Конечно, и сегодня не меньше, в том и беда, — не понял Шингарёв. — Тем хуже. И значит, задача не изменилась с конца того века: всеми силами, как можно скорей, сближать верхи с низами. В этом — решение всех русских вопросов. А нам времени не дают. Тогда — война началась, потом революция, потом реакция, теперь — опять война. ничего мы не успеваем. Сближать — а как? Мне казалось, что естественней всего врачу: он в каждую хижину входит как свой, желанный.

Так и вязалось у Шингарёва в те годы: сперва — санитарные условия деревенской жизни, а их не понять без крестьянского бюджета, а дальше надо понять и бюджет земства. Сперва — устройство амбулаторий, школьных горячих завтраков, яслей-приютов на время страды, а там — печатные работы, публичные выступления, в 26 лет — уже гласный Тамбовского губернского земского собрания, и борьба против князя Челокаева, главы тамбовских консерваторов.

Но что можно было сделать в земстве, если ему не давали даже поговорить спокойно, а его лучшие проекты возвращались с выговорами? Сами же допустили общественную мысль — и сами же потом надругались над ней. Всё больше вырисовывался конфликт с центральными властями, с правительством.

А это — совсем уже как бы не о прошлом, это сегодняшний день и есть, и этому полковнику тоже надо было отчётливо понимать:

— В 902-м году собрал Витте земский съезд о «нуждах сельскохозяйственной промышленности» — первый земский съезд! Все заволновались, везде отголоски. Выступил и я в Воронеже с докладом: «Что казна взимает с населения и что даёт ему взамен.» Так приехал давить нашу крамолу сам товарищ министра внутренних дел! И за мнения, высказанные не по нашему задору, а по запросу Витте, разносил уважаемых пожилых людей, не стесняясь ни возрастом их, ни положением, высмеивал, издевался. С той безбоязненностью, с тем хамством, которое так свойственно самодержавной русской бюрократии! Меня как букашку даже не вызывали, просто взяли под полицейский надзор. Но именно и было тяжело, неловко — остаться непострадавшим, когда вокруг крушат честных людей. Только когда ко мне пришли с ночным обыском — только тогда отлегло, стало чисто на душе.

Воротынцева уже брало нетерпение — начать бы говорить о своём главном, открыться самому, а то ведь придут помешают. Но не решался он прервать, когда так охотно рассказывал именитый депутат. Странно, Воротынцев эти же годы жил в России, и самым напряжённым образом, а вот этого всего не знал, как и Выборгского воззвания.

И так он сидел, утопленный в старом диване, и выслушивал зачем-то давно изжитые подробности пятнадцатилетней давности. А Шингарёв — с плетёного стула, повыше.

Вот так и закручивался беспартийный врач во всепартийный водоворот. Сперва вступил в увлекательный для всех интеллигентов Союз

Освобождения. А стали объявляться партии — оказался кадет. Впрочем... Ещё в студенческой молодости, в рождественское гадание, Фроня — тогда курсистка и ещё невеста Андрея Ивановича, надписывала много билетиков, их потом лепили по развалу большого таза, а в тазу по воде пускали ореховую скорлупу со свечкой, кому к какому билетику пристанет. Шингарёву пристало: «Будет депутатом первого русского парламента.» Тогда ещё царствоаал Александр III, и даже глаза зажмуря нельзя было тот русский парламент реально вообразить. А сбылось — точно. От Воронежа Шингарёв был уже и в 1-ю Думу первый кадетский депутат. Но воронежский кадетский комитет не хотел отпустить его в столицу, поберегли для Воронежа, и что ж? Тех первых неизбежно ждало Выборгское воззвание, тюремная отсидка, запрет политической деятельности — а Шингарёва избрали во 2-ю, потом и в 3-ю. Когда же запретили ему баллотироваться от Воронежа, то в 4-ю дружно выбрали по Петербургу, уже знали здесь его.

Это к тому всё рассказывалось, что ничего нельзя совершить, не борясь против власти. Да если вдуматься, так может так оно и есть? А с чем Воротынцев ехал — в том тоже ведь, как будто?..

Во Второй Думе никто не понимал долг народных избранников как работу-работу-работу. А будто нет ни России, ни народа, только партийное самолюбие. Крайне-левые кричали: «Такой Думы нам и не надо, провались она!» А кучка правых: «Вы и такой Думы недостойны, слишком много урвали!» И всё-таки разгон её был — шемящий день.

— Я предвидел, что государственный переворот пройдёт для народа как бы незаметно...

(Разве то был государственный переворот? Странно слышать. Воротынцев и не заметил, не запомнил.)

— ...Но и при всём ожидании тишина Петербурга и Москвы 3-го июня была поразительна. Не только волнений, но даже малейшего интереса, что с Думой произошло какое-то событие. На стенах — отпечатанный манифест, прохожие даже не останавливаются почитать. Гонят себе извозчики, тянут ломовые... Мы-то себя считали — «Дума народных чаяний», а разогнали нас — никто и не моргнул.

(Так может — и не была беда?)

И Шингарёв пересел к нему на диван, утонул в другом проиме. От воспоминаний к делу стал пристально проглядывать собеседника серыми допытчивыми глазами. Такая была в нём нестоличность, доступный уездный врач, в тревоге за собеседника готов и сейчас осмотреть его и выстукать.

А где Воротынцев был в то время?

Июнь Девятьсот Седьмого? Да здесь же, в Петербурге. Кончал первый курс Академии, экзамены. Честно говоря, ничего не заметил.

Так, так, кивал Шингарёв. Этого заболевания он и ожидал.

— В Третьей Думе всё же было согласие в работе. Но сейчас, в Четвёртой, всё заклинилось, ничего не идёт. От упрямства и тупости власти. А ведь война была бы для них самый благодарный период для сближения с общественностью! Не захотели. В прошлом году, после отступления и преступной сдачи крепостей наша военно-морская комиссия подала царю очень откровенную записку. И — никакого ответа не было. И это ещё, скажите, мы — в комиссии, хоть можем всё знать и обсуждать. А в Третьей Думе Гучков нас и в военную комиссию не пускал, объявив кадетов «не патриотами».

На открытость — открытость:

— Лично о вас, Андрей Иваныч, этого не скажешь, но если перебрать ваших товарищей по партии — какие они в самом деле патриоты? Я бы сказал: Александр Иваныч был довольно прав. — Смехом смягчил свою дерзость.

Шингарёв с горячностью:

— Если мы ищем народу добра — к т о же мы?

— Ну, по-разному можно искать, — смелел Воротынцев к своему. —

Если прочность России вам для того не нужна, Россия хоть развались, была бы свобода.

— Как прочность не нужна?? Мы желаем именно — победы! Мы строим все расчёты — именно на патриотизме населения! Это — одно наше спасение, неожиданный народный дар, целитель всех недугов, — это после всего, как над народом издевались!

И изглядывал Воротынцева, как своеобычного, но представителя того же народа. От него он ждал каких-то решающих слов, Воротынцев это почувствовал. Но — рядом, рядом маячила и та скала, бараний лоб, которая сейчас не разъединит ли их? Вот как, они уже патриоты — больше Воротынцева? Не решался напомнить Шингарёву, что он перед войной мешал военному бюджету.

Вжался в продавленный диван.

Очень закурить хотелось, но неудобно. В кабинете — густо-книжный воздух, и без табачинки.

А Шингарёв понимал так: всё, что сделано для войны, — не бюрократией! — но общественностью. И Россия должна была набрать полное военное напряжение к концу этого года, а к началу 1917 быть в апогее силы. Но всё разваливается — из-за тупого сопротивления власти. Тыл — шатается, не выдерживает.

Опять — тыл. Твёрдые цены, таксы, заготовки? Комиссии оборонная, бюджетная, сотни образованных людей с таблицами статистики, экономическими справочниками. И если что в России менять — так опять же таблицы, справочники, вот их всех спрашивать, а шашка, повешенная в передней, — бессильная палка против этого всего, хоть и две дюжины таких дурных шашек. Даже в Академии не изучали ни гражданского законодательства, ни органов управления.

А Шингарёв — всё пригружал:

— Какая-то чёрная полоса, никого не рождающая. Не рождаем великих деятелей. Покинули Россию и пророки, и великие писатели. Но самое удивительное: почему не выдвигаются полководцы? Третий год небывалой войны, какой Россия никогда не вела, 14 миллионов перебывало под ружьём, — отчего же Суворова нет? Ни даже Скобелева?

Полководцы?..

— Разрешите, я закурю?

Полководцы! Воротынцев ли не думал о них?! (И о себе...) Что они не рождаются — не случайность. Они — рождаются, но верхи служебной лестницы непроходимы для них, из-за тупости. На дивизиях, на корпусах, даже на армиях по сравнению с началом войны сейчас толковых генералов немало: вот — Лечицкий, Гурко, Щербачёв, Каледин, Деникин, Крымов... А выше — не пройти им. Ну, как и у вас с министрами.

Это — понравилось Шингарёву. И, уже нетерпеливо сплетая пальцы, он задавал вопросы такие, чтобы вырвать из груди полковника предвидимый и желаемый ответ. Что в армии — ещё неисчерпаемые возможности! Что сил её — хватит на все испытания до победы, и полководцы ещё просверкнут. Мы — победим, только освободите нас от этого гнилого правительства!

Но на такого полковника он попал, что ничего этого страстно желаемого тот обещать не мог и не хотел. И о правительстве, и о верхах, которые сам Воротынцев нисколько не уважал, — такой мольбы-обещания тоже не мог выговорить.

Полное взаимопонимание — только примерещилось обоим?

И росло желание начисто объясниться с Шингарёвым — и невозможное же, смешное положение для боевого офицера: приехавши с фронта, перед тыловым штатским вдруг выступить каким-то пацифистом. Как басу сорваться фальцетом. Они тут — за войну и за победу, а ты?.. Ишь как легко они — «набрать полное военное напряжение»! — ты набери его в окопе, крючась день за днём. Очень они уж тут воинственно-победоносны. Но чем прямей Воротынцев видел истинную народную нужду — тем трудней было, оказывается, выразить её на образованном языке.

А Шингарёв ждал: как же нам вытянуть войну? Чем мы для неё дорожились? что жалели? Столько жертв уже положив, как же мы сможем не искупить и не победить? Тени мёртвых подымутся, спросят: за что вы нас погубили?.. Да кадеты готовы атаковать правительство с любой новой силой!

Вот этот вопрос: а для чего же принесенные жертвы? каков же наш долг перед умершими? — всегда стоял поперёк и против нынешних мыслей Воротынцева. Этот долг перед умершими он чувствовал живее тех, кто мог ему возразить в Петербурге, — это были вереницы знакомых или теперь уже полузабытых лиц и имён, и со многими обстоятельствами их смерти, или закопки в землю, или отправки тяжело ранеными. Но всех их не забывая никогда, он ещё настойчивей слышал стон живых.

Ясно, что́ надо сказать. И кому ж говорить — председатель военной думской комиссии. И человек какой — не слукавит ни в малости. А выговорить — трудно. Начал издали:

— Ну, хотя бы первое что: сократить армию. Сильно сократить. Просто — на одну треть. Нам нужна армия не огромная, а отборная — почти б одних охотников, в решающие места. А у нас натянута уже не армия, а сбор да сброд. Мы пытаемся тем покрыть недостатки нашей военной техники.

— Так, так, — не удивился Шингарёв. — Такие мысли мы иногда слышим, — и вы, значит? В Думе вслух мы об этом не осмеливаемся. Но — работников на поля, да? И — меньше ртов кормить, меньше эшелонов на снабжение?

— Самое главное — меньше толкотни в окопах. Раненых на одну треть меньше. Воевать надо уменьем, а не числом. А запасные части сейчас? — батальоны чуть не в дивизию. Перегруженные скопища, гнойники, киснут без оружия, без дела, — поймите: уже в запасных полках у солдат создаётся ощущение своей фатальной — и бессмысленной! — обречённости. И приходят пополнения в полк — ничего не умеют, заново учи. Но у нас в военном ведомстве, в правительстве окостенели мозги: что раз большая война, то надо как можно больше солдат согнать. Уж *наверху* что задолбят — разве их переубедишь? разве им объяснишь?

Наверху?? О, это Шингарёву сверкающе понятно! Русское *наверху*, свисающее над каждым здравым вопросом, поперёк каждого здорового пути! — ещё бы! Так и думцы в парламентских прениях упираются в стену, а свалить голосованием — не такой у нас парламент.

Но не только наверху — а вот рядом, глаза в глаза, этого искреннего человека, одушевлённого одною Россией, — его ли можно переубедить? Уже раздумался:

— Возвращать рабочих на заводы массами? — пойдёт неудовольствие в армии, просьбы, нарекания: а почему не я? А крестьяне — тем более. Будет деморализация оставшихся. А что скажут союзники? В момент такой войны — подобие демобилизации? Они это воспримут как измену. Я в этом году много беседовал в Лондоне, в Париже, — я просто не представляю, как решиться промолвить им такое. Как доказать им, что этого требует дело, а не силы свои мы бережём за их спиной? Что на самом деле — не утеряна наша решимость воевать до последнего солдата и до последнего рубля.

Что?? Что Воротынцев слышал? И от этого самого человека!

— Андрей Иваныч! — заволновался он. — А как же новоживотинцев? Тоже — до последнего солдата? Вы... вы отдаёте себе отчёт: пехота — замучена! Крестьянин — не охватывает необходимости этих жертв, третий год подряд. он только видит, что кем-то и зачем-то принесен в жертву, и должен неминуемо или умереть, или покалечиться. Вы сами

сказали об этом арендаторе — вот так разлагается народная душа. Так вот так — она и разлагается!

Нет! Не понимал! Те же глаза в горячем блеске, переходящие к влажности, тот же вид задушевный, подкупающая интонация, — нет! не понимал! тот парень, задавленный в известняках, — был жертва не патриотизма, а тут — война, победа, союзники, исторический жребий России...

— Да разорвались бы эти союзники! — не выдержал Воротынцев.— А то они наши жертвы берегут! Да я б для них и предпоследним солдатом не пожертвовал.

Шингарёв был изумлён выпадом полковника:

— Но для такого крутого поворота?.. Но что и как пришлось бы делать?

— Ну, конечно, понадобились бы *решительные действия,*—с выражением сказал Воротынцев, однако ведь не представляя ясно таких, и не от этого собеседника, видно, добьёшься.

Но так удивителен был кадетский разгон, что это полное выражение и эти «решительные действия» Шингарёв понял всё в той же своей заведенной линии:

— Да, вы правы! Для спасения страны нужны решительные перемены! Поймите меня, — говорил он раскаянным голосом, — я не левый. я понимаю, что серьёзная ответственная партия даже в оппозиции должна поддерживать правительство, если то попало в затруднительное положение, иначе всё государство полетит — куда?.. Мои товарищи опасаются: если будем сотрудничать с правительством — как бы нам не изолироваться от левых течений. Или: как бы мы не разоблачали правительство слишком мало, и после войны, когда его будут судить... да дождёмся ли, что его будут судить?.. как бы не попрекнули нас тогда. что мы... Но я... я бы сотрудничал с ними до последнего! Я бы в с ё им простил, всё простил бы этой власти, если б знал, что и *там* сердца горят о народе. И *там,* просыпаясь в бессоннице, думают только о нём. Но нет, не горят! Не думают! — даже и белым днём, в вицмундире, за казённым столом. Они не понимают, не чувствуют, какие надвигаются на Россию события — неизбежные, скорбные, ужасные!

Жгуче застлало эти глаза доброго разбойника, он должен был прикрыть их.

— Правительство — в распаде. Царь, ведущий армию, — катастрофа. Возможно, мы подошли к самому обрыву. Скоро и Государственная Дума уже не сможет остановить народное движение!

Ого! Свободно ж тут говорилось. Смелей, чем в армии.

— Андрей Иваныч! — останавливал Воротынцев. — Неужели вы допускаете... можно допустить революцию?

Шингарёв глядел осушенными напряжёнными глазами:

— Для того мы, Дума, и существуем, чтобы революции не допустить. Мы — клапан, выпускающий лишнее давление. Революционный взрыв снимет ответственность со всех: вот он помешал, а то бы!.. И какой услугой Германии была бы революция! Мы — клапан, и выпускаем давление, сколько можем. Но если — власть не поддаётся никаким убеждениям? Если в правительстве зреют предательские мысли?

— Ну, это вздор! Такого нет.

— Ну как же? Если валят и сталкивают Россию в поражение?! — Его руки обречённо уронились на колени. — Увы, последний год я всё меньше вижу возможностей отвратить... Допускаю, что это уже не в нашей власти...

Раздался дверной звонок.

— Наверно, Павел Николаич! — обещающе, уважительно вскинул палец Шингарёв. Проворно поднялся, пошёл открывать.

Теперь и профессор Милюков! Ну, сейчас навалятся, только успевай соображать да возражать.

Воротынцев быстро докуривал вторую папиросу и спешил обдумать главную неправильность в последних словах Шингарёва: что тот уже сдаётся на революцию? — тогда бы тем более действовать, даже малыми подобранными силами, — не робеть, не зевать, время не терять. А вот что ещё у них неверно: почему они соединяют правительство с поражением? Не с поражением, а с измотом народного духа. Так-таки надвинулся бараний лоб и разъединял их. Они хотели — спасти войну, когда надо было: от этой войны — освобождаться.

За дверью слышны были два женских голоса, оживлённых. Шингарёв воротился один:

— Нет, не Павел Николаич. Это наши дамы, партийные.

Уселся в ту же ямку дивана, вспомнил, вернулся. Слова — обречённые, а тон уже, пожалуй, и одобрительный. Пронырнув сквозь отчаяние, он шёл к своему опять:

— Если станет революция роковой необходимостью — что ж? Остаётся только не приходить в ужас. Остаётся верить в чудо, что даже из революции Россия сумеет возродиться. Эта кровавая война, даст Бог, принесёт и полную свободу... — Не за себя одного он говорил, он многих знал, за кого: — Ещё будет у нас широкий расцвет общественных сил! Ещё появятся у власти светлые, разумные люди, уважающие свободу великого народа. Только не потеряем веру в будущее России! Надо верить в самодвижущие силы общества. Надо верить в народную правду!

На народной правде опять углубился, увлажнился голос Шингарёва — и на миг ему стало нельзя говорить.

В какой же суматохе их мысли! — еле успевал Воротынцев ловить: то — победа во что бы то ни стало, то — согласны на поражение, на революцию, лишь бы свобода?

Нет, это как-то у них соединялось:

— Зато после революции наберётся новых сил армия, как это было во Франции. Обновится командный состав. Укрепится дисциплина. Разольётся воодушевление — и войска...

— Вы так думаете? — Воротынцев хотел спросить без насмешки, но оттенок лёг.

— Мы в с е так думаем, — простодушно ответил Шингарёв. — А без этой веры как же бы можно годами... ?

О, святая вера, только отдайся. Но один полк—один *народ,* другой полк—другой *народ.* И тот же самый полк — утром один народ, вечером другой. А вообще всякий полк занимает только протяжение, содержит невыразительное число, а войну делают — охотники, разведчики, смельчаки, первые атакующие. Как и историю делает — отборное меньшинство.

Скомканно это, не всё, ему сказал. Не убедил.

Ну, а как же парень тот, перешибленный в известняке?

А Шингарёв своё:

— Я вот недавно почитывал историю Франции, конца XVIII века. Слушайте, какое страшное сходство! Так и привязывается мысль: да ведь это *наши* дни! да ведь это наша разруха! Да ведь это *наша* слепая безумная власть! Да ведь это наши неуспехи в войнах! Да ведь это *наши* змеиные слухи об измене наверху!

— Андрей Иваныч! Андрей Иваныч! — взялся всё-таки Воротынцев остановить его разгон, дружески взялся, обеими руками за обе его. — Не сами ли мы эти параллели нагоняем? А как бы усилия приложить — распараллелить? Мало нам хорошего — ту историю повторять. Как бы её — обминуть? Нет, я очень прошу — увольте нас от революции!

— Да, пожалуйста, уволю, — рассмеялся обаятельно Шингарёв. — Но получим ли мы что-нибудь взамен?

Правда, когда государство застывает в безвыходности — как должны все штатские смотреть на своих армейских: что же вы ждёте? по-

чему не поможете? И этот долг — Воротынцев остро и стыдно на себе чувствовал. Но к а к помочь? Он и приехал за тем: узнать.

— Конечно, — вздохнул Шингарёв, — умеренный государственный переворот бывает прекрасным выходом. Но мы, русские, нерешительны на такое. Даже может быть неспособны. Гучков говорит: власть не держится ни на чём, только толкни. Неправильно. Она на многом держится. На государственной машине. На инерции человеческих представлений. На корыстно заинтересованных кругах. На отсутствии мужества у подданных.

В «отсутствии мужества» был ли упрёк? намёк? Нет, это он обдумывал вслух. Да кроме мужества ещё ж надо сметить, сообразить, узнать, понять. Вам тут хорошо, близ самого центра. И опять наложился Гучков, как всё сужено и мало́ даже в раскидистой России.

— ...Так что по-русски больше остаётся надеяться, что как-нибудь *само, само*... Власть ли очнётся? — самое бы простое! — так не очнётся она. — Шингарёв сдавил темена с ещё густыми, но чуть седеющими волосами. — Это поразительное непонимание беспощадного хода истории! Что уступить всё равно придётся, так лучше же вовремя, лучше же мягче? — нет! Ни вершка не уступят, пока их не разнесёт! Не признают, что лестницы прогресса никому не миновать! И теми же ступенями, изжитыми на Западе, поплетёмся и мы, всё равно. Но тяжело за русский народ, слишком дорого мы платим за то, что другим достаётся дёшево. Вы не знаете легенду о Сивилле? Её приводили в первом номере «Освобождения»...

Какого ещё «Освобождения»? И спросить неловко.

Позвонили опять.

— Павел Николаич! — взмахнул Шингарёв с готовностью, и поспешно, — да он и всё время так двигался. Пошёл открывать.

Послышался мужской немолодой голос. На «ты». — «Приехал?» — «Ждём, нет ещё.» И вот уже Воротынцев поднялся приветствовать ещё одного видного кадета — несколько напряжённого, несколько ироничного или как бы играющего, с нарочито задолженным клинышком светлой бородки, с острым взглядом через пенсне.

— Милий Измайлович Минервин, член нашего ЦК и член думской фракции... А я как раз начал Георгию Михайловичу рассказывать легенду о Сивилле. Ты не расскажешь, у тебя лучше?

Конечно расскажет! Не прося повторить приглашения, нисколько не интересуясь, зачем этому непросвещённому полковнику легенда о Сивилле, нисколько не подготовляя вида своего, голоса или настроения, Минервин опустился на тот же диван, не замечая проямка, и засказывал сразу не одному этому слушателю, но целой аудитории, для чего артистически заработала его мимика, и голос, и таинственно заколебались тёмно-бордовые боковины исторической сцены:

— ...К римскому царю Тарквинию пришла она и предложила купить Книги Судеб. Однако, цена показалась царю высока, он не дал. Тогда Сивилла тут же швырнула часть книг в огонь — *а за остальные потребовала ту же цену!* Ца-арь заколебался, но всё ещё отказывался. Тогда Сивилла бросила в огонь ещё часть книг — *а за остаток потребовала ту же цену!!* Ца-арь, — Минервин многозначительно раскатывал это слово, тут выходя из исторических одеяний, — дрогнул, посоветовался с авгурами и купил остаток. Вот так!! — через пенсне на длинном шнурке от воротника Минервин посмотрел на публику, различил в первом ряду какого-то военного и объяснил ему мораль спектакля: — С исторической необходимостью торговаться опасно: чем дальше, тем меньше она уступает! И кто не хочет читать Книгу Судеб в её естественном порядке, тот *дорого* заплатит за последние страницы, за страницы развязки!! — И, спустясь со сценического помоста, уже тут, в комнате: — Это мы опубликовали четырнадцать лет тому назад. И что же поняли наши правители? Уступить обществу, уступить Думе и избежать

революции? — они упускали каждый год. Все годы. И в прошлом году. И даже в этом.

Позвонил в коридоре телефон. Шингарёв торопливо вышел. Вернулся:

— Павел Николаевич звонит, что задерживается.

БЕГИ-БЕГИ, ДА НЕ ЗАШИБИ НОГИ

Октябрь 1916 **ДОКУМЕНТЫ — 1**

К ПРОЛЕТАРИАТУ ПЕТЕРБУРГА

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Преступная война, затеянная хищниками международного капитала... Правящие классы, только выпустив все жизненные соки из народов противной стороны, скажут, что их задачи выполнены. Война несёт небывалые выгоды господствующему классу, давая громадные проценты на капитал.

Для России дело усложняется господством разбойничьей царской шайки. Над свистопляской зарвавшихся хищников парит двуглавый орёл.

Только объявив решительную ВОЙНУ ВОЙНЕ... ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЭТА ВОЙНА! ВРАГ КАЖДОГО НАРОДА НАХОДИТСЯ В ЕГО СОБСТВЕННОЙ СТРАНЕ.

Да здравствует РСДРП!

Петербургский комитет РСДРП

21

На чётких кругах военной службы и в руки бы не беря газет, можно бы дозволить себе не одобрять кадетов или даже презирать их. Но попавши в их оживлённую быстроумную компанию, нельзя было не испытать смешанного чувства: лестности быть среди них приветливо принятым и растерянности от их знаний и осведомлённости. Два думских лидера — один порывисто-открытый, другой самодостойно-едкий. Две дамы — но не просто из женского большинства, не из тех, что при мужьях, а партийные активистки — сейчас занятые сбором книг, табака, белья, карамели и мыла («Петроград — защитникам родины»), вообще же — организацией чего-то важного, а в поведении — отменные равноправием, старшая (назвали двойную фамилию — Пухнаревич и ещё както) — и умом, и определённостью политических суждений. Младшая затo собою недурна; самое значительное хоть и не сошло с её языка, но так и дежурило в выраженьи её лица: что вот могла бы она очень важное сказать, но повода нет, то ли паузы. По сравнению с ними хозяйка была упрощена большою семьёй и никак не супруга депутата парламента. Зато пришёл ещё приват-доцент, экономист, молодой, в тёмно-роговых очках, весьма осмотрительный в высказываниях и сдержанный в чувствах. Но уж когда говорил — то убедительным вкусным молодым баском, не допуская сомнений. И больше, чем два кадетских лидера, вот этот именно доцент пригнёл Воротынцева: совсем молодой, совсем не известное имя, а сколько же знает и как явно умён! И сколько таких приват-доцентов в петербургском обществе? — море умных людей. И что они знают — того ты не знаешь. И пойди как-нибудь иначе завтра государственное развитие России — так к ним же придёшь и на спрос, они и укажут.

Но с этими-то и интересно, с военными он наобщался довольно.

Когда вышли из кабинета и знакомились, как раз приват-доцент обстоятельно объяснял, что в Петрограде сейчас живёт на миллион с четвертью жителей больше обычного. Не упустил продолжить (не потускнел и при Минервине), что вообще российские города составляли до войны 30 миллионов, то есть шестую часть Империи, а сейчас от передвижения масс — 60 миллионов. Потому и удваивается в трудности задача вырвать у деревни продовольствие. У крестьян — жадный дух наживы, нежелание везти хлеб, и если такую тенденцию не переломить, то это — начало общественного распада.

Он объяснял и довольно удивительное, но собеседницы его как будто это всё знали и тут же встречно объясняли ему своё — про правительство, которое, напротив, этого ничего не ожидало. Уже не хватает возмущения против всех нелепых шагов правительства. Общество и Дума отдали родине всё, что могли, и не общество виновато, что эти жертвы не принесли плодов. Причина всей разрухи — в традиции устраивать народную жизнь без участия самого народа.

И от этого момента таким послышался Воротынцеву весь разговор: будто собеседники и дальше наперёд всё знали, что скажет каждый другой, но необходимо нуждались встретиться, выслушать и высказать то, что все они вкруговую знали. И хотя все они были подавляюще уверены в своей правоте — но ещё нуждались укрепиться в ней от этого взаимообмена. И только Воротынцев совсем ничего этого не знал, отстал, не успевал вымолвить ни слова существенного, лишь ловил. Но уже и так ощутил, будто и его вкруживает в эту общую уверенность — да! да! он с ними заодно узнаёт, узнаёт, да уже знает давно нечто несомненное.

Ещё ловил для ободрения тёплые верины взгляды. Она, кажется, была очень довольна, как ими вышли они из кабинета, довольна, что привела брата сюда.

И вот столичная жизнь! — не созывали никаких гостей, не назначали никакого вечера, да и понедельник же! — но гости набрались, как будто все и по делу, и вечер сам составился, и надо было всех кормить. Впрочем, что ж за вечер, если дамы не в вечерних были платьях, а разве лишь блузка поновей, как принято у дам оппозиции (от курсистских времён наследовалась полунебрежность одежды как форма своих). И причёски у всех были гладкие, как можно меньше обращать внимания на свою наружность. Строгое узкое коричневое верино платье выделялось даже.

К ужину высыпали и три девочки, от четырнадцати лет и моложе, представлялись. Сыновей не было дома, а старший кончал уже и военное училище. (А ещё, предваряла Вера, теперь скользнуло по памяти, одна девочка у них умерла.)

Неловко отцу при посторонних, но рассиялся Шингарёв, поглядывая на детей.

А у Воротынцева не было никогда ни одного. Обязательным обрядом знал, что дети — цветы жизни, принято любоваться ими, задавать вопросы. Но сам не нуждался в этой связке.

Ну что ж, если Павел Николаевич не скоро — так и за стол? Как Вера и предсказывала, хлеб на столе только чёрный, да рыбное заливное, маринованные грибы, варёная картошка, квашеная капуста. Но, отдать справедливость этой компании, как пренебрежительны они к одежде и к продавленной мебели, так и к наложенному в тарелки. Убирали дружно, но ртов их как будто не касалось, а главное был разговор.

— Нет, *они* ничему не научатся!

— Нет, *они* безнадёжны!

— От самодержавия ничего добром получить нельзя!

У старшей дамы рукава были по локоть и казались как засученными к делу или бою:

— Скажем ясней: практическая деловая работа может начаться только с удаления этой власти!

У приват-доцента — два роговых надбровья, да составленных твёрдых предлокотья:

— Пока у нас самодержавие — ни на что нельзя надеяться. Без полной перемены правительства не остановить ни немцев, ни народного возмущения.

А Воротынцев выслушивал без чувства оскорбления. Да ещё с детства и с юности он повсюду, и в семье, был охвачен этой всеобщей нотой: что России хотели добра декабристы, и только продолжая их светлую традицию можно спасти страну. И что здесь сегодня все открыто хотели республики — тоже он не видел предосудительным. В военной среде так не говорится, не думается, но если взглянуть шире — добро для страны может придти в разных государственных формах. Как угадать?

А девочки охотно крепко ели, ни слова лишнего. Правда, хорошие девочки. Можно, конечно, вообразить это счастье: большая, дружная удачная семья.

Евфросинья Максимовна имела время пояснить: вот эта капуста — покупная, а вот эта — со школьного огорода, великолепную вырастили классом, лазарет снабдили и по девочкам разделили, и квасили сами. А грибы — из Грачёвки уж не по нужде военного времени, а заведено у них каждогодне. — Грачёвки?.. — Это в Усманском уезде, хутор покойного отца, достался Андрею Ивановичу как старшему из шести детей. Сад и огород управляемся обрабатывать своими руками, каждый год с весны до осени мы все там, кроме Андрея Иваныча. А уж землю, посевную и луговую, сами обработать не можем, а нанимать безнравственно, так отдаём соседям.

С пятью детьми забот — как с целой ротой, да.

И опять об этих тренепонятных твёрдых ценах. И Шингарёв оказался — уверенно за них. Не успевал Воротынцев связать, понять: если Шингарёв такой радетель деревни — а теперь, как ему толковали в вагоне, это — против деревни? Не успевал понять, но скользило без трения.

К чему-то скажи, не обдумав, такую фразу:

— Но твёрдые цены, вероятно, требуют и твёрдых рук?

Он даже ничего особенного в это не вложил, а так, по аналогии.

А ему сразу настороженно выдвинули:

— Но твёрдые руки не всегда бывают чисты!

— Но твёрдые руки обычно принадлежат твёрдым лбам!

Воротынцев не нашёлся и даже покраснел: не на него ли намёк?

Повторяя постоянную ошибку новичка в чужом окружении, он забывал, что наблюдён и виден больше, чем наблюдает и видит сам. О нём уж тут, конечно, предварительно передали, но скорей — как о бунтаре против Ставки, который *пострадал за то, что...*

Кому-то ответил:

— Нет, я в кадетском корпусе не учился, я реальное кончал.

Обрадовались:

— Реалист?.. Так значит — не к военной карьере?.. Колебались?..

Тут бы как раз ему и подладиться, в цвет им, но он по правде:

— Я — не колебался, я — с детских лет. Но мой отец надеялся, что я передумаю, и уговорил на отсрочку, в реальное.

А Шингарёв за твёрдыми ценами видел и мрачней. Прозревал и сам пугался:

— Если война затянется — поздно уже будет говорить о свободном почине, о частном обороте: не пришлось бы объявлять, кто сколько *должен* продать, пропорционально своим запасам.

Минервин под строгим пенсне поднял строгий палец, как на думской трибуне, и будто стряхивая с пальца слова:

— Ни-ко-гда! Такого нарушения свободы... !?

Шингарёв — уверенно вполне:

— Словом «свобода торговли» пользуется и Протопопов, будь ост-

рожен. Теперь свободу торговли нам возвещает министр внутренних дел. Но это — свобода хищничества, а мы — да, за регламентацию, в интересах самого же населения. Таков парадокс. А что было бы с Россией, если, по принципу свободы, пустили бы частным оборотом, например, набор в войска? Так и с хлебом. Война требует жертв. Надо поглядывать, перенимать у врагов. Шутят немцы о нас: знаете ли вы страну, в которой в с ё есть — и н и ч е г о нет? У нас от неорганизованности обилие превратилось в недостаток. У них, от совершенства организации, при недостатке — и всем хватает. По всей Германии разъезжают кухни с дешёвыми обедами. Государство умеет всё взять, но умеет всё и дать. Отобрали наши в этом году свои Пинские болота — а они обстроены дорогами, как мы за сто лет не собрались.

Такой растепляющий человек, а вот голос раскатывается и повелительно. Не случайно он там, на верхах политики.

— ...Хотим побеждать — не избежать нам создавать организацию принудительную, как уже во всех европейских странах. Вся война есть принуждение, и никуда мы не денемся, всё равно затянемся в тот «военный социализм», который уже затопил Германию. И хлеб, и сахар, и чай, и керосин, — всё придётся централизовать, лишь бы вытянуть войну. У немцев — всеобщая трудовая повинность от 16 до 60 лет. И если мы хотим победы — не избежать и нам.

— Только у немцев, — решился вставить Воротынцев, — общество и правительство — союзники, а не враги, как у нас.

Но его возражения как не заметили: видимо, Шингарёва понесло на что-то своё, отклонённое от партийной линии. Не успевал приехать Павел Николаевич обломить эту ересь, но Милий Измайлович был достаточно тяжёлой артиллерией и сам:

— Позволь, Андрей Иваныч, ты что ж — становишься на сторону *правительства??*—И даже ужас прошёл ветром по кадетскому застолью и заставил всех откинуться. — Это — правительство носится с проектом милитаризовать рабочих, чтобы, видите ли, избежать нежелательных им забастовок. Рабочих — к станкам, как в солдатский строй? — Минервин вскинул нервную выразительную руку и стряхивал, стряхивал с пальца выразительнейшие фразы:—Но *наша* партия не может принять такой цены — для победы установить диктатуру. Ещё одно крепостное право? Для победы отнять последнюю свободу у народа? *Такой* ценой не нужна России победа! Мы—все заедино горим желаньем победы, да! Но *наша* победа — в том, чтоб одновременно отвоевать народу гражданские права!!

Воротынцев жадно поглощал этот спор, слыша сразу всех, и второстепенные голоса тоже. Очень его поразило, как сочетается у них блистательная образованность — и категоричность решений, нужная для власти.

Кажется, все остальные были за Минервина. Но Шингарёв не поколебался:

— Тут они на верном и неизбежном пути, это неотразимый ход вещей — принудительная организация труда. Это — всеобщее требование современной войны, оно заставляет уклониться от идеала свободы. И установись завтра правительство общественного доверия — к тому же будет вынуждено и оно!

— Да?? Никогда! — остро поглядывал через пенсне и остро посмеивался Минервин. — И если ты осмелишься повторить такое с думской трибуны — ты сразу станешь непопулярен!

Но как будто на той трибуне и почувствовав себя, глазами степняка загорясь, Андрей Иванович уже не по-комнатному:

— Что делать, осмелюсь! Да, настал момент жертвовать, соотечественники! Государство нуждается в вашем хлебе, мужички! В труде ваших рук, сограждане!.. И если у власти станут просвещённые люди, действительно любящие свой народ, — будет та-акой подъём! Рабочие ста-

нут к станкам безропотно! Хлеб потечёт — неудержимыми реками! Народ отдаст хлеб, как отдавал детей!..

Надкололся голос. Шингарёв в растроганности должен был отдышаться.

Зашумели во все голоса. Старшая дама с толстыми локотками не ждала ничьего перевеса или мнения, а решительно присудила:

— Ну, разве что при ответственном министерстве, тогда возможна и диктатура! А сейчас правительство нарочно создаёт трудности с продовольствием, чтобы вывести Россию из войны.

Младшая дама с руками тонкими, гибкими, но до запястий скрытыми блузочной тканью, не сробела поправить:

— Нас предупреждали не пользоваться термином «ответственное министерство»: это может нас поставить под удар черносотенной агитации. Надо говорить «министерство народного доверия».

Блузка у неё была тёмно-зелёная, а по ней — бурые всплески, непонятные.

— Можно говорить: «правительство из довереиных лиц».

Так это легко выговаривалось, скороговоркою даже, будто такое правительство уже существовало, всем хорошо известно, объявлено наперечёт — и к тому же замечательное и героичное, — а Воротынцев по фронтовой дикости не знал, пропустил? И спросить было неудобно, и места не оставляли для спроса.

Но явна была уверенность, что правительство такое будет желанным, популярным и спасительным. *Такому*-то, понял Воротынцев, и всё допустимо, а из рук нынешнего правительства и даром не надо!

— Прогрессивный Блок уверенно выведет Россию из тупика!

— Да неужели же общественность справится хуже, чем тупые бюрократы! Россией правят тупейшие из тупых!

— И что делать русскому обществу с этим правительством? Просветить дураков? — невозможно. Переубедить дураков? — невозможно! Десятилетиями жить в полной власти дураков, а чуть хочешь протянуть на помощь и свои руки — на тебя шикают: осторожней! все будем в пропасти!

— Но как наложить на себя узду молчания? Мы лишены инстанций апеллировать к правде!

— Они объявили войну — всему народу! И это — с 60-х годов!

— Правительство азиатского деспотизма, каннибальского кровожадия!

— Позиция умеренности к нему преступна как позиция предательства!

— А Милюков думает действовать в европейских манжетах!

— Да швейцары, дворники — и те знают правило: лестницу начинать мести сверху!

— Ка-дэ могут спасти Россию — но поступясь долей своей умеренности и в контакте с левыми.

— Надо было с самого начала блокироваться налево, а не направо!

— И одной только сменой министров общество не удовлетворится. Нужна — всеобщая амнистия! Нужна отмена еврейских ограничений.

И куда-то, куда-то все они (с участием и Верочки) — весь разговор — и вся мысль Шингарёва, смыкающая такие разные опоры крепким поясом по чреслам России, — куда-то всё понесло ещё сильней, покружило, или посыпало — заговорилось не меньше, напротив больше! громче! — они все, оказывается, только начинали разговоряться! — но несло их куда-то прочь от человека, желающего определить себе правильные действия. Смысл мелькал до того карусельно, его нельзя было придержать, да даже нельзя было не утянуться им. Несомненно звучало сквозь весь поток: о народных нуждах, что присутствующие отлично знают их, и выражают их собою, безошибочно могли бы их утолить. А правительство—никогда. Заведенный и ослабленный этим общим уверенным кружением — Воротынцев молчал и сползал.

— Против этой безумной власти наши парламентские действия — слишком слабый аргумент!

Нет-нет, господа, только парламентские! В *нашей* стране насилие никогда не будет признано правом!

— Два года мы *так* ждали известий о победах! А нам подсовывали какое-то потопление в Рижском заливе!

— Тут и мы, думцы, виноваты. Мы старались «не шуметь», слишком долго берегли престиж армии.

— Русский старый, вечный грех долготерпения.

Шингарёв в этой компании тоже изменился, не тот. Отчего всегда гнёт человека подделаться под общий тон? Да была завихривающая сила у этого кружения, и Воротынцев сидел несвойственным барашком, даже и лицом не решаясь выразить, насколько он всё-таки несогласен.

— Надо всегда помнить, что правительство неискренно с обществом!

(Ну, да и вы ему: говорите одно, а думаете другое.)

— Не-ет, с этим царём победа невозможна!

— Идти против народа, против Думы, когда неприятель вторгся в страну, — это и есть пособствование ему!

— А внешняя расстановка благоприятна для победы как никогда: извечный враг Англия — с нами! Недавний враг Япония — с нами!

И — идиотская операция союзников в Дарданеллах, подумал Воротынцев, да куда тут вставишь? Они были все — патриоты больше него: не согласны меньше, чем на полную победу.

— Чтоб отстоять Россию от немцев — нужна немедленная коренная смена режима!

— Совершенно ясно: они нарочно провоцируют тяжёлое экономическое положение, чтобы под этим предлогом выйти из войны!

Зацепился за эту ущербинку на гладком карусельном диске: позвольте, что-то не то! А перед 14-м годом не говорили вы наоборот: *они* нарочно провоцируют войну, чтобы выйти из будто тяжёлого экономического положения?

Однако он не осмеливался возражать. В этом общественном кружении подавительность была — властная. Впрочем, заметил он: рассуждения их были — всё самые общие. А по деталям-то они знали куда меньше Фёдора Ковынёва.

Но слова у всех как наготове, переполняя грудь и рот, и чуть куда щёлочка — выливаются, друг друга уже и не удивляя новизной.

— Россия — просто большой сумасшедший дом!

— Новые министры даже не стали переезжать на казённые квартиры: всё равно через месяц каждого снимут.

— Да гвардия готовит переворот, это всем известно! Переворот будет непременно, вот-вот!

Напрягся Воротынцев: да что ж это за переворот, если о нём так болтают?

— Иначе и быть не может! Общественное недовольство так велико, как не было и в Девятьсот Пятом!

— Господи, о чём ещё говорить, если Сухомлинова собираются выпустить из Петропавловки!

— Выхода нет! Вспышка народного недовольства должна быть опережена подготовкой революционных действий теперь же!

И всё больше поглядывали на Воротынцева: мол, это по его части? И если он, действительно, *прогрессивный* офицер — что скажет нам он?

А Воротынцев к тому и летел со своей катапульты — чтобы вмешаться!? Но теперь видел, что кажется не туда попал. И досадно было на себя, зачем он так поддаётся им безвольно, нигде ничего не может отстоять, возразить.

А варенья — три сорта, тоже из Грачёвки, свои. Уже пился чай, и

девочки уходили, всё говорение прослушав немо. Да наверно привыкли, не каждый ли день такое и слушают?

Позвонили в дверь. Павел Николаевич? Все насторожились, подтянулись. Шингарёв молодо вскочил, пошёл открывать. Прислушались — нет, женский голос. Мелодичный, и с неторопливым достоинством.

— Странно, — удивлялся Минервин.

Не уходила. Видимо, раздевалась. Но сюда не вошли.

Верочка сидела с братом рядом и прошептала:

— Профессор Андозерская. Как говорится, «самая умная женщина Петербурга».

— Да ну?

— Ну, знаешь, ка́к принято в каждой столице насчитывать по пятьдесят «самых умных женщин»?

— Запрещеньями, стесненьями, подозреньями они сами же толкают людей в левых!

— Они — и не Германию больше всего боятся, а уступить общественному мнению у себя в стране. Для них и Земгор и военно-промышленные комитеты — всё крамола, везде революция! Уж заподозрить самодеятельный самоотверженный Земгор...

Держался-держался Воротынцев, но тут за живое задели. Нельзя не отодвинуться:

— Знаете, совсем уж так — бескорыстный — сказать нельзя.

Только это и произнёс, вот только это одно! — но сразу все насторожились! Замолкли так же дружно, как дружно говорили, — и на полковника! Приват-доцент поправил роговые очки, старшая дама надела черепаховые, от того очень грознея, ещё и при толстых быстрых локотках. Все ждали объяснений.

Начал — так вытягивай. (Верочка смотрела с тревогой.)

— У нас на фронте к Земгору... — (как бы это им поаккуратнее?) — ...отношение и такое и сякое. Делают немало, да... Хотя и странно, что, например, санитарное дело поручается любителям, не входящим в строенье частей. Делают немало, но и... штаты же велики, уж слишком. И все должности заняты почему-то не стариками, не инвалидами, а военнообязанными. Большей частью — молодыми интеллигентами... Дезертиры — у них санитарами... — Уже чувствовал слитное осуждение себе.

— Но ведь делают же — какое дело! — вырвалась старшая дама, первою изо всех. — Работают — для победы!

Ещё не возражали — ещё только напряжённо-неодобрительно замолчали, — а Воротынцев ощутил, что краснеет. Оказывается, вот что: совсем не просто среди них говорить. Послушаешь — так легко всем болтается, а начнёшь сам — почему, при ясности мысли, выглядишь смешным?

— И банный поезд — ещё не самое дальнее, а то — рытьё колодцев в пятнадцати верстах от передовой линии, или осушка болот, — могло бы и конца войны подождать... Удовлетворяют уже не действительные потребности армии, а придуманные. И раненых содержат неправильно. — Но под силой осуждающего давления:—Я сам как раз не считаю, что...

Солгал, скривил, отступил—да почему ж не получается? *Моё* мнение! именно я так думаю! Почему такая мямля, мысли не складываются, и краска на лице, позор! Какая-то тугая препятственная атмосфера. На генералов шёл — не боялся. Потому что там шёл — *революционно*. А здесь боязно: *реакционно*, самое уничтожительное.

Толкнулось — передать им рассказ Жербера, как подделывали знаки на снарядных ящиках, — но это никак! никак невозможно было бы тут объявить: и не поверят, и обрушатся!

Минервин поднял вещий палец:

— Но вы упускаете моральный фактор! В прошлом году, во время «великого отхода», во время народного отчаяния, — общественные силы загорелись священным огнём — и вдохнули его в ряды поколебленной армии.

За армию Воротынцев обиделся. И — резче:

— Ничего они в нас не вдохнули. И предпочтительней — не вдохновлять, а...

Пятьдесят лет вы жаждали идти *в народ*, вот и идите в народ. Народ — это пехота.

Но — не выговорилось. А:

— Хоть хаоса бы в работе не создавать. Нельзя же вести военное снабжение по трём системам сразу.

Не так, не так! — взволновались. Полковник не понимает и ловится на удочку правительственной агитации. Дело в том, что тупое правительство ведёт против Земгорсоюза травлю, обвиняет в пропаганде среди войск, даже в шпионаже, а потому велено нижним чинам не общаться с деятелями Земгора. И назначаются соглядатаи — в чайные Земгора, в питательные пункты, парикмахерские...

Эти чайные — как раз и первые разносчики всяких сплетен и революционных подзуживаний. Но уж — не возражал.

...Фу, тьфу, мерзкое шпионское само правительство! Вон, Андрей Иваныч сейчас вернётся, скажет: *они* и в холерные отряды не утверждали санитарных врачей — в Девятьсот Пятом арестовывали «холерный персонал», подозревая, что из-за них громят усадьбы. Не так им страшна эпидемия, как революция!

И Воротынцев — не возражал дальше. Да и что он там помнил о Пятом годе? — он в него не вникал. Отступил, смолк. Не потому, что неправ, а — *реакционно*... Да, приходят такие бумаги в дивизии: офицерам — следить за земгоровцами, ибо они ведут подрывную пропаганду и готовят революцию. Так — и ведут! И отчего ж бы им не вести? Устроились, привыкли, почувствовали себя в безопасности — и отчего ж им не накинуться на солдатские мозги? А правительству — почему ж запрещено отстаивать свою армию? Неприкосновенность личности — хорошо, но как с неприкосновенностью отечества? И что-нибудь подобное было и в тех холерных отрядах: как же в кипении революции самоуверенным полуобразованным фельдшерам — не поддать огоньку?

А вот сказать — неловко. Презирал себя. Хотелось уйти поскорее, что ли.

А общество — такое малое, но такое динамичное, разочарованно убедясь в сомнительности и этого полковника, — да и чего хотеть от законопослушной монархической императорской армии? — перекатило через него гремливым своим потоком:

— Вместо побед — издевательским «даром» суют нам «право» врезать императорский штандарт в национальные флаги!

— Единение царя с народом! — чувства юмора никакого!

— А краснорожую полицию, небось, на войну не посылают.

— В низах растёт раздражение. Народ *им* этого не простит!

Даже странно: так мало их, но так быстро успевали друг другу отзываться. Подумал о Верочке: а ведь она — часто с ними, вот она, кажется, это всё разделяет. Да это — нечто, похожее на болезнь: она передаётся от соприкосновения и никак нельзя устоять. Заливает, поддаёшься.

— Даже гимназисты отламывают гербы с кокард!

— Мы перевалили какую-то роковую грань и решительно идём к развязке!

— Правильно пишет горьковский журнал: пора перестать бояться того, что на полицейском языке называется «беспорядок»!

— Да власти очень быстро трусят! Это только кажется, что они — неприступно-крепкие. Эту трусость мы уже видели в Пятом году!

— Да в конце концов, *чем хуже, тем лучше!* И катастрофа тоже нас куда-то приведёт! Всё лучше, чем так позорно гнить!

— Смирение — позор! Если Россия не перегнойлась в крепостничестве, то события — будут!

— Что-то должно произойти! Так дальше продолжаться не может!

И выдвинулся Минервин, вознёс напоминающий грозный палец для стряхивания:

— Кто столкнётся с *народом* — тот попадёт в бездну!!!

И вся его ораторская уверенность, белейший воротничок, точная увязка галстука и постоянное пребывание в Государственной Думе не только не мешали, но определённо окрыляли считать себя клином, пиком, вершиною того народа, от столкновения с которым и упадёт правительство в бездну.

Но если народ и есть пехота, то фронтовой полковник Воротынцев, пропустивший через свой полк несколько составов, и при настоятельной свободной манере расспрашивать даже между двумя перебежками, — узнал, запомнил, ёмко уместил в себе шестьсот — восемьсот — или тысячу лиц, характеров, жизненных историй. А Минервин? — скольких пехотинцев знал? Они всё время талдыкают о вине правительства — но как легко они сами, языками, толкают солдат в смерть. Как же это им всё легко видится из петербургской квартиры!

И почувствовал Воротынцев толчок освобождения из своего непереносимо-стеснённого, даже околдованного состояния. Потянуло его — оскорбить их на их территории! Голос его перестал быть извинчивым, возвратилась к нему свобода. Дерзко, громко, ко всем зараз:

— Вот вы, господа, повторяете и повторяете, что Россией правят тупые из тупых, министры сплошь дураки, и как бы вам хотелось лучших. А будем откровенны: общество совсем и не хочет хороших министров в России! Появись завтра хорошие — оно ещё больше возненавидит их, чем плохих!

И вот уж теперь не теснился, не ужимался, а если покраснел, то от задора.

Маленькая сумятица, но оправились тотчас:

— Хо-ро-шие? Да когда же в России были *хорошие* министры, назовите!

Ах, вас не берёт, неймёт? И в реванш за унижение, и следя, чтоб не угнуться ни на кивок, а проломиться по самой прямой, через общественное мнение и свист:

— Да уж не буду перечислять хороших, но был великий! Был — великий русский государственный человек, и кто из общества это заметил и признал? Его бранили, поносили хуже, чем Горемыкина или Штюрмера. И так он и ушёл — неузнанный, непризнанный и даже проклятый.

Онедоумели дамы и господа, но ещё последняя надежда была, что не махровый этот полковник, а просто задурманенный: кого он имел в виду? Неужели... ? Конечно же, не... ?

— Столыпин, да! — взмахом руки дорубил Воротынцев и их надежды и свою общественную репутацию. Да вызывающе, да со звонкостью: — Пришёл человек цельный! неуклончивый! уверенный в своей правоте! И уверенный, что в России ещё достаточно здравомыслящих, прислушаться! А главное — умеющий не болтать, а делать, растрясти застой. Если замысел — то в дело! Если силы приложил — то сдвинул! Видел — будущее, нёс — новое. И что ж, *узнали* вы его тогда? Именно его смелость, верность России, именно его разум — больше всего и возмутили общество! И приклеили ему «столыпинский галстук», ничего другого, кроме петли, в его деятельности не увидели.

А что ж, галстук — это разве не метко? Галстук — это разве не символ?.. Поправляя свой собственный, Милий Измайлович готов был к разгромной тираде. Или к иронии. Или — пренебречь?..

Что ж тут отвечать? Как взрывом была выхвачена непереходимая яма. И если *такие* полковники слывут за бунтарей — то каково ж остальное офицерство, не бунтующее? И если Столыпина принять за выражение России — то эта страна, и так уж без прошлого, имеет ли будущее? И достойна ли выволакивания?.. Бедное, бедное наше общество! Несчастны передовые люди в этой дикой стране!..

Всё так, и на том бы можно расплеваться, развернуться, друг друга не видеть, — да ведь не в клубе это, не на улице, а в гостях, в квартире Андрея Ивановича, и как-то же надо прилично выйти из положения. Но даже простых вежливых слов после *этого* не хотелось произносить.

А Воротынцеву стало легко, и только беспокоил его испуг на верхном узком побелевшем лице.

И вдруг положение спас Андрей Иваныч сам. Он, оказывается, уже был в комнате, за спиной Воротынцева, и слышал его выступление. Теперь он обошёл обеденный стол к одному из освободившихся детских мест, очень запросто уселся, одну руку вольно свеся через дугу стульной спинки, другою отодвинув испитую чашечку. Не тот раскатистый громкий оратор был, звавший к народным жертвам, — а очень смущённый и тихий... Неуверенно посмотрел на Минервина, на приват-доцента, на дам... И опять тем голосом нутряным, душевным, выносящим наружу все пузырьки тепла, облепившие внутренние стенки груди:

— Вы знаете... Удивительная у меня была со Столыпиным встреча... ещё во 2-й Думе... То есть в зале-то я его видел, конечно, много раз, слышал «не запугаете!» и «вам нужны великие потрясения», и, кажется, всё было ясно: душитель, властолюбец, карьерист, других оценок мы к нему не применяли. Его земельную реформу я сам в Думе резко осуждал, и искренне: затея чиновников, вносит смуту в каждое сельское общество, в семью, ломает вековые устои. И я же в Одиннадцатом году был первым подписавшимся под запросом против действий Столыпина по западному земству... Но несколько раз приходилось мне к нему обращаться о смягчении участи разных людей — и всегда он смягчал. Особенно помню первый раз. Моего друга, тоже земского врача, административно выслали из Воронежской губернии «за пропаганду среди крестьян». Откровенно говоря, он пропаганду и действительно вёл, ну проще: от пациентов не скрывал своих освободительных идей. Однако обидно отдавать друга на расправу, если я всё-таки депутат Думы? Взял и написал Столыпину письмо.

Андрей Иванович рассказывал виноватым тоном и сам себе удивляясь. (Это — сейчас, через восемь лет. А ведь тогда — встретиться со Столыпиным было всё равно, что предательство. Наверно скрывал.)

— Вдруг приглашает на приём. Иду. Стиснув зубы, враждебный. Встречаемся, в небольшой комнатке министерского павильона, вдвоём. Не в белом сверкающем думском зале, где под люстрами резчает каждая черта лица, и сами мы, и каждый звук речи усиливается в значении, — а в комнатке, с одним столом. Столыпин не только не напряжён, не сановит, не приподнят, а усталый, даже измученный. «Так вы — земский врач? Вот не знал!» — улыбается, и лицо просто мягкое, доброе, поверить нельзя. Борюсь с собой и не могу сопротивиться: он производит хорошее, да просто наилучшее впечатление!

Перевёл глаза и на Воротынцева тоже, усмехнулся ему добродушно, а всё в удивлении:

— Чувствую, что так можно поскользнуться, изменить принципам, но и сам не могу сдержать улыбки, приветливой...

А не всякому улыбка так идёт, как Шингарёву, с улыбкой его ни за кого не отдашь.

— ...доброжелательного голоса. Отвечаю откровенно: да, мой друг придерживается освободительных идей, но он нисколько не крайний, ни к каким сотрясениям призывать не мог бы.

Улыбка, растворяющая и тебя, и себя, — как ей отказать?

— Обещал. И сделал, воротили моего друга домой.

— Исключения только подтверждают правило, — жёстко напомнил Минервин.

— И другой раз, — Шингарёв своё. — Ходил к нему и умиловал члена Думы Пьяныха, эсера, за убийство — вместо казни на пожизненное заключение. Он возражал: Пьяных подложил бомбу в дом священника,

не хочу вмешиваться в суд, — а всё-таки помилование устроил. И ещё раз: осудили к смертной казни десять воронежских крестьян за убийство помещика. Я опять к нему: двое сознались, но не все же убивали, остальные невинны. Он мне: вы не знаете, за кого заступаетесь; если убийц не держать ужасом — они перережут всех, кто носит сюртук, и вас, и меня. Если они захватят власть — вы будете из первых, кого они казнят. Достал, показывает мне диаграмму: вот, смотрите, с каждым днём, как идут разговоры в Думе, — увеличивается число убитых, особенно городовых, стражников, помещиков. Террор растёт — и я за это отвечаю. И всё же — по телеграфу распорядился в Воронеж провести новое дознание.

И всем открытым лицом своим открыт Шингарёв всем сомнениям:

— И с тех пор я иногда задумываюсь: насколько грубы, громовещательны даже самые лучшие парламенты. Вот и английский, и французский, как мы этой весной повидали. Мечтаем — и нам бы так. А разобраться — мы все там ожесточаемся, говорим резче, чем думаем... А какая-то наверно есть высшая возможность — по-человечески убеждать даже самых лютых противников?

Уж там есть ли, нет ли, утопия, конечно, но Минервин протёр пенсне и обошёл молчанием.

Так ли, иначе, а взорванная Воротынцевым яма как будто и затягивалась плёночкой.

А тут — опять звонок, телефонный. Шингарёв поспешил — остальные прислушались. На этот раз — Павел Николаич!

Но Шингарёв воротился смущённый: просил дальше его не ждать, приехать никак не сможет, возникло срочное дело. И намекнул — что с Протопоповым.

С изменником Протопоповым? Вот как? Всю компанию так и резануло любопытством.

А пока там телефонный разговор — за спиной Воротынцева ещё один голос, женский, тот самый мелодичный, теперь что-то высказывал Минервину — и довольно самоуверенно.

Чтоб не сидеть спиной, Воротынцев обернулся. Маленькая неяркая женщина в английском тёмно-сером костюме, строго ровно держа небольшую голову с тёмными, как бы чуть всклоченными или запутанными в причёске волосами, доканчивала Минервину.

Да тут все знали всех! — и не представлялись, один Воротынцев новичок.

Он круто встал, шагнул, звякнул шпорой, приставляя ногу, — и хотя в этой комнате не целовал рук — тут наклонился к руке профессора Андозерской, почувствовал так.

Она приподняла маленькую кисть, подала ему. И улыбнулась. Её глаза открыто-одобрительно блестели.

Слышала она его взрыв!

* * *

Знаменитые сибирские полки! —
Все штыками как щетиной обросли.
Эй, говори!

Проходили мы варшавские мосты —
Все красавицы бросали нам цветы.
Эй, говори!

(Продолжение следует)

ПОЭЗИЯ

ВИКТОР КОРОТАЕВ



ДО КРАЙНЕГО ДНЯ

Диверсия

Когда беда врывалась в общий
дом, —
Пронзительно, решительно и смело
«Отечество в опасности!» — кругом,
Как вещий гром, над всей страной
гремело.
«Отечество в опасности!» — И шли
В любое пекло, выбраться отчаясь.
И не было клочка такой земли,
Где б отсиделись или отмолчались.
«Отечество в опасности!» — И нет
Ни времени, ни прав на промедленье.
Пусть разный, но единственный
ответ
На этот клич давали поколенья.
Сегодня нам ответствовать пора,
Друг другу строго вглядываясь
в лица,
Поскольку то, что сказано вчера,
По всем приметам нынче не годится.
Нам удалось сковать надежный щит.
Не дремлет и враждебная
прослойка:
Везде гудит, скрежещет и трещит —
Не просто так дается перестройка.
Никак с концами не сведем концы,
Огни неясно видимы в тумане:
Не зря объединились подлецы
И держат кукиш в собственном
кармане.
Втихую сыплют в шестерни песок,
Внедряют лжепроекты водовода.
У них отняли лакомый кусок,
И наплевать им на судьбу народа.
Их впору обличать через печать,
Громить из телерадиоорудий.
«Отечество в опасности!» —
кричать.

Но там сидят
Пока
Другие люди...

* * *

Откуда опять нанесло и нагнало
Нахальных и ветреных птиц?
Свободы им мало,
И денег им мало,
И мало продажных девиц.
Взывают они к трудовому народу,
Всегда презиравшие труд,
Едят нашу кашу и пьют нашу воду,
А песни не наши поют.
Откройте же им ворота и границы,
Оформите визы скорей.
Не может из них все равно
Получиться
Радетелей и сыновей.

Поймем их заботу,
Поймем их измену,
Икоркой в дорогу снабдим.
За них отстоим сверхурочную смену
И вахту, крепясь, отстоим.
Зато будем помнить и знать,
Что отныне —
На все по-бесовски горазд —
Никто у младенца кусок не отнимет,
И матерь свою не предаст.

* * *

Подвергай все сомнению.
К. Маркс

Куда опять носило нас —
Отца и мать, и дочь, и сына?
То Украина, то Кавказ,
То Крым, то снова Украина.
Едва ли только интерес
К досель неведомым пределам.
Скорее в нас вселился бес
И правит кровью угорелой..
Он словно ходит по пятам,
Внедряет ересь и волненье,
Всегда выныривая там,
Где ставят святость под сомненье
А усомнились мы во всем,
Как в бытность — основоположник.
И вознесем, и разнесем,
Все на издержки отнесем —
Бог не указ и не помощник.
Но что-то муторно уже,
Когда без проблеску и меры
Одни сомнения в душе
И никакой, к несчастью, веры.

* * *

Набродился по белому свету,
По широкой и гулкой земле,
Шумно радуясь красному лету,
Низко кланяясь снежной зиме.
Поднимался на синие горы,
Опускался на темное дно
И, пустые презрев разговоры,
Навсегда я усвоил одно:
Только в нашей великой державе,
Все познавшей — и милость,
и плеть, —
В недоверье, позоре иль славе
Суждено мне и плакать, и петь.
Лишь бы в этой освоенной тверди
Сил хватило до крайнего дня
У меня, —
Чтоб служить ей до смерти,
У нее, —
Чтобы верить в меня.
Мне, быть может,
осталось недолго
Обивать по дорогам росу.
Но свое понимание долга
Я до крайней черты донесу.
А покамест — при всем уваженьи —
Не спешу к своему рубежу.
И, коль нету больших возражений,
Я по травке еще поброжу...

* * *

В дом возвернусь не впервые,
Гляну на ближний народ:
«Верно, — скажу, — золотые,
Хуже никто не живет».
Братьев повывели в люди,
Не сэкономив гроша.
Младшенький вынес на блюде
Все, что желает душа.
Едет отгащивать в паре
С другом.
Наверно, в пути.
Надо капустки попарить
Да огурцов припасти.
Слава те, вдоволь картошки,
Рыжик как будто пошел,
Этак, глядишь, понемножку
И насбираем на стол.
Можно рассказывать сказки
Или раскручивать суд.
Всяко мяска да колбаски
Свежей с собой привезут.
Знают, однако, — не дети,
И не забыли, авось,
Как оно — не по газете —
Старшему брату жилось.
Без сожаленья и страху,
С верой, что выручат впредь,
Снял он и вправду рубаху,
Чтобы меньшого согреть.
Годы проплыли, как баржи,
Мимо осин и берез,
Может, пора и о старшем
Младшим подумать всерьез.
Вдруг да внезапное горе
Или несчастье опять...
Все ж понимают: опоре
Надо
Надежно стоять!



В. П. МИШИН,
академик,
Г. М. САЛАХУТДИНОВ,
кандидат технических наук

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОСМОНАВТИКИ

В ходе предвыборной кампании и на Съезде народных депутатов высказывались суждения о необходимости сокращения или, наоборот, увеличения ассигнований на развитие космонавтики. Это обстоятельство фиксирует закономерную озабоченность советских людей недостаточной эффективностью нашей экономики. Почти семь миллиардов рублей, затрачиваемых ежегодно на космические программы, должны служить достаточным внутренним стимулом для серьезных усилий по поиску оптимальных путей освоения космоса. Любая неточность в ориентации процесса развития космонавтики может привести к огромным потерям, несоизмеримым по своей величине с последствиями катастрофы даже столь дорогостоящего технического объекта, как «Челенджер».

В космонавтике безусловно приносят прибыль спутники народнохозяйственного назначения (связные, метеорологические и пр.). Заботы Советского правительства о всеобщем и полном разоружении рано или поздно сделают ненужными многие типы необходимых пока аппаратов военного назначения. Нецелесообразно сворачивать и чисто научные программы, поскольку возможные и труднопредсказуемые сейчас открытия могут иметь серьезные последствия для человеческой цивилизации.

Разногласия, видимо, касаются пилотируемой космонавтики, и поэтому следует в первую очередь осмыслить особенности ее развития, с тем, чтобы извлечь правильные уроки из прошлого и на их основе наметить ее шаги в будущее.

Ориентация на человека, на всестороннее удовлетворение его материальных и духовных потребностей является ядром марксистского учения, ставшего поэтому притягательной силой для миллионов людей на нашей планете. Именно эта ориентация и нарушалась у нас в стране в прошлые годы, когда человек выступал не целью, а лишь средством научно-технического прогресса, приносился в «жертву» ему. Сказанное в известной степени может быть отнесено и к космонавтике.

Начальный этап ее развития получил политическую окраску — правительства СССР и США стали рассматривать космос как арену соревнования двух различных социально-экономических систем. С методологической точки зрения такой подход был принципиально неверен, поскольку лидирующее положение одной страны даже в такой наукоемкой области, как космонавтика, не может служить убедительным свидетельством преимуществ соответствующей социальной системы.

В сложившихся в то время условиях темпы развития космонавтики были форсированы до предела, но, к сожалению, за счет неоправданных потерь денежных средств и дополнительного увеличения степени риска для космонавтов. Космическая гонка, вызванная ложными политическими причинами, деформировала логику работ по созданию технических объектов, нашла свое отражение даже на их конструкции. Ярким примером этого может служить положение дел с разработкой первых спутников в США. Не имея времени на создание ракет-носителей необходимой грузоподъемности, американские специалисты пытались запустить космические аппараты с помощью тяжелых баллистических ракет. Однако если у нас в стране последние создавались раньше и были рассчитаны на доставку атомной бомбы на межконтинентальные расстояния, то в США они разрабатывались под существенно более легкую водородную бомбу. Мощность американских ракет не позволяла выбирать более надежную конструкцию космических аппаратов, резервировать отдельные их системы. Чтобы компенсировать этот недостаток, специалисты принимали чрезвычайные меры при отработке спутников на Земле. Кроме традиционных технологических макетов, предназначенных для этих целей, они подвергали испытаниям точную полномасштабную копию спутника. Это требовало, разумеется, больших расходов. Разработка, производство и запуск спутника на орбиту стоили 0,65 млн. долларов в расчете на один килограмм его массы — цифра просто фантастическая. Однако она увеличивалась многократно в результате попыток запускать спутники неотработанными ракетами, на летные испытания которых космическая гонка также не оставляла времени.

В результате такого подхода, например, из девяти попыток запуска в сторону Луны аппаратов «Пионер», предпринятых в 1958—1960 гг. семь закончились выходом из строя ракет-носителей, а в остальных двух случаях задачи полета не были выполнены из-за отказа бортовой аппаратуры. Гибли неотработанные ракеты, а вместе с ними и дорогостоящие спутники. Летели на ветер миллиарды долларов из карманов налогоплательщиков, даже не подозревавших, что платят ничем не оправданную дань политическим амбициям своего правительства.

У нас в стране в этом аспекте дело обстояло несколько лучше, поскольку ракета-носитель «Восток» имела достаточную грузоподъемность. Последствия космической гонки у нас проявились более серьезно в области пилотируемых полетов. Корабль «Восток», например, не имел резервной тормозной двигательной установки. При выходе из строя основного двигателя предусматривался спуск с орбиты через десять суток за счет аэродинамического торможения, но при этом посадка произошла бы не в расчетном районе и космонавт мог погибнуть. На корабле «Восход» не было катапультируемых кресел, и на протяжении двадцати секунд полета космонавты не имели никаких средств спасения. Случись что-либо непредвиденное в эти секунды, и гибель экипажа была бы неизбежной. «Восход» был специально сделан для того, чтобы обеспечить очередной приоритет нашей космонавтике — выход человека в открытый космос.

Ради престижа были затрачены немалые средства, а экипажи «Восхода» подвергались дополнительному риску. Жизнь человека уникальна, бесценна, она дороже всех абстрактных технологических приоритетов, вместе взятых. Жить вообще опасно, но повышенная степень риска оправдана лишь при решении альтернативы: риск или застой. Рискуют моряки, шахтеры, летчики, представители ряда других профессий, но без их риска прогресс невозможен.

Совсем другое дело, когда люди подвергаются необоснованному риску из-за чьих-то амбиций, безответственности, когда не снижают его степень, там, где это можно сделать. Не будь «Восхода», был бы «Союз», позволявший решать аналогичные задачи более безопасным путем.

Выполнение технических программ за счет увеличения степени риска для космонавтов вполне сложившийся и утвердившийся подход, встречающийся вплоть до настоящего времени. Космический корабль «Аполлон-12» в ноябре 1969 года был запущен в грозовое облако, поскольку руководители НАСА не захотели откладывать старт, чтобы не работать в рождественские праздники... И вот результат: на 37-й секунде полета ионизированная струя газов, вытекавших из сопел двигателей, создала электрический «мост» между грозовым облаком и Землей, вызвав ряд неполадок на борту; на 52-й секунде вновь произошел электрический разряд — астронавты увидели в кабине яркую вспышку, после которой на пульте загорелось множество аварийных сигналов.

Астронавтам «Аполлона-12» повезло — они остались живыми и выполнили задачу полета. А вот для экипажа «Челенджера» управленческая ошибка стала роковой. Представителям НАСА было прекрасно известно, что твердотопливные ускорители корабля не удовлетворяют предъявляемым требованиям. Не приняли они во внимание и предупреждения специалистов фирмы «Тиокол» об уменьшении эластичности межсекционных уплотнителей из-за понижения температуры воздуха в ночь перед стартом. Подобного рода «глухота» объяснялась тем, что доработка ускорителей потребовала бы на девять месяцев отложить полеты, а НАСА хотело выполнить план запусков. В жертву плану были принесены человеческие жизни.

Игнорирование человеческого фактора имело в этих случаях форму откровенного преступления.

Американский писатель Норман Мейлер в одной из своих книг как-то выразил опасение, что вредное лунное излучение может сказаться на потенции астронавтов, участвующих в лунных экспедициях. Это была, по-видимому, шутка — вряд ли Луна столь опасна для одетых в скафандры людей. Но космос мог преподнести любые «сюрпризы». Влияние невесомости на организм человека фактически до сих пор до конца не изучено. Тем более следовало поосторожничать, выбирая длительность полета Г. С. Титова. Нужно ли было рисковать и после кратковременного полета Ю. А. Гагарина направить в космос Г. С. Титова сразу на сутки.

Уже на четвертом витке Г. С. Титов почувствовал головокружение, подташнивание — так проявилось неизвестное ранее воздействие невесомости на организм космонавта. А летать еще нужно было тринадцать витков. Чем это могло кончиться, никто не знал. Самочувствие Г. С. Титова ухудшалось, после принятия пищи у него появилась рвота. Хорошо, что все окончилось благополучно. А если бы у космоса были иные особенности? Длительность полета Г. С. Титова выбиралась не на основе заботы о нем, а по престижным соображениям. Сутки — это впечатляет, сутки недостижимы для американцев, значит — даешь сутки!

Запуск на орбиту В. В. Терешковой стал не результатом серьезных достиже

ний в области космической медицины, которая в то время была в полном неведении относительно особенностей влияния космоса на более сложный по сравнению с мужским женский организм, не высоким уровнем космической техники, позволяющим обеспечить космонавту если уж и не комфортабельные, то по крайней мере терпимые, безопасные условия. Причина полета В. В. Терешковой была продиктована политическими соображениями. Н. С. Хрущев в одном из своих выступлений сказал, что этот полет свидетельствует о полном равноправии с мужчинами советских женщин. Вот именно для демонстрации этого равноправия В. В. Терешкова и была поставлена на грань возможного — космическое путешествие оказалось для нее трудным во всех отношениях испытанием.

Разве женщины когда-либо добивались равенства с мужчинами в выполнении самой тяжелой, грязной или даже, как в данном случае, смертельно опасной работы. До чего же деформировано у нас положение женщины в обществе, если мы, мужчины, дали ей такое «равноправие», если мы даже гордимся этим, не понимая, что предназначение женщины совсем в другом. Мужчина всегда гибнет один, женщина — вместе с другими жизнями, которые она не успевает подарить человечеству.

Престижные соображения превратили в этих случаях человека из целей науки и политики в их средство.

Пренебрежение здоровьем космонавтов ради научных и прочих соображений ярко проявилось и при полетах на американской станции «Скайлэб». Первый экипаж пробыл на ней 28 суток. Через две недели полета оказалось, что у астронавтов ухудшилась работа сердечно-сосудистой системы — при физических нагрузках резко учащался пульс и падало кровяное давление. Особые неприятности начались после возвращения на Землю. Астронавты испытывали головокружение, приступы тошноты, переходившие в рвоту. Явление было не известно врачам, они растерялись и, не зная его причины, пытались помочь астронавтам, надевая и снимая с них противоперегрузочные костюмы. Это было бесполезно. Не понимая существа происходящих в организме астронавтов процессов, руководители программы тем не менее приняли решение запустить на «Скайлэб» второй экипаж сразу на 56 суток полета. Что ожидало людей на Земле после полета, никого не интересовало. А ведь они могли погибнуть, если бы космос имел какие-либо иные особенности.

Политические соображения стали определяющими для появления программы пилотируемых полетов на Луну. Все остальные факторы, которые принято обычно учитывать при выборе оптимального пути развития, остались при этом в стороне. С научной точки зрения такие полеты не могли принести информацию, которую нельзя было бы получить с помощью более дешевых автоматов. Кроме того, последние имели то преимущество, что их можно было направлять в труднодоступные районы Луны, где посадка пилотируемого корабля затруднена или попросту невозможна.

С методологической точки зрения полеты на Луну были неоправданны еще и потому, что средства на их осуществление перераспределялись из тех областей, где они могли повысить качество жизни людей, в область, где научно-технический прогресс был самоцелью. Вновь человек выступает здесь не как цель, а лишь как средство осуществления научно-технической программы.

Правда, по американским данным 24 млрд. долларов, затраченных на лунные экспедиции, к настоящему времени окупились на 300 процентов за счет внедрения в другие отрасли промышленности технологий, разработанных в ходе реализации программы «Аполлон». Это обстоятельство в последнее время используется в качестве своего рода козырной карты сторонниками не ограниченных экономической эффективностью космических программ. Логика их рассуждений понятна — если полет на Луну принес прибыль, то что же тут говорить о полетах на Марс — там она будет еще более значительной. А раз так, то — вперед, на Марс!

Однако ни одна экономическая цифра не может считаться состоятельной без раскрытия методики ее получения. В США под эгидой НАСА работает 70 процентов специалистов по радиоэлектронике. Их успехи заносятся на счет космонавтики даже в том случае, когда соответствующие изобретения и открытия не связаны с ее спецификой. Достижения НАСА только в области интегральных схем дали треть всей прибыли от внедрения аполлоновских технологий в другие отрасли промышленности. В Японии, скажем, эти специалисты сосредоточены на обычных фирмах и их аналогичные достижения никто не относит к успехам в космической деятельности.

«Космическая» технология — специфична и требует для ее адаптации в другие отрасли промышленности дополнительных ассигнований. Наконец, и это главное, в общем объеме ассигнований на космические программы доля средств, затрачиваемых на изобретения, которые могут быть переданы другим отраслям промышленности, ничтожно мала. Эти изобретения со временем, конечно, приносят прибыль. Но если бы все средства, затраченные на те же полеты на Луну, были направлены прямо на решение научных, экономических, технических и социальных проблем, накопившихся к тому времени, то был бы получен несравненно более существенный эффект. В этом смысле программы полета на Луну или Марс всегда убыточны. Другое дело — развитие спутников народнохозяйственного назначения. Они приносят прибыль как от их использования, так и от передачи космических технологий в другие отрасли.

При решении вопроса о целесообразности пилотируемого полета на Луну в нашей стране были иные условия, чем в США. Лидирующее положение советской космонавтики, многочисленные приоритеты, завоеванные нашими специалистами, позволяли даже в рамках старого мышления без особых политических потерь отказаться от «лунной» гонки и направить развитие космонавтики на решение народнохозяйственных и научных задач, на повышение уровня и качества жизни советских людей.

Н. С. Хрущев, как и весь советский народ, очень гордился успехами нашей страны в освоении космоса. Эта гордость была оправданной. Запуск первого спутника, первого человека продемонстрировали всему миру, что наша страна возродилась из пепла второй мировой войны и выходит на лидирующие позиции в мире. Несмотря на то, что Н. С. Хрущев, как и ранее американский президент Эйзенхауэр, вольно или невольно внес большую лепту в придание соревнованию в космосе политической окраски, он тем не менее не хотел ввязывать страну в «лунную» гонку. В октябре 1963 года, отвечая на вопрос колумбийского журналиста Л. П. Варгаса, он, в частности, сказал: «В настоящее время мы не планируем полетов космонавтов на Луну. Советские ученые работают над этой проблемой. Изучают ее именно как научную проблему, ведут необходимые исследования... Мы не хотим соревноваться в посылке людей на Луну без тщательной подготовки. Ясно, что от такого соревнования не было бы пользы, а, наоборот, был бы вред, так как это могло бы привести к гибели людей».

Эти его слова не расходились с реальными фактами. К моменту, когда они были сказаны, в нашей стране практически ничего не делалось для подготовки «лунных» экспедиций.

В мае 1960 года было принято решение о разработке в ОКБ С. П. Королева двух крупных ракет-носителей: Н-I, предназначенной для вывода на околоземную орбиту 40—50 тонн полезной нагрузки и Н-11 с грузоподъемностью 60—80 тонн. Первая из них должна была быть готова в 1963 году, а вторую предполагалось разработать в период 1963—1967 гг.

Однако в 1961 году было принято решение об осуществлении пилотируемого облета Луны. Соответствующие работы были поручены коллективу, руководимому В. Н. Челомеем. Создание Н-I при этом было перенесено на 1965 год, а работы по Н-II вообще ограничивались лишь выпуском эскизного проекта.

В апреле 1962 года план вновь был пересмотрен. Работы и по Н-I были также ограничены лишь эскизным проектом. В июле 1962 года Экспертная комиссия провела экспертизу эскизного проекта Н-I и дала заключение о необходимости создания ракеты-носителя с массой полезной нагрузки 75 тонн. В сентябре того же года было принято решение о разработке этой ракеты в 1965 году и строительстве для нее стартовой позиции. Заметим, что о «лунной» программе здесь речь не велась — для ее подготовки мощность этой ракеты при однопусковой схеме полета (то есть без стыковок на орбите) была недостаточной.

Ситуация изменилась только в июне 1964 года, когда была поставлена задача о высадке человека на Луну. К августу специалисты нашли способ увеличить грузоподъемность Н-I до 95 тонн. Но время уже было упущено, в США работы полным ходом велись с мая 1961 года. Правда, в соответствующем решении не ставилась задача обогнать американцев в полете на Луну. Но тогда каков смысл был бы полета вообще?

Дальнейшие события развивались таким образом. В октябре 1964 года Н. С. Хрущева заменил на посту руководителя государства Л. И. Брежнев. В сентябре 1966 года Экспертная комиссия под руководством академика М. В. Келдыша одобрила эскизный проект лунного корабля Л-3 и утвердила план-график его разработки и изготовления.

В феврале 1967 года вышло постановление правительства о создании техники для лунных экспедиций, ставшее фактически началом создания лунного комплекса Н-I — Л-3. В постановлении указывалось, что уже в третьем квартале того же 1967 года должны начаться летные испытания Н-I, а срок «лунной» экспедиции был определен третьим кварталом 1968 года. Но эти сроки были явно нереальными. В ноябре 1967 года они были пересмотрены. Летные испытания Н-1 были назначены на третий квартал 1968 года, а экспедиция на Луну должна была состояться, как отмечалось в постановлении, в сроки... обеспечивающие приоритет (?!).

Но ведь американцы в октябре 1968 года уже приступили к испытательным полетам «Аполлонов» с экипажем на борту на околоземной орбите при помощи ракеты «Сатурн-1Б». Отставание советских специалистов было очевидным. Зачем же нужно было выбрасывать на ветер миллиарды народных денег?

В соревновании с США нельзя было участвовать вполсилы. В нем можно было либо участвовать, либо нет. Наша «лунная» программа как раз и стала ярким свидетельством нарушения этого простого и очевидного принципа.

Непосвященные наивно полагают, что космонавтика некая «тепличная» область, где все запросы специалистов выполняются моментально. Конечно, в космонавтику идет все самое лучшее. Но «лунная» программа обеспечивалась недостаточно. Несмотря на большую потерю времени, на сжатые до нереальности сроки, смежники срывали сроки поставок комплектующих изделий. Руководителей было много, ответственность нес фактически лишь Главный конструктор, не имевший никакой реальной власти над смежными предприятиями, финансировавшимися Минфином СССР напрямую. Без экономических рычагов все вопросы решались лишь на основе личных связей, симпатий и пр. Кстати, при-

мерно так же обстоит дело с финансированием и в настоящее время.

Тем не менее в столь сложных условиях наши специалисты сделали, казалось, невозможное. Уже в феврале 1969 года состоялся первый испытательный пуск ракеты Н-I, закончившийся, правда, неудачей. Затем до 1974 года было сделано еще три попытки, при последней из которых ракета летела 107 секунд до аварии. Еще несколько пусков, и она была бы полностью отработана. Была готова вся техника, предназначавшаяся для второй нашей «лунной» программы, предусматривавшей пилотируемый облет Луны, но такой эксперимент потерял смысл в связи с тем, что был раньше осуществлен американцами. Вероятно, нам, раз уж техника была создана, следовало повторить этот успех наших соперников, но в то время все виделось по-другому.

Если в начале 60-х годов неоптимальность развития космонавтики, обусловленная политическими соображениями, приводила в конечном итоге к повышению степени риска для космонавтов, то с началом «лунной» гонки положение дел еще более усугубилось. «Лунные» программы СССР и США перевели развитие космонавтики на неоптимальный путь не только с точки зрения ориентации на человеческий фактор, но и в аспекте внутренней логики этого развития. Осуществленные по принципу «прилетели-улетели», полеты на Луну не могли в тот период получить своего логического продолжения. Эта неоптимальность сопрягалась теперь с большими материальными потерями, усугублявшимися в нашей стране чрезмерной секретностью, служившей серьезным препятствием на пути «космических» технологий к повышению уровня и качества жизни советских людей.

Секретность, до сих пор окружавшая нашу «лунную» программу, была, вероятно, продиктована стремлением определенных кругов скрыть этот многомиллиардный вклад застойных лет в развал нашей экономики.

Отсутствие для пилотируемого полета на Луну утилитарных причин еще не означает, что его вообще человечеству не следовало осуществлять. Общество так устроено, что ему необходимо получать время от времени свидетельства своей власти над природой. Эта его особенность сложилась в те далекие времена, когда человек был «игрушкой» в руках сил природы и от его победы над ней зависел сам факт его существования. Времена изменились — у науки и техники есть нерешенные, но нет нерешаемых проблем, а психология осталась прежней. Если раньше человечество стремилось развивать технику «изо всех сил», то теперь, с началом НТР, оно вынуждено сдерживать некоторые направления этого развития. Примеры здесь уже не единичны. Это и экологически грязные производства, и ракеты на фторе, разрушающем озонный слой Земли, и переброска северных рек в южные районы страны. Имеются объективные причины и для сдерживания неограниченной эскалации освоения космоса.

Уровень развития нашей цивилизации был и остается сравнительно невысоким, у общества пока масса общечеловеческих проблем: экология, голод, детская смертность, инфекционные заболевания. Именно их решение должно иметь приоритетный характер. Сколько было бы спасено от голодной смерти детей в развивающихся странах на те средства, какие были затрачены на престижные «лунные» программы. Только после решения этих проблем можно было бы задуматься и о способах самоутверждения человечества, о том, какую очередную «галочку» следует ему оставить своим потомкам — слетать им на Луну и (или) на Марс и пр.

Подобного рода полеты относятся к разряду глобальных проблем, и в будущем они должны готовиться не одной страной, а всеми (или многими) странами мира на кооперативных началах. Почему ради аплодисментов одних расходы должны нести другие? Но для всеобъемлющего международного сотрудничества общество должно научиться жить по иным законам, чем те, которые существовали в 60—70-е годы и привели к политической гонке в космосе.

Все больше утверждающееся ныне в мире новое политическое мышление создает предпосылки для осуществления крупных международных программ. Уже сейчас можно попытаться организовать проведение подавляющего большинства фундаментальных исследований космоса всем человечеством на кооперативных началах. Это принципиальный момент. Со времени образования «Интеркосмоса» наша страна взяла на себя почти все расходы по международным космическим исследованиям. Вероятно, в то время это было оправдано, поскольку для наших зарубежных партнеров космонавтика была новой областью. Им необходимо было еще только создавать научные лаборатории, конструкторские коллективы по проектированию приборов для космических исследований, готовить соответствующие кадры. Сейчас эти проблемы решены, а принципы сотрудничества остались прежними. Они не могут устроить ни специалистов нашей страны, ни ученых социалистических стран, работающих по программе «Интеркосмос». Более эффективным здесь было бы сотрудничество на кооперативных началах. Совместные работы следует развивать и с европейским космическим агентством, с США, Канадой, Японией и другими странами. Вероятно, целесообразно создать всемирный центр космических исследований со своим фондом, в который вносили бы свои средства все страны, желающие участвовать в космических программах. В задачу этого центра должны входить разработка программ фундаментальных исследований космоса, распределение и оплата заказов на разработку технических объектов, обработка результатов исследований и их передача соответствующим странам. Такой подход исключит дублирование исследований, повысит их эффективность, снизит расходы тех стран, которые сейчас несут на себе основную их тяжесть.

Кстати, если мировое сообщество примет все-таки решение о коллективной подготовке экспедиции на Марс, то участие в соответствующих работах нашей страны может при определенных условиях оказаться даже экономически выгодным. Получая валюту от участников программы на создание «марсианской» ракеты, наша страна, оплачивая трудовые затраты рублями, получит прибыль.

В 1972 году у нас в стране были прекращены все работы по «лунной» программе. После шести успешных экспедиций потеряли интерес к Луне и в США. Казалось, что теперь обе страны начнут развивать пилотируемую космонавтику для нужд Земли. Однако в полной мере этого не произошло.

С политическими целями был осуществлен совместный советско-американский полет по программе «Союз—Аполлон». Если для американской стороны он не потребовал каких-либо заметных затрат, поскольку обеспечивался техникой, оставшейся от «лунных» экспедиций, то для СССР нужны были дополнительные ассигнования на создание сверхпланового «Союза». Полет убедительно показал, что можно было легко понять и без него. Сотрудничество в космосе не может служить само по себе средством укрепления доверия и дружбы между народами. Оно — следствие, а не причина разрядки и повышения взаимопонимания, которые достигаются системой политических, экономических и военных мер. После этого полета отношения между СССР и США ухудшились, совместные работы по космонавтике фактически сошли на нет. Затраты оказались напрасными.

В начале 80-х годов в США начал эксплуатироваться транспортный космический аппарат «Спэйс Шаттл». Он представляет собой многоразовый (за исключением водородного бака) корабль, способный самостоятельно выходить на орбиту, доставляя на нее примерно 30 тонн полезной нагрузки, и спускаться на Землю с грузом около 15 тонн. При разработке его концепции рассуждения американских специалистов были, казалось бы, логичными. В самом деле, стоимость вывода на орбиту одного килограмма полезной нагрузки с помощью традиционных одноразовых носителей составляла примерно полторы тысячи долларов. Если многоразовый корабль используется пять-десять раз, то эта цифра уменьшается до трехсот долларов за килограмм. Регламентные работы, иная стоимость «Шаттла» делали реальной цифру в пятьсот долларов за килограмм. Экономический эффект налицо. Кроме того, американцы считали, что он будет еще выше в результате возвращения «Шаттлом» вышедших из строя спутников на Землю, их ремонта и повторного запуска на орбиту.

Однако американцы просчитались. Наиболее эффективный с экономической точки зрения режим полета многоразового корабля имеет место тогда, когда он отправляется на орбиту полностью загруженным и так же возвращается на Землю. Любая недогрузка приводит к повышению удельной стоимости космических операций. Следовательно, конструктивные особенности корабля должны определяться сущностью соответствующей космической программы. Если она такова, что на орбиту и обратно нужно доставлять малые массы полезных грузов, то нынешний «Шаттл» оказывается избыточным, если большие, то он уже может быть недостаточным.

В США же этот корабль создавался не под программу, а как самоцель и сейчас используется в основном лишь для вывода на орбиту космических аппаратов. Но такую задачу целесообразно решать с помощью беспилотных транспортных средств. В противном случае относительная стоимость доставки грузов в космос возрастает за счет необходимости одновременного запуска экипажа и системы его жизнеобеспечения. Это обстоятельство, большой объем регламентных работ, а главное, систематическая недогрузка «Шаттлов» стали причиной резкого удорожания космических операций. Стоимость вывода на орбиту одного килограмма полезных нагрузок достигла 6—8 тысяч долларов. Корабли серии «Спэйс Шаттл» не могут возвращать на Землю и искусственные спутники, находящиеся на высоких орбитах. Для этого требуется создать другое, межорбитальное транспортное средство. Да и зачем ремонтировать их на Земле, когда это можно делать в космосе. «Шаттлу» нечего возвращать с орбит.

Появление у нас в стране системы «Энергия — Буран» ознаменовало собой фактически повторение всех американских ошибок только в еще более серьезной форме. Прежде всего отметим, что само собой создание этой системы безусловно свидетельствует о высоком научном и технологическом уровне нашей космической промышленности. Однако целевая ориентация этой системы представляется весьма сомнительной. «Энергия» и «Буран» создавались не под программу, а по престижным соображениям. Их появление было продиктовано не требованием экономической эффективности, а лишь стремлением догнать США, желанием продемонстрировать высокий уровень нашей технологии. Если американский «Шаттл», как уже отмечалось, способен самостоятельно выводить в космос полезные грузы хотя и с низкой экономической эффективностью, то наш «Буран» не только не может этого делать, но и даже его самого необходимо выводить на орбиту с помощью мощной ракеты «Энергия». Парадокс: для запуска многоразового «Бурана» требуется сжечь одноразовую «Энергию». Корабль «Буран» служит лишь для спуска грузов с орбиты, а значит, его возможности уже, чем у «Шаттла», а стоимость операций за

один полет будет большей. «Буран» создан для того спектра космических задач, который пока почти не существует, что и вызывает здесь «простои» «Шаттла».

Крайне расточительным было решение о прекращении доводки ракеты Н-I и создания взамен ракеты такого же класса «Энергия».

На начальном этапе развития космонавтики деятельность человека в космосе определялась возможностями создания соответствующей техники. Отсюда при разработке космических программ ведущим звеном оказывалась именно техника. В настоящее время полученный опыт позволяет проектировать объекты с заранее заданными характеристиками. Поэтому появляется возможность изменить подход к формированию космических систем, выдвинув на первое место вопросы научной и экономической эффективности при решении требуемых задач и подчинив им выбор спектра требуемых ракет-носителей, всевозможных космических транспортных средств, орбитальных станций, автоматических аппаратов, космических заводов и пр.

Однако именно эта закономерность осталась незамеченной как в нашей стране, так и в США. При разработке системы «Энергия — Буран» никто не задумался над вопросами ее экономической эффективности. Сейчас ряд ученых высказывает мысль о том, чтобы превратить «Буран» в космический завод по производству материалов. Конечно, что-то с ним делать надо, если уж он существует. Тем не менее использование в качестве завода транспортного средства неизбежно будет сопряжено с относительными экономическими потерями.

Наша страна должна не копировать развитие космонавтики США, а идти своим самобытным путем. При С. П. Королеве сложилась и окрепла советская школа космонавтики, выросли талантливые, высокоподготовленные технические специалисты, которым по плечу любые самые сложные задачи. Чего-чего, а дефицита оригинальных идей в нашей космонавтике никогда не было и нет. Наиболее слабое звено — это управление процессами развития космонавтики, где до сих пор властвует административно-командная система, стимулирующая принятие некомпетентных решений, отводящая космонавтике унизительную роль средства политических «игр»[1].

Систематическое увеличение длительности космических полетов, достигшей примерно года, обнажает и их цель — полет на Марс, продолжительность которого составляет два года. Подобного рода эксперименты также должны осуществляться на средства мирового сообщества. Если же говорить об интересах только нашей страны, то от дорогостоящих рекордов в космосе следует, видимо, воздержаться. Труд космонавтов тяжел и опасен — тем более необходимо задуматься над его эффективностью. Космонавт должен выполнять лишь ту работу, которую не могут выполнить автоматы. Присутствие человека на космических аппаратах требует дополнительных затрат для обеспечения его жизнедеятельности и безопасности. Объективно низок коэффициент полезного действия космонавтов, тратящих на самообслуживание до 80 процентов полетного времени. Поэтому многие традиционные научные исследования, связанные с наблюдениями из космоса, целесообразно передать преимущественно спутникам-автоматам. Их коэффициент полезного действия может достигать 100 процентов. Кроме того, можно легко повысить и эффективность автоматов за счет выбора более выгодных орбит. Практически все научные открытия сделаны не космонавтами, а автоматическими аппаратами. Один только американский «Вояджер-2» принес таких открытий больше, чем все пилотируемые полеты, вместе взятые.

Труд космонавта оказывается незаменимым при ремонтно-профилактических, строительно-монтажных, погрузочно-разгрузочных операциях, при отладке технологических процессов. Следует правильно выбирать области целесообразного использования человека в космической деятельности.

Вообще магистральное направление НТП — вытеснение автоматами человека за рамки непосредственного технологического процесса. Развитие же космонавтики идет, наоборот, от освоения космоса автоматами к все большему участию в этом процессе человека. Эта тенденция, закономерная для начального этапа космических исследований, к настоящему времени себя изживает и в целом является бесперспективной. Цель развития космической техники должна состоять в создании на орбитах комплексно-автоматизированного производства, оставляющего на долю космонавта лишь функцию обслуживания, ремонта и пр.

Большие резервы кроются в использовании космической информации нашим народным хозяйством. Добытая с большим трудом космонавтами, она реализуется лишь на несколько процентов, остальное оседает на полках.

Слабое место наших спутников — низкое качество радиоэлектронной аппаратуры. Продолжительность их работы на орбитах у нас ниже, чем у американцев, а отсюда и потери средств на большее количество запусков спутников в год (около ста — в СССР, примерно тридцать в США).

Первый транзистор появился в Америке в 1947 году, и с тех пор у нас в стране не прекращаются сетования о нашем отставании в радиоэлектронике. До каких же пор это будет продолжаться? Почему наши специалисты не могут не только сравняться с мировым уровнем в этой области, но оказываются не в состоянии просто высокопрофессионально копировать западные технологические достижения? Убытки из-за этого отставания несут фактически все отрасли нашей промышленности, в том числе и космонавтика.

Наши расходы на освоение космоса обычно сопоставляются с бюджетом НАСА, составляющим сейчас примерно 20 млрд. долларов. Цель такого сопоставления понятна: если у нас соответствующая цифра меньше, значит, ее нужно увеличить, чтобы не отставать от США. Однако сравнивать между собой экономические параметры — дело более трудное, чем это можно было бы себе представить. В Америке, скажем, оплата труда существенно выше, чем у нас. Рабочий аэрокосмической промышленности получает в месяц 2—3 тысячи долларов и даже больше. Если у нас часовой, охраняющий ракету, получает несколько рублей в месяц, то в США наемному солдату платят 400—600 долларов. Как же тут сравнивать цифры?

Нужно, вероятно, сравнивать дела. Здесь картина оказывается иной. Можно говорить о недостатках в развитии космонавтики, о неудовлетворительном управлении ею, но тот факт, что Советское правительство всегда уделяло ей большое внимание, не подлежит сомнению. Можно провести сравнительный анализ объема работ по космической технике в СССР и в США с середины 50-х годов и показать, что за исключением лишь начального этапа этот объем у нас в стране был не только не меньше, но и, как правило, больше. Чтобы не быть голословными, приведем такой факт. В 70-е годы, после окончания «лунной программы», в США проводились лишь работы по «Спэйс Шаттлу». За это время в космосе побывало у них всего четыре экспедиции: три на станции «Скайлэб», одна — на «Аполлоне», запущенном по совместной советско-американской программе. Вся техника, использовавшаяся при этом, представляла собой остатки от «лунной» программы.

У нас в стране в это же время разрабатывался не только «Буран», но и ракета «Энергия», станция «Мир» и ее модули, регулярно запускались экипажи на станции «Салют» (в 70-е годы было запущено всего шесть таких станций), а значит, «сжигались» ракеты-носители, использовались корабли «Союз» (18 штук) и «Прогресс» (11 штук). Если учесть еще, что в СССР намного больше запускается автоматических аппаратов, то становится ясно, что наша космонавтика ассигнованиями не обижена. Американцы говорят, что если бы они выполняли нашу программу, то она стоила бы 30 млрд. долларов.

А сейчас что следует делать — увеличивать ассигнования или уменьшать? Для ответа на этот вопрос необходимо сначала провести тщательный анализ положения дел в космонавтике и только на его основе сделать соответствующие выводы. В настоящей работе отчетливо выкристаллизовалась центральная, узловая проблема. Она состоит в решительном пересмотре методологических основ управления космонавтикой, в разрушении старого и утверждения нового, ориентированного на человека образа мышления. Следует превратить космонавтику из средства политических «игр» в средство повышения уровня и качества жизни советских людей.

Решение этой проблемы в рамках даже нынешних ассигнований позволит сэкономить миллиарды рублей, затрачивавшихся ранее на эффектные, но не эффективные космические программы, получать адекватную прибыль от индустриализации космоса.



---

[1] Пока данный материал готовился к печати, у нас в стране было принято очередное «престижное» решение — о запуске в космос журналиста за приоритетом, существо которого авторы, кстати, не понимают. Старая парадигма мышления не только не сдает своих позиций, но и не подвергается сомнению.

Ю. М. БОРОДАЙ

КОМУ БЫТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ЗЕМЛИ

1. КРЕСТЬЯНИН — НЕ БУРЖУА

Известно, не боги горшки обжигают. Расхожие квалификации, которые мы применяем как аксиомы, тоже даны нам не свыше. Их, как горшки, лепили в разное время разные люди — каждый на свой вкус, в соответствии с собственной ограниченностью, теоретической задавностью или корыстной практической надобностью. Оттого-то, наверное, даже и в самых строгих научных классификациях столько причудливых определений, курьезов и просто нелепостей.

Ну и ладно бы, если это просто игра ума, невинная забава интеллекта. Случается, однако, что курьезные квалификации, освященные авторитетом науки, начинают кровоточить, став основанием для приговора к смерти — лютой смерти миллионов ни в чем не повинных людей. Живой и до сих пор саднящий наши души пример такой квалификации — определение крестьянина как мелкого буржуя.

И откуда вдруг взялась такая идея — обозвать крестьянина горожанином?[1]

Расхожие представления возникают поразному. В отличие от «научного» определения крестьянина — искусственной логической конструкции, запущенной в оборот отцами классической политической экономии, — характеристику исконных европейских горожан как скопища больших и маленьких капиталистов никто не придумывал. Это отождествление возникло само собою, естественно, просто обстоятельства сложились так, что стало не нужно двух слов: мы говорим теперь — буржуа, подразумеваем — капиталист. Дело в том, что капиталистическое производство, то есть производство, основанное на применении наемного труда, начиналось с так называемой «чистки земель»[2] — массового ограбления крестьян, которые, лишившись земли, устремлялись огромными толпами в города с надеждой хоть за бесценок продать городским обитателям (ремесленникам и торговцам) свои рабочие руки. В условиях такой необычайно благоприятной конъюнктуры европейские буржуа действительно сплошь и рядом превращались в капиталистических предпринимателей, что и фиксировалось в языке: слова горожанин и капиталист становились синонимами. Толпы бывших крестьян, заселявших наспех сколоченные бараки на городских окраинах, горожанами не считались — это была рабочая сила для буржуа, поначалу совершенно бесправная.

А как же та часть деревенского населения, которая сохранила все-таки свою землю, хозяйственную самостоятельность и старинный традиционный уклад жизни? Таких, несмотря на все потрясения, оказалось не так уж и мало даже в Англии, то есть на родине нового способа производства, родине новой науки — политической экономии, априори рассматривающей всех участников общественного производства либо как капиталистов, либо как наемных рабочих.

Согласно исходным основоположениям классической политической экономии, никого, кроме буржуа и рабочих, не должно быть на свете. Но кто же тогда деревенские жители? Нет, не наши советские, превращенные все поголовно в поденщиков. Западные.

А они как были крестьянами, так и остались и остаются по сей день.

Начиная с Адама Смита все отцы классической политической экономии вплоть до Рикардо и Маркса предрекали крестьянству быстрое и окончательное исчезновение: некоторые избранники неизбежно должны превратиться в крупных сельских капиталистов, все остальные — в наемных поденщиков, батраков. Этот процесс представлялся логически неизбежным, ибо с точки зрения исходных понятий передовой науки традиционный крестьянин, веками кормивший мир, в условиях нового способа производства стал воплощенным противоречием в определении: «В качестве владельца средств производства он является капиталистом, в качестве работника — своим собственным наемным рабочим. Таким образом, как капиталист он уплачивает самому себе заработную плату и извлекает свою прибыль из своего капитала, т. е. эксплуатирует самого себя как наемного рабочего и в виде прибавочной стоимости платит себе самому ту дань, которую труд вынужден отдавать капиталу. Быть может, он в качестве земельного собственника уплачивает себе еще и некоторую третью часть (ренту)...»[3]

Так писал о крестьянине Маркс, почти дословно воспроизводя логические раскладки своих предшественников. Крестьянин никак не укладывался в сетку политикоэкономических категорий: с одной стороны — он труженик, а с другой — собственник; сам себя нанимает, сам себе платит, сам себя зверски эксплуатирует. Значит, он все-таки капиталист, если кого-то эксплуатирует, будучи собственником, — мелкий буржуй! Хотя какая же это эксплуатация, если он — «сам себя»?.. Нелогичная фигура у крестьянина, раздражающая: «чем больше я занимаюсь этой дрянью, тем больше убеждаюсь, что преобразование земледелия... должно стать альфой и омегой будущего переворота»[4].

Широкое применение в сельском хозяйстве индустриальных методов организации наемного труда, то есть организация крупных аграрных фабрик, — вот в чем суть преобразования земледелия, как его мыслили классики политической экономии. Крестьянин должен стать просто рабочим. В Англии к середине 19-го столетия все это стало казаться делом ближайшего будущего. Но почему-то организация крупной аграрной индустрии не приносила успеха предпринимателям, и Маркс вынужден был констатировать: «В странах с преобладанием парцеллярной собственности (крестьянский надел. — *Ю. Б.*) цена на хлеб стоит ниже, чем в странах с капиталистическим способом производства»[5]. Маркс пытался понять, в чем дело. В чем причина неспособности крупных аграрных фабрик конкурировать с мелким крестьянским хозяйством?

Согласно раскладкам политической экономии, цена сельскохозяйственной продукции должна включать в себя и заработную плату рабочего, и среднюю норму прибыли капиталиста (в нашем случае — сельхозпредприятия), и ренту землевладельца (в нашем случае — государства). Но крестьянин, будучи и рабочим, и буржуа, и земельным собственником в одном лице, почему-то в ущерб себе, как правило, продает свой товар дешевле «нормальной» стоимости — отказывается и от прибыля, и от ренты, подрывая тем самым науку и сбивая цены на рынке: «Абсолютной границей для него как для мелкого капиталиста является лишь заработная плата, которую он, за вычетом собственных издержек, уплачивает сам себе. Пока цена продукта покрывает заработную плату для него, он будет возделывать свою землю, — часто вплоть до тех пор, когда покрывается лишь физический минимум заработной платы»[6]. Ненормальный какой-то капиталист получается из крестьянина, чокнутый — не желает включать он в стоимость своего товара собственный свой прибавочный труд: «Часть прибавочного труда крестьян, работающих при самых неблагоприятных условиях, предоставляется обществу даром и не принимает участия в регулировании цен производства или в образовании стоимости вообще»[7]. Поэтому там, где сохраняется самостоятельное крестьянство, крупнокапиталистическое аграрное предприятие, основанное на наемном труде, оказывается заведомо неконкурентоспособным, несмотря на всю свою техническую оснащенность, — слишком низкие цены на рынке. Таким образом, сам себя крестьянин эксплуатирует гораздо более зверски, чем если за ту же самую плату его начинает эксплуатировать кто-то другой...

Значит ли это, что в сельском хозяйстве «мелкобуржуазное» производство эффективнее крупнокапиталистического? Или все эти вопросы от лукавого? Не проще ли, наконец, признать, что крестьянин вовсе никакой не буржуа. И не наемный работник. Смысл его жизнедеятельности принципиально не поддается описанию в терминах политической экономии капитализма. Что же касается производительности его труда, давайте посмотрим на факты.

На родине капитализма, в современной суперпромышленной Англии, вопреки первоначальной тенденции со временем утвердилась и по сей день процветает в качестве основной рентабельной формы аграрного производства вовсе не крупнокапиталистическая, но семейная ферма, практически не применяющая никакого наемного труда. И так обстоит дело практически во всех современных высокоразвитых странах.

Казалось бы, крупному капиталу давно пора вытеснить из аграрной сферы крестьянина, организующего самостоятельное семейное производство, и где именно это относительно мелкое производство и по сей день тем не менее остается ведущим и наиболее эффективным, хотя и основывается на совершенно различных формах землепользования: от классической частной собственности, бессрочной аренды до семейно-фермерского подряда в рамках крупного агробизнеса. Что касается последнего, то на основе индустриальных форм организации наемного труда крупные агрофирмы США строят, как правило, лишь предприятия переработки, сбыта и технического обслуживания; сам же процесс непосредственного производства аграрной биопродукции оказалось выгоднее предоставить в аренду относительно мелким семейным фер-

[1] Французское слово «буржуа», немецкое «бюргер» буквально — горожанин, от слова «бург» — город.

[2] «Техническое выражение «clearing of estates» (буквально — чистка поместий или чистка земель)... означает что не считались совершенно ни с оседлым населением, — его выгоняли, — ни с существующими деревнями — их сравнивали с землей, — ни с хозяйственными постройками — их отдавали на слом, — ни с данными видами сельского хозяйства—их меняли одним ударом...» (Ленин В. И., ПСС, т. 16, с. 251). А вот что пишет об ограблении крестьян в эпоху «первоначального накопления» английский историк А. Тойнби: «Человек, незнакомый с нашей историей за промежуточный период, мог бы подумать, что произошла какая-нибудь большая истребительная война...» (Тойнби А. Промышленный переворот в Англии. М., 1924, с. 44).

[3] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 48, с. 57.

[4] Там же, т. 27, с. 281.

[5] Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 25, ч. 2, с. 371.

[6] Там же, с. 370.

[7] Там же, с. 371.

мам, потерявшим право собственности на землю, но работающим без указки — самостоятельно. В этой феноменальной устойчивости традиционных форм крестьянско-семейного производства, доказывающих свою незаменимость даже внутри проглотивших их агропромышленных монополий, видимо, есть закономерность, отражающая специфику аграрного труда — специфику, проявляющую себя независимо от господствующего в данное время в данном обществе социально-экономического строя. Ведь, с другой стороны, даже в условиях самого жесткого помещичьего крепостничества, когда орган крестьянского самоуправления — община была превращена в фискальный аппарат и орган принуждения, даже и в этих условиях аграрный труд был эффективным лишь постольку, поскольку совершенно бесправный земледелец все же сохранял хозяйственную самостоятельность на своей закрепленной за ним земле. У него отнимали бо́льшую часть готовой продукции или, что хуже, даже часть его рабочего времени (барщина), но при этом ни общий план работы, ни тем более конкретная последовательность операций — многообразный и не поддающийся точной фиксации смысл его повседневной деятельности на своем наделе — не задавались извне. Будучи почти рабом во всех других отношениях, в своей крестьянской работе он все же сам решал — что, где, когда и как делать.

Идеологически шестидесятилетняя практика разрушения нашего сельскохозяйственного производства базировалась на квалификации крестьянства как мелкобуржуазного слоя, враждебного социализму. Пора эту догму сдать в архив. Важным шагом на этом пути стал мартовский Пленум ЦК КПСС, который отверг представление о враждебности социализму самостоятельного крестьянского хозяйства, основанного на реальном владении средствами своего производства и тяготеющего к добровольной кооперации — такой кооперации, которая не отменяла бы исходной самостоятельности сельского труженика-хозяина. «Перестройка экономических отношений на селе, — говорил в своем докладе на этом Пленуме М. С. Горбачев, — требует пересмотра — и в теории, и на практике — существующих взглядов на социалистическую собственность... По-новому нужно подойти к семейно-индивидуальной крестьянской трудовой деятельности. Как и кооперация, она должна быть восстановлена в своих правах. Речь идет о товаропроизводящих крестьянских хозяйствах, базирующихся на личном труде».

Что касается теории, то в связи с поставленным на Пленуме вопросом первоочередной становится задача четкого определения социалистических форм крестьянского владения средствами производства (прежде всего землей), определение сути крестьянско-фермерской формы хозяйствования вообще. Дело в том, что в отличие от наемного работника подлинный крестьянин должен быть владельцем как земли и техники, так и всего произведенного им продукта — всей той стоимости, которая остается в его распоряжении после погашения арендной платы или налога, определяемых твердыми нормами земельной ренты, взимаемой у нас государством. Другими словами, когда мы говорим о крестьянине, речь должна идти о работнике, доход которого не может быть ограничен каким-либо пределом, ибо это работник особого типа, *не нуждающийся в зарплате;* это труженик, социальный статус, благополучие и материальный достаток которого прямо и непосредственно зависят от количества и качества произведенного им продукта, то есть от результатов хозяйственной деятельности на своей земле, целиком осуществляемой на свой страх и риск.

2. НЕ НАДО ПУТАТЬ ОБЩИНУ С КОЛХОЗОМ

Анатолий Салуцкий, публицист-аграрник в статье «Умозрения и реальности» («Наш современник», 1988, № 6) выстроил частокол очень сердитых доводов против идеи советского фермерства — семейной аренды.

Как полагает писатель, американского фермера побуждает к каторжному труду на обособленных хуторах свойственный индивидуалу темный инстинкт частной собственности, страсть к ее накоплению. Но у русских людей таких инстинктов нет.

В семье, конечно, не без урода — с этим автор готов соглашаться, но замечает, однако, что последних меньше всего оказалось в северных наших краях, где строже хранились древние народные традиции, ставшие якобы здесь еще в начале XX века главным препятствием осуществлению злокозненных столыпинских реформ, нацеленных на «насильственное» превращение русского мужика в стяжателя-хуторянина. В подкрепление последнего тезиса приводятся сравнительные статистические изыскания, в центре которых весьма выразительный факт: в Архангельской губернии число крестьян, воспользовавшихся столыпинскими реформами, оказалось совершенно ничтожным. Устояли в начале века от бесовских соблазнов фермерства архангельские мужики... Факт, способный произвести сильное впечатление на несведущего читателя. На того, кто не знает, что, в отличие от других, архангельские мужики никогда не были крепостными, а потому и не знали ни кабальной круговой поруки, ни уравнительных переделов земли, от которых освобождало крестьян столыпинское законодательство. «Это законодательство, — писал Ленин, — несомненно, прогрессивно в научно-экономическом смысле» (Ленин В. И., ПСС, т. 16, с. 219).

А что же архангельские крестьяне? Были, значит, против прогресса?

Нет, не против. Дело в том, что с боем вырванные у правительства революцией антикрепостнические столыпинские законы были писаны вовсе не для вольных архангельских мужиков, владеющих к тому же достаточным количеством земли на правах ничем не ограниченной личной собственности. Зачем отрубаться отрубленному? Зачем выходить из общины, если здесь, на Севере, ее функция была принципиально иной, чем в крепостных центральных районах? Община вольных крестьян не посягала на регуляцию землевладения и хозяйственной деятельности своих членов, ее функция ограничивалась правилами мирского самоуправления: защита от внешних административных или иных давлений, взаимопомощь, совместное церковное строительство, благотворительность и т. д.

Анатолий Салуцкий прав в одном. Русский Север действительно в наибольшей степени сохранил «пережитки» древней традиции. Только вот вопрос: в чем она состояла — эта традиция?

Крупнейший знаток истории русской крестьянской общины Н. П. Павлов-Сильванский писал: «В общине легко различаются два элемента:

1) мир, мирское самоуправление;

2) общинное землевладение или землепользование с переделами земли... переделы появляются впервые в XV—XVI вв *под внешним, помещичьим и правительственным, или тягловым влиянием...* мир существовал у нас задолго до того, как возникло общинное землепользование»[8]. Что касается хронологии генезиса «второго элемента», то есть общинно-уравнительного землепользования, вот авторские уточнения: «Если на окраинах переделы земли распространяются впервые в XIX в., то в центральных областях они, несомненно, имеют широкое распространение в XVIII в. ...Все наши сведения о переделах в XV—XVIII вв. относятся к землям помещичьим, монастырским и дворцовым, или, вообще говоря, к землям владельческим»[9].

Различение двух элементов общины, с нашей точки зрения, чрезвычайно важно, поскольку в расхожей литературе очень прочна тенденция отождествлять общинные отношения с системой совместного землепользования и круговой поруки, то есть сводить всю их сущность ко вторичному, чисто фискальному по своей функции элементу, навязанному извне. Из этого расхожего представления и исходит А. Салуцкий, пытаясь «вывести» артельно-социалистические черты русской национальной натуры из «древних» мирских традиций. И так поступает отнюдь не только Салуцкий.

Василий Селюнин тоже характеризует общину как предшественницу колхоза. В своей еще более нашумевшей статье «Истоки» («Новый мир», 1988, № 5) — статье, прямо противоположной Салуцкому и по замыслу, и по всем оценкам, он исходит из того же расхожего штампа. Говоря о хроническом, если не вечном, застое русского земледелия (счастливыми исключениями, по Селюнину, были лишь два относительно небольших периода — столыпинские реформы и нэп), автор выносит вердикт: «...негативную роль играла знаменитая русская община... Коллективное землепользование подрезало крылья энергичным и предприимчивым, насаждало унылое и убогое равенство. Но это и являлось целью крепостника — он был заинтересован не в удачливых конкурентах, а в дармовой рабочей силе. Ответственность за барщину несла община в целом — кто увлекался личным хозяйством, за того приходилось работать соседям. Весьма удобной оказалась община и для государства: на нее возлагались налоги и повинности, а уж она раскладывала их на семьи. Подати за крестьянина, пропавшего безвестно, мир платил в складчину, так что мужички получше властей следили друг за другом» («НМ», 1988, № 5, с. 185).

Что можно сказать по поводу этой гневной филиппики? Вроде все правильно. Так оно и бывало на самом деле. Но вот вопрос: кто виноват? Сама община или порядки, установленные в подневольном крестьянском мире крепостниками? Если вина за «унылое и убогое равенство» лежит на самой «знаменитой русской общине», как полагает автор, то тогда чем отличается определение ее сущности у Селюнина и у Салуцкого? Только прямо противоположными знаками оценочных эмоций? Ну, конечно, главное и тут, и там — различные сиюминутные практические установки, определяющие и разный оценочный взгляд на историю. Главное — это разные ответы на вопрос: что же делать сегодня? Один автор категорически против фермерства, за колхоз, за истинно артельную «общинность», в которой якобы воплотился народный дух; другой — против колхоза, против всякой общинности, за радикальное изменение «старинных» российских обычаев и, если угодно, самого национального характера. Смысл Октябрьской революции, и особенно коллективизации, с этих различных точек зрения трактуется одинаково абсурдно — как восстановление глубинной национальной традиции. Это вытекает не только из построений Анатолия Салуцкого, так же мыслит и его оппонент Василий Селюнин. «После Октябрьской революции, — пишет последний, — взоры преобразователей, отвергших для России капиталистический путь развития, снова обращаются к общине. В годы «военного коммунизма», как мы помним, 50 миллионов гектаров конфисковано у кулаков. Эта земля не была поделена между крестьянами, а попала по преимуществу в общинное пользование. Так были сведены на нет результаты столыпинских реформ, по существу, восстановлены формы землепользования, присущие старой России... Позднее исследователи не раз подчеркивали преемственную связь между общиной и колхозами» («НМ», с. 186).

Говорят, хитрый бес внушает доверчивым людям то же самое, что и бог, только с некоторыми преувеличениями. К тому же в отличие от милосердного господа дьявол неумолим, бескомпромиссен в своих приговорах — поэтому он и заведует наказаниями в аду.

Вердикт Селюнина беспощаден: только фермеры могут кормить страну. Но поскольку русских колхозников не переделать быстро в американских фермеров, то и надеяться не на что. В самом деле, если верить во всем Селюнину, то тогда где ис-

[8] Павлов-Сильванский Н. П. Феодализм в России. М., 1988, с. 50. (Курсив мой. — Ю. Б.)

[9] Там же, с. 253.

кать хоть какое-нибудь основание для надежды быстро вырастить предприимчивых земледельцев на унылом сером граните тысячелетнего национального бытия? И какие меры намеревается предложить автор, чтобы наглухо перекрыть наконец исторические «истоки» зла — общинные народные традиции? Каким способом искоренять их — заклеймить, запретить, преследовать как уголовное преступление? Но возможно ли это — заставить целый народ возненавидеть свою историю? Всю историю, целиком! Впрочем, такие попытки предпринимались, по сей день главная тема наших школьных учебников — «темное царство»...

Положив в качестве аксиомы своих рассуждений расхожую схему русской общинной — рабской — традиции, Василий Селюнин мучается неразрешимой проблемой: как в короткие сроки переделать темных российских варваров в европейцев?

Схема «исконных» рабских традиций народа стала расхожей давно — с «просвещенных» послепетровских времен барского крепостничества; она была запущена в оборот первыми поколениями профессуры из либеральных крепостников, ощутивших себя англичанами. Им стало стыдно за свой народ. Стали искать первопричину его падения и нашли в «истоках» — нет, не петровского выдвиженца-помещика, а традиции общинного самоуправления, столь не похожие на принципы городской западной демократии. Столь же не нов и типично интеллигентский гамлетовский вопрос о возможностях переделки по природе своей негодного человеческого материала, — переделки посредством порки (крепостники), просвещения (либералы) и, наконец, «пролетарского принуждения во всех формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью» (Н. Бухарин). Как видим, со временем этот роковой вопрос только менял свою форму, становясь все более радикальным. Менялись его авторы и исполнители приговора.

Анатолий Салуцкий исходит из того же расхожего представления о народной природе, что и Селюнин. Но ему легче. Не возникает гамлетовских вопросов о переделке. Потому что вышеописанную «социалистическую природу» национального бытия последний считает благом. Она ему нравится. Воюя против идеи советского фермерства, Анатолий Салуцкий в пику Селюнину апеллирует к древней народной традиции, которая якобы состоит в уравнительном коллективизме и исконной артельности русской крестьянской общины, не приемлющей обособленных хуторов. Утверждая это, автор, правда, не слишком пристально вглядывался в древность. Иначе он разглядел бы тот факт, что вплоть до XVII века русские деревни, входившие в волость, то есть в вольную самоуправляющуюся общину, были по преимуществу *однодворными хуторами*, точно так же, как сейчас в Америке фермы [10]: «Значительная часть деревень, описанных в наших писцовых книгах XV—XVI вв., состояла из одного двора... деревни в 2, 3, 4 двора возникли в результате деления деревни, однодворного хозяйства на части (имеется в виду распад патриархальной большой семьи — выделение сыновей. — *Ю. Б.*). В писцовых книгах сохранились ясные следы единства деревни, состоящей из нескольких дворов... первоначальный тип деревни — отдельное пашенное хозяйство с отдельным двором» [11].

Что же касается «исконных» принципов землепользования, то Н. П. Павлов-Сильванский доказывает, что принципы эти были практически одинаковыми как в германской марке, ставшей фундаментом западноевропейской аграрной системы, так и в русской общине до ее закрепощения: «Члены волостной общины-марки, помимо права их на пользование общинными угодьями, владели землею на праве собственности. Они свободно распоряжались своими наследственными участками, как о том свидетельствуют многочисленные купчие и другие акты... У нас понятию «гуфа» или mansus (земельная собственность крестьянина в марке. — *Ю. Б.*) точно соответствуют термины «село земли» и «деревня». «Селом» называлось все хозяйство, двор с усадебной землей (дворище), пашни и пожни, и всякие угодья. В двинских купчих XV в. все принадлежности села обозначаются так: «Се купил Григорий Васильевич у Григория у Семеновича земли село... и двор, и дворище, и орамые земли, и пожни, и притеребы, и ловища того села, где ни есть, по старине, чем владел Григорий Семенович». В другой купчей упоминаются, кроме того, «лесы и бобровые ловищи и в поле участок...» [12].

Система принудительного артельного коллективизма на барщине, уравнительных переделов земли и кабальной круговой поруки стала прямым результатом закрепощения и вводилась помещиками исключительно в фискальных целях. Впрочем, положение крепостных в России, к счастью, никогда не было единообразным, не говоря уже о том, что далеко не все крестьянские общины стали крепостными — воль-

[10] Кстати, не следует забывать, что и в Америке фермеры разных вероисповеданий группировались в общины «братьев-единоверцев». Центром такой общины было общее место религиозных собраний, ну и, конечно, общехозяйственных и финансовых дел. Говоря о североамериканских общинах, которые по существу являются протестантскими сектами разного толка, Макс Вебер писал: «Исключение из секты... экономически влекло за собой потерю кредита и вело к социальному деклассированию... по своему назначению эти общества почти всегда являются кассами» (Вебер М. Протестантская этика. Части II и III. М., 1973, с. 272).

Русский мир, конечно, не был столь однозначно прагматичным. Но и в России центром волости становилась совместно построенная относительно обособленными хуторами-хозяйствами («деревнями») церковь, в часто даже и свой мирской монастырь (дом призрения больных и престарелых), где хранилась казна общины, проводились мирские сходки, обучались грамоте дети, совершались благотворительные дела и т. д.

[11] Павлов-Сильванский Н. П. Феодализм в России, с. 208

[12] Там же, с. 207—208.

ным «мир» оставался в Сибири, на русском Севере и в казачьих округах [13].

Анализируя ход преобразования общинных принципов землепользования во владельческих имениях, Павлов-Сильванский показывает, как подневольный труд и помещичий произвольный фискальный пресс меняют отношение крестьянина к земле: «Типическая владельческая община находится в иных условиях, чем община свободная. Свободная община подчинена *общим нормам закона, общим для всех налогам* (государственным. — *Ю. Б.*)... В типичной же владельческой общине... устанавливаются поборы по особой расценке, всегда приближаясь к maximum того, что может дать крестьянин с земли, а иногда и превосходя этот maximum. Известна циническая поговорка помещиков XVIII в.: «Мужика стриги как овцу, не давай ему обрасти» [14]. В результате владение землей — сама земля становится проклятьем для крестьянина, что фиксируется даже и в языке: «В мирских поговорках подать и земля объединяются в выражении «тяглой жеребий» и слова «тягло» и «земля» значат одно и то же. Одни крестьяне просят сбавить с них «десятину тяглова жеребья», другие просят «тягла сбавить десятину», третьи просят «земли сбавить две десятины» или «снять четверть десятины», и все говорят об одном и том же, для всех тягло и земля одно и то же» [15].

Система уравнительного землепользования с кабальной круговой порукой насильно удерживалась помещичьим правительством и после «освободительных» реформ 1861 года. Идеологически эта политика и тогда обосновывалась крепостниками необходимостью сохранить «исконно русские» мирские традиции, причем этот довод использовался как крайне правыми «аграриями» (помещиками), так и крайне левыми революционерами — народниками, которые усматривали в уравнительном коллективизме крепостной общины зародыш будущего социалистического общества.

Характерно, что «народные революционеры», шатающиеся между верноподданничеством и терроризмом, не удержались от курьезных попыток заигрывать с царской администрацией — с ее крайне правым крылом. Так, например, В. Воронцов и Н. Даниельсон (первый переводчик «Капитала») считали полезным разъяснять царскому правительству, что долг последнего, хотя бы в целях самосохранения, — всеми силами защищать общину от буржуазного растления. При этом главный теоретик легальных народников В. Воронцов, исходя из идеи Герцена о «привилегии отсталости», доказывал, что в новых исторических условиях, когда готовую высокоразвитую технологию можно получить с Запада, России, чтобы избежать ужасов аграрной революции, следует предпочесть некапиталистическую индустриализацию, основанную на технической модернизации коллективно-общинного сельскохозяйственного производства. А этот путь, как полагал Воронцов, возможен лишь посредством социалистического планирования, осуществляемого государством [16].

3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СМЫСЛ КОНСЕРВАЦИИ «ОБЩИННОГО СОЦИАЛИЗМА» ПОСЛЕ ОТМЕНЫ КРЕПОСТНОГО ПРАВА

В. И. Ленин уже в своих ранних работах совершенно трезво смотрел на уравнительный коллективизм крестьянской общины, воспетый такими авторитетами, как Чернышевский, Герцен, а потом и народники, которые обсуждали эту тему даже с самим Марксом! И ведь Маркс не отверг народнических восторгов (см. несколько вариантов письма Маркса к Вере Засулич). Больше того, в предисловии ко второму русскому изданию «Манифеста Коммунистической партии» Маркс и Энгельс писали: «Если русская революция послужит сигналом пролетарской революции на Западе, так что обе они дополнят друг друга, то *современная* русская общинная собственность может явиться исходным пунктом коммунистического развития» (Соч., т. 19, с. 305. Курсив мой. — *Ю. Б.*).

Но Ленин мыслил самостоятельно. В «социализме», навязанном миру крепостниками, он четко фиксировал главное — его кабально-фискальную функцию: «...непомерно высокое податное обложение крестьянской земли, не идущее ни в какое сравнение с обложением земель частного владения, отсутствие полной свободы мобилизации крестьянских земель, передвижения и переселения крестьянства» (ПСС, т. 3, с. 322). К этому тексту Ленин делает сноску: «В защите некоторых из этих учреждений народниками сказывается особенно наглядно реакционный характер их воззрений, постепенно сближающий их все более и более с аграриями» (там же).

Наиболее мрачным из общинных учреждений было упомянутое Лениным ограничение «передвижения» и «переселения». Дело в том, что без согласия мира мужику нельзя было получать паспорт. А мир, связанный круговой порукой, обязан был с

[13] В России крепостничество начинает постепенно складываться в конце XVI в., позже, чем в Западной и Центральной Европе; его наиболее жесткие помещичьи формы — XVIII—XIX вв. (до 1861 г.): удельный вес крепостных в массе крестьянского населения составлял: в 1719 г. — 74%, в 1747 г. — 53%, в 1766 г. — 52,9%, в 1796 г. — 57%, в 1812 г. — 58%, в 1835 г. — 51%, в 1859 г. — 46%. Для сравнения: в Чехии в 1654 г. доля крепостных в составе крестьянского населения превышала 99,6%; в Дании в 1750 г. было 55 тыс. хозяйств крепостных и 10 тыс. свободных крестьян. Наиболее жестоким крепостное право было в восточных землях Германии, где помещики обладали юридическим правом смертной казни своих крестьян и виселица стала бытовым явлением. Такие события, как публичный суд над Салтычихой, окончившей свои дни в крепостном каземате, были в то время на Западе совершенно немыслимыми. (См.: Илюшечкин В. П. Система и структура добуржуазной частнособственнической эксплуатации. Вып. 2. М., 1980, с. 260—264)

[14] Павлов-Сильванский Н. П. Феодализм в России, с. 258.

[15] Там же, с. 260.

[16] См.: Воронцов В. Судьба капитализма в России. Спб., 1882.

большими процентами выплачивать деньги помещикам за перешедшие в собственность мира общинные земли. Как отпустить плательщика? Почему другие должны брать на себя его тягло? Не давать паспорта! А это значит: как был мужик крепостным, так и остался. «Аграриям», то есть помещикам, задававшим тон в правительстве, таким способом удалось удержать систему кабального социализма в пределах бывших своих владений вплоть до 1906 года — с сохранением барщины! Ибо, не имея денег, крестьянский мир часто вынужден был платить «отработками». Ленин писал по этому поводу: «Мы заменяем теперь термин «барщина» термином «отработки», так как последнее выражение более соответствует пореформенным отношениям» (ПСС, т. 3. с. 186).

Суть пореформенных отношений заключалась в том, что подписанные в феврале 1861 года Александром II законодательные акты и «Манифест» исходили из «юридического» положения, будто право собственности на всю землю принадлежит только помещикам. Но и крестьян нельзя было совсем освободить без земли. Поэтому значительная часть земельной помещичьей собственности передавалась общине, и за эту землю, весьма высоко оцененную, бывшие крепостные в счет «выкупа» должны были, как и прежде, отбывать повинности — барщинные или оброчные, оставаясь на положении «временнообязанных». Впрочем, поскольку многие помещики не желали брать «выкуп» в форме барщинных отработок, в роли посредника выступило правительство; оно выдавало помещикам до 80 процентов выкупной суммы в форме пятипроцентных билетов золотого займа, и эту часть долга с соответствующими процентами крестьяне должны были выплачивать уже не своему бывшему барину, а непосредственно казне в течение 49 лет. Более того, чтобы, упаси бог, не обидеть помещиков, проживающих жизнь на заграничных курортах, не допустить обесценивания огромной массы выданных им ценных бумаг в результате возможной инфляции, — царское правительство, вопреки интересам отечественного промышленного капитала, взялось искусственно поддерживать курс рубля на зарубежных рынках.

Эта разорительная политика вызвала резкое недовольство русских промышленников. Например, профессор математики Ф. В. Чижов, сотрудничавший с крупными московскими капиталистами, таким образом описывает свою беседу на эту тему с Т. С. Морозовым: «Много говорили мы о теперешних банкротствах и о бедственном положении торговли. Морозов, безусловно, во всем винит Министерство финансов, выпустившее за границу 60 млн. руб. золота для поддержания курса. Курс повышен, и более чем на столько же процентов повысили для иностранцев цену наших сырых произведений... От этого они не пошли за границу, и столько же миллионов золота не пришло из-за границы...»[17]. Таково было мнение русского промышленного капитала. А вот что писал по этому поводу в своем письме к П. Л. Лаврову, от 21 октября 1876 года, К. Маркс: «Эта нелепая операция — искусственная поддержка курса за счет правительства — принадлежит к XVIII веку. В настоящее время к ней прибегают только алхимики русских финансов. Со времени смерти Николая эти периодически повторяющиеся бессмысленные манипуляции стоили России по крайней мере 120 миллионов рублей»[18] (Соч., т. 34, с. 170).

Однако такого рода «нелепые операции» царских алхимиков, достигшие особого размаха в 90-х годах, когда стараниями министра финансов С. Ю. Витте была введена в обращение русская золотая валюта, оказались отнюдь не «бессмысленными» для тесно связанной с «камарильей» группы местных и иностранных дельцов-финансистов, наживших огромные состояния на «освободительной» русской реформе.

Именно в первые десятилетия после реформы в России происходит бурный — взрывообразный — рост ростовщического финансового капитала, тесно связанного с помещичьими правительственными кругами, что могло иметь далеко идущие последствия для страны, встававшей на путь капиталистической индустриализации. Ведь сам по себе чисто денежный капитал не имеет непосредственного отношения ни к производству, ни к развитию производительных сил общества. Весьма значительный и даже чрезмерный рост денежного капитала («капитала, приносящего проценты». — *Маркс*) был характерен для многих докапиталистических обществ, что, однако, отнюдь не способствовало их производственному прогрессу. Напротив, там, где особенно широкое распространение получила система ростовщического кредита, все виды традиционного производства приходили в полнейший упадок, и общество хирело, как от чумы, ибо, как пишет в «Капитале» Маркс, «ростовщичество не изменяет способа производства, но присасывается к нему как паразит и доводит его до жалкого состояния. Оно высасывает его, истощает и приводит к тому, что воспроизводство совершается при все более скверных условиях. Отсюда народная ненависть к ростовщикам» (Соч., т. 25, ч. II, с. 145—146).

Конечно, в европейских странах эпохи аграрных революций ростовщический кредит, разоряя массу крестьян-собственников, способствовал образованию рынка дешевой рабочей силы — главного условия генезиса капитализма. Но при этом сам чисто денежный капитал никак не мог использовать эту освободившуюся рабочую силу, поскольку все дело заключалось не в том, чтобы иметь возможность купить ее, но в том, чтобы суметь ее организовать и рационально использовать, то есть наладить технически грамотный и высокорентабельный производственный процесс. Применительно к генезису капитализма Маркс подчеркивал, что лишь тогда, когда клиентом ростовщика-финансиста становится не крестьянин или крупный земельный собственник, неизбежно разоряющиеся, во «делец нового типа» — мастер-промышленник, умеющий выжать из наемной рабочей силы еще большую прибыль, чем процент, взимаемый финансистом за свой ссудный капитал, — только тогда начинает развиваться собственно капиталистическое промышленное производство, ведущее к бурному росту всех производительных сил.

В своем «Капитале» Маркс показывает, что ссудный и промышленный капиталы имеют принципиально разный генезис, разные функции и иногда даже олицетворяются разными этносоциальными группами[19]. При этом Маркс подчеркивает, что хотя в складывающейся системе капиталистического производства ссудный и промышленный капиталы (банкир и промышленник) начинают взаимно дополнять друг друга, их отношения далеко не безоблачны: эта жестокая борьба, которая в случае успешного хода индустриализации заканчивается *победой промышленного капитала над ссудным*, что, по Марксу, и означает торжество собственного капиталистического способа производства.

Такова тенденция развития «здорового», классического капитализма, действительно дающего простор бурному развитию производительных сил[20]. Но в России после «освободительной» реформы наметилась совсем иная тенденция.

До реформы банковское дело в России было в зачаточном состоянии, поэтому лица, нуждающиеся в срочном кредите, вынуждены были обращаться к разного рода темным дельцам, обладающим относительно крупными суммами свободных денег. Например, в западных губерниях роль ростовщиков по совместительству часто осуществляли виноторговцы-мищурисы (отсюда выражение — «обмишуриться»); после реформы финансово-кредитная роль виноторговли еще более возросла в связи с расширением этого чрезвычайно прибыльного промысла на базе резкого увеличения производства спирта в стране — особенно из картофеля. Как отмечал в «Развитии капитализма в России» В. И. Ленин, за первые два послереформенных десятилетия — «при общем увеличении количества перекуриваемых хлебных припасов вдвое, количество перекуриваемого картофеля возросло раз в 15» (ПСС, т. 3, с. 286). Это был один из важных каналов так называемого «первоначального накопления». Однако главным источником быстрого формирования крупного банковского капитала стала сама «освободительная» реформа, вызвавшая острейший спрос на ростовщический кредит у массы обремененных выкупными платежами «освобожденных» крестьян и их бывших господ, вставших на путь безудержного расточительства.

Именно в первые десятилетия после реформы складывались головокружительные карьеры наиболее известных российских банкиров («аферистов-предпринимателей», как называл их упоминаемый выше Ф. В. Чижов) — Полякова (описан Л. Н. Толстым в «Анне Карениной»), Алчевского, Рубинштейна, Бродского и т. д.[21].

В этом смысле весьма характерна скоропалительная карьера одного из крупнейших финансистов, члена «Священной дружины»[22] барона Гинцбурга. Еще в пятидесятых годах будущий барон был относительно мелким ростовщиком и виноторговцем. Подлинно «золотой жилой» для него стала спекуляция пятипроцентными билетами, массу которых Государственный банк выдал русским помещикам за «отпущение душ» своих крепостных. Жизнь на проценты с этих билетов казалась слишком уж скромной для очень широких барских натур — многие хотели весь капитал сразу. При посредничестве иностранных банков старый Гинцбург и его сын Гораций организовали в России скупку этих билетов по цене в среднем на 20 процентов ниже их номинала. За пределами России — в Ницце, Каннах, Монте-Карло и других подобных злачных местах, где толпы неунывающей русской аристократии с особым азартом приобщались к плодам европейской цивилизации, — эти билеты шли

---

[17] Цит. по кн.: Лаверычев В. Я. Крупная буржуазия в пореформенной России. М., 1974, с. 38—39.

[18] Прямой обмен в наших банках советских рублей на инвалюту предлагает сейчас популярный экономист Николай Шмелев (см. «Новый мир», 1987, № 6, с. 153). Конечно, времена переменились, и цели предлагаемой «операции» вроде совсем иные. Однако стоит все же задуматься: кому это на руку?

[19] Проблему непримиримой борьбы между разными группами капиталистов специально исследовал один из крупнейших теоретиков II Интернационала Отто Бауэр, особо подчеркивая «противоположность интересов между еврейским торговоростовщическим и христианским промышленным капиталами». См. его книгу «Национальный вопрос и социал-демократия» (Спб., 1909, с. 382).

[20] По логике Маркса, обратная тенденция в развитии взаимоотношений между промышленным и ссудным капиталами, которая в европейских странах и США возникает на поздней стадии эволюции в результате усиления роли банков, добивающихся картелирования производства и создания монополий, в рамках которых самостоятельные промышленники-предприниматели превращаются в пассивных держателей акций или служащих, — победа тенденции к установлению тотального господства международного финансового капитала над местно ограниченным и «анархичным» классическим промышленным капиталом обозначала бы конец прогресса. Эту сторону дела подробно осветил В. И. Ленин в своей книге «Империализм, как высшая стадия капитализма».

Напротив, крупнейший апологет финансового капитала в рядах европейской социал-демократии Рудольф Гильфердинг в свое время настойчиво подчеркивал, что нужно приветствовать периодические кризисы и способствовать вспышкам классовой борьбы, которые «работают на прогресс», поскольку они, разоряя промышленников, обогащают и усиливают банкиров, повышая спрос на кредит и непомерно удорожая его. С этой точки зрения социал-демократия должна служить ее инструментом, организуя, «когда надо», забастовки (см.: Гильфердинг Р. Финансовый капитал. Л.—М., 1959, с. 312).

[21] Подробно об этом см. исследование: Лаверычев В. Я. Крупная буржуазия в пореформенной России. М., 1974.

[22] «Священная дружина» была организована представителями высшей русской аристократии после убийства Александра II с официальной целью охраны царской семьи. В порядке редчайшего исключения в эту «дружину» принимались также наиболее богатые и уже титулованные представители «делового мира».

уже по цене на 30 и даже на 40 процентов ниже их золотого правительственного обеспечения. В результате уже к началу XX века дом Гинцбургов совместно с лондонскими финансистами контролировал не только ряд коммерческих банков в России, но и большую часть добычи русского золота. Сын Горация Альфред Гинцбург становится директором-распорядителем «Ленззолота», то есть практически неограниченным диктатором обширного района — владыкой жизни и смерти шести тысяч рабочих, заброшенных в глухие места, за сотни верст от ближайшего жилья. В 1912 году в интересах крупной международной биржевой игры «на понижение» этот «директор» посредством ряда бесчеловечных драконовских мер умышленно спровоцировал рабочих на выступление, что привело к известным кровавым событиям, потрясшим всю Россию.

Быстрое накопление денежных средств всякого рода финансовыми дельцами, обусловленное возникшим после реформы огромным спросом землевладельцев на ростовщический кредит, дает возможность новорожденным российским коммерческим банкам начать наступление и против отечественных промышленников. Финансисты устанавливают свой контроль над группами предприятий отчасти посредством проникновения в правления опекаемых ими фирм и, прежде всего, путем захвата наиболее прибыльных железнодорожных концессий. Например: «В каменноугольной промышленности юга России очень рано возникают попытки монополизировать сбыт угля, что тормозило его добычу. В начале 80-х годов известный делец С. Поляков, владелец Курско-Харьковско-Азовской железной дороги, являвшейся единственным тогда каналом доставки угля к потребителям, пытался (и некоторое время небезуспешно) диктовать цены на уголь, регулировать его сбыт и производство. Владельцы шахт вынуждены были продавать уголь подручным Полякова за половинную против существующей на рынках цену»[23]. Но главным источником зловещей тенденции к монополизму стала «освободительная» реформа, поскольку она основывалась на огромных выкупных платежах крестьян, остающихся прикрепленными к своим общинам и связанными круговой порукой. Все это обусловило взрывообразное развитие ссудно-кредитных операций разного рода и предопределяло господство именно финансового капитала в стране.

Особенно прибыльным для оборотистых финансистов вплоть до реформы Столыпина было ипотечное дело, связанное с выдачей ростовщических ссуд под заклад земли. После 1861 года в России повсеместно, как грибы-поганки, начинают расти ипотечные банки: Московский и Ярославско-Костромской земельные банки — владельцы Лазарь и Розалия Поляковы; Нижегородско-Самарский земельный банк — владельцы Гинцбурги; Харьковский земельный банк — Бродский; Виленский земельный банк — Блиох; Варшавское общество поземельного кредита — Кроненберг; Бессарабско-Таврический земельный банк — Рафаиловичи и т. д.

На фоне вышеназванных крупных ипотечных банков процветала и масса мелких сельских коммерсантов и ростовщиков. Опутывая крестьянскую общину все новыми и новыми кабальными обязательствами, все они, как и помещики, были кровно заинтересованы в сохранении «общинного социализма». Ведь кабальный аграрный коллективизм был для мужающих финансистов одновременно и важнейшим источником барыша, и посредством умелого применения барышей — главным орудием подчинения отечественной промышленности. В. И. Ленин уже в относительно ранних своих работах четко фиксировал смысл вышеописанного процесса; в своем первом фундаментальном труде «Развитие капитализма в России» он, вслед за Марксом, выводит такие общие формулы: «Самостоятельное развитие торгового капитала стоит в обратном отношении к степени развития капиталистического *производства*... чем сильнее развит торговый и ростовщический капитал, тем слабее развитие промышленного капитала» (ПСС, т. 3, с. 177).

4. МОЖНО ЛИ СОПОСТАВЛЯТЬ ПЕРЕСТРОЙКУ СО СТОЛЫПИНСКИМИ РЕФОРМАМИ?

Революция 1905 года вынудила правительство ликвидировать в сельском хозяйстве систему кабального коллективизма — снять с мужика непосильное бремя. В сентябре 1906 года Столыпин представил на утверждение проект указа «Об отмене некоторых ограничений в правах сельских обывателей и лиц других бывших податных сословий». Крестьянам разрешалось получать паспорта без согласия мира. Отменялись и ограничения в приеме крестьян на работу как частными предприятиями, так и государственными учреждениями; крестьянам разрешалось свободное избрание места жительства и профессии; земским начальникам запрещалось без постановления волостного суда штрафовать и арестовывать крестьян. Этот указ был утвержден Николаем II 5 октября 1906 года.

В ноябре был издан указ, разрешающий выход крестьян из общины с закреплением находящейся в фактическом их пользовании надельной земли в качестве частной собственности, для чего достаточно было подать заявление «обществу» через сельского старосту. А главное — *выкупные платежи отменялись с 1 января 1907 года.* За отделявшимися от общины предусматривалось закрепление той части находящейся в фактическом их пользовании земли, которая при новом переделе могла бы быть у них изъята[24]. При этом за отделившимися «хозяевами» сохранялось право пользования общинными сенокосами, лесом — равно как и непеределяемыми угодьями, как-то: мирской усадебной землей, выгонами, пастбищами. Поощрялось хуторское расселение крестьян. «Каждый домохозяин, — говорилось в указе, — имеет право во всякое время требовать, чтобы общество выделило ему взамен участков надельной земли собственный участок, по возможности к одному месту». Однако общинных земель не хватало. Чтобы ускорить образование класса независимых фермеров, призванных стать прочной опорой режима, был организован государственный Крестьянский банк, где проценты за ссуды, выдаваемые крестьянам для покупки земли, были значительно ниже, чем в коммерческих ипотечных банках, что вызвало резкое недовольство политических деятелей, тесно связанных с банковским капиталом. С особенно резкими протестами выступали кадеты, деятельность которых в значительной мере прямо финансировалась ипотечными банками.

Тем не менее Столыпин вынудил царя передать Крестьянскому банку часть свободных удельных земель, составлявших собственность царской семьи, для продажи их крестьянам (указ Николая II от 12 августа 1906 г.); с этой же целью свободные земли казны передавались землеустроительным комиссиям. Продажа казенных земель должна была производиться по цене ниже номинальной стоимости на 20 процентов. Но на деле эти земли продавались в соответствии с размером арендной платы в той или иной местности. Правительство запрещало землеустроительным комиссиям и Крестьянскому банку передачу казенной земли деревенским люмпенам, не имевшим инвентаря и рабочего скота. Поэтому покупать казенные земли на льготных условиях могли лишь относительно состоятельные крестьяне; масса уже полуоторвавшихся от деревни «наемных рабочих с наделом» (выражение Ленина), вынуждаемая к выделу из общины, продавала свои земли и, окончательно распрощавшись с мечтой когда-нибудь в будущем с помощью заработка на стороне все-таки наладить свое крестьянское хозяйство, шла в города пополнять ряды рабочего класса.

Это был мучительный процесс ломки насквозь прогнившего подневольного крестьянского «мира», в результате которого до предела обострялись все деревенские антагонизмы. На эти антагонизмы и напирали связанные с финансистами «либеральные» думские деятели, качающие дружно запугивать придворную камарилью тем, что «столыпинские затеи» вместо умиротворения «дикой» революционной борьбы масс могут привести к гражданской войне. Например, кадет С. Котляревский так оценивал реформы, наконец-то избавляющие Россию от наиболее вопиющих пережитков крепостничества: «В них чувствуются зловещие признаки невиданной гражданской войны». Ему вторил член партии демократических реформ проф. М. М. Ковалевский: «Хорошо, если эта затея обойдется без усиления той смуты, которая раздирает наше государственное тело и грозит нам в ближайшем будущем рядом неотвратимых бедствий...». И действительно, опасения либералов были не совсем беспочвенными, — кое-где в деревне аграрные преобразования, связанные с дележом освобожденной от всякого выкупа земли, вызвали взрыв бурных страстей — землеустроительные комиссии действовали под вооруженной охраной.

Чтобы компенсировать нехватку земли, не покушаясь на помещичье землевладение, и притушить накал деревенских страстей в центральных губерниях, правительство Столыпина организовало массовые переселения крестьян в Сибирь и отчасти в Среднюю Азию и на Кавказ: в 1906—1910 гг. переселилось более 2,5 млн. человек. В 1906-м Столыпин попытался было поставить вопрос о передаче крестьянам помещичьих имений, но это вызвало столь яростное сопротивление, что такого рода попытки уже никогда больше не возобновлялись.

Тем не менее Столыпин все-таки не избежал острейшего столкновения с помещиками, особую ярость которых вызвал законопроект «Об установлении главных начал устройства местного управления». Этот закон отменял сословно-дворянский принцип местной власти. Волость представляла собой по новому положению сплошной территориальный округ. В ее состав входили все земельные владения «без различия сословия и положения их владельцев». Распорядительный орган волости организовывался на выборных началах. Реформа местного самоуправления, нацеленная на восстановление в освобожденной деревне старого, исходного «первого элемента» общины», то есть мирских правил, повсеместно принятых на Руси до закрепощения крестьян, была призвана стать политическим оформлением аграрного законодательства.

Но Столыпин не сумел до конца провести свою программу, поскольку столкнулся с резким сопротивлением как крайне правых (помещики) и умеренно-либеральных (финансовый капитал), так и большинства левых, революционных партий. И у всех были свои совершенно разные, но достаточно веские реальные мотивы. «Что, если, — спрашивал, например, В. И. Ленин, — столыпинская политика продержится достаточно долго... Тогда добросовестные марксисты прямо и открыто выкинут вовсе всякую «аграрную программу...», ибо *после* «решения» аграрного вопроса в столыпинском духе ***никакой иной*** революции, способной изменить серьезно экономические условия жизни крестьянских масс, *быть не может*. Вот в каком соотношении стоит вопрос о соотношении буржуазной и социалистической революции в России» (ПСС, т. 17, с. 32).

Без поддержки крестьянства идея пролетарской революции в России становилась просто утопией. Вот почему Ленин так двойственно относился к Столыпину: он исходил из того, что стране в данный момент нужны не тихие, хотя и «несомненно прогрессивные» реформы сверху, но громкая крестьянская революция снизу. И тем не менее программа «тихой революции», как окрестил столыпинское законодательство известный публицист М. О. Меньшиков, хотя и далеко не в полной мере, была воплощена в жизнь: формально «освобожденным» крестьянам наконец-таки выдали

---

[23] Лаверычев В. Я. Крупная буржуазия в пореформенной России, с. 27.

[24] В некоторых общинах не производилось переделов земли уже более 24 лет.

вольные паспорта и разрешили выход на отруба. Для русского мужика, пережившего чуть ли не два столетия крепостной кабалы, это было началом новой эры. В этой столыпинской эре бунтарям-радикалам, казалось, нечего было больше делать в России: началась их повальная эмиграция в США, Швейцарию. Но убийство Столыпина и вовлечение полуреформированной страны в мировую бойню круто изменили ход событий...

В начале 30-х годов XX века крестьяне в России опять оказались без паспортов, связанные по рукам и ногам артельным коллективизмом нового типа. Писатель Анатолий Салуцкий, обличая Столыпина, умудрился в своей статье не вымолвить ни слова о страшной беде, случившейся через тринадцать лет после Октябрьской революции, — коллективизации. Похоже, по-настоящему его страшит вовсе не тот, а сегодняшний поворот — перестройка, в которой писатель усматривает прямую аналогию с «разрушительными» столыпинскими реформами. Тогда, при Столыпине, утверждает писатель, «...впервые в российской истории крестьянскую землю превратили в товар, выбросили на рынок. И немедленно разразилась страшная катастрофа... И опять возникает вопрос: не слишком ли это безответственно — при таком превратном понимании процессов, происходящих в деревне, предлагать возврат к прошлому?» («Наш современник», 1988, № 6, с. 146).

Сопоставление перестройки с якобы «катастрофическими» по результатам столыпинскими реформами — столбовой довод в антифермерском частоколе аргументов Салуцкого. И приходится согласиться, что основан этот довод на воистину «превратном понимании процессов».

Во-первых, столыпинские реформы были «несомненно прогрессивны» (Ленин) и никакой катастрофы не вызвали. Наоборот: именно в результате этих реформ, оздоровивших аграрное производство, создавших свободный рынок рабочей силы и затормозивших монополистическую экспансию финансового капитала, Россия прочно заняла первое место в мире по темпам экономического роста, и это место она сохраняла вплоть до первой мировой войны. Другое дело — оценка этих реформ *политическая:* и прогрессивная реформа экономики, и твердый курс на вовлечение народа в местное самоуправление в сочетании с военно-полевыми судами, нацеленными против экстремистов, — все это несомненно гасило в стране огонь революции, к чему и стремилась «столыпинская реакция». Впрочем, нашлись силы, которые сумели-таки крепко затормозить реформы еще до убийства Столыпина, и делали это не только левые силы, но и блок «ничего не забывших и ничему не научившихся» — царская камарилья в блоке с финансовыми дельцами, которые сами срубили сук, на котором сидели.

Во-вторых, относительно уже не первой попытки отождествления нынешней перестройки со столыпинскими реформами. Каким «возвратом к прошлому» пугает нас Анатолий Салуцкий? Возвратом к частной собственности на землю? К превращению земли в товар? Это было бы действительно по-столыпински... Но разве о таком возврате идет сейчас речь? Речь идет о другом — о хозяине, о советском фермерстве. А писатель трактует нам фермерство «без затей» — как простой возврат к частной собственности на землю. Ведь для него слова «частный собственник» и «хозяин» — синонимы. А отсюда и главный — ударный вопрос: «Как единоличный «самодеятельный хозяин» сопрягается с нашей моралью?» (Там же, с. 146).

Попробуем разобраться и в сопряжениях. А поначалу сразу же подчеркнем: речь сейчас идет не о собственности, не о превращении земли в такой же товар, как телевизоры или колготки. С октября 1917 года полноправный земельный собственник у нас один — государство.

Писателям, которые берутся судить о разных принципах землевладения в связи с перестройкой, важно понять, что национализация всей земли вовсе не исключает фермерства. Ленин предложил национализацию в качестве социал-демократической альтернативы столыпинскому законодательству еще в 1907 году. При этом он разъяснял, что национализация земли «есть превращение земли в собственность государства, и такое превращение нисколько не затрагивает частного хозяйства на земле... Национализация сметает все средневековые отношения в землевладении дочиста, уничтожает все искусственные перегородки на земле, делает землю действительно свободной — для кого? для всякого гражданина? Ничего подобного... Земля становится свободной — *для хозяина*, для того, кто действительно хочет и *может* обрабатывать ее так, как этого требуют современные условия хозяйства вообще и мирового рынка в частности»[25]. Другими словами, сущность национализации земли, по Ленину, состоит в переходе от частной собственности к «свободной аренде земли у государства»[26]. При этом Ленин особо оговаривал: «Нет ничего ошибочнее того мнения, будто национализация земли имеет что-либо общее... с уравнительностью землепользования»[27].

И еще один важный ленинский довод в пользу свободной аренды национализированной земли: «...свобода конкуренции в земледелии гораздо больше при свободной аренде, чем при частной собственности»[28]. А цену свободной конкуренции Ленин знал! Из монополии он выводил тенденцию к неизбежной стагнации всякого производства и к загниванию...

Итак, уясним для себя прописные истины: *одно дело — собственность, другое — владение.* Как подчеркивалось на мартовском Пленуме ЦК КПСС, владельцами на условиях срочной или бессрочной аренды могут стать и крупное предприятие, и семья, и отдельная личность, кооперативное объединение или любой другой коллектив,

[25] Ленин Н. И. ПСС, т. 17, с. 127—128.
[26] Там же, с. 130
[27] Там же, с. 127.
[28] Там же, с. 130.

оформленный как юридическое лицо. Все это вовсе не означает превращения земли в товар, но установление ее меновой стоимости весьма желательно, хотя бы ради определения размера арендной платы, налога, то есть *единых для всех норм* государственной земельной ренты.

Проблема оценки различных условий землевладения, выбора их оптимальных форм и сочетаний — главный вопрос любой аграрной теории, и оттого, как решается эта проблема в теории, в значительной степени зависят практические результаты — производственные и социальные.

Что же касается вопроса о «сопряжении» тех или иных практических форм землевладения с «нашей моралью», то стоит заметить, что реальное мировоззрение человека, его нравственный идеал и повседневная практика всегда находятся в тесном взаимодействии. Так, практику администрирования, практику жесткой регламентации всех проявлений жизни сельских тружеников, можно рассматривать как продукт известных теоретических установок, категорически отрицающих традиционно-семейные формы крестьянского землевладения. В начале 30-х годов эти ультралевые установки эпохи военного коммунизма стали непререкаемой директивной догмой.

Мировоззрение и практика — две стороны одной медали. Когда сегодня кричат о «нашей морали», об отрыве «наших» мировоззренческих идеалов от жизни, то чаще всего имеют в виду не действительную систему взглядов, а парадную прекраснодушную риторику, которая приобрела формально-ритуальное значение, в определенной мере стала обязательной, как когда-то молебны, но неспособна влиять на подлинное мироощущение реальных людей. Последнее, в отличие от парадной риторики, всегда тесно связано с практической прозой. Нельзя изменить одного, не меняя другого.

Пора выявить и четко уяснить исходную причину того негативного процесса, который при всех усилиях поправить положение делает неэффективным наше аграрное производство. Эта причина, на наш взгляд, заключается в том, что, начиная с конца 20-х годов, вся наша теория и практика стали четко исходить из твердого и непререкаемого убеждения в несомненности преимущества всякого крупного индустриального производства по сравнению с любым мелким — «кустарным». Эта догма, преподносимая в виде основополагающей аксиомы марксизма, определила пути строительства не только промышленности, но и социалистического сельского хозяйства как обязательно обобществленного и на всех уровнях высококонцентрированного крупномасштабного производства, приспособленного к централизованному планированию и административно-волевому управлению. Только такая организация аграрного производства позволяла осуществлять гигантские инженерно-экономические мероприятия в масштабах всей страны: глобальную мелиорацию — вплоть до поворота рек; тотальную химизацию, всеобщую урбанизацию — ликвидацию «неперспективных» деревень и т. п. И хотя на практике все эти грандиозные эксперименты неизменно завершаются катастрофами — экономическими, экологическими и демографическими, — сама возможность быстрой реализации подобного рода глобальных кабинетных проектов до сих пор оценивалась как одно из главных преимуществ концентрации распыленной аграрной стихии, что, в свою очередь, служило доводом в пользу повсеместного внедрения индустриальных форм организации аграрного труда.

Вся мировая практика земледелия доказывает, что повседневный крестьянский труд перестает быть эффективным, если он регламентируется извне[29]. В отличие от собственно индустриального производства, которое повсеместно возникало и даже в рамках социалистического строительства могло достаточно успешно развиваться на базе жестко нормированного наемного труда частичных работников, организуемых путем найма и назначений в «абстрактные коллективы» (Маркс), суть крестьянской работы — постоянная, не поддающаяся никакому нормированию забота о росте и оптимальном развитии живых организмов, какими являются почва, растения и животные, — несовместима с отчужденной деятельностью наемных работников и администрированием. Причины этой несовместимости заключаются, на наш взгляд, в том, что, в отличие от промышленности, в земледелии единственным достоверным показателем полезности вложенного труда является целостный конечный результат — устойчивая урожайность. Качество и эффективность большей части промежуточных работ или отдельных операций принципиально не поддаются точной оценке в единицах абстрактного рабочего времени. Поэтому в сельском хозяйстве неадекватны ни почасовая, ни сдельная (например, за число обработанных плугом гектаров) оплата труда. Важнейшую роль здесь играют внеэкономические и внеправовые факторы, такие, как любовь к земле, на которой родился, к своему полю, саду, животным, предрасположенность к такого рода деятельности, которая осуществляется не за страх, а на совесть.

Если в промышленности практически всю деятельность наемного рабочего оказалось возможным измерять и регулировать четкими принудительными нормативами, поскольку она складывается из конечного ряда стандартных технологических процедур и ими исчерпывается, то крестьянский труд предполагает беспрестанную заботу о живом с оглядкой на небо и хозяйской оценкой изменчивой перспективы. Такой труд принципиально не поддается внешнему регулированию.

Аграрного труженика, если мы ждем от него эффективной работы, нельзя превращать в частичного работника, в этом его принципиальное отличие от исторически сложившегося типа промышленного рабочего — обстоятельство, с которым во всех

[29] Как показал исторический опыт США, отчужденный — рабский или наемный — аграрный труд оказывается рентабельным лишь в узкоспециализированном производстве монокультур.

индустриально высокоразвитых странах вынужден был смириться крупный капитал, поскольку он не хочет разориться. Организующая роль крупного капитала в сельском хозяйстве ограничивается неоднократно проверенным фактом экономической неэффективности резкого разделения аграрного труда на управленческий и исполнительский. Оказывается, что сама специфика отрасли диктует необходимость предельной интеграции исполнительских и управленческих функций, что как раз и характерно для деятельности крестьянина-хозяина. Труд настоящего земледельца часто граничит с искусством, он по природе своей ближе к ремесленному, «кустарному» труду, хотя и требует сейчас высокой степени технического оснащения: по энерговооруженности американские фермеры превосходят промышленных рабочих.

Таковы основные доводы, требующие, на наш взгляд, радикального пересмотра той основополагающей догмы расхожего марксизма, из которой по сей день исходит большинство наших теоретиков и практических работников.

Выше мы уже говорили, что в конце концов даже и сам Маркс вынужден был признать экономическую неэффективность аграрной фабрики, неспособность ее конкурировать с традиционным крестьянским хозяйством. Более того, к концу своей жизни Маркс отказался и от представления о крестьянине как о маленьком капиталисте, признал невозможность описывать крестьянское хозяйство в терминах политической экономии капитализма. В рукописях завершающего, третьего тома «Капитала» он сделал вывод: «Рациональное земледелие *несовместимо с капиталистической системой* (хотя последняя и способствует его техническому развитию) и *требует либо руки мелкого, живущего своим трудом крестьянина, либо контроля ассоциированных производителей»* (Соч., т. 25, ч. 1, с. 135. Курсив мой. — *Ю. Б.*).

Следует подчеркнуть, что и обе ленинские аграрные программы (если не брать в расчет военнокоммунистических установок 18-го года) исходили из последних Марксовых «либо—либо». В «Аграрной программе социал-демократии» (1908 г.) Ленин считал, что главной фигурой в сельскохозяйственном производстве России, если она хочет быстро развиваться, должен стать «свободный фермер на *свободной*, т. е. очищенной от всего средневекового хлама, земле. Это *американский* тип» (Ленин В. И., ПСС, т. 17, с. 150). К концу своей жизни Ленин разрабатывал программу социалистической перестройки аграрного производства — кооперативный план.

Ленин не успел оставить всестороннего теоретического обоснования своего кооперативного плана. Но стоит заметить, что в период его разработки Владимир Ильич особое значение придавал трудам выдающегося советского экономиста-аграрника А. В. Чаянова, который всю свою жизнь посвятил практике аграрного кооперирования. Суть позиции Чаянова состояла в том, что в сельском хозяйстве кооперативная концентрация производства оказывается тем более экономически выгодной, чем дальше отстоит подлежащая кооперированию сфера аграрной деятельности от непосредственной работы крестьянина с биологическими организмами. Исходя из этого, он предложил дифференцированный метод определения возможностей концентрации в аграрном производстве: минимальная — на биологических процессах; последовательное расширение границ и увеличение степени кооперативной концентрации в прилегающих сферах — содержание машин и организация техобслуживания, племенная селекция, мелиорация, переработка и сбыт продукции, строительство, кредит и т. д. С этой точки зрения наименее рациональной оказывается лишь *предельная, тотальная* форма агропроизводственной концентрации — совхоз и сельскохозяйственная артель, в рамках которой принудительной регламентации может подвергаться и принципиально неотчуждаемая творческая часть многообразной деятельности земледельца, его забота о живом предмете труда: «Крестьянское хозяйство коллективизирует именно те отрасли своего предприятия, в которых крупная форма производства имеет значительные преимущества над мелкой, и оставляет в индивидуальном семейном хозяйстве те отрасли его, которые лучше организуются в мелком предприятии... далеко не все отрасли земледелия подлежат кооперации, и кооперативному коллективизму ставятся очень широкие, но все-таки некоторые пределы, оставляющие значительный объем деятельности семейному хозяйству» [30].

В своем анализе различных типов аграрного производства, основанных на разных формах землепользования, Чаянов в первую очередь стремился выявить характерную для каждой данной формы «природу стимуляции человеческой работы». С учетом этого определяющего фактора он сравнивает три основных типа производства: 1) капиталистическое сельскохозяйственное производство, основанное на наемном труде; 2) частично кооперированное семейное производство; 3) сельскохозяйственную артель.

Оптимальным видом А. В. Чаянов считал второй: «Сила кооперативного семейного производства заключается именно в том, что оно значительную часть производства, наилучше удающуюся в формах производства мелкого, оставляет в этих последних и в то же время организует в наиболее крупном масштабе все те отрасли хозяйства, где укрупнение производства или оборота дает несомненный и ясно выраженный эффект». Что же касается различной природы стимуляции наемного труда и самостоятельной крестьянской работы, «крупным отличием в характере стимуляции наемного труда является то обстоятельство, что он стимулируется для выполнения работы, за которую получается заработная плата, или *для придания вида напряженности этой работе.* В то время как труд крестьянского хозяйства стимулируется для получения *результатов работы,* сообразно чему при одинаковой даже напряженности работа крестьянина будет осмысленней и результативней» [31].

Из всех трех типов организации аграрного производства наименее эффективным является, по Чаянову, сельскохозяйственная артель: «В многочисленных артелях, духовная связь между членами которых слаба, а энтузиазм общего действия непрочен [32], отмеченная стимуляция притупляется и появляется принцип, вульгарно выражаемый в положении: «зачем я буду работать, раз его и мое вознаграждение будет равно» [33].

Конечно, и в рамках артели может быть введена система оплаты труда, устраняющая уравниловку. Это помогает делу, но приближает артельную организацию к структуре заурядного капиталистического предприятия, хотя при этом все-таки не достигаются все преимущества последнего. «Наиболее совершенной, — пишет Чаянов, — является та форма, при которой артельное предприятие ведется совершенно по капиталистическому типу» [34]. Однако в этом случае «работа артельщиков мало чем отличается от работы поденно оплачиваемой. А так как принуждающая воля у артельного коллектива всегда менее напряженна, чем воля единоличного хозяина (имеется в виду капиталист. — *Ю. Б.*), работающего в погоне за наибольшей прибылью, то возможны и такие случаи, когда стимуляция работы в артели будет значительно хуже, чем в капиталистическом хозяйстве, построенном на наемном труде» [35].

Таковы вкратце соображения А. В. Чаянова, который настаивал на принципиальном отличии подлинной кооперации, организуемой на традиционной базе семейного крестьянского производства, и артели; с точки зрения Чаянова, это разные типы организации аграрного труда, основанные на разных формах землепользования.

Сейчас трудно установить, до какой степени В. И. Ленин был согласен со всем комплексом теоретических положений, выдвинутых А. В. Чаяновым. Ясно одно: коллективизацию, осуществленную военно-административными методами, никак нельзя считать реализацией кооперативного плана, ибо сам Ленин неоднократно подчеркивал: «*Лишь те* объединения ценны, которые проведены самими крестьянами по их свободному почину, и выгоды коих проверены ими на практике» (ПСС, т. 38, с. 208).

Посмотрим, а какие формы объединении, органично присущие крестьянскому образу жизни, вырабатывала историческая практика.

5. О ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ РАЗНОГО ТИПА. САМОБЫТНЫЙ ПУТЬ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ

В марксистской литературе бытует традиция: все отношения между людьми — семейные и профсоюзные, этнические и классовые — трактовать как однозначно общественные. Между тем сам Маркс различал два принципиально разных типа связей между людьми — Bürgerliche Gesellschaft и Gemeinwesen, анализ их несовместимости, противоположности — важнейший пункт его философско-исторической концепции.

Gesellschaft — это гражданское общество.

Gemeinwesen — в русских переводах Маркса обычно передают терминами: «природная» или «естественная общность» и «община» — подразумеваются различные формы крестьянской общины. Первые переводы, на наш взгляд, точнее, поскольку в рамки природной или естественной общности включаются не только различные формы общины, но семейнородовые, племенные и этнические отношения, основанные на нравственности и обычае.

Очень удачной наглядной картиной жизни деревенской естественной общности является, на наш взгляд, книга В. И. Белова «*Лад*» (в данном случае мы выносим за скобки дискуссию о том, насколько эта картина соответствует реальностям русской предреволюционной деревни — это другой вопрос). Что же касается Маркса, то его занимали не просто наглядные образы — он пытался разработать систему философско-экономических определений данного феномена, в которых давно пора разобраться.

Общеизвестно положение Маркса о том, что в конечном счете все *общественные* отношения (типа Gesellschaft) сводятся к отношениям производственным. (Иное дело, с отношениями типа «природной общности».)

В руках наших обществоведов это положение Маркса превратилось в «методологический» штамп, согласно которому из трудовых отношений следует не только теоретически выводить, но и практически подчинять производственным интересам все человеческие проявления — может быть, даже любовь... И действительно, в индустриальных обществах Запада даже любовь обретает производственно-экономические основания: браки там давно заключаются не на небесах, а в нотариальных конторах, где оформляются договоры (контракты) аналогичные трудовым соглашениям профсоюзов с предпринимателями.

Маркс в своем определении буржуазных общественных отношений просто констатировал реальное положение вещей. Он убедительно показал, что буквально все юридические отношения «обособленных индивидов» в гражданском обществе в конечном счете так или иначе сводятся к отношениям производственным и имущественным. Это важнейшие, главные отношения того мира, где производство и накопление становятся самоцелью, где не производст-

---

[30] Чаянов А. В. Основные идеи и формы организации крестьянской кооперации. М., 1919, с. 302.

[31] Там же, с. 304. (Курсив мой. — Ю. Б.)

[32] Редкие примеры дееспособных артельных хозяйств Чаянов находит лишь в общинах, воодушевленных сильной религиозной идеей — духоборы и т. п. Но такие артели по существу своему — секты.

[33] Чаянов А. В. Основные идеи и формы организации крестьянской кооперации, М., 1919, с. 304.

[34] Там же, с. 307—308.

[35] Там же.

во для человека, а человек для производства.

Однако даже в рамках капитализма продолжают жить не только частичные люди, ощущающие себя производственной функцией — винтики индустриальной машины. Сельский труженик, если его не превратили в поденщика, если он остается еще крестьянином, тяготеет к таким человеческим связям, которые не являются юридическими производными капиталистических форм организации наемного труда.

В своей деревне крестьянин не может действовать как «обособленный индивид», как суверенное юридическое лицо, заключившее здесь трудовой договор, но глубоко безразличное к местным обычаям — таковым на селе становятся пришлый поденщик или назначенный сверху начальник; крестьянин же выступает не только в качестве «производителя», но как представитель природно сложившейся здесь нравственной целостности — местного рода, семьи или общины.

Маркс констатировал, что в городской промышленности, основанной на найме формально свободных работников, не связанных между собой никакими узами, кроме служебных обязанностей, типичной стала *«абстрактность коллектива,* у членов которого нет ничего общего, кроме разве языка и т. п.»[36]. В аграрном производстве, имеющем дело с живой природой, такой «абстрактный коллектив» оказывается, по меньшей мере, нерентабельным, если не вредным. Поэтому, говоря о земледелии, Маркс подчеркивал, что здесь «первоначальные условия производства выступают как природные предпосылки, как *природные условия существования производителя...* Производитель существует как член семьи, племени, рода и т. п.»[37].

Сегодня это положение Маркса следовало бы учитывать при решении вопроса о том, каким именно коллективам целесообразно передавать во владение землю и технику. При этом речь не идет о передаче земли в частную собственность. Пока вопрос стоит не о частной собственности крестьян на землю, но о том, что крестьянин (но не аграрный наемный работник!) должен иметь возможность относиться к полю как к своему — «как к своему неорганическому телу» (Маркс), независимо от того, кто обладает юридическим титулом собственника. Чтобы так относиться к полю, самим крестьянам не обязательно обладать правом продать его, сдать в аренду и т. д. — речь идет о праве полной хозяйственной самостоятельности крестьян. Прежде всего этого сельские труженики и стремились добиться при любом общественном строе. Например, еще в Смутное время мужики, вступавшие в «Черную сотню» — ополчение Кузьмы Минина, выражали свою политэкономическую программу таким образом: «Вся земля у нас Государева, но нивы и роспаши — наши»; при этом они хорошо понимали, что юридический титул собственности («земля Государева») отнюдь не пустой звук, он будет выражаться в разного рода государственном «тягле» — натуральных или иных податях, обязанности «кормления» государевых слуг (гражданских администраторов в военных — дворян), но при этом главным для крестьян все-таки было то, что «нивы и роспаши — ваши», то есть возможность полной хозяйственной самостоятельности на своих полях.

И не только хозяйственной. Отношения деревенских природных общностей с внешним миром (с государством или с другими общностями) всегда строились на основе юридических, правовых норм. Но внутренние отношения, как во всякой нормальной семье, здесь нравственные — внеправовые. Это не означает, конечно, что здесь допустим любой произвол. Напротив, жизнь деревенской общины регулировалась передаваемыми из поколения в поколение нравственными императивами, которые могли быть намного более жесткими, чем самые строгие правовые нормы. Хотя нравственность и не носит характера внешнего принуждения, она тоже может быть чрезвычайно суровой.

Что же лучше — нравственность или право?

Что касается наемного работника индустриального предприятия, тут дело ясное: его семья — «пережиток» природной общности, поскольку она основывается еще на нравственности, а не на кодексе; напротив, отношения на заводе или в конторе построены по законам гражданского общества — тут все регулируется формальными юридическими нормативами и инструкциями. Где человеку лучше — дома или на работе? Кому как, но большинству уютнее все-таки дома. А крестьянин должен чувствовать себя и в поле как дома. Если этого нет, если крестьянин начнет относиться к своему живому предмету труда исключительно по инструкции, как к чуждой ему вещи, тогда аграрное производство развалится.

В промышленности, где человек имеет дело с жестко фиксированным мертвым предметом труда, а не с живой природой, практически все оказалось возможным регулировать четкими принудительными нормативами. Однако в отличие от западных методов организации индустриального производства японцы даже в промышленность пытаются «пересаживать» внеправовые ненормативные отношения, свойственные крестьянской общине — отказ от жесткой системы контроля, система пожизненного найма, стимуляция отношения к фирме как к большой семье и т. д.

Отправной точкой индустриализации японского типа стали радикальные аграрные преобразования, прямо противоположные по своему содержанию английской «чистке земель» и массовой экспроприации крестьянства, то есть тому, в чем Маркс в свое время видел подлинную суть так называемого «первоначального накопления» и что стало в расхожем «марксизме» своего рода догматическим императивом: если хотите индустриализации, то экспроприируйте крестьян и ликвидируйте «аграрное перенаселение». В 20-е годы именно так сформулировали проблему индустриализации для нашей страны теоретики «социалистического первоначального накопления» — троцкисты (в сущности, именно эту «идею» и воплотил в жизнь Сталин).

Левые догматики были правы в одном: действительно, Маркс доказывал, что глубокие аграрные преобразования — необходимое условие индустриализации общества. Однако Маркс при этом все-таки не утверждал, будто аграрные перемены везде нужно осуществлять по одному «классическому» рецепту; он исходил из того, что разные типы аграрных преобразований предопределяют и разные формы — саму направленность промышленной модернизации. Сам Маркс все-таки ставил проблему поиска новых путей.

План продуктивного осмысления новых путей аграрно-промышленной модернизации — путей, в корне отличных от общеизвестных западных, — Марксу осуществить не удалось. Я думаю, что это было в принципе невозможно сделать на базе тех аксиоматических посылок, из которых исходил Маркс. В первых томах «Капитала» он ограничился лишь беглым сопоставлением «быстрой» английской и «замедленной» французской моделей развития и по-настоящему подробно успел проанализировать «классическую» английскую модель аграрной революции, которая и стала «законом» для догматиков. Но сам Маркс все-таки склонен был подвергать сомнению даже и собственный догматизм. Говоря об особенностях аграрно-промышленной модернизации в различных регионах, он писал: «События, поразительно аналогичные, но происходящие в различной исторической обстановке, привели к совершенно разным результатам. Изучая каждую из этих эволюций в отдельности и затем сопоставляя их, легко найти ключ к пониманию этого явления; но никогда нельзя достичь этого понимания, пользуясь универсальной отмычкой в виде какой-нибудь общей историко-философской теории, наивысшая добродетель которой состоит в ее надысторичности»[38].

С помощью твердых универсальных отмычек, созданных из набора цитат классиков, вырванных из контекста их меняющегося живого конкретно-исторического мышления, последовательные несгибаемые догматики много костей переломали в России. А теперь еще обнаруживается, что набор общетеоретических инструментов, созданных по «классическим» западным образцам, никак не подходит и к японской двери. Остается теперь объявить оригинальный японский путь... «чудом». Ведь в этой самой отсталой и косной из стран Азии, никогда не пускавшей на свой порог предприимчивых деловых иностранцев, процесс индустриализации начался лишь в конце XIX столетия. Начался бурно, но не «по правилу» — вовсе не с экспроприации крестьянства. Напротив, революция Мейджи, произошедшая через семь лет после отмены крепостного права в России, освободив японских крестьян от феодальных пут, не ограбила их при этом («классическая» европейская модель), но утвердила курс на передачу всей земли крестьянству при сохранении и укреплении принципов общинного самоуправления[39]: «В 1868 году новое правительство провозгласило в качестве официальной линии, что «вся земля деревни должна принадлежать крестьянам», а тремя годами позже — право крестьян обрабатывать суходол. Люди получили право продавать и покупать землю... при этом прежние деревни продолжали функционировать как общины, ведающие взаимопомощью в сельском хозяйстве и другими бытовыми вопросами. Вопрос о праве пользования общинной землей (не вошедшей в личное владение) и ирригацией оставался в компетенции общины... юридическими владельцами земли являлись отдельные индивиды, но на деле земля принадлежала семейным хозяйствам и, как правило, допускалась лишь передача ее последующим поколениям»[40].

Таковой была аграрная революция по-японски. Что же касается принципов индустриальной модернизации страны, то они основывались на аграрных преобразованиях и в основном соответствовали их характеру: «Лидеры Мейджи ввели западные институты, технику, заимствуя многое из промышленных, военных, образовательных, правовых и коммуникативных систем Запада. С другой стороны, эти же лидеры хорошо понимали, какие преимущества дает им сохранение традиционных ценностей Японии»[41].

Важнейшей ценностью в традиционной Японии (впрочем, как и во всяком другом обществе типа gemeinwesen) всегда считалась правила семейно-патерналистского — деревенского — самоуправления, основанного не на абстрактном принципе западных демократий (один человек — один голос), но на уважении к старшим или более сведущим в данном вопросе членам общины, мнение которых при принятии конкретного решения обладает большим весом. Перенесение этих общинных правил (хотя бы по форме) в промышленность весьма значительно повлияло на направленность и характер японской индустриализации: «В начальный период Мейджи еще не существовало местной мануфактуры, на базе которой можно было бы развивать современную промышленность. Правительство Мейджи покупало заводы и оборудование и организовывало фабрики, владельцем и управляющим которых было государство... С передачей правительственных предприятий в частные руки дела не намного изменились. Купцы, которые приобретали фабрики по договорным ценам, управляли своей новой собственностью как общинным хозяйством. Владельцем был не индивид, а «дом»; рабочие, набираемые из числа бедного крестьянства, считались *членами дома,* и ожидалось что они будут работать старательно — во имя процветания своего дома[42].

---

[36] Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. 1, с. 479. (Курсив мой. — Ю. Б.)

[37] Там же, с. 478.

[38] Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 19, с. 121.

[39] Подобную программу, однако не в столь радикальной форме, пытался после революции 1905 г. осуществить в России Столыпин.

[40] Kawamura Nozomu. "The Modernization of Japanese Society: 1869—1945". Orientation Seminars on Japan, № 10, Tokyo, 1982, p. 24.

[41] Там же, p. 25.

[42] Там же, p. 25.

Идея патриархальной фабричной семьи, устроенной по типу деревенской общины, служила, видимо, не так плохо, если практически на пустом месте в столь быстрый исторический срок стала давать увесистые плоды. А вот что пишет другой японский автор о становлении в стране современных форм крупного бизнеса: «Доминирующей предпринимательской стратегией возникающего современного бизнеса стала не специализация, а универсализация. Так, например, британские кораблестроители могли подготавливать конструкторов корпусов, снабжая затем корпуса моторами, кранами, насосами и прочим оборудованием, полученным от других независимых производителей. В Японии же верфи обязаны были производить не только корпуса, но и все оборудование к ним, поскольку смежные отрасли еще не были развиты. Эта усиленная универсализация означала, что труд на японских верфях и фабриках не мог быть ни стандартизован, ни специализирован.

Ф. Тейлор, отец научной организации труда, подчеркивал особую важность для рациональной организации труда отдельной «задачи» — «специализированной работы». Однако в Японии понятие «специализированной задачи» не могло стать целью управления: вместо этого центром внимания был сделан сам рабочий. Другими словами, управление было нацелено не на *«руководство работами», а на поддержание стабильности персонала и высоких личностных качеств* высококвалифицированных разносторонних рабочих. Более того, во время II мировой войны и в период послевоенной инфляции зарплата стала меньше зависеть от характера выполняемой работы; зарплата должна была соответствовать тому прожиточному минимуму, который позволял рабочему содержать семью, и это усиляло мотив рабочего самоуправления... Японию можно было бы назвать *капиталистической страной без капиталистов*, ибо владельцами крупного бизнеса часто являются сами предприятия» [43].

Япония пошла по своему особому пути. Английская модель индустриализации остается классической, но из этого вовсе не следует, что именно этот путь нужно воспроизводить всем народам. Для рождения собственно индустриальных технологий, там, где они создавались впервые, очевидно, необходимы были и экспроприация крестьянства, и превращение производителя в частичного работника — исполнителя узкоспециализированной примитивной операции (функция, которая затем становится машинной), и доведенное до предела отчуждение труда рабочих, ведущее в производстве к поляризации функций. Но после того как промышленные технологии были уже созданы, когда функцию частичных работников взяла на себя система машин и эту систему можно было взять готовой, как результат, появилась иная возможность промышленной модернизации. История не обязательно повторяется.

Сегодня всем очевидно, что экономический эффект японского опыта пересадки из деревенской общины в современную индустрию внеправовых отношений типа gemeinwesen оказался весьма впечатляющим.

И тем не менее вся либеральная европейская мысль, на которую мы по традиции по сей день ориентируемся, в качестве наивысшей ценности почитает лишь отношения юридически-нормативные. Сложился прочный стереотип оценки нравственных отношений естественной общности как чего-то зловредно рутинного, варварского, даже противного цивилизации. Например, русских почти два века ругали за недоразвитое правосознание (почему не японцев?). При этом в качестве «смягчающего вину обстоятельства» никто не хотел принять во внимание даже тот очевидный факт, что по сравнению с воистину свирепой судебно-карательной практикой западноевропейских стран, породившей различные формы «производительных» технологий лишения жизни (от гильотины и электрического стула — до газовых камер Освенцима), Россия за полтора столетия, вплоть до революции 1905 года, так и не сумела выработать сколько-нибудь эффективных навыков палаческого ремесла. Публицист В. Кожинов, может быть, и не без тенденциозности подбирал период подсчета, но все-таки он опирался на факты: «За 175 лет в ней (в России. — *Ю. Б.*) по политическим обвинениям было казнено всего лишь 56 человек (6 пугачевцев, 5 декабристов, 31 террорист времени Александра II и 14 террористов времени Александра III). За это же время в Западной Европе было совершено много десятков тысяч политических казней... В высшей степени характерный факт: в донесении генерал-адъютанта Голенищева-Кутузова Николаю I о казни пяти декабристов сообщалось, что «по неопытности наших палачей и неумению устраивать виселицы, при первом разе трое, а именно: Рылеев, Каховский и Муравьев сорвались...». Между тем, в это время в любом крупном городе Западной Европы обязательно имелся квалифицированный профессиональный палач» [44].

Так обстояли дела в благопристойной Европе 18—19 вв. — эпохи прочно утвердившегося правосознания. Правосознание действительно обеспечивало здесь почти образцовый порядок. Но почему оно оказалось здесь крайне необходимым? Каким образом конституировалось?

Здесь нет места подробно анализировать сущность права. Достаточно указать, что отцы европейского правосознания (Гоббс, Монтескье) основывали свои юридические построения на весьма замечательных аксиомах: 1) человек человеку — волк; 2) война всех — против всех. Непросвещенному «архаическому» сознанию столь суровая аксиоматика должна казаться действительно несколько странной. С чего это вдруг взялось?

Ответ простой — с Реформации. Европейское правосознание, органично связанное с отчужденным наемным трудом, начинает складываться к концу гражданских войн Реформации. В Богемии, где началась Реформация, к началу гуситских войн жило 2,5 млн. чел.; к концу Реформации там осталось всего 700 тыс. живых душ. В Германии Реформация захоронила в братских могилах голода и террора больше двух третей населения. Во Франции, Нидерландах, где католики резали гугенотов, а гугеноты — католиков, жертв было чуть меньше. В Англии Реформация осложнилась «чисткой земель» — экспроприацией крестьянства.

Это все — голые факты. Они уже не вызывают эмоций. Но все-таки стоит представить себе ту степень взаимного ожесточения — всех против всех! — которая могла привести к истреблению двух третей населения, и это — без современной техники массового уничтожения. К этому нужно добавить еще массовые миграции. А психология переселенца — очень серьезный фактор: человек, оторванный от родных корней, чаще всего начинает действовать в совершенно чуждой ему социальной среде обитания либо как совершенно затравленный, либо как хищный зверь.

Главная цель правового строительства гражданского общества — превратить вооруженную (или просто кулачную) «войну всех против всех» в относительно безобидную юридическую склоку посредством судебного сутяжничества. В Европе это строительство удалось, и Запад очень гордится его плодами [45]. Но с точки зрения естественной общности самое развитое правосознание относится к чувству совести так же, как лошадиное копыто к человеческим пальцам. Конечно, во все времена и у всех народов случаются ситуации, которые лучше всего разрешаются посредством такого копыта, как уголовный кодекс. Однако есть очень много таких деликатных сторон человеческой жизни, где ничего не добьешься копытом. На скрипке можно играть только пальцами.

Если иметь в виду наше общество на современном этапе развития, то задачу нынешней перестройки — добиться того, чтобы люди смогли относиться к делу и к ближним своим по совести, — эту задачу нельзя, на наш взгляд, разрешить лишь путем укрепления правосознания, то есть посредством самого строгого соблюдения существующих норм уголовного и гражданского кодексов и других юридических или ведомственно-производительных нормативов, хотя именно сейчас становится все более очевидным, насколько важны нам четкие недвусмысленные правовые нормы. Очевидно, нужна и «борьба за права». Только вот вопрос: за какие права? За чьи? За права граждан мира над местным населением?

Одно дело — технократия, которая снова громко требует прав (для себя), но в своих наукообразных моделях экономического развития продолжает рассматривать туземное население исключительно как «трудовой ресурс», а перестройку мыслит как возможность осуществить новую серию глобальных технократических экспериментов. Это кажется парадоксом, но наши правозащитники привыкли мыслить исключительно технократически, как заядлые бюрократы (с ними они и смыкаются, не разберешь, где кто? — на работе, в каком-нибудь гипроводхозе, он, бюрократ, в частной беседе — воинствующий демократ), как правило, их меньше всего волнуют права крестьянина, рабочего и добросовестного хозяйственника. Тут интересы расходятся в диаметрально противоположные стороны.

Чтобы возродить нравственность, конечно, нужны и права. Но следует ли из этого, что мы должны копировать буржуазную правовую систему?

В своем «Духе законов» Монтескье главным считал принцип разделения властей, видя его не в разделении функций, а именно в противопоставлении. Логика тут простая: в буржуазном обществе человек человеку если уж и не волк, то, по меньшей мере, обязательно жулик; следовательно, нужно сделать так, чтобы один жулик (представитель одной из партий, захвативший данный орган власти) контролировал другого жулика — из другой группы, и наоборот, в результате чего аппетиты различных жуликов могут быть хоть как-то нейтрализованы.

В противоположность этому принципу мне представляется, что Советы нужно строить как рабочие органы народного самоуправления и в ходе нынешней перестройки нужно добиться, чтобы они таковыми стали на самом деле.



---

[43] Nakagawa Keiichiro. "Japanese Management". Orientation Seminars on Japan, № 12, Tokyo, 1983, p. 3—4.

[44] «Наш современник», 1988, № 4, с. 171.

[45] В бастионе современного правосознания, в современных США, адвокат — «нанятая совесть» — самая доходная и престижная профессия. Нелишне заметить, что США — это страна оторвавшихся от своих родных корней переселенцев, которые могли компенсировать недостаток доверия друг к другу только самой развитой судебно-правовой системой.

ФАТЕЙ ШИПУНОВ

ВЕЛИКАЯ ЗАМЯТНЯ

ПОГРОМ КРЕСТЬЯНСТВА

Уже более десятилетия новые преобразователи России исправляли крестьянство. Они учили его, как ему жить, воспитывать детей, пахать и сеять, водить скотину, поднимать сельское хозяйство на «небывалую высоту». Гигантская пропагандистская машина призывала это делать путем натравливания «бедных» на «богатых», «красных» на «белых» — во всеобщем побоище, когда бы брат пошел на брата, сын на отца и отец на сына, иными словами, гнала и гнала крестьянство к краю последней степени одичания и озверения. Никакое настоящее не признавалось, а только будущее. И ради этого последнего расхищалось, портилось, растрачивалось все нажитое народом и его крестьянством за века. За десятилетие небывалой замятни, смуты и порухи было растрачено народное «добро» не на десятки — на сотни миллиардов рублей. Но то была только прелюдия к главному, великому погрому крестьянства. И как ни лгали, как ни ловчили, как ни изворачивались, как ни подступали к тому «великому делу», — оно не получалось, оно расстраивалось, разбиваясь об одну вековую крепость, которой издавна окружало себя крестьянство. Этой крепостью пока еще оставалась семья, живущая в собственном доме, со своим нравственно-духовным миром, куда не всякому дано заглядывать. В этой-то крепости — кирпичике крестьянского мироздания, сокровенном ядре его невидимой жизни — веками творился мир молитвы, надежды, кротости, милосердия, братства и неустанного труда. Ибо каждый крестьянин знал, что семья есть первый, естественный и в то же время священный союз, в который человек вступает на основе любви, веры и свободы. Он в нем научается первым совестным движениям сердца и поднимается от них к таким формам человеческого духовного единения, как Родина и Государство. Потому-то в семье — первооснова Родины! Потому-то семья — первоначальная, исходная ячейка духовности. Потому-то каждый истинный крестьянин доподлинно знал, что духовный кризис в народе наступает тогда, когда поражается эта ячейка духовности. Действительно, однажды поколебленная в семье, эта духовность начнет слабеть и вырождаться во всех человеческих отношениях и организациях. И нет ничего страшнее такой беды в народе! Это-то и понимали духовно одаренные крестьяне и берегли семейный очаг как зеницу ока. Злоба, ненависть, насилие, бушевавшие вокруг в городах и мутившие разум их жителей, разбивались о стены крестьянских обителей. Это-то и бесило новых творцов российской истории, вызывало у них страх незавершенности задуманного дела. Надо было любой ценой взять эту крепость для того, чтоб управлять душами людей, чтоб погрузить во тьму бесовщины последний нравственно-духовный оплот народа — его крестьянскую семью. А потому надо было разобрать тыны и заборы деревенских усадеб, распахнуть двери их домов, войти в них, снять святыни из красных углов, загнать семью в общий барак, и не только ее, но и домашних животных — в общий загон. Разгром крестьянской семьи — одного из священных устоев государства — и ее хозяйства был разрушительным ударом по фундаменту. Цель была архипростой: каждый намек на совесть или совестный акт (у самого себя или у других) должен встречаться затаенной иронией или издевательством, — и тогда идея добра, добродетели стала бы человеку ненавистной и отвратительной.

Злобный вихрь смуты ворвался в семейные обители — святая святых крестьянского мира. Именно в них оберегался с величайшим благоговением детский мир — будущее Родины. И никто еще не описал того, что творилось тогда в детских душах, которые веками хранил семейный очаг, защищая их от такого бесовского неистовства. Миллионы детей не понимали, что происходит вокруг, что творят взрослые: и пришлые, и свои доморощенные, местные. Никто больше не учил детвору тому, что семья священна и неприкосновенна — по крови, духу и имуществу, что она — самостоятельное творческое единство, что надо ради нее соблюдать семейную взаимопомощь, любовь и солидарность, что, тоже ради нее, нужно проявлять духовный характер — в самостоятельности и верности, научаться творчески беречь и обходиться с имуществом и землей, подчинять начала частной собственности семейной целесообразности, применяя для этого высочайшее искусство. Крестьянские дети не понимали: почему два священных первообраза — чистой матери и благого отца — растаптываются, почему авторитет родителей попирается? У родителей, отцов и матерей, была отнята возможность приобщать своих детей к духовному опыту, к свободе, к воспитанию личного характера, к ведению хозяйства, к творению будущей семьи, прочного счастья и общественного благополучия, то есть к становлению их восприемниками созидания своей Родины и своего Государства. Некоторые крестьяне видели, как государство и его правители превращали их посредством «экспроприации» и «конфискации» в стадо зависимых и беззащитных рабов. Та же участь была уготована и их детям. И понимали, что на место государства, как защитника их духовной жизни, творческой самостоятельности и самодеятельности, пришло нечто такое, что не берегло все то священное, ради чего можно и должно любить свой народ, бороться и погибать за него, — сущность Родины, которую стоит любить больше себя, а если нужно, то и умереть за нее.

И не вскрыли бы мы полноты сущности коллективизации, если бы не коснулись еще одного зловещего в ней явления. Крестьянин никогда не отделял себя от тех саврасок, карек, игренек, гнедков, воронков, соловков, тех буренок, пеструшек, красуль, кто только и мог создавать ему изобильное хозяйство, кто давал ему материальный достаток, кто придавал ему смысл и радость бытия. Крестьянствование и есть полнокровный мир основанных на любви, радостных, осмысленных взаимоотношений человека и животных. И вот этот мир и был предан небывалому за всю его историю насилию, издевательству, надругательству.

Суровой и мрачной стояла Россия. Она все более становилась похожей на пустыню — духовную, нравственную, материальную, а «преобразователей» жизни захлестывал океан нового варварства. Великой болью отзывалась трагедия крестьянства в умах и сердцах мыслящих людей Отечества. Первый из первых — Александр Васильевич Чаянов, который, может быть, глубже других понимал всю гибельность намечаемых мер по коллективизации. Еще в 1927 году он пытался направить ее в другое русло, чтоб спасти крестьянство. Чаянов предложил план постепенного кооперирования («кооперации коллективизации») — в ходе сравнительно медленной эволюции приложить особые усилия на создание производственных форм. В связи с чем незамедлительно был объявлен мелкобуржуазным профессором, противником социалистического строительства в деревне. Аграрники-марксисты, возглавляемые Л. Н. Крицманом, торопились обосновать классовое расслоение деревни и опасность «кулака», по сути, крестьянского семейного хозяйства. В 1928 году под натиском аграрников-марксистов Чаянов лишается поста директора Института сельскохозяйственной экономики. Теперь с ним уже не считались, его систему определения оптимальных размеров сельскохозяйственных предприятий просто-напросто отбросили, а в декабре 1929 года Сталин назвал крестьянскую и сельскохозяйственную теорию Чаянова антинаучной. Ярославский, Сулковский, Дубровский, Ужанский и другие связали «чаяновщину», «кондратьевщину», «сухановщину» с правым уклоном, «вредительством в сельском хозяйстве». 21 июля 1930 года А. В. Чаянов был арестован за принадлежность к мифической трудовой крестьянской партии. Репрессиям подверглись все, кто его поддерживал гласно или негласно, в том числе ближайшие соратники, выдающиеся ученые сельского хозяйства — Н. Д. Кондратьев, А. Н. Челинцев, Н. П. Макаров. «Вредителей в сельском хозяйстве» искали во всех градах и весях: и находили, и арестовывали, и расстреливали. В тюрьмах, лагерях оказывались ученые-аграрники, агрономы, экономисты, сельские умельцы и мастера, отборные крестьянские хозяева. Лучшая в мире агрономическая наука была разгромлена. Злобствование смутьянов и ненавистников крестьянства достигло апогея: замечательные поэты есенинского круга — Н. А. Клюев, П. В. Орешин, С. А. Клычков, А. А. Ганин, В. Ф. Наседкин, Я. П. Овчаренко (И. Приблудный), П. Н. Васильев и другие были репрессированы и погибли, как и сам С. А. Есенин, за крестьянскую долю.

Шел 1930 год. При ЦК РКП(б) было создано «постоянное совещание» по работе в деревне, в которое вошли Н. М. Анцелович, К. Я. Бауман, А. С. Бубнов, М. И. Калинин, Г. Н. Каминский, Н. К. Крупская, В. В. Птуха, А. П. Смирнов, М. М. Хатаевич, Н. М. Шверник, Я. А. Яковлев. Какие задачи возлагались на это «верховное совещание», точно неизвестно, но то, что ни один из этих «верховных» деятелей не знал крестьянства, бесспорный факт! Впрочем, уничтожителям знаний и не требовалось, нужна была лишь классовая нетерпимость.

В крайкомах, окружкомах и районах создавались боевые штабы для осуществления операции по раскулачиванию и выселению из деревни «контрреволюционных элементов». Штабам было предложено одну часть крестьян ликвидировать полностью, а другую сохранить, но превратить в бессловесную рабсилу, согнав ее в общины-колхозы, то есть, по сути, в лагеря особого типа. И уничтожение, и сселение, и коллективизацию крестьян надо было закончить на Нижней и Средней Волге, Северном Кавказе осенью 1930 года, в других зерновых районах — осенью 1931 года. В важнейших зерновых районах подлежало ликвидации 52 тысячи, а выселению в отдаленные места с конфискацией имущества — 112 тысяч хозяйств. Остальные «кулацкие» хозяйства изгонялись за пределы коллективизированных селений.

Сибирский крайком принял встречные планы по темпам коллективизации на 1930 год: по западным округам увеличение на 36 процентов, по северо-восточным — на 19. Сплошная коллективизация

Окончание. Начало в №№ 9—12 за 1989 год.

должна была закончиться в Новосибирском, Барнаульском и Славгородском районах к 1 октября 1931 года, а в Бийском, Каменском, Кузнецком, Красноярском, Канском — к 1 октября 1932 года. Боевой штаб по борьбе с крестьянством в Сибирском крае действовал быстро и решительно. Общее количество переселяемых на новые земли семей, за вычетом сгоняемых семей на дальний Север, было определено в 50 тысяч. Но комбеды вместе с активистами колхозного движения энергично выявляли «врагов строительства социализма», то есть тех, кто не хотел идти в рабство. И потому планы коллективизации в этом крае перевыполнялись. В Новосибирском округе по плану надо было раскулачить 3800 хозяйств, а махнули 4760.

Средневолжский крайком и его боевой штаб, руководимый Менделем Марковичем Хатаевичем, постановил: к 5 февраля 1930 года (в течение месяца!) ликвидировать в деревнях «активные контрреволюционные и антисоветские элементы» в количестве 3000 душ и выселить за пределы коллективизируемых районов 10 тысяч семей. А всего здесь было предложено уничтожить, выселить, ограбить, разорить 25 тысяч семей. Но этот погром крестьянства на Средней Волге был осуществлен в более широких масштабах, чем намечалось по плану.

В Центрально-Черноземных областях планы экспроприации крестьянства и его коллективизации также были с лихвой перевыполнены. На 25 мая 1930 года здесь было изгнано более 8900 семей и переселено внутри области еще 30 тысяч душ.

Северный крайком ВКП(б) предложил в кратчайшие сроки ликвидировать первую категорию «кулаков» в количестве, не превышающем 1500 хозяйств (!!). Как видим, заранее была подготовлена разнарядка, по которой предусматривалась ликвидация крестьян путем расстрела или заключения их в концлагеря. Члены семей делились на две категории — трудоспособных и нетрудоспособных. Первые изгонялись в северные необжитые районы, а вторые сселялись на худшие земли (чаще всего на болота) того же района. И опять разнарядка: раскулачивание крестьянских хозяйств не должно превышать 3,5 процента общего числа хозяйств. Такого история России еще не знала — стариков и детей отнимать от сынов и дочерей, отцов и матерей! Указывались и сроки конфискации имущества: по первой категории — к 20 декабря, по второй и третьей — к 20 марта. Райисполкомы передавали вклады, конфискованное имущество и средства производства в колхозы в качестве взноса бедняков и батраков с зачислением в неделимый фонд колхозов, эти же источники использовались для погашения долгов государству и кооперации. Коллективизация и уничтожение крестьянства в Северном крае отличались особенно быстрыми темпами. Например, в Вологодском округе уже к маю 1930 года отчетная цифра достигла более 52 процентов.

Все чаще звучало по всем селам и деревням: «Не пойдешь в колхоз — кулак!» Или: «Мы делаем кулаков на пленумах сельских Советов как нам надо!» Грабеж, насилия и издевательства над людьми охватили всю многострадальную Россию. Все это выдавалось за успехи коллективизации, которыми гордились, о которых рапортовали руководители: Нижегородской области — Жданов, Ленинградской области — Киров, Северо-Кавказского края — Андреев, Сибирского края — Эйхе, Средневолжского края — Хатаевич, Нижневолжского края — Шеболдаев, Центрально-Черноземной области — Варейкис, Казахстана — Голощекин, Московской области — Бауман, Украины — Постышев и Чубарь, Белоруссии — Гей и многие другие.

Среди руководителей особенно выделялся цареубийца Шая Исаакович Голощекин, соратник Свердлова, Белобородова (Вайсбарте), Войкова, Юровского. В 30-е годы он громил крестьянство Казахстана, возглавляя боевой штаб по ликвидации «кулачества». Известный террорист В. Л. Бурцев говорил о нем: «...участник многих экспроприаций, человек, которого кровь не остановит, палач жестокий, с некоторыми чертами дегенерации...». Голощекин развернулся с большим размахом: сотни тысяч крестьянских семей и скотоводов-казахов были расстреляны, сосланы в лагеря. Есть сведения, что там сгублено до трех миллионов русских и казахов, но число это требует проверки.

Эти активные вдохновители и строители нового сельского мира, собравшись на XVI съезд ВКП(б), проходивший в разгар коллективизации летом 1930 года, бурно поддержали лозунг Сталина «О сплошной коллективизации сельского хозяйства и ликвидации кулачества как класса». Съезд горячо приветствовал доклад Кагановича, в котором говорилось «о социалистическом переустройстве сельского хозяйства и ликвидации кулачества как «класса» и доклад Яковлева-Эпштейна. «Преобразователи» России учили с трибуны, как сеять и жать хлеб, как распределять урожай, как изгонять «кулаков», как пониженне качества обработки земель компенсировать увеличением посевных площадей, как крестьянину превратиться в палаточного рабочего, как сделать корову «фабрикой молока». И никакого дела им не было до страданий отцов и матерей, сестер и братьев, сыновей и дочерей, стариков и старух, детей и подростков, которые миллионами шли на заклание ради осуществления их бредовых идей, шли на Север с Украины, Дона, Поволжья, Кубани, центральных черноземных областей, — с юга Сибири и Казахстана на болотный, холодный север Нарымского края. По Енисею, Оби, Иртышу, Белой, Волге, Каме, Сухоне, Северной Двине, Печоре тянулись на Север баржи-тюрьмы, забитые людьми как скотом. Еще и в наши дни очевидцы помнят, как каждый день в течение мая—октября 1930 года мимо Ростова Великого гнали под конвоем по дороге партии ссыльных крестьян по 80—100 человек в каждой и как за ними шли две-три повозки, подбиравшие умерших. Голод и болезни неумолимо косили несчастных, и немногие доходили до Вологды, а тем более до Котласа и Архангельска. Трупы валялись по обочинам дорог. Слезы и стон неслись по всем трактам и рекам. Местные жители, видя это, обливались слезами, но под страхом расстрела не смели подходить к гонимым, голодным и холодным. Власть заклеймила изгоняемых крестьян прокаженными и навсегда объявила их вычеркнутыми из памяти народной как злейших врагов. В одном Спасо-Прилуцком монастыре (Вологда), превращенном в пересыльный лагерь, погибли только от тифа десятки тысяч крестьянских душ. В наши дни, спустя 50 лет, мы сполна расхлебываем изуверство, совершенное над крестьянами!

Погром крестьянства происходил по плану комиссий Яковлева-Эпштейна и Молотова-Скрябина. От месяца к месяцу росли и расползались, проникая во все уголки сельского мира, грабеж имущества, передел земли, злоба и зависть, подслушивание и доносительство. Всесоюзный староста М. И. Калинин называл все это прививкой крестьянству, абсолютно необходимой для здорового развития колхозного организма. Но можно ли было построить благополучие одних за счет горя и страданий других?

По имеющимся публикациям в нашей научной печати, за 1930—1931 годы экспроприации подверглось более 569 тысяч хозяйств. Не меньшее количество хозяйств «самораскулачилось», бросило свои насиженные усадьбы и политую потом землю, бежало в города, переселилось в другие районы, пополняя рабочий люд лесной промышленности и строек. В одном только селе Бугры Новосибирского округа из 400 дворов более 300 сами ликвидировали свои хозяйства! А по всей стране? Так что план, намеченный комиссией Яковлева-Эпштейна по ликвидации полутора миллионов крестьянских хозяйств с 7—8 миллионами душ, был с лихвой перевыполнен. А там, где коллективизация шла туго, где крестьяне еще как-то сопротивлялись насилию, объявлялись высшие чины государства. Прежде всего неукротимый Каганович, выезжавший на Украину, в Воронежскую область и Западную Сибирь. И где бы он ни появлялся, насилие над крестьянами достигало невиданного размаха. К осени 1932 года крестьянство Северного Кавказа, Поволжья, Дона и Украины было обескровлено до такой степени, что хлебозаготовки здесь провалились. Для исправления дела туда были направлены полномочные чрезвычайные комиссии. На Украину выехали Молотов со своими подручными, а на Северный Кавказ — Каганович, прихвативший с собой Микояна, Чернова, Шкирятова, Юркина, Ягоду. Десятки тысяч семей с Украины были отправлены в лагеря и расстреляны. Каганович и его «опричники» приказали выселить на Север всех жителей 16 крупных станиц — Полтавской, Медведковской, Урупской, Башеевской, Темиргоевской, Пашковской... И здесь десятки тысяч семей крестьян-казаков были обречены на лагеря, голод и смерть. Большая часть Кубанского края после нашествия орды Кагановича была парализована, ограблена и запустела. Станицы были заселены беднейшим людом из Нечерноземья. Идеи Свердлова и Троцкого 1919 года по ликвидации казачества рьяно продвигал в жизнь их соратник Каганович в 1932 году. Видимо, за эту «великую заслугу» он был вскоре назначен заведующим вновь созданного сельскохозяйственного отдела ЦК ВКП(б).

Время шло, но погром крестьянства не стихал. Был придуман новый предлог — «кулаки» творят «подкулачников», а последние разлагают окружающее население. Те и другие — основное препятствие колхозному движению! С помощью политотделов МТС и совхозов — детища Кагановича — выискивали «скрытых кулаков и подкулачников», конфисковывались их имущество, а самих «врагов» сгоняли в лагеря или расстреливали.

По сути это был геноцид целого народа. Даже те сведения о коллективизации, которые недавно привели в «Правде» (26 августа и 16 сентября 1988 года) В. П. Данилов и Н. П. Тепцов, заставляют содрогнуться: ведь за цифрами стоят живые люди, наши соотечественники, старики и дети, слезы, горе и неисчислимые страдания.

За десятилетие, с 1917-го по 1927 год, было экспроприировано 1,3 — 1,4 миллиона крестьянских и около 900 тысяч казачьих хозяйств, а спустя пять лет, к 1932 году, вместе с казачьими хозяйствами — уже 3,5—3,8 миллиона, имевших 18—19 миллионов душ[1]. Но экспроприация крестьянских хозяйств не стихала и полыхала и в 1933 году. Остановимся на этом году и подведем итог.

Как мы видели, в селе Елиново на Алтае только в 1929—1931 годах было ликвидировано более 20 процентов крестьянских дворов, а в соседнем селе Коргон — около 25. То же и в других селах и деревнях Сибири, Поволжья, Вологодской области и Урала. А на Дону и Кубани было экспроприировано более 50 процентов казачьих хозяйств. Что стало с Терским, Уральским, Сибирским, Астраханским, Оренбургским, Забайкальским, Семиреченским, Амурским и Уссурийским казачеством и его хозяйствами — сведений мало. Но одно несомненно — они были также разгромлены в не меньшей степени. Потому не будет преувеличением сказать, что к 1933 году коллективизация, начавшаяся еще в 20-е годы, учинила погром более 25 процентов всех крестьянских хозяйств, или более 6 миллионов дворов, имевших самое малое 30 миллионов душ, а с учетом экспроприированных казачьих хозяйств, раскинувшихся от Дона до Уссури, — намного больше. Цифра 6 миллионов крестьянских дворов примечательна! Припомним, что к началу 1917 года 5,8 миллиона дворов подали заявления на выход из общины. Как было их не приметить заминщикам и смутьянам еще до 20-х годов, а потом, после 20-х, комбедам и их активистам, — и не взять их забла-

---

[1] И. Я. Трифонов в книге «Ликвидация эксплуататорских классов в СССР» (М., 1975) приводит цифру в 11,5 миллиона крестьян, «прекративших эксплуататорское существование» за десятилетие, с 1917-го по 1927 год.

говременно на учет. И когда пришла горячая пора расправы, всех их, столыпинцев, не только рубанули под корень, но и выкорчевали! Все десять лет неустанного труда П. А. Столыпина, его соратников по усовершенствованию и укреплению крестьянского строя пошли прахом.

Первые концлагеря и спецпоселения изгнанных крестьян появились еще задолго до сплошной коллективизации, но с весны 1930 года они стали множиться по всей обширности Сибири, Крайнего Севера и Урала[2]. Поручением СНК СССР от 1 апреля 1930 года были созданы целые переселенческие управления и руководимые ими спецокруга, для которых были выделены тоже специальные земельные фонды — около 1,3 млн. гектаров, в том числе в Западной Сибири 710 тысяч и в Казахстане — 615 тысяч гектаров. Например, в Северном крае переселением «кулацких семей» руководила специальная краевая комиссия в составе Комиссарова, Шипрона и Мотина (опять тройка!). По плану этого переселенческого управления надо было для начала построить 94 поселка-лагеря — по 120 семей в каждом.

Было ясно, что сосланные крестьяне рассматривались как бессловесный скот, который насильно гонят и расставляют на кормежку и работу, да еще приучают к досмотру друг за другом. А когда изобрели еще один вид душегубок — «великие стройки», такие, как «Большая Волга», «Беломорбалтканал», «Канал имени Москвы», — сотни тысяч крестьян попали в лапы лагерных палачей, которых пригрел Гершель Ягода — ставленник Свердлова. Подручными Ягоды были Агранов — Соренсон, Берман, Раппопорт, Коган, Фирин, Френкель, Сольц, Успенский, Жук и другие. Безымянные могилы в окрестностях этих строек, в которых лежат сотни тысяч (а может, и миллионы!) замученных крестьян,— свидетельство злодеяний этих палачей. Мелькают в печати сообщения о том, что более 100 тысяч лагерников строили только канал Волга—Москва, создававшийся ради того, чтобы сделать столицу портом пяти морей. После осуществления этой бредовой идеи — завершения канала — газеты писали, что за «хорошую работу» и после «успешного перевоспитания» было «освобождено» около 50 тысяч человек. А где остальные? Никто не считал жертвы крестьянства при сооружении Рыбинского водохранилища и ГЭС. А в результате — гигантская экологическая катастрофа общеволжского масштаба! Все «великие стройки» кончились полным крахом и лишь расширили пределы экологического преступления.

При сооружении только одного Рыбинского водохранилища была убита богатейшая житница страны — Молого-Шекснинская низменность, издавна звавшаяся Северной Украиной. Здесь под пустынную воду ушло более 500 тысяч гектаров плодороднейших сельскохозяйственных и лесных земель, 740 сел и деревень и два городка, среди них древнейший ярославский град Китеж — Молога. Из этих поселений было изгнано более 150 тысяч жителей...

Полный список погромщиков и палачей еще предстоит раскрыть народу. На Северном Кавказе от ОГПУ насильничал Фридберг, Пилер — в Средней Азии, Круковский — в Узбекистане, Раппопорт — в бывшем Сталинском крае, Заковский (Штубис) — в Западно-Сибирском крае, Дерибас — в Дальневосточном крае, Золин — в Казахстане, Райберг — в Северном крае, Соколинский — в Винницкой области, Карлсон — в Харьковской, Нельк — в Смоленской, Блат — в Западной, Реденс — в Московской, Драбкин, Литвин и Шапиро — в Ленинградской, Райский — в Оренбургской, Балицкий — в Киевской (все — уполномоченные ОГПУ). В ряду тех же палачей были видные работники ОГПУ—НКВД тех лет — Трилиссер, Мейер, Кацнельсон, Курмин, Вуль, Рюмин, Рыбкин, Гродисс, Формайстер, Розенберг, Минкин, Кац, Шпигельман, Патер, Дорман, Сотников, И. Иванов, Юсис, Гиндин, Зайдман, Вольфзон, Дымент, Абрампольский, И. Вейцман, М. Вейцман, Б. Гинзбург, Баумгарт, Е. Иогансон, Водарский, Абрамович, Вайнштейн, Кудрик, Лебель, Гольдштейн, Госкин, Курин, Иезуитов, Никишов и другие.

Сколько в тех лагерях, спецпоселениях, тюрьмах и душегубках погибло крестьянских душ? Из 3,5 миллиона «кулацких семей», насчитывавших около 17 миллионов крестьян от старых до малых, не менее половины угодили в концлагеря и спецпоселения в отдаленные районы, где их погибло около 7 миллионов душ. Вместе с избитым казачеством число жертв социального эксперимента составило около 11—12 миллионов. И корчилась в страшных судорогах бесхлебья Россия. Она уже не только не жила, но умирала от небывалых издевательств и пыток. Но без роздыха работал «Экспортхлеб», руководимый Давыдовым-Сульфсоном. Сколько умерло тогда крестьян? Помалкиваем! Прорывается в печати цифра в 7 миллионов душ, погибших в муках голода.

И после XVII съезда ВКП(б), проходившего в начале 1934 года и признавшего «громадные победы социализма в нашей стране» (из вступительного слова Молотова на съезде), начался новый этап коллективизации и наступление на единоличника. Сталин на съезде заявил: «Дальнейший процесс коллективизации представляет процесс постепенного всасывания и перевоспитания остатков индивидуальных крестьянских хозяйств колхозами». Бухарин клял себя за преступления перед партией и рабочим классом в том, что он шел «против чрезвычайной и заостренной борьбы, которая потом вылилась в лозунг ликвидации кулачества как класса... против решительного курса на переделку мелкого крестьянского хозяйства...». Жданов на том же съезде предложил покрыть Волгу электростанциями, а Киров восторженно говорил о «Беломорбалтканале»: «Такой канал, в такой короткий срок, в таком месте осуществить — это действительно героическая работа, и надо отдать справедливость нашим чекистам, которые руководили этим делом, которые буквально чудеса сделали». (И ни слова о сотнях тысяч погибших и замученных здесь людей палачами из ЧК, о которых уже шла речь!)

[2] Учреждение в 1930 году Главного управления исправительно-трудовых лагерей (ГУИТЛАГа) во главе с Г. Ягодой и было предназначено в основном для ликвидации крестьянства как класса.

С июня 1934 года начался погром последних крестьянских хозяйств, еще не охваченных пожаром коллективизации. Тогда насчитывалось 9 миллионов личных крестьянских хозяйств (35 процентов всего крестьянского населения), обрабатывавших 15,7 миллиона зерновых посевных площадей (около 15 процентов всех площадей). Эти хозяйства составляли золотой фонд страны. К 1937 году все они были в основном ликвидированы: одна часть крестьян была загнана в колхозы и совхозы, другая — выслана в различные спецпоселения, а какая-то часть — скрылась и пополнила города, промцентры и стройки. Жертвы крестьянства в тот период составляли многие миллионы. Вспомним, как в августовские жатвенные дни 1937 года брали на Алтае по этой «линии» отборных хлеборобов прямо со жнеек. И то же делалось по всей многострадальной России. Так за 20 лет завершился тотальный погром крестьянства. А что означают эти страшные слова?

Крестьянство — это соль народа, его плоть, ядро его души и духа. И что же сталось с этими солью, ядром? Прошло 23 года после 1917-го, а прироста населения не произошло. А где те 400 миллионов жителей России, которые в 1913 году прогнозировались демографами на 1985 год (чего так боялись тогда западные обозреватели)? Минул 1985 год — и вместо 400 миллионов ныне государство насчитывает лишь 280. Недостает ни много ни мало 120 миллионов душ! А коренные жители — русские, становой хребет всего Отечества? К тому же 85-му году их должно было быть, по прогнозам, не менее 260 миллионов душ, а имеем, по переписи 1979 года, около 137 миллионов. Огромная, горькая и печальная недостача! А что сказано об азиатских пространствах, которые заполнялись Переселенческим управлением,— нынешние Алтайский и Красноярский края, Читинская, Амурская, Иркутская, Кемеровская, Омская, Курганская, Тюменская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Кокчетавская, Кустанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Семипалатинская, Целиноградская, Тургайская области? В канун революционных событий там уже проживало 23 миллиона человек, а в 1979 году лишь около 26 миллионов. Более чем за 40 лет прибыло населения всего 3 миллиона! Видим, что и на азиатских землях народ фактически не прирастал.

О внутренних причинах замятни сказано было много, а о внешних — только мельком. Но, как бывает в истории, эти силы действуют рука об руку.

В Копенгагене незадолго перед нашей небывалой смутой был создан «Институт по изучению последствий войны», где была провозглашена идея о том, что «ключ к будущей мировой истории лежит в разгроме исторической России». Тот «институт» организовал и возглавлял международный торговец и банкир — шулер Израиль Лазаревич Гельфанд-Парвус — он же Молотов, который вместе с Троцким разжигал смуту в С.-Петербурге в начале века. А сокрушение исторической России было невозможно без погрома ее крестьянства и разорения ее сельского хозяйства. И для того были использованы и международная пропаганда, и террор государственных деятелей и верных долгу соотечественников, и финансирование смуты, и слияние двух фронтов — внешнего и внутреннего — в один фронт. И успех был достигнут: именно наше крестьянство попало не только в большую отечественную замятню, но и в мировую. Только с 1902 по 1912 год террористами «от революции» было зверски убито около 1000 представителей власти, занимавших ведущие посты в государстве и его правоохранительных органах, и более 1200 из них ранено. И сторицей окупились зарубежные капиталы, вложенные в раздувание в России такой замятни, которая вылилась в небывалую смуту и погром. Ясно, что ограбление Отечества и особенно его вековых народных святынь, всего его культурного наследия, начатое в 20-е годы и потянувшееся на десятилетия, являлось лишь способом обогащения тех международных политических авантюристов и финансовых заправил, которые знали, зачем они делают замятню и смуту в России. Вспомним: по Брестскому миру Россия, кроме потерянной территории, должна была заплатить Германии контрибуцию в 6 миллиардов рублей. Выплатила, как известно, около 1 миллиарда — частью зерном и другими товарами, частью золотом, которое потом ушло на уплату Германией контрибуции странам Антанты. А откуда брались огромные средства на подготовку и проведение многих революций в других странах? Как в 1914 году втянули Россию в войну, чтобы помешать ее историческому развитию, так сорок лет она и продолжалась, не стихая, охватывая всю страну, все населенные веси и грады. И как тут не вспомнить пророчество Ф. М. Достоевского, высказанное героями его романа «Бесы»: «...чрез разные подкидные листки иностранной фактуры, сомкнуться и завести кучки с единственной целию всеобщего разрушения, под тем предлогом, что как мир ни лечи, все не вылечишь, а срезав радикально сто миллионов голов и тем облегчив себя, можно вернее перескочить через канавку... к исполнению великой задачи». И в сорок лет действительно поднажали и срезали эти сто миллионов голов! Народное тело государства, разлагаясь, сгорело, как на гигантском костре, в социальной смуте, во всеохватном погроме, в уму непостижимых растерзаниях и в небывалой по ожесточенности войне. В том сорокалетнем лихолетье именно крестьянство испытало на себе все ужасы травли, гонений и убийств, которые оно не знавало за всю историю Родины.

Историческая Россия испила горькую чашу смертельного напитка, от которого она с трудом выздоравливает. Ныне она,

протирая глаза, видит все ужасы погружения ее — некогда нравственно-духовной и правдоносной, могучей и богатой — в пропасть бездуховности и безнравственности, бесправия и нищеты. Она не только видит, но и глубоко осознает, как пытались и еще пытаются использовать ее как колонию, разворовывая ее ресурсы, стремились и еще стремятся грабить ее народ, растаскивать ее культурное наследство, т. е. господствовать над ней во всех отношениях. Вот чем для России обернулось то, что она и ее народ пренебрегли опасностью внешних разрушительных сил.

Более 400 лет Россия стояла непоколебимо, избегая и не допуская земской и всенародной смуты, которой могли бы воспользоваться ее ненавистники. Но вот в XX веке она позволила сделать и то, и другое. И это второе ее историческое наказание за беспечность, забвение законов нравственно-духовной жизни, за нелюбовь к Родине и Отечеству. Это последнее планетное событие, случившееся с Россией, как и первое, происшедшее с ней в XIII веке, чрезвычайно грозно и судьбоносно для ее будущего. И хватит ли у нас мужества, воли, терпения, знания, упорства, чтобы вывести Россию из той небывалой в ее истории грозы? Надо вывести, ибо вместе с закатом России рухнет весь мир, созданный за последние почти 2000 лет Христианской культуры. Потому, пока не поздно, пора остановить великую замятню духовно, нравственно, физически, законно, государственно, повсеместно, как хотите, и начать с того, с чего начали в середине XIX века, с чего начал П. А. Столыпин и его сподвижники, с чего пошел бы А. В. Чаянов и его соратники. Два-три года, может быть, пять лет нам отпущено, чтоб поправить дело.

КАК НАМ СМИРИТЬ ВЕЛИКУЮ ЗАМЯТНЮ!

Но что же не дало сельскому хозяйству вовсе погибнуть? Полный ответ на этот вопрос еще не искали, но одно несомненно, что оно чудом уцелело, и спасла его только приусадебная земля, личные подсобные хозяйства, та, пусть неполная, личная собственность на землю, которая является его неотъемлемым нравственным достоянием.

Около 18 миллионов в довоенные и 16 миллионов в шестидесятые годы крестьянских семей, имевших приусадебную землю, которую они считали в глубине души своей, неотчуждаемой, передаваемой детям, спасли народ от погибели. И с каким бы упорством партийная и государственная деятельность ни пыталась убить эти личные хозяйства, прикрываясь якобы социальными благами, ей это не удавалось. Потому что они есть сама жизнь народа, которую он берег как зеницу ока. В наши дни личные хозяйства, насчитывающие 52 миллиона участков, вместе с садовыми дают 24 процента всей сельскохозяйственной продукции, а по картофелю, мясу и молоку свыше 50 процентов. Тем и держимся ныне, как и держались за все десятилетия смуты и порухи. А убери мы эти хозяйства — настанет нам конец!

И конец этот может оказаться близким! Вместе со сходом с исторически выверенного, истинного пути крестьянства покатилось туда же сельское хозяйство, а за ним и все народное хозяйство. Наше государство в своей истории с трудом дотянуло до 90-х годов XX века только потому, что оно все же не железнодорожный состав и не автопоезд, которые сходят с пути в пропасть в считанные секунды, но сложнейшее нравственно-духовное и материальное образование планетного характера, которое может катиться по наклонной плоскости к своей гибели десятки лет, а то и значительно больший срок. И что в таком огромном образовании является главной укрепой и что в нем следует хранить как зеницу ока?

Уже говорилось о том, что в историческом бытии народа крестьянский и земельный вопросы являются самыми главными, от решения которых зависит жизнь или смерть государства. Разрешил ли эти вопросы наш народ? Из приведенного повествования стало ясно, что в 1906—1916 годах он стоял близко к разрешению этих судьбоносных вопросов. На протяжении же последних 70 лет он не только их не разрешил, но еще более запутал, затемнил, не разъяснил, т. е. сделал неподъемными. Крестьянский строй под накатами внешних и внутренних сил стремительно падал вниз, разваливаясь.

Как-то в 60-е годы, в разгар хрущевских потуг исправить сельское хозяйство, на совхозном собрании в селе Топольном спросили столетнего деда Афанасия Осиповича Зиновьева, тоже записанного в 30-м году в «кулаки», сосланного в ссылку в Нарымский край и спасенного оттуда вместе с семьей орденоносным сыном Макаром, о том, верит ли он теперь в подъем крестьянского дела? Дед Афанасий Осипович ответил: «Ничего у вас не получится и дальше все полетит прахом в тартарары. Крестьянствование — это святое дело и его надо справлять Духом Святым, духовными людьми, а не козлищами, как вы здесь сидящие!» Я много раз думал над высказыванием этого старожила, рожденного в послереформенное время Александра II, — и всякий раз находил в нем великую правду, без которой не ожить, не оправиться от недуга ни крестьянину, ни земле.

Крестьянин — это прежде всего крещеный человек, а уж потом мужик, земледелец или земледел, селянин, поселянин. Встарь крестьяне носили разные житейские названия — люди, сироты, серебренники, рядовые, исполовники, изорники, огородники, кочетники (рыбаки), ролейные закупы (поселенные на чужих землях), черносошные (на общинных землях), черные люди, огнищане и другие. Но все они были крёсы, вскресы, т. е. люди, способные к воскресению, к оживанию в мирском значении. Никогда ни о ком из них не говорилось, что «не быть ему кресу, не ожить, не оправиться от недуга, не властвовать, не исполнить воли своей». Крестья́нство — это прежде особое состояние духа крестьянина, а уж потом его звание, дело, землепашество. Крестьянствовать — это прежде духовное делание, а уж потом земледелие, хлебобобство, животноводство. Потому крестьянствовать значило то же самое, что и кресто́вать — вступать в крестовое братство и тем оживать в миру. Потому быть крестьянином значило то же самое, что быть крестоно́сцем — носить не только нательный крест, но и крест мирских бедствий. О том и говорилось: «крестья́нину кресто́вать — грехи мира поднимать!»; «за грехи отвечать — крестьянину не бедовать»; «родился, не крестился, не умер и не живет?»; «жил не крестьянин, умер не родитель»; «жил не сосед, помер — не крестьянин»; «не крестился — лучше бы не родился!». Крестьянин, крестьянство, крестьянствовать — прежде всего состояние духа народа, его *духовное единство, его никем и ничем не расторжимый Союз!*

Стало быть, крестьянин — это тот, кто постоянно нес тяжкий крест не только бремени кормления народа, но и сохранения его нравственно-духовного здоровья, оберегания святости памяти народной и духовного стремления к достижимой на земле абсолютной правде. Эта правда раскрывалась только духовным подвигом! Тот подвиг — вот что такое жизнь крестьянина, крестьянства, вот что такое крестьянствовать! Тот подвиг проявлялся в незатухавшем горении, радении, нестихавшем творении крестьянской души! Он прорастал в том, кто действительно святил, знал, умел, трудил, преображал, прибавлял! В житии крестьянина всегда лежало, как самое изначальное, святительство земли своей, которая и откликалась на него неисчислимыми дарами. Отсюда проистекал крестьянин как умелец, знаток, художник, труженик. Земля была для него не столько мастерской, сколько Святилищем — Храмом! Вне такого Святилища не было и не будет крестьянина! Крестьянин не помышлял жить на земле, не освящая ее постоянной молитвой. Он не начинал сев хлебов без того же его освящения. Он не выгонял скот на пастбище, не строил дом, не клал в нем печи, не сооружал сарая, колодца, овина, гумна, мельницы, моста без того же их освящения. Он не допускал и рождения новой жизни растений и животных, опекаемых и поддерживаемых им, без того же святого действа. И то, что теперь нередко любого работника, причастного к сельскому хозяйству, называют именем крестьянина, — не может не вызывать горькую обиду за принижение великого значения смысла того имени. В наши дни истовая крестьянская душа догорает только в тех, кто, умирая на холодной печи, оставаясь в своем заброшенном селении, кто, приближаясь к смерти, не оставляет своих родных пепелищ — святыни — земли, политой потом и кровью, горючими слезами многих поколений, и могил своих дедов и бабушек, отцов и матерей. И кто знает, сколько таких последних крестьянских из могикан лежат на остывших печах, непохороненные годами!

В главных чертах крестьянствование и теперь выступает как нерасторжимая совокупность неравных, но равноценных, процессов, а именно: духовных как проявление всеединого, надмирного приятия мира; нравственных как проявление любви, долга и дисциплины; художественных как проявление красоты и качества бытия вещей; познавательных как стремление к изучению тех законов, которые правят вещами и их судьбою; телесно-мускульных как творение вещей и одушевление их бытия; общественных и правовых как обеспечение организации совместной жизни и требование верного распределения правовых полномочий и обязанностей.

Во все эти никем и ничем не расторжимые и не разъединяемые телесно-душевно-духовные процессы и составляют как в прошлом, так и ныне первооснову крестьянствования. Внутренней, онтологической сущностью его выражения является личность крестьянина, его семья, сообщество семей — род. Все они — соборные личности. Эти неизменные объекты, лежащие в основе крестьянства и крестьянствования, как сложного процесса, есть органически живые единства, те фундаментальные, глубинные ячейки, где прядутся нити, проходящие сквозь души людей и связующие их в соборность. Именно в них возникают первичные неразрывные узлы духовного брачно-семейного и национального единения, а также памяти, общей судьбы множества людей.

Но эти органические, онтологические единства, слагающие крестьянство как целое, окружены как бы другими внешними единствами, столь же необходимыми для первых. Их неразрывная совокупность есть все время живущая, пульсирующая «плазма», в которую погружено сосредоточие крестьянского мира — личность крестьянина, его семья, ее сосемья.

Это сосредоточие крестьянского мира непосредственно окружено нравственно-духовным слоем, истекающим из его онтологии и включающим три подслоя — духовный (взаимоотношение с высшим миром), нравственный (любовь, долг, дисциплина), художественный (улучшение мира, качество и красота вещей). Из него истекает эколого-хозяйственный слой, который включает также три подслоя — познавательный (знание экологических законов), хозяйственный (умение взаимодействовать с вещами, землей), экономический (бережение вещей, аскетизм, самоограничение, обилие, достаток). Последний общественно-правовый слой обнимает предыдущий, пронизывая его, и состоит тоже из трех подслоев — общественного (совместная жизнь и труд), правового (распределение прав, полномочий и обязанностей) и социального (справедливое распределение продуктов труда, ограждаемое законом). В повседневной жизни эти внешние слои и их подслои выступают как видимые устои и подпоры глубинного сосредоточия крестьянского мира. *Глубинное духовное ядро крестьянства — личность крестьянина, его семья, — и его внешние устои и подпоры составляют суть крестьянского строя в живом, а не безжизнен-*

ном, отвлеченном его понимании.

Как видим, во главе угла всего крестьянского строя лежат трудовая крестьянская личность и ее семья, возникшие на заре человечества и пережившие всю историю и все ее потрясения, показав невиданную стойкость и выживаемость. Они есть то, что вечно и непреложно, как само мироздание, что не подвержено процессу полного разрушания, что хранится всетворящим духом!

Как только хотя бы один из указанных устоев крестьянского строя или хотя бы одна его подпора разрушаются, выводятся из жизни, так начинается тот процесс, который правильно называют раскрестьяниванием. Наша страна давно переживает именно такой кризис! Но полный крах крестьянского строя наступает тогда, когда делается покушение на святая святых — на жизнь его глубинного духовного ядра — личность крестьянина и его семьи. Тогда наступает гибель народа, государства, Родины, Отечества! Раскроем это явление более подробно.

Крестьянствование и крестьянский строй возможны только тогда, когда есть подлинная личность крестьянина как духовного существа. Духовное понимание человека-крестьянина видит в нем самостоятельного носителя веры, любви и совести. Крестьянин — творческий центр, и как таковой нуждается в свободе и заслуживает ее. Он есть самостоятельный субъект права и правосознания, он есть живая основа семьи, Родины, Отечества, нации и государства, источник самой культуры, нравственности, политики, труда и хозяйства. Вот почему безумно гасить этот творческий очаг на земле, ибо обойтись без него невозможно! Давно известна истина, что государство существует до тех пор, пока личность заботится о справедливом и правильном использовании своего имущества и после ее смерти в лице наследника, который должен воспринимать, оберегать и производительно использовать наследие предков, всего прошлого. Непрерывность имущественного владения, связь наследователя с наследником основаны на той идее, что жизнь и деятельность нового поколения есть естественное продолжение жизни и деятельности отошедшего поколения, что отцы продолжают жить в детях. На том и устанавливается имущественное преемство. Если закон имущественного преемства или его наследования не соблюдается в государстве, то оно и его народ оказываются в пропасти разложения, нищеты, голода, бедствий и даже смерти. И именно такую трагедию пережил наш народ и еще переживает!

Но по какому праву нашей стране навязали идею о том, что крестьянин не является духовным существом, а только материальной величиной, не творческим центром, а рабоче-мускульным, не самостоятельным субъектом прав, а зависимым объектом, подлежащим властным и неумолимым распоряжениям. Такой человек уже не есть крестьянин! Ему нужна не вера, а сообразительность, не творческая инициатива, а дисциплина, понукение и палка, не любовь, а классовая вражда, не совесть, а классовое самосознание. И результаты появления такого человека — подневольного, злого и пошлого раба — очевидны, о них много говорилось выше. Такой озверевший духом человек не может созидать, а только, погружаясь в замятню и следующую за ней смуту, устраивает погром хозяйства и развал государства.

А огромное количество энергии, которое растрачивалось и еще растрачивается для того, чтобы осуществлять хозяйственное и культурное «всепредвидение», «всеучет», «всеруководство»? Разве это не попытка заварить в кипящем котле всенародной муки искусственного человека и столь же искусственную и ненужную жизнь для того, чтобы руководить всеми поступками и делами личности? Такая попытка противоестественна и безнадежна! Разве не бесплодна и попытка растрачивать огромные силы на возвеличение этого опыта в мировом масштабе, на то, чтобы внушить другим народам будто бы именно этот безнадежный способ хозяйствования и есть самый лучший и перспективный? И эта попытка не только бесплодна, но и гибельна!

Человеку дано священное право вкладывать свою жизнь в жизнь земли, в жизнь непосредственно окружающего мира как его живого дополнения, что и должно ограждаться законом, правопорядком и государственностью. Не понимать этого, препятствовать этому — продолжать приравнивать людей к каторжникам или хозяйственным кастратам.

Сделаем же так, чтобы вся земля с ее недрами, грунтами, почвами, водами, лесами и иными живыми существами (т. е. в широком ее понимании) принадлежала суверенному государству, как Верховному собственнику, утвержденному историческими традициями и конституционным правопорядком. А тот Верховный собственник — суверенное государство — должен передавать землю по нисходящей линии в сособственность самоуправляемым крестьянским сообществам в лице их полномочных республиканских (автономных), губернских (краевых), уездных (областных), волостных (районных), местных (общинных) земских съездов и сходов крестьянства. Местный сособственник земли и должен передавать ее в собственность трех видов: наследственную личную, принадлежащую одному домохозяину; наследственную общую, принадлежащую семье, нескольким лицам, не состоящим в родстве, совместно родителям и сыновьям или сестрам; общественную, принадлежащую кооперативу, сообщине, объединению. Приусадебные земельные участки крестьян передаются в наследственную личную или общую собственность. Губернские, уездные, волостные и местные сособственники земли в лице их земских съездов крестьян осуществляют распределение земли по землепользователям и землевладельцам соответственно по **Укрепительным Постановлениям, Удостоверительным Постановлениям, Владенным Постановлениям и Первоначальному Приговору. Республиканский** сособственник в лице его земского съезда крестьян имеет право осуществлять соверховное общее распределение земли и контроль за землепользованием и землевладением, а также решать задачи охраны земли и восстановления ее плодородия и определять стратегию налоговой политики. В законах необходимо определить, что домохозяева, семьи и не состоящие в родстве группы лиц, укрепившие за собою землю в наследственную личную и общую собственность могут выходить из местной сообщины как полноправные, нестесняемые, свободные ее собственники, но не должны покидать эту сообщину как сособственники общественной земли и как члены административного и земского самоуправления крестьян, ибо они должны нести общественные обязанности в соответствии с постановлениями земских съездов крестьян. Земля должна облагаться рентными платежами по установлениям губернских земских съездов крестьян, подтвержденными республиканскими земскими их съездами, как плата за пользование самым драгоценным народным достоянием. Потому кредит на рентные и налоговые платежи наследственным, общим или общественным собственникам обеспечивается исключительно крестьянским земельным банком, а залог земли частным лицам, госорганизациям и учреждениям, а также кооперативам категорически запрещается. Все виды собственности и все уровни сособственности на землю должны иметь равноценные юридические права, но преимущество в этом вопросе должно отдаваться наследственным личным и общим собственникам. Крестьянские хозяйства, основанные на наследственной личной, общей или общественной собственности на землю, должны иметь право добровольно объединяться в крупные формы производств для решения общих сельскохозяйственных и иных задач волости, уезда, губернии, республики на началах кооперативного движения.

Ныне разговор идет о допущенных «ошибках» по отношению к крестьянству в 30-х годах, о личном интересе крестьянина, об аренде земли и арендаторах, о крестьянских хозяйствах и сельскохозяйственной кооперации, т. е. о таких категориях сознания и действия, за которые более полувека крестьяне, и не только они, подвергались жестоким репрессиям.

И глядя на все, что сейчас происходит с крестьянскими, земельными делами и сельским хозяйством, невольно приходишь к выводу: в нас сидит глубоко запрятанная чудовищная болезнь, запрещающая отдавать землю в нравственную ответственность личности крестьянина на правах собственности. Это настоящий социальный и нравственный синдром, который страшнее аналогичного синдрома времен крепостного права. Государственное крепостничество крестьян так жестоко поразило нас, как никогда не бывало в истории. И пока мы не излечимся от этой болезни, не избавимся от этого недуга — не выздороветь нам духовно, нравственно и хозяйственно. Величие П. А. Столыпина как раз и состояло в том, что он видел эту болезнь и смело пытался ее лечить.

Великий опыт нашей земледельческой нации говорит о том, что арендованная наследственная земля у государства даст высокие результаты сельского хозяйства; арендованная земля у того же государства на долгосрочной основе — неполные его результаты; арендованная земля у колхозов и совхозов — еще меньшие его результаты; отчужденное «владение» землей на коллективных началах — имеет, как мы видели, гибельные последствия для сельского хозяйства. А вот собственная наследственная земля, переданная личности крестьянина и его семье, даст в сельском деле результаты самые выдающиеся и совершенно недостижимые в других типах землевладения и землепользования. И вот даже таких очевидных шагов в разрешении земельного вопроса мы пока не сделали. А ведь вопрос — самый неотложный, и в наши дни он более непрояснен, чем в достолыпинские времена. Что касается самого важного и еще более судьбоносного вопроса, связанного с земельным, — крестьянского, то он даже не приблизился к разрешению. Похоже, что именно в последнем вопросе государственная и общественная деятельность бродит как в потемках!

Необходимо дать простор свободному развитию не только личности крестьянина и его семьи, но и ее сосемьи, сообществу ее сосемей — роду родов, которые суть соборные личности, строящие соборность народа, его духовный организм. В крестьянстве есть такие вопросы, которые и могут решаться как раз только такими единствами — личностями. И здесь мы переходим в область надличностного и надсемейного крестьянского мира, т. е. в подлинную *сообщину*. Главной, внутренней, онтологической сообщиной, питающей все другие, является нравственно-духовная сообщина. Именно в ней крестьянский мир переходит в «мир церковного прихода» для творения его духовного единства — высшего братского союза, т. е. туда, где Абсолютная Правда всегда стереглась.

А без той Правды не было и не будет крестьянского мира как такового! И Правда та светилась нездешним светом, обогревалась нездешним теплом из народных вековых Святынь — Храмов. И когда Она вновь засияет тем светом, и когда она вновь загреет тем теплом, тогда и наступит оттепель в крестьянском сердце, тогда и отпустит его жуткая тоска, тогда и придет полнокровное, искони чаемое решение крестьянского вопроса, полное исцеление крестьянства и народа. И восстановление, и создание храмов и монастырей по всем сельским весям и градам, тому будет прочной порукой. Дело тут должно касаться не только малых сельских церквей, но и всенародных святынь и прежде всего — крестьянских, таких, как Храм Христа Спасителя в Москве и храм Александра Невского в Саратове. Пусть возгорятся своими куполами и крестами ныне обезображенные берега великих рек Отечества — Волги, Камы, Оки, Дона, Днепра, Кубани, Север-

ной Двины, Западной Двины, Невы, Волхова, Немана, Иртыша, Енисея, Оби и других. Вот в покой этих храмов и занесем навсегда списки убиенных крестьян за все десятилетия лихолетья насильственного переустройства сельского мира для столь же вечного их упоминания.

Не долог тот день, когда выздоравливающему крестьянству, как и всему народу, нужно будет, как никогда, и красота окружающего мира, и полнота духовного мира. И тот, и другой мир созидаются духовными силами, которые суть святость мышления, святость чувства и святость воли, как и святость всей жизни! Эта святость как чудодейственный нектар невидимыми струйками разливалась в тело народное, в характеры, в поведение и в строй мыслей людей, где бы они ни находились и что бы они ни делали. Откуда изливался этот нектар? Монастырь — вот тот источник, из которого истекал тот нектар! Во всякого соотечественника, входившего в него с благоговением, вселялась надежда на нравственное его возрождение, и не только его, но и земли, по которой он ходил, но и всех тварей, на ней живших. Всякий тот соотечественник, пребывавший в нем, пусть самыми малыми чувством и мыслью, становился центром мирового согласия и умиротворения. И выходя из монастыря, он нес в себе начатки этого центра в грешный мир несогласия и вражды, преобразуя его хотя бы в мыслях. В суете и бессмыслице, которые накатывались на общественный и материальный мир, монастырь выступал как духовный очаг смысла жизни, как пристанище небесного гражданства, без которого не бывает земного гражданства. Недаром же считалось, что монастыри были академией и думой, судом и законом. Неспроста в них обсуждались национальные, гражданские и общественные дела, вершился суд каждому царствованию, общественному и государственному движению. Не от лиха в них хранилась память прошлого и зарождалась надежда на будущее. Не от праздности в монастырях шла самая важная, самая плодотворная творческая работа, без которой вся жизнь культурная замерла бы!

Таково было значение монастырей для народа, государства, Родины, Отечества! Да, скажут, было и на том кончилось! Нет, не только было, но и будет во веки веков! Ибо: они были и будут духовным сердцем народа, святилищем Абсолютной Правды и духовной здравницей всего сущего на земле! А как жить без того сердца, без той Правды, без той здравницы? Невозможно и погибельно! И когда в каждой области поднимется хотя бы одна такая здравница, тогда можно будет сказать, что дело наше пошло на поправу.

И уж более впредь и никогда, законно, нравственно, духовно всей волей, всем чувством, всем сопротивлением и налеганием не допустим: никаких кабальных налогов на крестьян, никаких растратных строек и производств под видом помощи сельскому хозяйству, никаких отводов земель без спроса и разрешения крестьян, никаких затоплений и подтоплений земель, сел и деревень (а те, что затоплены и подтоплены — вернуть к жизни!), никаких сверхмощных, тяжелых и дорогостоящих машин и орудий, губящих плодородие земель и вводящих в нужду крестьян, никаких ядохимикатных производств, убивающих все живое на земле, никаких агропромов и комиссий с замаскированной деятельностью тех же агропромов, никаких ведомств-нахлебников типа известного Минводхоза, а только — государственная служба землеустройства и землеотвода, — вот и все! Одно дело — строительство элеваторов и зернохранилищ, холодильников и складов для сбережения продуктов сельского хозяйства, другое — абсурдные, баснословные по стоимости стройки, типа каналов Волга — Чограй, Волга—Дон-2, Волга—Урал и им подобных!

И как бы ни трудно было нам все это начинать, вызволять страну из потрясений и руин, но в том спасение Родины и Отечества.

Прислушаемся к гласу несчастного народа и его крестьянства, к тому, что они давно ропщут и уже вслух говорят. И я вместе с ними тоже давно ропщу и также давно им громко говорю вслед.

Разве не надоело народу, а крестьянству в особенности, не иметь собственных земли, домов и усадеб, машин и орудий, своих неразлучных домашних животных, и столько, сколько он хочет, не быть собственником наработанных продуктов? Разве не постыдно ему стало заглядывать в рот бесчисленным «учителям» и «устроителям» его жизни, т. е. быть не самим собой, свободным, самостоятельным и самодеятельным, а зависимым, подневольным рабом? Разве не столь же постыдно ему жить без племени и рода, без памяти и исторических корней, пешкой в игре безнравственных страстей разнузданного и деспотичного «начальства» в лоне всепоглощающего «коллективизма», где никто ни за что не несет никакой нравственной ответственности? Разве не опостылело ему быть связанным по рукам и ногам, парализованным, засаженным в «загон» без свободы творить свое живое дополнение — частную собственность и окружающий мир? Разве не достало ему быть не в соборности, слагаемой личным духом каждого, а только в перемалывающем все живое материальном механизме, питаемом материальной нечистью и бездуховной нечестью? Да, надоело, постыдно, опостылело, достало! И он рвется к материальному освобождению, к нравственному и духовному свету! И пока мы не пойдем навстречу к этим его чаяниям, не будет сдвигов к улучшению на Родине, в Отечестве, в крестьянстве, в сельском хозяйстве.

И если наш народ не способен к сохранению и совершенствованию крестьянского строя, то не жить ему под солнцем! Но если он способен к тому, то будет вечен! Надеюсь, что и село на далеком Алтае, на моей малой родине, также восстанет к жизни тем же творческим духом народа! Быть по сему!

История Отечества: документы и судьбы

История России XX века еще не написана. Но существуют живые свидетельства современников, речи, послания, статьи участников событий. Это как бы фрагменты будущей истории, пульсирующий живой кровью эпохи пунктир, по которому историографам предстоит восстанавливать общую картину столетия. Стремясь внести вклад в этот труд, осуществление которого требует коллективных усилий, редакция журнала открывает новую рубрику: «История Отечества: документы и судьбы». В ближайших номерах будут опубликованы «Послания» Патриарха Тихона и отрывки из работы И. Солоневича «Народная монархия».

ИГОРЬ ДЬЯКОВ

ЗАБЫТЫЙ ИСПОЛИН

В апреле 1906 года самый молодой губернатор России, саратовский, получил телеграмму из Петербурга, подписанную государем. В ней содержалось предложение стать министром внутренних дел. Петр Аркадьевич Столыпин ответил царю немедля: «Это против моей совести, ваше величество. Ваша милость ко мне превосходит мои способности... Я не знаю Петербурга и его тайных течений и влияний». Но, став министром, а затем и возглавив правительство России, он изучил эти «течения и влияния», а когда надо было, достойно противодействовал им, во всем делая ставку на главное: на крестьянскую Россию. На крестьян как опору государства, подточенную начиная с деяний «революционера на троне» — Петра I, закабалившего бо́льшую часть населения страны по рецептам западноевропейских «гуманистов», неудачников у себя в отечествах, с готовностью впившихся в могучую, преданную и предаваемую престолодержателем державу.

«Поднять нашу обнищавшую, нашу слабую, нашу истощенную землю, — говорил Столыпин. — Земля — это залог нашей силы в будущем. Земля — это Россия!». Человек с подобным взглядом на родину впервые за долгое время появился на высших административных должностях государства. Петербургский период — период дворянской диктатуры во всех сферах — от правительственной до церковной — вполне мог закончиться появлением такой фигуры.

У прадеда П. А. Столыпина, Алексея Емельяновича, было шестеро сыновей, среди которых Александр (адъютант Суворова), и пять дочерей, старшая, Елизавета— бабушка Лермонтова. Сыном Дмитрия Алексеевича Столыпина, генерал-майора, был Аркадий Дмитриевич, генерал-адъютант, герой севастопольской обороны, женатый на княжне Наталии Михайловне Горчаковой.

Дед П. А. Столыпина по материнской линии князь Михаил Дмитриевич Горчаков был главнокомандующим во время Крымской войны. Как вспоминает сын П. А. Столыпина Аркадий Петрович, сохранилась фотография, сделанная 29 октября 1855 года: рядом с царем — князь Горчаков. Они в открытой коляске выезжают из Бахчисарайского дворца для осмотра укреплений северной стороны Севастополя. «Я вначале недоумевал, — пишет А. П. Столыпин, — почему, вопреки всем правилам, прадед сидит не слева, как полагается, а справа от царя. Оказывается, Горчаков был глух на правое ухо и царь посадил его справа от себя, дабы не ставить в неловкое положение и иметь возможность продолжать с ним беседу...»

Далее сын Столыпина вспоминает еще один эпизод — инцидент во время коронации в кремлевском соборе. Горчаков держал на бархатной подушечке державу рядом с монархом, но от слишком густого ладанного дыма неожиданно упал в обморок, выпустил из рук подушку, и держава покатилась. Многие ужаснулись, увидев в этом грозное предзнаменование. Но Александр II, мало заботившийся о собственной судьбе, после церемонии успокоил Горчакова: «Не беда, что свалился. Главное, что стоял твердо на полях сражений». Дело в том, что 16-летним мальчиком Горчаков пошел добровольцем в армию и был тяжело ранен на Бородинском поле. Его племянник Лев Толстой, создавая образ Пети Ростова, частично использовал биографию своего дяди — то есть деда П. А. Столыпина.

Итак, 2 (14) апреля 1862 года у Аркадия Дмитриевича и Наталии Михайловны Столыпиных родился сын Петр.

Впечатления детства П. А. Столыпина связаны с подмосковным имением Середниково, где еще отец его мальчиком играл со своим сверстником Лермонтовым. В 1884 году он окончил естественный факультет Петербургского университета и поступил на службу в министерство внутренних дел. Через два года был причислен к министерству земледелия и государственных имуществ. Затем Столыпин становится ковенским уездным пред-

водителем дворянства и председателем ковенского съезда мировых посредников. В 1899-м — предводителем дворянства и одновременно — почетным мировым судьей, через год — гродненским, еще через три года — саратовским губернатором...

Начало «думского» периода ознаменовалось принятием Основных государственных законов, в частности, гласивших: «74. Никто не может быть судим и наказан иначе, как за преступные деяния, предусмотренные действовавшими во время совершения сих деяний уголовными законами... 75. Жилище каждого неприкосновенно. Производство в жилище, без согласия его хозяина, обыска или выемки допускается не иначе, как в случаях и в порядке, законом определенных. 76 Каждый российский подданный имеет право свободно избирать место жительства и занятие, приобретать и отчуждать имущество и беспрепятственно выезжать за пределы государства...» Принятые в это время указы о печати, об обществах, союзах, политических партиях и собраниях были изданы как временные правила и продолжали действовать во весь думский период. Они, кстати, отменяли предварительную цензуру.

...В 1906 году Совет Министров во главе с С. Ю. Витте уходит в отставку, и Столыпин принимает портфель министра внутренних дел. 8 июля 1906 года последовал высочайший указ, согласно которому 44-летний Петр Аркадьевич Столыпин становится премьер-министром России, совмещая этот пост с полученным ранее министерским. В том же году он был «пожалован в гофмейстеры». 1 января 1907-го назначен членом Государственного Совета, а в 1908-м — статс-секретарем.

Незадолго до назначения премьер-министром Столыпин предпринимает попытки создать действенное коалиционное правительство. Попытки эти ни к чему не приводят. И не по вине Столыпина. «Почему кадеты — мозг нации, — спрашивал он Маклакова, — не хотят разорвать с революционерами?» И, переходя на шутливый тон, добавлял: «Кадет под столом жмет ножку Революции». Столыпин призывал Маклакова к сотрудничеству, но кадеты упорствовали. Ему настойчиво предлагали заведомо неприемлемые варианты: однопартийное правительство во главе или с Милюковым, или с Муромцевым. Кадеты не желали даже начать переговоры о коалиционном правительстве. Так и сложилась ситуация, при которой вечером 8 июля 1906 года было назначено правительство П. А. Столыпина, как наиболее способное продолжать переговоры с думским большинством, которое образуется после выборов во Вторую Думу.

Но и став председателем Совета Министров, Столыпин, по свидетельству Маклакова, первым стал искать личного контакта с ним и с другими правыми кадетами.

Роковая незрелость политических партий в России, находившихся во власти политических страстей, стала камнем преткновения для мирного созидания, заняться которым Дума смогла — и то относительно успешно — лишь при нечеловеческих усилиях премьер-министра. Формула основоположника государственной школы Б. Н. Чичерина — «Либеральные реформы и сильная власть» — была и формулой Столыпина. Формулой зрелости. Формулой ответственности.

Были и иные попытки найти общий язык с кадетами.

Когда Дума 201 голосом против 175 отклонила предложение решить вопрос о депутатской неприкосновенности депутата Озоля, принадлежавшего к думской фракции социал-демократов, на экстренном вечернем заседании, Столыпин в тот же вечер пригласил к себе четверых кадетских лидеров: Челнокова, Струве, Гессена и Маклакова. Он сразу спросил их: есть ли надежда на согласие Думы принять доказательства судебных властей об участии Озоля и его группы в подготовке вооруженного восстания?

Струве пытался убедить Столыпина, что «он требует от Думы того, чего она дать очевидно — не может...» Столыпин ответил, что, по его мнению, группа Озоля мешает Думе «не меньше, чем мне». И он заговорил, как пишет Маклаков, «совсем другим, прямо убеждающим тоном: «Освободите Думу от них, и вы увидите, как хорошо мы будем с вами работать... Препятствий к установлению правового порядка в России я никак ставить не буду». На это Маклаков ответил: «Ваше требование Вы предъявили в такой острой и преувеличенной форме, что его принять Дума — не сможет... я — самый правый кадет и — буду голосовать п р о т и в Вас (выделено Маклаковым)».

«Ну тогда — делать нечего, — сказал Столыпин, — только запомните, что я Вам скажу: это вы сейчас распустили Думу».

Молодой, статный, с характером необычайно выдержанным, чуждым какой-либо кичливости, блестящий оратор, Столыпин сразу же стал инициатором и проводником реформ и законоположений, поучительность которых, во всяком случае, опыт, а главное, результативность, производят впечатление по нынешним временам едва ли не сказочное.

Трудоспособность его была поразительна, как и физическая выносливость. Столыпин ложился спать в 4 утра, в 9 уже начинал свой рабочий день.

Главным делом его жизни стала земельная реформа. Делом, давшим всемирную и на все времена известность, но жизни стоившим.

К 1905 году в европейской России имелось 430 млн. га пригодной для земледелия почвы. 168 млн. из этого количества занимали государственные, удельные и церковные земли, 152 млн. — крестьянские надельные и 58 млн. — помещичьи. Остальные относились к владению 490 тысяч крестьян-собственников земли и 85 тысяч мещан, купивших землю. В распоряжении крестьян, таким образом, находилась лишь треть пахотной земли.

Крестьянский депутат Думы от Подольской губернии выразился достаточно ясно: «Мы просим, а нам не дают, стучим — не дают. Что ж, придется двери ломать и отбирать. Господа, не допустите двери ломать, отдайте добровольно, и тогда будет воля, свобода и вам будет хорошо, и нам».

Противники реформы находились в среде и крайне правых, и крайне левых.

Крайне правых Столыпин называл «маниаками безусловной и безграничной деспотичности верховной власти, которую они ложно определяют термином самодержавия», а по адресу левых говорил: «Я не буду отвечать на обвинение, что мы живем в какой-то восточной деспотии. Строй, в котором мы живем, это строй представительный, дарованный самодержавным царем и, следовательно, обязательный для всех».

Крайне левые выступали против указа по идеологическим соображениям: «Социал-демократы, — говорил, например, депутат Белоусов, — в интересах свободного развития классовой борьбы в деревне требуют отмены личной собственности крестьян, конфискации удельных и кабинетских земель...». «Чем же объясняется такая страстность оппозиции в желании закрепостить в общине русских крестьян? — задавались октябристы вопросом в «Голосе Москвы». — Дело в том, что крестьяне, становясь собственниками, естественно, перестают быть легким и благодарным для пропаганды материалом».

Со стороны правых известный масон М. М. Ковалевский предостерегал, что реформа «пойдет на пользу того мещанства, которое еще недавно, следуя народному говору, уничижительно называлось кулаками, мироедами, которое теперь зовут хозяйственными мужичками, которое мы скоро назовем помещиками».

Итак, крайности смыкались.

Кадеты заняли по земельному вопросу позицию «нейтральную»: ни принципиально против частной собственности, ни принципиально за распространение коллективной собственности. Комментируя, в частности, выступление кадета Ф. И. Родичева, «Голос Москвы» писал, что «говорить по серьезному вопросу, требующему солидных знаний и серьезной подготовки, это не то, что разливаться соловьем залетным на тему, не стоящую выеденного яйца, на каковом занятии удостоился в свое время г. Родичев славы российского Мирабо...»

Официальная «Россия» отмечала со своей стороны, что «его возражения против хуторов и интенсификации хозяйства есть область курьезов для развлечения читателей. Оказывается, что хутора у нас невозможны потому, что нет шоссейных дорог... Удивительно, как могли существовать до сих пор русские села и деревни, как они возникли, не ожидая, когда проложат между ними благоустроенные шоссе».

А что же сами крестьяне?

В Первую Думу был внесен проект 104 «трудовиков», в котором из «всеобщего поравнения» изымались крестьянские земли и решительно отвергалась община. Подавляющее большинство крестьянских депутатов поддержало именно этот проект, а не эсеровскую «социализацию земли», о которой пекся и масон Ковалевский.

Столыпин, выступая перед Думой, говорил: «Пока крестьянин беден, пока он не обладает личной земельной собственностью, пока он находится насильно в тисках общины, он остается рабом, и **никакой писаный закон не даст ему блага гражданской свободы**». Из Саратова в 1904 году он пишет царю: «Жажда земли, аграрные беспорядки сами по себе указывают на те меры, которые могут вывести крестьянское население из настоящего ненормального положения. Единственным противовесом общинному началу является единоличная собственность», которую, добавим, даже Гегель называл «объективированной свободой».

Став премьер-министром, Столыпин подключает к делу исключительно даровитого и энергичного А. В. Кривошеина, ведающего сельским хозяйством, рядом мер оживляет работу основанного в 1882 году Крестьянского банка и землеустроительных комиссий.

10 мая 1907 года Петр Аркадьевич выступает перед Второй Думой со своей знаменитой речью, положившей практическое начало аграрной реформе. Но еще в мартовской речи он доказывает, что «нравственная обязанность указать крестьянам... законный выход из их нужд» лежит на правительстве. «Необходимо дать возможность способному, трудолюбивому крестьянину, — говорил Столыпин в марте, — то есть соли земли русской, освободиться от тех тисков, от тех теперешних условий жизни, в которых он в настоящее время находится. Надо дать ему возможность укрепить за собой плоды своих трудов и предоставить их в неотъемлемую собственность. Пусть собственность будет общая там, где община еще не отжила, пусть она будет подворная там, где община уже не жизненна, но пусть она будет крепкая, пусть будет наследственная». «Отменяется, — продолжает премьер-министр, — лишь насильственное прикрепление крестьянина к общине, уничтожается закрепощение личности, не совместимое с понятием о свободе человека и человека труда». Иными словами, правительство гарантировало свободу выбора для подавляющего большинства населения России. Столыпин напоминает членам Думы, что «кровь... сельских людей перелилась в ваши жилы», и призывает их к созидательному труду, призывает при составлении законов для всей страны «иметь в виду разумных и сильных, а не пьяных и слабых». «Правительство, которое имеет убеждения, имеет идеалы, — говорит Столыпин в мартовской речи, — оно не только верит в то, что делает, оно делает то, во что верит... Это политика не узконационалистическая, не партий-

ная, а основанная на общем чувстве людей самых разных политических убеждений, но одинаково понимающих прошлое и будущее России». В целом призыв к разумной консолидации тогда был услышан.

10 мая Столыпин, исходя из точных и полных данных о положении в сельском хозяйстве, а не из абстрактной жажды «сбить накал революционной борьбы», обращается к здравому смыслу депутатов, говорит о мнимой справедливости равного между всеми распределения земли: «Все и вся были бы сравнены, земля стала бы общей, как вода и воздух. Но к воде и к воздуху не прикасается рука человеческая, не улучшает их рабочий труд... Я полагаю, что земля, которая распределялась бы между гражданами, отчуждалась бы у одних и предоставлялась бы другим местным социал-демократическим присутственным местом, что эта земля получила бы скоро те же свойства, как и вода и воздух. Ею бы стали пользоваться, но улучшать ее, прилагать к ней свой труд с тем, чтобы результаты этого труда перешли к другому лицу, — этого никто не стал бы делать. Вообще стимул к труду, та пружина, которая заставляет людей трудиться, была бы сломлена. Каждый гражданин, —а между ними всегда были и будут тунеядцы,—будет знать, что он имеет право заявить о своем желании получить землю, приложить свой труд к земле, затем, когда занятие это ему надоест, бросить ее и пойти опять бродить по белу свету. Все будет сравнено, но приравнять всех можно только к низшему уровню. Нельзя человека ленивого приравнять к трудолюбивому, нельзя человека тупоумного приравнять к трудоспособному».

Завершение речи на думском заседании 10 мая облетело весь мир и показало, что намерения премьер-министра России более чем серьезны: «Пробыв около 10 лет у дела земельного устройства, я пришел к глубокому убеждению, что в этом деле нужен упорный труд, нужна продолжительная черная работа. Разрешить этого вопроса нельзя, его надо разрешать. В западных государствах на это потребовались десятилетия. Мы предлагаем вам скромный, но верный путь...»

«Закон (9 ноября 1906 г. — И. Д.),— говорил Столыпин, — не ломает общины в тех местах, где хлебопашество имеет второстепенное значение, где существуют другие условия, которые делают общину лучшим способом использования земли».

Легко убедиться, насколько злонамеренными были и остаются попытки обвинить Столыпина в насильственном сломе общинного владения. Налицо — прямая подтасовка фактов.

Земельный указ 9 ноября 1906 года Столыпин начал применять фактически с января 1907 года, не дожидаясь прохождения законопроекта через законодательные палаты. Успех земельной реформы в ее осуществлении на местах вскоре доказал в глазах премьера, что реформа не была «выдумана чиновниками», что она «может быть ошибочной в частности», но «глубоко жизненная в своих основах» («Новое время», 3.10.1909). Как отмечал еще в октябре 1908 года «Голос Москвы», «пока партии витали в области теоретической разработки программ осуществления аграрной проблемы, практические политики, то есть правительство, действовали».

В ходе первого этапа реформы около 200 тысяч семей получили в личное владение около двух миллионов десятин земли. Крестьяне были освобождены от выкупных платежей, обрели право свободного выхода из общины. Они могли получать свободные казенные земли в европейской России, откупать участки у помещиков — с помощью ссуд Крестьянского банка. Процент был ничтожен, срок возмещения устанавливался в 55 с половиной лет. Уплату части процентов брало на себя государство. В то же время надельная земля не могла быть продана лицу другого сословия, не могла быть заложена иначе, чем в Крестьянском банке, не могла быть продана за личные долги, не могла быть завещана иначе, чем по соответствующим правилам. Воспрещалась концентрация в одних руках более шести наделов. Обычный размер участка у середняка равнялся примерно 14—15 десятинам. Все это, как нетрудно догадаться, вызвало глубокое беспокойство, быстро переходящее в ненависть, в тех сословиях и кругах, на чьих аппетитах ставился крест: от разного рода толстосумов до политиков, делавших ставку на стравливание крестьянских масс друг с другом.

Автор вышедшей в 1976 году в Брюсселе книги «Русская конституция 23 апреля 1906 года» американский исследователь М. Ю. Шефтель усматривает в деятельности Столыпина три ошибки: сохранение в силе чрезвычайных положений 1881 года, недостаточную, по его мнению, широту земельной реформы и «националистическую политику в Польше и Финляндии».

Тем не менее и он признает, что «новая система начала себя оправдывать, и Россия начала выздоравливать». Доказательством жизнестойкости России перед первой мировой войной он считает успешную мобилизацию, не вызвавшую никаких беспорядков в стране. (Тех, кто интересуется фактами подъема народного хозяйства в России перед 1914 годом, адресуем к Статистическому ежегоднику за 1914 год, а также к трудам компетентных советских историков-экономистов П. И. Лященко, «История народного хозяйства СССР», т. 2, и П. А. Хромова, «Экономическое развитие России в XIX—XX веках».)

Но не умолкая звучали дежурные обвинения в адрес правительства — в том, что оно «в целях успокоения отсрочивает реформы». Газета «Россия» писала по этому поводу в июле 1908 года: «Творческая государственная работа совершается медленно, совершается пре-

емственно. Третья Дума за семь месяцев своей работы практически познакомилась с исторически сложившимся порядком управления огромной империей... От политической болтовни безответственной русской интеллигенции она перешла к ответственной государственной работе и убедилась, что реформировать сверху донизу в семь месяцев страну, существующую тысячу сорок шесть лет, было бы задачей, непосильной даже самым гениальным политикам... Если кто задерживает введение некоторых реформ, то, конечно, не правительство, а его противники... Идеологами мятежа все здание русской государственности было объявлено подлежащим слому, и безумие их политических требований укрепило образованные и государственные слои общества в мысли о необходимости зрелого и всестороннего обсуждения выдвинутых жизнью реформ».

Собравшиеся в сентябре 1908 года в Лондоне эсеры были обеспокоены не на шутку. Их съезд вынес следующее постановление: «Всякий успех правительства в этом направлении (имелась в виду аграрная реформа. — И. Д.) наносит серьезный ущерб делу революции...».

Между 1907 и 1915 годом для покупки помещичьих земель, находящихся во владении Крестьянского банка, крестьянам было выделено ссуд на 421 млн. рублей (напомним, что это были «еще те» миллионы, когда корова стоила пять-шесть рублей, чернорабочий-землекоп в пересчете на курс 1987 года зарабатывал 430 рублей в месяц, а инфляция если и наблюдалась, то лишь во время войн и в пределах считанных процентов).

При сохранении помещичьих усадеб (как культурных очагов) крестьянский земельный голод неуклонно утолялся. С 1906 по 1915 год помещичья земля сокращается с 53 до 44 млн. десятин.

При поддержке банка крестьянами было приобретено и благоустроено свыше 200 000 хуторских хозяйств. С 1906 по 1910 год крестьяне сверх земель, полученных от общины, приобретают дополнительно свыше 6 млн. десятин.

В период с 1909 по 1913 год русское производство главнейших видов зерновых превышало на 28 процентов продукцию Аргентины, Канады и Америки — ведущих производителей зерна, — вместе взятых. Цены на зерно в Европе в 1904—1914 годах были бы намного выше, если бы русский вывоз не сдерживал аппетиты американских, канадских и аргентинских экспортеров зерна. Можно себе представить, с какою «любовью» следили они за успехами России и как тщательно пестовали недовольных «как слева, так и справа».

Жестокие законы международной конкуренции обретали чудовищную силу, и чем более грандиозными рисовались потенциальные успехи России, тем более масштабными и разнообразными, разноликими становились усилия ее конкурентов, сосредоточенные в одном направлении: любой ценой не упустить «из-за России» ни доллара, ни франка, ни марки, ни фунта стерлингов.

«Американская энциклопедия», изданная в Нью-Йорке в 1968 году, уделила Столыпину всего-навсего 14 строк (Милюкову, например, 74), а о реформе там не упоминается вообще (см. т. 25, с. 671). За двадцать лет до того американский же исследователь Наум Ясный опубликовал изрядный по объему труд об истории советского сельского хозяйства: интересно, что на 17-ти страницах главы 9-й, посвященной дореволюционному сельскому хозяйству перед первой мировой войной, тоже нет о реформе ни слова. Не упоминается даже имени Столыпина! Тут мы видим трогательное единодушие наших официальных историков и американских — «независимых» и «объективных».

Но вернемся к началу века.

В 1910 году премьер-министр вместе с А. В. Кривошеиным в повозках объезжают землеустроительные районы в Западной Сибири и Поволжье. «Под переселение», согласно Указу 19 сентября 1906 года, поступила «лучшая часть земельного запаса Западной Сибири — земли кабинета Его Императорского Величества».

Одно из следствий этой поездки — увеличение ввоза из-за границы улучшенных пород племенного скота и птицы, содействие и возведение новых жилищ и хозяйственных построек путем льготного или бесплатного отпуска материалов, резкий рост числа слушателей сельскохозяйственных чтений (оно выросло с 1906 по 1914 год с 48 тысяч до 1,6 млн. человек). Следствием был и ввоз в 1913 году первых тракторов (кстати, по свидетельству Ф. Я. Шипунова, в те годы Россия обладала половиной всего мирового табуна лошадей, а энерговооруженность страны уровня 1913 года была достигнута нами лишь к 1970-му). Как видим, отдача от выезда главы правительства «на места» была быстрой и конкретной, что характерно для Столыпина и поучительно для нас.

Столыпин и Кривошеин, глядя на переселенцев, «дивились и радовались их привольной, здоровой, удачной жизни на новых местах, их добротными заимками и селами, даже целым городам, где три года назад не было ни человека, их веселой спорой работе уже с первыми плодами наживы и прибытка, с нескудным лесом, охотой и рыбной ловлей... И это лишь за 4 начальных года, когда сбор хлеба поднялся до четырех миллиардов пудов». Здесь приведена цитата из Солженицына, но чувством этим проникнута и объемная записка, составленная Столыпиным и Кривошеиным сразу по возвращении в Петербург.

В записке подчеркивается общенациональное значение переселенческого дела. Отмечается, что «за 300 лет владения нашего Сибирью в ней набралось всего $4^1/_2$ млн. русского населения, а за последние 15 лет сразу прибыло около 3 млн., из них более $1^1/_2$ — в одно трехлетие 1907—1909 гг.». Столь редко заселенная территория была соответственно и плохо защищенной, и авторы запис-

ки хорошо сознавали, что «действительная мера к укреплению границ одна — заселение малолюдных окраин», поэтому ставилась задача: «Образовать и у нас в Сибири плотную живую кору русского дерева».

Столыпин ставит и решает триединую техническую задачу по обеспечению успеха этой политики: организация местного землеустройства, прокладка железных и грунтовых дорог, подготовка для переселенцев достойных условий существования. И без того возвращающиеся обратно в европейскую Россию составляли всего 5—7 процентов переселившихся (никто за 100-процентными показателями и не гнался) — предпринятые меры уменьшили и эту долю. А меры были серьезные.

Так, в 1910 году начался массовый выпуск так называемых «столыпинских вагонов». От обычных они отличались тем, что задняя их часть представляла собой помещение во всю ширину вагона, оно предназначалось для крестьянского инвентаря и скота. Зловещую славу «столыпинские вагоны» получили много позже после смерти самого Столыпина...

Успели проложить и 11 500 верст грунтовых дорог. Организовали 416 врачебных и фельдшерских пунктов в «районах водворения». 130 врачей и 684 фельдшера принимали до 1 357 000 человек ежегодно. Может показаться, что врачей было маловато... но не будем обманываться количественными показателями.

Денежная ссуда для семьи переселенцев в среднем равнялась 165 рублям — от нуля в Западной Сибири до 400 рублей в Приамурье и в пограничных с Китаем областях. 400 рублей, из коих 200 выплачивались безвозмездно. Всего с 1906 года до революции в азиатскую Россию переселилось более четырех миллионов человек. К 1912 году им было отведено за Уралом 31 080 000 десятин земли.

Приведем лишь некоторые практические итоги реформы.

В 1912 году было вывезено в Англию масла на 68 млн. рублей, что превышало (в рублях) в два раза стоимость годовой добычи сибирского золота. Потребление мяса в городах России в 1913 году составило 88 кг на душу населения (ныне в СССР — 62 кг, и какого, еще вопрос). При этом в Москве — 87, Петербурге — 94,1, во Владимире — 107,5, в Вологде — столько же, в Воронеже — 147,7 (в США сейчас — 120). Но еще большие объемы душевого потребления мяса были в городах Сибири и Дальнего Востока.

Министр земледелия А. Н. Наумов 18 февраля 1916 года выступил перед депутатами IV Думы. Он, в частности, сказал: «В империи имеется до 900 млн. пудов избытка главнейших хлебов. Другими словами, у нас имеется излишек не менее одной трети годовой потребности». Как пишет сын Столыпина, Аркадий Петрович, из своего парижского «далека», «эти 900 млн. пудов избытка — пожалуй, последнее, что отец завещал России». И не ими ли питалась молодая Советская республика до 1919 года, когда впервые явился в распятой, истерзанной братоубийственной войной стране призрак голода, который вскоре обретет страшную свою плоть и унесет жизни миллионов и миллионов потомственных хлебопашцев, до 1919 года, когда заокеанские благотворительные организации «во образе спасителей» будут массово кормить голодающих, эшелонами вывозя из России ее богатства, к которым обезумевшие от голода, давимые террором люди «не проявили интереса»? И не эта ли схема будет, слегка видоизменяясь, «работать» и в дальнейшем?

Если в 1913 году был собран урожай 81,6 млн. тонн, то после революции более всего приблизились к этой цифре в 1925—1926 годах — 76,6 млн. тонн. Но уже страда следующего года дала 73,1 млн. тонн, 1928—1929-го — 71,7. Производство зерна на душу населения сократилось с 584 кг в 1914 году до 484 в 1928—1929 годах (вспомним, что резко сократилось и количество «душ», принесенных в жертву «светлому будущему»). Особенно резко уменьшилась товарность: если до войны на рынок поступило 1 300 млн. пудов — 26 процентов продукции, то в 1927—1928 годах — 630 млн. пудов — 13,3 процента. Если до войны Россия экспортировала 11,4 млн. тонн зерна в год, то во второй половине 20-х годов государственные запасы зерна сократились в пропорции 2 : 1, а экспортные запасы — в пропорции 20 : 1. В 1928 году экспорт зерна фактически прекратился. В январе 1928 года заготовки на 1926—1927 экономический год составили 428 млн. пудов при необходимом минимуме 500 млн. пудов, а в декабре 1927 года — всего 300 млн. пудов. В стране создалась катастрофическая ситуация. Обратим внимание на то, что создалась ДО коллективизации.

«Русское государство, — говорил Столыпин, — росло и развивалось из своих собственных корней и вместе с ним видоизменялась и верховная царская власть». Столыпин считал, что манифестом 17 октября 1905 года с высоты престола «было предуказано развитие чисто русского, отвечающего и народному духу и историческим преданиям, государственного устройства» («Новое время», 3.10.1909). «Наши жизненные и наши законодательные условия... различны от таких же условий в западных государствах», — подчеркивал премьер-министр в одной из своих речей.

Свою веру в духовные силы общества и плодотворность этого устройства он передал в беседе с редактором саратовской газеты «Волга» известными словами, которые были отмечены и подчеркнуты всеми русскими газетами: «Дайте государству двадцать лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России!»

В выступлении перед Думой 31 марта 1910 года Столыпин давал такую характеристику состояния страны: «После горечи перенесенных испытаний Россия, естественно, не может не быть недовольной. Она недовольна не только правительством, но и Государственной Думой и Государственным Советом, недовольна и правыми партиями, и левыми партиями. Недовольство это пройдет, когда выйдет из смутных очертаний, когда образуется и укрепится русское государственное самосознание, когда Россия почувствует себя опять Россией».

«За его словами никогда не стояла пустота», — признает через много лет даже враг Столыпина, Керенский. И это было правдой.

Роспуск Второй Государственной Думы был встречен «убийственным» (по выражению правых газет) спокойствием в народе. И издание нового избирательного закона на следующий день, 3 июня 1907 года, не вызвало волнений ни в стране, ни в партийных кругах. А ведь начался «период реакции»!

«Что же случилось 3 июня? — спрашивал М. Меньшиков в «Новом времени». — Революционная печать закричит, конечно, что совершился государственный переворот. Нет нужды доказывать, что в серьезном смысле никакого «переворота» в манифесте 3 июня не содержится. Державная власть отказалась давать средства революции... Ошеломленные внешним разгромом, мы потеряли ясное представление о державной власти. Увлеченные гибельным расстройством внутри, мы склонились к мысли, что этой власти как будто нет. И вот она решилась... Среди невероятной бестолочи правительства и парламента нашлось учреждение древнее, не отмененное, в котором тысячелетний народ сосредоточил много скрытой силы... В это воскресенье, 3 июня, смутно все почувствовали, что Россия стронулась с места и что мы вновь на живой воде. Живая вода — это история, та историческая жизнь, которой мы последнее время были позорно лишены».

Даже Милюков был вынужден признать, напомнив о прежнем сотрудничестве с крайне левыми, что «всей нашей деятельностью мы приобрели право сказать, что, к великому сожалению, у нас и у всей России есть враги слева... Те люди, которые разнуздали низкие инстинкты человеческой природы и дело политической борьбы превратили в дело разрушения, суть наши враги».

Приступим ко второму мифу, связанному с понятием «столыпинский галстук». Сначала — о его происхождении.

Ярлык этот «явил миру» на заседании Думы 17 ноября 1907 года депутат от Твери Родичев, критикуя меры правительства по пресечению беспорядков. Еще за год до того Столыпин, отвечая на критику мер правительства по пресечению беспорядков и предложения «либерально разоружиться», ответил так: «Нельзя сказать часовому, стоящему на посту: у тебя старое ружье, брось его. Часовой должен ответить: «Пока я на посту и мне не дали нового оружия, я буду стараться действовать как можно лучше старым». В устах Столыпина это звучало весомо. А, судя по опубликованной стенограмме заседания 17 ноября 1907 года, Родичев сказал следующее: «...в то время, когда русская власть в борьбе с эксцессами революции видела только одно средство... в петле, которую г. Пуришкевич назвал муравьевским воротником, а потомки г. Пуришкевича, быть может, назовут столыпинским галстуком...» При этих словах тверского депутата думская аудитория, несмотря на свою разношерстность, на миг онемела от столь очевидного «перебора», а затем на Родичева обрушился шквал криков. «Долой! Вон!» Группа возмущенных депутатов даже грозно двинулась к трибуне с поднятыми в гневе руками. Председательствующий, Н. А. Хомяков, сын известного славянофила и крестник Гоголя, вынужден был взяться за колокольчик. Президиум, а затем и министры в знак возмущения покинули зал. Родичев принес личные извинения Столыпину, находившемуся тут же, затем, взойдя на трибуну, сказал: «Я беру свои слова назад. Я не имел намерения оскорбить ни Государственную Думу, ни тем более председателя Совета Министров». По предложению Хомякова Дума большинством голосов против 96 постановила применить к Родичеву высшую меру взыскания — удаление на 15 заседаний.

Это внешняя канва. Но была еще одна «мелочь». Сразу же после выпада Столыпин послал навстречу сходящему с трибуны Родичеву — секундантов (а не держиморд, казаков или палача с волосатыми руками). 45-летний отец шестерых детей, премьер-министр, имевший тысячи способов (в нашем представлении) раздавить неугодного депутата, не колеблясь поставил под удар свою жизнь во имя чести, уже вытеснявшейся сомнительной парламентской моралью.

— Я не хочу остаться у своих детей с кличкой вешателя, — сказал он.

Но кличка вошла во все учебники, по которым мы учимся по сей день.

Столыпин принял извинения, но руки не подал.

Успех преобразований во главе России был возможен лишь при условии дружной и спокойной работы всего народа. Столыпин видел, что это было невозможно в ситуации террора. Безответственность печати, социальная демагогия думских деятелей подбрасывали дров в занимавшийся костер. Доходило до того, что террор принимал совершенно дикие, невиданные формы. В Курске, например, юные «интеллигенты» заложили «адскую машину» под икону Богоматери...

Террористы не щадили самого Столыпина. Охота за ним велась на протяжении многих лет. Самым страшным из покушений был взрыв дачи на Аптекарском острове 12 августа 1906 года, всего через месяц после назначения Петра Аркадьевича на пост главы правительства. Портфели «с начинкой» взорвались во время приема посетителей. Взрыв унес жизни 27 человек, в том числе посетительницы с младенцем на руках и

швейцара, «озарив» последующие народоубийства «во имя светлого будущего всего человечества». 32 человека были тяжело ранены — среди них дочь и единственный сын, трехлетний Аркадий. Сам Столыпин по чистой случайности остался тогда невредим.

— Когда в нас стреляют, дети, прятаться нельзя, — скажет он через несколько часов после трагедии. А уже вечером засядет за труды по реформе.

Много тонн бумаги изведено под мифы о сверхжестокости военно-полевых судов Столыпина. Но обратимся к беспристрастным цифрам. По приговорам было казнено, по разным оценкам, 680—1100 человек. Но, с другой стороны, по некоторым данным, с 1901 по 1907 год террористами было уничтожено несколько десятков тысяч русских людей. Это далеко не всегда были «царские сатрапы». Взрывались бомбы в церквах во время молебнов. Палили из браунингов швейцарского и бельгийского производства по крестным ходам, то есть являли себя первые элементы антирусского геноцида.

Но, что примечательно, предлагавшуюся Столыпину идею брать заложников (до поимки убийц) он решительно отверг. Смертная казнь к тому же применялась только к прямым убийцам. Даже умышленные изготовители бомб не могли быть казнены...

И покушения, и попытки покушений на Столыпина участились. Об этих месяцах сам он говорил близким: «Каждое утро творю молитву и смотрю на предстоящий день как на последний в жизни... Я понимаю: смерть как расплата за убеждения...»

Он собирался составить программу действий правительства на случай своей смерти — все не было времени. Наконец в марте 1911 года Столыпин диктует свою «вторую программу», суть которой состояла в «лечении» бюрократии (в европейской России на 10 тысяч человек приходилось в ту пору 62 чиновника, значительно меньше, чем в других развитых странах). Петр Аркадьевич намерен был не ломать, но совершенствовать государственный аппарат. Столыпин опирался не на заемные теоретические построения, не громоздил абстракции, чтобы назавтра от них отказываться и попутно «по ошибке» проливать реки крови, — он опирался на колоссальный исторический опыт русского государства и русского народа. Программа была построена по отраслям государственного управления, и срок «двадцать лет», по всей видимости, был вполне реальным, если судить по тому, как проходила аграрная реформа, явившаяся как бы первым, коренным этапом построения «государства без проблем».

Например, брать иностранные займы предлагалось только в первое время и только для исследования недр и строительства шоссейных и железных дорог — так, чтобы к 1927—1932 годам их сеть в европейской России с ее высшей в мире рождаемостью не уступала бы сети Западной Европы. Заработная плата всех чиновников, полиции, учителей, священников, железнодорожных и почтовых служащих увеличивалась — это сразу подняло бы образовательный уровень контингента приходящих в эти сферы людей. Бесплатное начальное образование, как пишет А. И. Солженицын в своем очерке о Столыпине, уже широко пошло в 1908 году и должно было осуществиться как всеобщее к 1922-му.

Третью Думу называли Думой народного просвещения. Было установлено ежегодное увеличение кредитов по народному образованию на 20 млн. рублей: 10 млн. на постройку школ и 10 млн. на их содержание. К 1914 году расходы государства, земства и городов на народное образование составили почти 300 млн. рублей, то есть 800 млн. золотых франков. (Во Франции в том же году — 347 млн. франков.) Минимальное вознаграждение учителей составило 360 рублей (в сельской местности).

В декабре 1907 года внесен законопроект о страховании рабочих — принят был уже после смерти Столыпина, в 1912 году. Закон состоял из четырех отдельных частей: страхование от несчастных случаев, от болезней, учреждение местных страховых присутствий, учреждение Совета по делам страхования рабочих. Врачебная помощь предоставлялась рабочим за счет владельца предприятия...

«До конца 1915 года в России существовала законодательная охрана труда», писалось даже в «Правде», в апреле 1917 года. Напомним, что еще в 1897 году в России был установлен в законодательном порядке 11,5-часовой день (который потом превратился фактически в 10-часовой). «Правда» признавала также, что «на многих фабриках и заводах» рабочий день не превышал девяти и даже восьми часов. А потому «Правда» возмущалась главным образом недостаточностью охраны женского труда: «Женщины допускались к работе как взрослые уже с 18 лет... когда организм еще не окреп (!)». («Правда», 6.04.1917 г.)

Новые рабочие законы дополняли уже существовавшие. А именно 1850—1870 годов — о создании комитетов по изучению условий жизни и труда рабочих; 1866 года — закон, обязывавший владельцев крупных предприятий (свыше 100 рабочих) организовывать бесплатную медицинскую помощь рабочим своих предприятий; 1882 — запрещался труд детей, а труд подростков ограничивался 8 часами с обязательным отдыхом в середине рабочего дня. Ночью и в праздники — труд подростков запрещался совсем. Закон 1903 года устанавливал компенсацию за несчастные случаи в виде пенсии и единовременного пособия в размере одной трети заработка за время лечения. Пособия выдавались во всех случаях. Пенсия — только в случае потери трудоспособности.

И многое другое предусматривала посмертная программа Столыпина, проект которой исчез из письменного стола Петра Аркадьевича в ковенском имении вскоре после убийства автора.

Смелость и принципиальность Столыпина вызывали восторг и ненависть. Эти его черты сказывались во всем. С ним «воевали» и правые, и левые — во всяком случае те из них, кто не мог и не хотел из-за партийного фанатизма понять, что высоко над интересами фракций стоят интересы народа, общегосударственные интересы созидающих великую страну тружеников, интересы, которые отстаивал премьер-министр и в этом видел свое предназначение. Как пишет современный исследователь, «такие люди рождаются раз в столетие, и мы, соответственно, уже исчерпали лимит. Да и трудно человеку с его уровнем понимания появиться, а появившись — действовать в среде, в которой на одном полюсе преобладают косные консерваторы, а на другом — нигилисты-разрушители. А ведь именно в такой среде и приходилось сражаться на два фронта реальному, историческому Столыпину, и именно она в конечном счете его и погубила, причем вполне можно допустить такую гипотезу, что оба полюса сделали это совместными дружными усилиями и по взаимной договоренности. Ведь и те и другие в какой-то мере одинаково были нигилистами: одним не нужно было ничего нового, другим — ничего старого, но обоим вместе — НИЧЕГО. Столыпину же нужна была великая Россия».

В. В. Шульгин последовательно отстаивал программу Столыпина, «потому что считал предначертанный им путь действий единственно правильным для спасения России и ее дальнейшего эволюционного развития». «Его речь проникла через стены и звучала где-то на большом просторе, — он говорил для России».

Он говорил для России... И здесь уместно сказать о его ораторском искусстве, о стиле столыпинских речей.

«Если я считаю своим долгом высказаться перед вами, то... побудительной причиной к этому является не ведомственное упорство, а основания иного, высшего порядка», — моральное, человеческое обоснование речи 24 мая 1908 года (о смете морского министерства) характерно для всех без исключения речей Столыпина, — оттого они обретают особую весомость даже при чтении их текстов.

«...Спуск каждого корабля на воду является национальным торжеством, национальным празднеством, — говорит Столыпин. И поясняет: — Это отдача морю части накопленных на суше народных сил, народной энергии». Забота о флоте, о воинстве в целом — неотъемлемая черта истинного руководителя государства. Присягой связали себя солдаты и моряки, то есть беззаветным служением, — государство, понимая свою огромную моральную ответственность, должно платить заботой. Тем более государство, испокон веков имеющее армию народную, многократно спасавшую сам народ от истребления врагами, которые никогда не воевали с Россией «понарошку», а всегда — на истребление. В данном случае уместно также вспомнить и о том, что морские традиции России насчитывают многие сотни лет — от поморских кочей, от дальних, отчаянно-смелых плаваний древних русов.

Характерны начала речей. Например, 2 марта 1909 года: «...Не ждите от меня горячей защитительной или обвинительной речи, это только затемнило бы дело, придало бы ему ведомственный (читай групповой. — И. Д.) характер...» Он рассчитывал на то, что политическая зрелость слушателей не пала еще на такой уровень, после которого преступают «порог чувствительности», и требуются особо «сильные выражения» и нужно утрировать, чтобы тебя поняли (но с опасностью быть превратно истолкованным). Ясность выражений, ясность позиции при этом не терялись — четкость определений рассеивала сознательную замутненность смысла тех или иных политических, вернее, политиканских терминов, которые внедрялись вместе с «парламентской моралью» (напомним, «парламент» — от «парле» — говорить). Сам Столыпин как бы поясняет свой стиль в речи на заседании Думы 22 мая 1909 года: «Не думайте, господа, что этот вопрос (о том, что веротерпимость не есть равнодушие к церкви.— И. Д.), вопрос простой, доступный совести каждого, я хотел бы затемнить непристойными, скажу прямо, в этом деле совести, приемами какого-то дутого пафоса». Подобные вещи, надо учесть, говорятся в полном сознании того, что «какой бы летописный характер» они ни носили, они «будут восприниматься с некоторой неприязнью моими слушателями» — «ввиду сложившегося в различных политических кругах понимания правительственной политики» (речь на заседании Думы 27 апреля 1911 года). Трезвость вдвойне — это было постоянным фактором, который должен был учитывать и учитывал премьер-министр России: учет восприятия аудиторией фактов и суждений плюс точность и внятность последних.

Он призывает законодателей к взвешенности, в том числе и ради их же авторитета и достоинства. Прямо на это указывается в речи на Государственном Совете от 1 февраля 1911 года: «вводя новое мероприятие, надо его применять к местным условиям для того, чтобы через несколько лет не быть принужденным вносить изменения в только что принятый закон». В наше время, когда принимаемый закон порой застопоривается чуть ли не в «день рождения», когда его абсурдность видна и непрофессиональному юристу, когда становится традицией уже через несколько месяцев (а не лет) ставить его под сомнение и «вымучивать» изменения в нем, этот, так сказать, завет Столыпина звучит более чем актуально.

Единственный раз во всех речах Столыпина было произнесено глубоко личное — «моей», и «мы» в значении «я» — в последних словах последней его речи от 27 апреля 1911 года, обращенной к думской аудитории. Потому для нас так

важно хорошенько их запомнить, в них и надежда, и обреченность, вера и жертвенность: «В том, что мы, как умеем, как понимаем, бережем будущее нашей родины, и смело вбиваем гвозди в вами же сооружаемую постройку будущей России, не стыдящейся быть русской, ответственны мы, и эта ответственность — величайшее счастье моей жизни». Тут нечего добавить и через восемьдесят лет.

Одним из главных и взрывоопасных вопросов, решенных Столыпиным, был вопрос о создании русских земств в Западном крае. В защите прав русского населения политиканы увидели лишь проявление шовинизма. Проклюнулся «лозунг века»: русским защищаться запрещено!.. Но, согласно разработанной Столыпиным государственной программе, до поры хранившейся в тайне, Польша должна была быть отделена от России и стать независимым суверенным государством к 1920 году. Тогда землевладельцы польского происхождения (а их — большинство в Западном крае) захотят в новых условиях приобрести польское гражданство. Они стали бы «иностранцами и, следовательно, к местной земской деятельности непричастными» людьми. Отсюда логично предложение Столыпина о голосовании по куриям: для коренного населения и для поляков. Мера дальновидная, государственно-мудрая мера.

В статье о куриях увидели национальную дискриминацию — и не только представители «польского кола», но и крайние правые сановники. И Столыпин подает прошение об отставке. В марте 1911 года. Николай в вопросе о создании земств в Западном крае также не поддержал Столыпина. «Новое время» так оценивало ситуацию: «Судьба наших законопроектов зависит с каждым днем все более от тактических шагов и махинаций фракций Государственного Совета. С таким положением председатель Совета Министров примириться не мог».

Правительственный кризис порождает и парламентский. В печати — буря. «Голос Москвы» подчеркивает, что Столыпин «оставался до конца строго конституционным министром» и что его уход также должен быть расценен как «строго конституционный акт». «Московские ведомости» пишут о том, что «борьба против председателя Совета Министров перешла границы допустимого» и что попытку его свергнуть совершали, «жертвуя интересами русского народа». Октябристы смущены: они испуганы возможностью прихода к власти «крутого реакционера».

Консерваторы (умеренные правые) обвиняют Столыпина в нерешительности, их орган — «Гражданин» — писал: «Если ему суждено вернуться к власти, то он должен будет освободиться от всех этих господ (имелись в виду Гучков, националисты, «какие-то там партийцы». — И. Д.) и действовать как власть имущий».

Кадетская «Речь» почти не скрывает злобной радости по поводу ухода Столыпина, обвиняя его в «диктаторских вкусах и повадках» и называя «всероссийским губернатором». Кадеты в который раз отвергают предложенное правительством сотрудничество: «Об этом и речи быть не может. Немезида занесла над этим правительством свой меч!»

9 марта 1911 года кризис достигает апогея.

И тут в дело вступает царь, далеко не «бездарный», далеко не «нерешительный», чему множество доказательств. Одно из них — письмо Столыпину в ответ на прошение об отставке, датированное как раз 9 марта и опубликованное впервые в Геттингене в 1977 году. Вот оно:

«Петр Аркадьевич!

За протекшие четыре дня со времени нашего разговора (аудиенция состоялась 4 марта. — И. Д.) я всесторонне взвесил и обдумал свой ответ.

Вашего ухода я допустить не желаю. Ваша преданность мне и России, Ваша пятилетняя опытность на занимаемом Вами посту и, главное, Ваше мужественное проведение начал русской политики на окраинах Государства, побуждают меня всемерно удерживать Вас. Говорю это Вам вполне искренне и убежденно, не по первому впечатлению.

Теперь посмотрим, что говорят и думают вокруг нас. Какое единодушное сожаление, даже уныние, вызвал один слух о Вашем уходе. Неужели после всего этого Вы еще будете упорствовать? Конечно, нет. Я вперед знаю, что Вы согласитесь остаться. Этого требую я, этого желает всякий честный русский.

Прошу Вас, Петр Аркадьевич, приехать ко мне завтра в четверг в 11 часов утра. Помните, мое доверие к Вам осталось таким же полным, каким оно было в 1906.

Глубоко уважающий Вас

НИКОЛАЙ».

Встреча состоялась. Решение стало известно через два дня, в течение которых в Государственном Совете окончательно отклоняется законопроект о земствах, а в Думе 200 ее членов подписываются под резолюцией с требованием рассмотреть законопроект вторично. Налицо острейший парламентский кризис.

Заседание Совета Министров в ночь с 10 на 11 марта длится до двух утра. Столыпин предлагает решение. Первое: законодательные палаты распускаются на три дня. Второе: в этот промежуток времени верховная власть, на основании статьи 87 Основных законов, издает царский указ о создании земств в Западном крае. Третье: Трепов и Дурново, затеявшие интригу в Государственном Совете, отправляются на основании царского предписания в шестимесячный заграничный отпуск.

12 марта царские указы вступают в силу.

В тот же день «Московские ведомости» пишут о «небывалой, блистательной победе Столыпина». Как и следовало ожидать, отклики прессы были неоднозначны. «Русское знамя», орган крайне правых, например, решительно защищает Трепова и Дурново: «Двое доблестных борцов за Отечество, отрубавших головы революционной гидре, удалены из Государственного Совета. Это несомненно обрадовало революционеров, всех тех, кто наносит удары императорской верховной власти».

Но в целом кризис был преодолен. И преодолен действительно «блистательно».

Еще в мае 1908 года Столыпин дает принципиальный анализ положения, нелепого, по его определению, когда один и тот же вопрос будет решаться центральным и местным органом (в рассматриваемом случае — правительством в Петербурге и сеймом в Финляндии). «Скажем, — продолжает Столыпин, — что разрешен этот вопрос будет различно, не получится единогласного решения, и в Империи не будет той державной воли, державной власти, которая могла бы разрешить этот спор. Вопрос остается неразрешенным или приведет к острому конфликту». Вот вам и восьмидесятилетней давности точка зрения на разграничение компетентности центра и региона.

Что же касается вопроса о финансовой самостоятельности земств, то и здесь мы можем извлечь небесполезный урок. Бюджет земства в 34 губерниях возрос со 171,7 млн. рублей в 1910 году до 292,1 млн. рублей в 1914 году, то есть — на 70 процентов (за тот же период государственный бюджет возрос с 2,5 до 3,6 млрд. рублей — то есть на 30 процентов).

«В России... сила не может стоять выше права, — подчеркивает Петр Аркадьевич в упомянутой «финляндской» речи. — Но нельзя также допускать, чтобы одно упоминание о правах России считалось в Финляндии оскорблением».

Петр Аркадьевич помнил, твердо знал, что никакое экономическое планирование, оторванное от сферы духовной, в России невозможно. В этом смысле примечательна его позиция относительно Русской Православной Церкви. Сознавая, с одной стороны, все преимущества, с другой — уязвимость уникального государственного устройства России начала XX века, устройства, изначально основанного на нравственных категориях, а также понимая, что этот духовный хребет русской государственности является объектом сколь яростных, столь и несправедливых нападок и в то же время становится все менее защищенным в силу некой ослепленности его потенциальных защитников (причин тому не исчислить), — Столыпин выразил свое отношение к церкви так: «Многовековая связь русского государства с христианской церковью обязывает его положить в основу законов о свободе совести начала государства христианского, в котором Православная Церковь, как господствующая, пользуется данью особого уважения и особою со стороны государства охраною. Оберегая права и преимущества Православной Церкви, власть тем самым призвана оберегать полную свободу ее начинаниям, находящимся в соответствии с общими законами государства. Государство же в пределах новых положений не может отойти от заветов истории, напоминающей нам, что во все времена и во всех делах своих русский народ одушевляется именем православия, с которым неразрывно связаны слава и могущество родной земли, вместе с тем права и преимущества Православной Церкви не могут и не должны нарушать прав других исповеданий и нравоучений».

Лишь недруги Столыпина «не заметили», что он свято придерживается той политической аксиомы, согласно которой только при достаточности прав большого народа возможно обеспечение прав народов малых. Иначе — распад, разложение, кровь тысяч и тысяч невинных перед лицом отнюдь не искренних, но могучих держав.

Премьер-министр разоблачал тайные шашни бесчестных политиканов, именитых думских деятелей, направленные прямо против национальных интересов Российской империи, — например, старания Милюкова, Набокова и князя Долгорукова воспрепятствовать выгодной реализации за границей государственного займа.

В 1910 году Столыпин совершает полет на аэроплане, пилотом которого был известный эсер Мациевич, ненавидевший премьер-министра и вполне могший пожертвовать собой «ради дела» (вспомним решение съезда эсеров в Лондоне). Столыпин был невозмутим. Несколько раз террористы не решались выстрелить в него, безоружного, «смытые» его обаянием, праведностью всего облика.

Но подонок отыскался. Им оказался Мордка Богров, двойной агент охранки и революционеров...

Во время пребывания царской четы в Киеве Столыпин отказался от предложенного ему панциря, который мог бы спасти от пули. Петр Аркадьевич «привык» к бомбам, от которых не уберегли бы никакие доспехи. Пуля убийцы настигла его 1 сентября 1911 года. В театре. Неподалеку от императорской ложи.

Падая, Столыпин перекрестил царскую чету левой рукой. Правая, раненная еще в Саратове брошенным погромщиком камнем, была прострелена. Задела пуля и крест ордена св. Владимира, тысячу лет назад в этих же местах крестившего Русь.

Через четыре дня, в 10 часов 12 минут 5 (18) сентября 1911 года, после страшных мучений, но без стонов, ни на что не жалуясь и никого не виня, как и подобает доброму христианину, Петр Аркадьевич Столыпин скончался на руках у жены Ольги Борисовны, не дожив до пятидесяти лет. О. Б. Столыпина, слова которой, сказанные Николаю II, — «Ваше величество, как видите, Сусанины не перевелись на Руси» — облетели весь Киев, — сохраняла во все последующие дни геройское самообладание, как и все члены семьи.

Во время заупокойной литургии де-

журство у гроба в числе других несли Лыкошин и Кривошеин, соратники Столыпина. Прах Петра Аркадьевича нашел успокоение рядом с могилами Искры и Кочубея, в ограде Киево-Печерской лавры, и современник, вскоре с горечью написавший, что у нас «глохнут крупные силы и всплывает мелочь», не ведал, в какой степени провидческой оказалась его мысль.

Вскоре после смерти Столыпина Марков-2-й, член Думы 3-го созыва, в начале работы четвертой Думы (заседание 28 ноября 1912 года) отвечал продолжавшим митинговать «по инерции» кадетам в лице Шингарева: «Депутат Шингарев знает по бюджетной комиссии, сколько денег тратится и как оплачиваются эти вопли, он должен хорошо знать, чего стоят эти митинговые речи (казна выделяла на каждого депутата Думы по 10 рублей в день. — И. Д.), которые не имеют реального окончания, ибо за ними ничего нет, кроме оплевывания, опорачивания, охаивания. Я... обращаю ваше внимание на необходимость экономии времени, на необходимость жалеть труд народа, который посылает нас сюда для того, чтобы мы работали на законодательном поприще, а не для того, чтобы мы вооружали одних против других и бездоказательными обвинениями сыпали на правительство, не для того деньги отпускаются. Для этого есть время другое, время запросов»... Так говорил Николай Евгеньевич Марков (депутат от Курской губернии) Андрею Ивановичу Шингареву, депутату от столичного избирательного округа, члену и Второй и Третьей Думы, и слова его оказались справедливы и применимы не только к думскому периоду русской истории...

«У нас постепенно путем внушений и подлогов отнимают древнее, нажитое тысячелетием христианства миросозерцание, — писал в те дни известный публицист М. О. Меньшиков, без суда расстрелянный вскоре после Октября 1917 года. — У нас системой нравственного соблазна и террора отнимают веру и патриотизм, отнимают совесть и здравый смысл. Наконец, систематическими убийствами отнимают лучших людей России, наиболее отважных ее вождей».

Другой публицист, Ал. Ксюнин, писал: «Покойный Столыпин был реальный политик и правильно учитывал возможное будущее. Этим, к сожалению, далеко не все могут похвалиться. У нас чаще из-за минутного тщеславия жертвуют весьма многим». Что верно, то верно...

Английская «Дейли Телеграф», откликаясь на смерть Столыпина, писала: «Можно признавать П. А. Столыпина великим государственным деятелем или не признавать, но нельзя отказать ему ни в энергии, ни в смелости. Многие следили за его деятельностью не только с интересом, но и с искренней симпатией. Был момент, когда он оказался единственным человеком, способным взять на себя трудное дело введения в России конституционного строя. Потеря его тяжела не для одной России, а для всех европейских стран, так как несомненно в его лице большой человек сошел с арены европейской политики»...

В Киеве не было у Петра Аркадьевича ни родных, ни фамильного склепа, но похоронить себя он завещал «там, где меня убьют». Средства на памятник собрали в одном Киеве всего за три дня...

«А ведь он — мог!» — с запоздалым изумлением шептали про себя не уберегшие его. И начиная с 1911-го даже кадеты бросятся искать «второго Столыпина». Но было уже поздно. «Второго» — не было.

П. А. СТОЛЫПИН

«НАМ НУЖНА ВЕЛИКАЯ РОССИЯ»

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ НА ЗАСЕДАНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Заседание Г. Д. 13/III—07 г. Об отмене временного закона 19 авг. 1906 г.

(...) [1] Мы слышали тут обвинения Правительства, мы слышали о том, что у него руки в крови, мы слышали, что для России стыд и позор, что в нашем Государстве были осуществлены такие меры, как военно-полевые суды. Я понимаю, что хотя эти прения не могут привести к реальному результату, но вся Дума ждет от Правительства ответа прямого и ясного на вопрос: как Правительство относится к продолжению действия в стране закона о военно-полевых судах?

[1] В начале своей речи от 13 марта 1907 года П. А. Столыпин разъясняет «формальную сторону дела», т. е. юридически доказывает невозможность отмены закона о военно-полевых судах ранее срока, установленного «учреждением Государственной Думы».

Я, господа, от ответа не уклоняюсь. Я не буду отвечать на нападки за превышение власти, за неправильности, допущенные при применении этого закона. Нарекания эти голословны, необоснованны, я на них отвечать преждевременно. Я буду говорить по другому важному вопросу. Я буду говорить о нападках на самую природу этого закона, на то, что это позор, злодеяние и преступление, вносящее разврат в основы самого Государства.

Самое яркое отражение эти доводы получили в речи члена Гос. Думы Маклакова[2]. Если бы я ему начал возражать, то, несомненно, мне пришлось бы вступить с ним в юридический спор. Я должен был бы стать защитником военно-полевых судов, как судебного, как юридического института. Но в этой плоскости мышления, я думаю, что я ни с г. Маклаковым, ни с другими ораторами, отстаивающими тот же принцип, — я думаю, я с ними не разошелся бы. Трудно возражать тонкому юристу, талантливо отстаивающему доктрину. Но, господа, Государство должно мыслить иначе, оно должно становиться на другую точку зрения, и в этом отношении мое убеждение неизменно. **Государство может, Государство обязано, когда оно находится в опасности, принимать самые строгие, самые исключительные законы, чтобы оградить себя от распада.** Это было, это есть, это будет всегда и неизменно. Этот принцип в природе человека, он в природе самого Государства. **Когда дом горит, господа, вы вламываетесь в чужие квартиры, ломаете двери, ломаете окна. Когда человек болен, его организм лечат, отравляя его ядом. Когда на вас нападает убийца, вы его убиваете.** Этот порядок признается всеми государствами. Нет законодательства, которое не давало бы права Правительству приостанавливать течение закона, когда государственный организм потрясен до корней, которое не давало бы ему полномочия приостанавливать все нормы права. Это, господа, состояние необходимой обороны: оно доводило Государство не только до усиленных репрессий, не только до применения различных репрессий к различным лицам и к различным категориям людей, — оно доводило Государство до подчинения всех одной воле, произволу одного человека, оно доводило до диктатуры, которая иногда выводила Государство из опасности и приводила до спасения. Бывают, господа, роковые моменты в жизни Государства, когда государственная необходимость стоит выше права и когда надлежит выбирать между целостью теорий и целостью отечества. Но с этой кафедры был сделан, господа, призыв к моей политической честности, к моей прямоте. Я должен открыто ответить, что такого рода временные меры не могут приобретать постоянного характера; когда они становятся длительными, то, во-первых, они теряют свою силу, и затем они могут отразиться на самом народе, нравы которого должны воспитываться законом. **Временная мера — мера суровая, она должна сломить преступную волну, должна сломить уродливые явления и отойти в вечность.** Поэтому Правительство должно в настоящее время ясно дать себе отчет о положении страны, ясно дать ответ, что оно обязано делать.

И вот возникают два вопроса. Может ли Правительство, в силах ли оно оградить жизнь и собственность русского гражданина обычными способами, применением обыкновенных законов? Но может быть и другой вопрос. Надо себя спросить, не является ли такой исключительный закон преградой для естественного течения народной жизни, для направления ее в естественное, спокойное русло?

На первый вопрос, господа, ответ не труден, он ясен из бывших тут прений. К сожалению, кровавый бред, господа, не пошел еще на убыль и едва ли обыкновенным способом подавить его по плечу нашим обыкновенным установлениям. Второй вопрос сложнее: что будет, если противоправительственному течению дать естественный ход, если не противопоставить ему силу? Мы слышали тут заявление группы социалистов-революционеров. Я думаю, что их учение не сходно с учением социалистических и революционных партий, что тут играет роль созвучие названий и что здесь присутствующие не разделяют программы этих партий. На заданный вопрос ответ надо черпать из документов. Я беру документ официальный, избирательную программу российской социальной рабочей партии. Я читаю в ней: «Только под натиском широких народных масс, под напором народного восстания поколеблется армия, на которую опирается Правительство, падут твердыни самодержавного деспотизма, только борьбою завоюет народ государственную власть, завоюет землю и волю». В окончательном тезисе я прочитываю: «Чтобы основа Государства была установлена свободно-избранными представителями всего народа, чтобы для этой цели было созвано учредительное собрание всеобщим, прямым, равным и тайным, без различия веры, пола и национальности, голосованием; чтобы все власти и должностные лица избирались народом и смещались им, в стране не может быть иной власти, кроме поставленной народом и ответственной перед ним и его представителями; чтобы Россия стала демократической республикой». Передо мной другой документ: резолюция съезда, бывшего в Таммерфорсе перед началом действия Гос. Думы. В резолюции я читаю: «съезд решительно высказывается против тактики, определяющей задачи Думы, как органическую работу в сотрудничестве с Правительством при самоограничении рамками Думы для многих

[2] Маклаков Василий Алексеевич (1869—1957 гг.)—адвокат, один из лидеров партии кадетов, член ее ЦК, член Государственной Думы; в 1917 г. — посол Временного правительства во Франции, после Октября остался в Париже, вел активную антисоветскую деятельность.

основных законов, не санкционированных народной волей». Затем резолюция окончательная: «съезд находит необходимым, в виде временной меры, все центральные и местные террористические акты, направленные против агентов власти, имеющих руководящее, административно-политическое значение, поставить под непосредственный контроль и руководство центрального комитета. Вместе с тем, съезд находит, что партия должна возможно более широко использовать, для этого расширения и углубления своего влияния в стране все новые средства и поводы агитации и безостановочно развивать в стране, в целях поддержки, основные требования широкого народного движения, имеющего перейти во всеобщее восстание».

Господа, я не буду утруждать вашего внимания чтением других, не менее официальных документов. Я задаю себе лишь вопрос о том, вправе ли Правительство, при таком положении дела, сделать демонстративный шаг, не имеющий за собою реальной цены, шаг в сторону формального нарушения закона? Вправе ли Правительство перед лицом своих верных слуг, ежеминутно подвергающихся смертельной опасности, сделать гласную уступку революции?

Вдумавшись в этот вопрос, всесторонне его взвешивая, Правительство пришло к заключению, что страна ждет от него не оказательства слабости, а оказательства веры. Мы хотим верить, мы должны верить, что от вас, господа, мы услышим слова умиротворения, что вы прекратите кровавое безумие. Мы верим, что вы скажете то слово, которое заставит нас всех стать не на разрушение исторического здания России, а на пересоздание, переустройство его и украшение.

В ожидании этого слова Правительство примет меры для того, чтобы ограничить суровый закон только самыми исключительными случаями самых дерзновенных преступлений, с тем, чтобы, когда Дума толкнет Россию на спокойную работу, закон этот пал сам собою — путем невнесения его на утверждение законодательного собрания.

Господа, в ваших руках успокоение России, которая, конечно, сумеет отличить кровь, о которой так много здесь говорилось, кровь на руках палачей, от крови на руках добросовестных врачей, применяющих самые чрезвычайные, может быть, меры с одним только упованием, с одной надеждой, с одной верой — исцелить труднобольного.

Заседание Г. Д. 10/IV 07 г. Декларация Правительства по аграрному вопросу.

Господа члены Государственной Думы! Прислушиваясь к прениям по земельному вопросу и знакомясь с ними из стенографических отчетов, я пришел к убеждению, что необходимо ныне же, до окончания прений, сделать заявление как по возбуждавшемуся тут вопросу, так и о предположениях самого Правительства.

Я, господа, не думаю представлять вам полной аграрной программы Правительства: это предполагалось сделать надлежащим компетентным ведомствам в аграрной комиссии. Сегодня я только узнал, что в аграрной комиссии, в которую не приглашаются члены Правительства и не выслушиваются даже те данные и материалы, которыми Правительство располагает, принимают принципиальные решения. Тем более я считаю необходимым высказаться только в пределах тех вопросов, которые тут подымались и обсуждались. Я исхожу из того положения, что все лица, заинтересованные в этом деле самым искренним образом, желают его разрешения. Я думаю, что крестьяне не могут не желать разрешения того вопроса, который для них является самым близким и самым больным; я думаю, что и землевладельцы не могут не желать иметь своими соседями людей спокойных и довольных, вместо голодающих и погромщиков; я думаю, что и все русские люди, жаждущие успокоения своей страны, желают скорейшего разрешения аграрного вопроса, острота которого, хотя бы отчасти, питает смуту.

Я поэтому обойду все те оскорбления и обвинения, которые раздавались здесь против Правительства. Я не буду останавливаться и на тех нападках, которые имели характер агитационного напора на власть; я не буду останавливаться и на провозглашавшихся здесь началах классовой мести со стороны бывших крепостных крестьян к дворянам, — а постараюсь встать на чисто государственную точку зрения, постараюсь отнестись совершенно беспристрастно, даже более того, бесстрастно к данному вопросу. Постараюсь вникнуть в существо высказывавшихся мнений, памятуя, что мнения, не согласные со взглядами Правительства, не могут почитаться за крамолу. Правительству тем более, мне кажется, подобает высказываться в общих чертах, что из бывших здесь прений, из бывшего предварительного обсуждения вопроса ясно, как мало шансов сблизить различные точки зрения, как мало шансов дать аграрной комиссии определенные задания, очерченный строгими рамками наказ.

Переходя к предложениям разных партий, я, прежде всего, должен остановиться на предложении партии левых... Я не буду оспаривать тех весьма спорных, по мне, цифр, которые здесь представлялись... Я охотно соглашусь и с нарисованной ими картиной оскудения земледельческой России. Встревоженное этим Правительство уже начало принимать ряд мер для поднятия земледельческого класса. Я должен указать только на то, что тот способ, который здесь предложен, тот путь, который здесь намечен, поведет к полному перевороту во всех существующих гражданских правоотношениях; он ведет к тому, что подчиняет интересам одного, хотя и многочисленного, класса интересы всех других слоев населения. Он ведет, господа, к социальной революции. Это сознается, мне кажется, и теми ораторами, которые тут говорили. Один из них приглашал государственную власть возвыситься в этом случае над правом и заявлял, что вся задача настоящего момента заключается именно в том, чтобы разрушить государственность с ее помещичьей бюрократической основой и на развалинах государственности создать государственность современную, на новых культурных началах. Согласно этому учению, государственная необходимость должна возвыситься над правом не для того, чтобы вернуть государственность на путь права, а для того, чтобы уничтожить в самом корне именно существующую государственность, существующий в настоящее время государственный строй. Словом, признание национализации земли, при условии вознаграждения за отчуждаемую землю или без него, поведет к такому социальному перевороту, к такому перемещению всех ценностей, к такому изменению всех социальных, правовых и гражданских отношений, какого еще не видела история. Но это, конечно, не повод против предложения левых партий, если это предложение будет признано спасительным. Предположим же на время, что Государство признает это за благо, что оно перешагнет через разорение целого, как бы там ни говорили, многочисленного образованного класса землевладельцев, что оно примирится с разрушением редких культурных очагов на местах. Что же из этого выйдет? Что, был бы, по крайней мере, этим способом разрешен, хотя бы с материальной стороны, земельный вопрос? Дал бы или нет возможность устроить крестьян у себя на местах?

На это ответ могут дать цифры, а цифры, господа, таковы: если бы не только частновладельческую, но даже всю землю без малейшего исключения, даже землю, находящуюся в настоящее время под городами, отдать в распоряжение крестьян, владеющих ныне надельною землею, то в то время, как в Вологодской губернии пришлось бы всего вместе, с имеющимися ныне, по 147 дес. на двор, в Олонецкой по 185 дес., в Архангельской даже по 1009 дес., в 14 губерниях не достало бы в по 15 дес., а в Полтавской пришлось бы лишь по 9 дес., в Подольской всего по 8 дес. Это объясняется крайне неравномерным распределением по губерниям не только казенных и удельных земель, но и частновладельческих. Четвертая часть частновладельческих земель находится в тех губерниях, которые имеют надел свыше 15 дес. на двор и лишь седьмая часть частновладельческих земель расположена в 10 губерниях с наименьшим наделом, т. е. по 7 дес. на один двор. При этом принимается в расчет вся земля всех владельцев, т. е. не только 107 000 дворян, но и 490 000 крестьян, купивших себе землю, и 8500 мещан, — а эти два последние разряда владеют до 17 млн. дес. Из этого следует, что поголовное разделение всех земель едва ли может удовлетворить земельную нужду на местах; придется прибегнуть к тому же средству, которое предлагает Правительство, т. е. к переселению; придется отказаться от мысли наделить землей весь трудовой народ и не выделять из него известной части населения в другие области труда. Это подтверждается и другими цифрами, подтверждается из цифр прироста населения за десятилетний период в 50 губерниях европейской России. Россия, господа, не вымирает; прирост ее населения превосходит прирост всех остальных государств всего мира, достигая на 1000 человек 15,1 в год. Таким образом, это даст на одну европейскую Россию всего на 50 губерний 1 625 000 душ естественного прироста в год, или, считая семью в пять человек, 341 000 семей. Так что для удовлетворения землей одного только прирастающего населения, считая по 10 дес. на один двор, потребно было бы ежегодно $3^{1}/_{2}$ миллиона десятин.

Из этого ясно, господа, что путем отчуждения, разъединения частновладельческих земель, земельный вопрос не разрешается. Это равносильно наложению пластыря на засоренную рану. Но кроме упомянутых материальных результатов, что даст этот способ стране, что даст он с нравственной стороны? Та картина, которая наблюдается теперь в наших сельских обществах, та необходимость подчиняться всему одному способу ведения хозяйства, необходимость постоянного передела, невозможность для хозяина с инициативой применить к временно находящейся в его пользовании земле свою склонность к определенной отрасли хозяйства, все это распространится на всю Россию. Все и вся были бы сравнены, земля стала бы общей, как вода и воздух. Но к воде и к воздуху не прикасается рука человеческая, не улучшает их рабочий труд; иначе на улучшенные воздух и воду несомненно наложена была бы плата, на них установлено было бы право собственности. Я полагаю, что земля, которая распределялась бы между гражданами, отчуждалась бы у одних и предоставлялась бы другим местным социал-демократическим присутственным местом, что эта земля получила бы скоро те же свойства, как и вода и воздух. Ею бы стали пользоваться, но улучшать ее, прилагать к ней свой труд с тем, чтобы результаты этого труда перешли к другому лицу, — этого никто не стал бы делать. Вообще стимул к труду, та пружина, которая заставляет людей трудиться, была бы сломлена. Каждый гражданин, — а между

ними всегда были и будут тунеядцы, — будет знать, что он имеет право заявить о своем желании получить землю, приложить свой труд к земле, затем, когда занятие это ему надоест, бросить ее и пойти опять бродить по белу свету. **Все будет сравнено, но приравнять всех можно только к низшему уровню. Нельзя человека ленивого приравнять к трудолюбивому, нельзя человека тупоумного приравнять к трудоспособному.**

Вследствие этого культурный уровень страны понизится. Добрый хозяин, хозяин-изобретатель, самою силою вещей будет лишен возможности приложить свои знания к земле. Надо думать, что при таких условиях совершился бы новый переворот и человек даровитый, сильный, способный, силою восстановил бы свое право на собственность, на результаты своих трудов. Ведь, господа, собственность имела всегда своим основанием силу, за которою стояло и нравственное право. Ведь и раздача земли при Екатерине Великой оправдывалась необходимостью заселения незаселенных громадных пространств. И тут была государственная мысль. Точно так же право способного, право даровитого создало и право собственности на Западе. Неужели же нам возобновлять этот опыт и переживать новое воссоздание права собственности на уравненных и разоренных полях России? А эта перекроенная и уравненная Россия — что, стала ли бы она и более могущественной и богатой? Ведь богатство народов создает и могущество страны. Путем же переделения всей земли государство в своем целом не приобретает ни одного лишнего колоса хлеба. Уничтожены, конечно, будут культурные хозяйства. **Временно будут увеличены крестьянские наделы, но при росте населения они скоро обратятся в пыль, и эта распыленная земля будет высылать в города массы обнищавшего пролетариата.** Но, положим, что эта картина неверна, что краски тут сгущены, кто же, однако, будет возражать против того, что такое потрясение, такой громадный социальный переворот не отразится, может быть, на самой целости России. Ведь тут, господа, предлагают разрушение существующей государственности, **предлагают нам, среди других сильных и крепких народов, превратить Россию в развалины для того, чтобы на этих развалинах строить новое, неведомое нам отечество.** Я думаю, что на втором тысячелетии своей жизни Россия не развалится. Я думаю, что она обновится, улучшит свой уклад, пойдет вперед, но путем разложения не пойдет, потому что, где разложение, там смерть.

Теперь обратимся, господа, к другому предложенному нам проекту партии народной свободы. Проект этот не обнимает задачу в таком большом объеме, как предыдущий проект, и задается увеличением пространства крестьянского землевладения. Проект этот даже отрицает, не признает и не создает ни за кем права на землю. Однако я должен сказать, что в этом проекте для меня не все понятно и он представляется мне во многом противоречивым. Докладчик этой партии в своей речи отнесся очень критически к началам национализации земли. Я полагал, что он логически должен поэтому прийти к противоположному, к признанию принципа собственности, отчасти это и было сделано. Он признавал за крестьянами право неизменного постоянного пользования землей, но вместе с тем для расширения его владений он признал необходимым нарушить постоянное пользование его соседей землевладельцев. Вместе с тем, он гарантирует крестьянам ненарушимость их владений в будущем. Но раз признан принцип отчуждаемости, то кто же поверит тому, что, если понадобится со временем отторгнуть земли крестьян, они не будут отчуждены? И потому мне кажется, что в этом отношении проект левых партий гораздо более искренен и правдив — в нем признается возможность пересмотра трудовых норм, отнятие излишка земли у домохозяев. Вообще, если признавать принцип обязательного количественного отчуждения, то есть принцип возможности отчуждения земли у того, у кого ее много, чтобы дать тому, у кого ее мало, надо знать, к чему поведет это в конечном выводе, — это приведет к той же национализации земли. Ведь если теперь, в 1907 году, у владельца, скажем, 3000 десятин, будет отнято 2500 и за ним останутся 500 дес. культурных, то ведь с изменением понятия о культурности и с ростом населения он, несомненно, подвергается риску отнятия остальных 500 десятин. Мне кажется, что и крестьянин не поймет, почему он должен переселяться куда-то вдаль, ввиду этого только, что его сосед не разорен, а имеет, по нашим понятиям, культурное хозяйство. Почему он должен идти в Сибирь и почему не может быть направлен, — по картинному выражению одного из ораторов партии народной свободы, — на соседнюю помещичью землю? Мне кажется, ясно, что и по этому проекту право собственности на землю отменяется; она изымается из области купли и продажи. **Никто не будет прилагать свой труд к земле, зная, что плоды его трудов могут быть через несколько лет отчуждены.** Докладчик партии прикидывал цену на отчужденную землю в среднем по 80 рублей на десятину в европейской России. Ведь это не может поощрить к применению своего труда к земле, скажем, тех лиц, которые за землю год перед тем заплатили по 200—300 рублей за десятину и вложили в нее свое достояние. Но между мыслями, предложенными докладчиком партии народной свободы, есть и мысль, которая должна сосредоточить на себе самое серьезное внимание. Докладчик заявил, что надо предоставить самим крестьянам устраиваться так, как им удобно. Закон не призван учить крестьян и навязывать им какие-либо теории, хотя бы эти теории и признавались законодателями совершенно основательными и правильными. **Пусть каждый устраивается по-своему, и только тогда мы действительно поможем населению. Нельзя такого заявления не приветствовать.** И само правительство, во всех своих стремлениях, указывает только на одно: нужно снять те оковы, которые наложены на крестьянство, и дать ему возможность самому избрать тот способ пользования землей, который наиболее его устраивает. Интересно еще в проекте партии народной свободы другое провозглашаемое начало. Это начало государственной помощи. Предлагается отнести на расходы казны половину стоимости земли, приобретаемой крестьянами. Я к этому началу еще вернусь, а теперь укажу, что оно, мне кажется, несколько противоречит провозглашаемому принципу принудительного отчуждения. Если признать принудительное отчуждение, то как же, наряду с этим, признать необходимость для всего населения, для всего государства, для всех классов населения прийти на помощь самой нуждающейся части населения? Почему наряду с этим необходимо с этой целью обездолить 130 000 владельцев, и не только обездолить, но и оторвать их от привычного и полезного для государства труда. Может быть, господа, без этого обойтись нельзя?

Прежде чем изложить вам в общих чертах виды правительства, я позволю себе остановиться еще на одном способе разрешения земельного вопроса, который засел во многих головах. Этот способ, этот путь — это путь насилия. Вам всем известно, господа, насколько легко прислушивается наш крестьянин-простолюдин ко всевозможным толкам, насколько легко он поддается толчку, особенно в направлении разрешения своих земельных вожделений явочным путем, путем, так сказать, насилия. За это уже платился несколько раз наш серый крестьянин. Я не могу не заявить, что в настоящее время опасность новых насилий, новых бед в деревне возрастает. Правительство должно учитывать два явления: с одной стороны — несомненное желание, потребность, стремление широких кругов общества поставить работу в государстве на правильных законных началах и приступить к правильному новому законодательству для улучшения жизни страны. Это стремление правительство не может не приветствовать и обязано приложить все силы для того, чтобы помочь ему; но наряду с этим существует и другое — **существует желание усилить брожение в стране, бросать в население семена возбуждения смуты с целью возбуждения недоверия к правительству, с тем, чтобы подорвать его авторитет, для того, чтобы соединить воедино все враждебные правительству силы.** Ведь с этой кафедры, господа, была брошена фраза: «Мы пришли сюда не покупать землю, а ее взять». Отсюда, господа, распространялись и письма в провинцию, в деревни, письма, которые печатались в провинциальных газетах, почему я о них и упоминаю, письма, вызывавшие и смущение, и возмущение на местах. Авторы этих писем привлекались к ответственности, но поймите, господа, что делалось в понятиях тех сельских обывателей, которым предлагалось, ввиду якобы насилий, кровожадности и преступлений правительства, обратиться к насилию и взять землю силой. Я не буду утруждать вас, господа, ознакомлением с этими документами. Я скажу только, при наличности их, — и я откровенно это заявляю, так как русский министр и не может иначе говорить в русской Гос. Думе, — можно предвидеть и наличность новых попыток приобретения земли силою и насилием. Я должен сказать, что в настоящее время опасность эта еще далеко, но необходимо определить ту черту, за которой опасность эта, опасность успешного воздействия на население в смысле открытого выступления, становится действительно тревожной. Государство, конечно, переступить эту черту, этот предел не дозволит, иначе оно перестанет быть государством и станет пособником собственного своего разрушения. Все, что я сказал, господа, является разбором тех стремлений, которые, по мнению Правительства, не дают того ответа на запросы, того разрешения дела, которого ожидает Россия. Насилия допущены не будут. Национализация земли представляется Правительству гибельною для страны, а проект партии народной свободы, т. е. полуэкспроприация, полунационализация в конечном счете, по нашему мнению, приведет к тем же результатам, как и предложение левых партий.

Где же выход? Думает ли Правительство ограничиться полумерами и полицейским охранением порядка? Но прежде чем говорить о способах, нужно ясно себе представить цель, а цель у Правительства вполне определенна: **Правительство желает поднять крестьянское землевладение, оно желает видеть крестьянина богатым, достаточным, так как где достаток, там, конечно, и просвещение, там и настоящая свобода.** Но для этого необходимо дать возможность способному трудолюбивому крестьянину, т. е. соли земли русской, освободиться от тех тисков, от тех теперешних условий жизни, в которых он в настоящее время находится. Надо дать ему возможность укрепить за собой плоды трудов своих и представить их в неотъемлемую собственность. **Пусть собственность эта будет общая там, где община еще не отжила, пусть она будет подворная там, где община уже не жизненна, но пусть она будет крепкая, пусть будет наследственная.** Такому собственнику-хозяину Правительство обязано помочь советом, помочь кредитом, то есть деньгами. Теперь же надлежит немедленно браться за незаметную черную работу, надлежит сделать учет всем тем малоземельным крестьянам, которые живут земледелием. Придется всем этим малоземельным крестьянам дать возможность воспользоваться из существующего земельного запаса таким количеством земли, которое им необходимо, на льгот-

ных условиях. Мы слышали тут, что для того, чтобы дать достаточное количество земли всем крестьянам, необходимо иметь запас в 57 млн. дес. земли. Опять-таки говорю, я цифры не оспариваю, тут же указывалось на то, что в распоряжении Правительства находится около 10 млн. дес. земли. Но, господа, ведь Правительство только недавно начало образовывать земельный фонд. Ведь Крестьянский банк перегружен предложениями. Здесь нападали и на Крестьянский банк, и нападки эти были достаточно веские. Была при этом брошена фраза: «это надо бросить». По мнению Правительства, бросать ничего не нужно. Начатое дело надо улучшать. При этом должно, быть может, обратиться к той мысли, на которую я указывал раньше — мысль о государственной помощи. Остановитесь, господа, на том соображении, что Государство есть один целый организм, и что если между частями организма, частями Государства начнется борьба, то Государство неминуемо погибнет и превратится «в Государство, разделившееся на ся». В настоящее время Государство у нас хворает. Самой больною, самой слабою частью, которая хиреет, которая завядает, является крестьянство. Ему надо помочь. Предлагается простой, совершенно автоматический, совершенно механический способ: взять и разделить все 130 000 существующих в настоящее время поместий. Государственно ли это? Не напоминает ли это историю Тришкина кафтана — обрезать полы, чтобы сшить из них рукава? Господа! **Нельзя укрепить больное тело, питая его вырезанными из него самого кусками мяса; надо дать толчок организму, создать прилив питательных соков к больному месту, и тогда организм осилит болезнь**; в этом должно, несомненно, участвовать все государство, все части государства должны прийти на помощь той его части, которая в настоящее время является слабейшей. В этом — смысл государственности, в этом — оправдание Государства, как одного социального целого. Мысль о том, что все государственные силы должны прийти на помощь слабейшей его части, может напоминать принципы социализма: но если это принцип социализма, то социализма государственного, который применялся не раз в Западной Европе и приносил реальные и существенные результаты. У нас принцип этот мог бы осуществиться в том, что государство брало бы на себя уплату части процентов, которые взыскиваются с крестьян за предоставленную им землю. В общих чертах дело сводилось бы к следующему: Государство закупало бы предлагаемые в продажу частные земли, которые, вместе с землями удельными и государственными, составляли государственный земельный фонд. При массе земель, предлагаемых в продажу, цены на них при этом не возросли бы.

Из этого фонда получали бы землю на льготных условиях те малоземельные крестьяне, которые в ней нуждаются и действительно прилагают теперь свой труд к земле, и затем те крестьяне, которым необходимо улучшить формы теперешнего землепользования. Но так как в настоящее время крестьянство оскудело и ему не под силу платить тот сравнительно высокий процент, который взыскивается Государством, то последнее и приняло бы на себя разницу в проценте, выплачиваемом по выпускаемым им листам и тем процентом, который был бы посилен крестьянину, который был бы определяем государственными учреждениями. Вот эта разница обременяла бы государственный бюджет; она должна была бы вноситься в ежегодную роспись государственных расходов. **Таким образом, вышло бы, что все Государство, все классы населения помогают крестьянам приобрести ту землю, в которой они нуждаются. В этом участвовали бы все плательщики государственных повинностей, чиновники, купцы, лица свободных профессий, те же крестьяне и те же помещики.** Но тягость была бы разложена равномерно и не давила бы на плечи одного немногочисленного класса. 130 000 человек, с уничтожением которого уничтожены были бы, что бы там ни говорили, и очаги культуры. Этим именно путем Правительство начало идти, понизив (...) проценты платежа Крестьянскому банку. Способ этот более гибкий, менее огульный, чем тот способ повсеместного принятия на себя государством платежа половинной стоимости земли, которую предлагает партия народной свободы. Если бы одновременно был установлен выход из общины и создана, таким образом, крупная индивидуальная собственность, было бы упорядочено переселение, было бы облегчено получение ссуд под надельные земли, был бы создан широкий мелиоративный землеустроительный кредит, то хотя круг предполагаемых Правительством земельных реформ и не был бы вполне замкнут, но виден был бы просвет; при рассмотрении вопроса в его полноте, может быть, и в более ясном свете представился бы и пресловутый вопрос об обязательном отчуждении. Пора этот вопрос двинуть в его настоящие рамки, пора, господа, не видеть в этом волшебного средства, какой-то панацеи против всех бед. Средство это представляется смелым потому только, что в разоренной России оно создаст еще класс разоренных землевладельцев. Обязательное отчуждение действительно может явиться необходимым. Но, господа, в виде исключения, а не общего правила, и обставленным ясными и точными гарантиями закона. Обязательное отчуждение может быть не количественного характера, а только качественного.

Оно должно применяться, главным образом, тогда, когда крестьян можно устроить на местах, для улучшения способов пользования ими землей; оно представляется возможным тогда, когда необходимо при переходе к лучшему способу хозяйства — устроить водопой, устроить выгон, пастбища, устроить дороги, наконец, избавиться от вредной

чересполосицы. Но я, господа, не предлагаю вам, как я сказал ранее, полного аграрного проекта. Я предлагаю вашему вниманию только те вехи, которые поставлены правительством. Более полный проект предлагалось внести со стороны компетентного ведомства в соответствующую комиссию, если бы в нее были приглашены представители правительства для того, чтобы быть там выслушанными.

Пробыв около 10-ти лет у дела земельного устройства, я пришел к глубокому убеждению, что в деле этом нужен упорный труд, нужна продолжительная черная работа. Разрешить этого вопроса нельзя, его надо разрешать. В западных государствах на это потребовались десятилетия. Мы предлагаем вам скромный, но верный путь. **Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия!**

Заседание Г. Д. 17/V 07 г. По запросу об обыске в квартире депутата Озоля и задержании депутатов.

Гг. члены Госуд. Думы! Я не думал выступать сегодня по этому делу и не ждал запроса, который здесь оглашен, так что он является для меня полной неожиданностью. Но я считаю своей обязанностью, как начальник полиции в государстве, выступить с несколькими словами в защиту действий лиц, мне подчиненных. Дело, которое здесь сегодня поднято, будет, вероятно, рассмотрено по обсуждении в комиссии. Вероятно, мне придется дать разъяснение в порядке запроса о незакономерных действиях полиции. Теперь я желаю дать только предварительное разъяснение. Насколько мне известно, дело произошло таким образом: полиция получила сведения, что на Невском собираются центральные революционные комитеты, которые имеют сношения с военной организацией. В данном случае полиция не могла поступить иначе, как, я не допускаю выражения «вторгнуться», войти в эту квартиру, и в силу власти, предоставленной полиции, произвести обыск. Не забудьте, что г. Петербург находится на положении чрезвычайной охраны, и что в этом городе происходили и события чрезвычайные. Таким образом, полиция должна была, имела право и правильно сделала, что в эту квартиру вошла. В квартире оказались, действительно, члены Госуд. Думы, но кроме них были и посторонние лица; в числе 31 эти лица были задержаны, и при них найдены документы, некоторые из которых оказались компрометирующими. Всем членам Госуд. Думы было предложено, не пожелают ли они тоже обнаружить то, что при них находится. Из них несколько лиц подчинились, а другие отказались. Никакого насилия над ними не происходило, и до окончания обыска все они оставались в квартире, в которую вошла полиция. Теперь я должен в оправдание действий полиции сказать следующее.

На следующий день были произведены дополнительные действия не только полицейской, но и следственной властью, и обнаружено отношение квартиры депутата Озоля к военно-революционной организации, поставившей своей целью вызвать восстание в войсках. В этом случае, господа, я должен сказать и заявляю открыто, что полиция впредь будет так же действовать, как она действовала. Незакономерного ничего не было. Если были какие-нибудь детали, то это будет обнаружено впоследствии. **Я должен заявить, что, кроме ограждения депутатской неприкосновенности, на нас, носителях власти, лежит еще другая ответственность: ограждение общественной безопасности.** Этот долг мы сознаем и исполним его до конца. Как начальник, как ответственное лицо за действия полиции, я считаю своей обязанностью перед лицом всей России сказать несколько слов в ее защиту и заявить, что если будут до нее доходить такие слухи, и не только слухи, но, вообще, данные, могущие иметь серьезные последствия, за которые правительство и администрация несут ответственность, то она сумеет поступить так же, как поступала, а судебное ведомство вспомнит свой долг и обнаружит виновных.

Заседание Г. Д. 16/XI 1907 г. Декларация правительственной программы.

Господа члены Государственной Думы!

Для успеха совместной работы вашей с Правительством, вам надлежит быть осведомленными о целях, преследуемых Правительством, о способах, намеченных для их достижения, и о существе законодательных его предложений.

Ясная и определенная правительственная программа является в этих видах совершенно необходимою.

Поэтому, несмотря на то, что **я еще так недавно излагал перед второй Думой правительственные законопроекты, оставшиеся с тех пор без рассмотрения,**

мне приходится вновь выступить с заявлением от имени Правительства.

Хотя на рассмотрение ваше, господа члены Государственной Думы, вносятся те же, за малыми исключениями и изменениями, законопроекты, которые внесены были во вторую Думу, но условия, в которых приходится работать и достигать тех же целей, не остались без изменения.

Для всех теперь стало очевидным, что **разрушительное движение, созданное крайними левыми партиями, превратилось в открытое разбойничество и выдвинуло вперед все противообщественные, преступные элементы, разоряя честных тружеников и развращая молодое поколение.**

Противопоставить этому явлению можно только силу. Какие-либо послабления в этой области Правительство сочло бы за преступление, так как дерзости врагов общества возможно положить конец лишь последовательным применением всех законных средств защиты.

По пути искоренения преступных выступлений шло Правительство до настоящего времени — этим путем пойдет оно и вперед.

Для этого Правительству необходимо иметь в своем распоряжении, в качестве орудия власти, должностных лиц, связанных чувством долга и государственной ответственности; поэтому проведение ими личных политических взглядов и вперед будет считаться несовместным с государственною службою.

Начала порядка, законности и внутренней дисциплины должны быть внедрены и в школе, и новый строй ее, конечно, не может препятствовать Правительству предъявлять соответственные требования к педагогическому ее персоналу.

Сознавая настоятельность возвращения Государства от положения законов исключительных к обыденному порядку, Правительство решило всеми мерами укрепить в стране возможность быстрого и правильного судебного возмездия.

Оно пойдет к этому путем созидательным, твердо веря, что благодаря чувству государственности и близости к жизни русского судебного сословия Правительство не будет доведено смутою до необходимости... предложить законодательным собраниям законопроект о временной приостановке судебной несменяемости.

При наличии Государственной Думы задачи Правительства в деле укрепления порядка могут только облегчиться, так как, помимо средств на преобразование администрации и полиции, Правительство рассчитывает получить ценную поддержку представительных учреждений путем обличения незакономерных поступков властей, как относительно превышения власти, так и бездействия оной.

При этих условиях Правительство надеется обеспечить спокойствие страны, что даст возможность все силы законодательных собраний и Правительства обратить к внутреннему ее устроению.

Устроение это требует крупных преобразований, но все улучшения в местных распорядках, в суде и администрации останутся поверхностными, не проникнут вглубь, пока не будет достигнуто поднятие благосостояния основного, земледельческого класса государства.

Поставив на ноги, дав возможность достигнуть хозяйственной самостоятельности многомиллионному сельскому населению, законодательные учреждения заложат то основание, на котором прочно будет воздвигнуто преобразованное Русское государственное здание.

Поэтому коренною мыслью теперешнего Правительства, руководящею его идеею всегда будет вопрос землеустройства.

Не беспорядочная раздача земель, не успокоение бунта подачками — бунт погашается силою, — а признание неприкосновенности частной собственности и, как последствие, отсюда вытекающее, создание мелкой личной земельной собственности, реальное право выхода из общины и разрешение вопросов улучшенного землепользования — вот задачи, осуществление которых Правительство считало и считает вопросами бытия Русской державы.

...На устойчиво заложенном таким образом основании, Правительство предложит вам строить необходимые для страны преобразования, посредством расширения и переустройства местного самоуправления, реформы местного управления, развития просвещения и ведения целого ряда усовершенствований в строе местной жизни, между которыми **государственное попечение о неспособных к труду рабочих, страхование их и обеспечение им врачебной помощи останавливают теперь особенное внимание Правительства.** Соответственные проекты готовы. Большинство их вносится немедленно в Госуд. Думу. Другие же, как затрагивающие многосторонние, местные интересы, будут предварительно проводиться через Совет по делам местного хозяйства и вноситься в Думу постепенно, с принятыми Правительством поправками и, во всяком случае, с заключением названного Совета (...). Замечания местных деятелей могут быть быстрее всего сведены в единое целое и соображены Правительством путем живого общения с представителями земств и городов, и результаты этой работы должны послужить драгоценным материалом для законодательных учреждений и особенно их комиссий.

(...) Из проектов, касающихся земельного устройства, ныне же вносится в Государственную Думу проект о земельных обществах. В области местных преобразований принципиальное значение имеет представляемый в Думу проект Министерства юстиции о преобразовании местного суда, так как в зависимости от принятия этого законопроекта стоит проведение в жизнь другого: о неприкосновенности личности, и целый ряд преобразований в местном управлении (...).

При этом Правительство почтет своим долгом в принадлежащей ему области содействовать всем мероприятиям на пользу господствующей церкви и духовного сословия.

Правительство надеется в скором времени предложить на обсуждение Государственной Думы также проекты самоуправления на некоторых окраинах, применительно к предполагаемому новому строю внутренних губерний, причем идея государственного единства и целости будет для Правительства руководящею.

Излишне добавлять, что, несмотря на наилучшие отношения со всеми державами, особые заботы Правительства будут направляться к осуществлению воли Державного Вождя наших вооруженных сил о постановке их на ту высоту, которая соответствует чести и достоинству России.

Для этого нужно напряжение материальных сил страны, нужны средства, которые будут испрошены у вас, посланных сюда страною для ее успокоения и упрочения ее могущества.

От наличия средств зависит, очевидно, осуществление всех реформ и разрешение вопроса о последовательности их проведения в жизнь. Поэтому подсчет средств, которыми располагает государство, является работою не только основною, но и самою срочною. Вам придется вследствие сего неминуемо обратиться в первую очередь к обсуждению внесенной в Государственную Думу государственной росписи и при этом считаться, конечно, с неизбежностью сохранить бюджетное равновесие как основу воссоздания русского кредита.

Со своей стороны, Правительство употребит все усилия, чтобы облегчить работу законодательных учреждений и осуществить на деле мероприятия, которые, пройдя через Думу и Государственный Совет и получив утверждение Государя Императора, несомненно, восстановят порядок и укрепят прочный **правовой уклад, соответствующий русскому народному самосознанию.**

В этом отношении Монаршая воля неоднократно являла доказательства того, насколько Верховная власть, несмотря на встреченные Ею на пути чрезвычайные трудности, дорожит самыми основаниями законодательного порядка, вновь установленного в стране и определившего пределы Высочайше дарованного ей представительного строя.

Проявление царской власти во все времена показывало также воочию народу, что историческая Самодержавная Власть и свободная воля Монарха являются драгоценнейшим достоянием русской государственности, так как единственно эта власть и эта воля, создав существующие установления и охраняя их, призвана, в минуты потрясений и опасности для Государства, к спасению России и обращению ее на путь порядка и исторической правды.

Заседание Г. Д. 5/V 08 г. Ответ на запрос о Финляндии.

Гг. члены Гос. Думы! Поднятый сегодня впервые в Гос. Думе вопрос, касающийся отношений Империи к составной ее части Финляндии, мало известен широким слоям русских образованных людей, но вместе с тем он вызывает к себе особенно страстное отношение и общества, и печати. Вот почему, может быть, в нарушение установившихся обычаев, я решился поделиться с вами моими мыслями о Финляндии в первой стадии развития этого вопроса, так как говорить об этом вопросе надо с особенным спокойствием и самообладанием, и, мне кажется, что этим путем дело упростится, может быть, сократится и обсуждение его, так как правительство сразу выскажет свою точку зрения на отношение Империи к великому княжеству. Но прежде всего я должен объяснить вам, почему я считаю необходимым давать вам пояснение по финляндским делам. Ведь существует мнение, что Финляндия — совершенно особое государство, управляемое особыми своими законами через особое свое правительство. Если придерживаться этой точки зрения, то Русское Императорское Правительство не имеет никакого касательства к Финляндии, и Государь Император, управляя Империей через Имперское Правительство, управляет Финляндией через особое финляндское правительство, — сенат, разрешая лишь, в случае надобности, создавшиеся между двумя соседними подвластными ему государствами недоразумения. Существует и другая точка зрения, — что Финляндия есть такая же окраинная провинция, как скажем, Привислинские губернии или Кавказ, и что вся задача управления Финляндией сводится к тому, чтобы приблизить форму этого управления к форме управления Империей. И та, и другая точка зрения неправильны. Что и как думает Правительство, я разъясню дальше, но теперь, с самого начала, я хотел бы установить, что Имперское Правительство считает и будет себя считать ответственным за финляндские события, так как Финляндия — составная часть Русской империи, а Империя управляется объединенным Правительством, которое ответственно перед Государем за все, происходящее в государстве. Что же, гг., происходило и происходит в Финляндии? Я должен признаться, что счел бы весьма трудною и неблагодарною задачу опровергать все факты, которые лежат в основе поданного в Гос. Думу запроса. Ведь, гг., у всех на памяти действия финляндской красной гвардии с ее пресловутым предводителем, капи-

таном Коком во главе. Этот бывший офицер финляндских войск еще в мае 1906 г. в Котке открыто заявлял, что мы, т. е. красная гвардия, естественные помощники русской революционной армии, и если по счастливым обстоятельствам нам пришлось достигнуть первенствующего значения, то это лишь случайно. Всем памятны и действия красной гвардии в октябрьские дни 1905 г., когда она останавливала и действие железных дорог и телеграфа, производила насилия над чинами жандармского надзора, а когда кончилась забастовка, начала производить открыто воинские упражнения, учения и парады во всей территории Финляндии, даже под стенами русской крепости Выборг. Памятно также и отношение к этому местных властей.

Так, когда губернатор по настоянию коменданта крепости запретил эти упражнения в районе крепости, то высшие власти в крае отменили это распоряжение, заявив, что красная гвардия — это мирное невооруженное учреждение, это классовая организация внутреннего финляндского значения. Эта «мирная» организация через несколько времени, однако, принимает участие в свеаборгском бунте, портит полотно железной дороги, взрывает железнодорожный мост, вступает в бой с полицией, обстреливает воинский поезд. Но подавлен свеаборгский мятеж, и после этого финляндский сенат объявляет учреждение красной гвардии закрытым. В это время в Финляндии уже начинает действовать и укрепляться другая, гораздо более сильная организация — общество «Воймы» — по-русски «сила». Если судить по отзывам печати того времени, то войма получила повсеместное распространение по всей стране, проникла во все слои населения. Случайные отголоски газет и из залы суда, где возникают отрывочные дела о складах оружия, дают яркую характеристику воймы. Некто Тидеман заявляет в то время, что войма заполнила тот пробел, который образовался в Финляндии вследствие упразднения финляндских войск; другой финляндец, один из главарей красной гвардии, дал показание о том, что под видом спортивного общества войма распространила в Финляндии много тысяч винтовок. А что распространение оружия приняло в это время большие размеры, это подтверждается фактами. Я думаю, что подвоз в Финляндию целых нагруженных оружием кораблей был бы признан за провокационную сказку, если бы опять-таки не факты. Один из самых ярких примеров и фактов — это случай с пароходом «Джон Графтон». Этот пароход случайно садится в финляндских шхерах на мель, к нему сейчас же подплывают два финляндских лоцмана, их встречают двадцать человек вооруженной команды, принуждают их покинуть пароход, затем сама команда садится на парусную шлюпку, берет курс в море — и тут последовательно на «Джон Графтоне» раздаются три взрыва, и пароход идет ко дну. На обломках этого парохода всплывает оружие, винтовки, и через некоторое время у окрестных жителей отбирают до 1 300 винтовок, а водолазы в трюме парохода находят ящики с множеством винтовок и огнестрельного оружия. Совершенно почти одинаков случай с моторной шхуной «Петер», упоминаемой в запросе. Этот случай не менее романтичен. Команда, которая состояла из финнов и шведов, во время перехода морем, связывает капитана, арестовывает его, затем высаживается на берег, выгружает груз. После этого полиция устанавливает, что груз этот получен в Любеке из Базеля и состоит из сотен ящиков опять-таки огнестрельного оружия и карабинов. Я думаю, что самый интересный из всех транспортов оружия — это транспорт парохода «Ханхи». Груз этот прошел через гельсингфорсскую таможню и только вследствие подозрительности носильщика, который нашел его чрезмерно тяжелым, обнаружилось его содержимое, т. е. оружие. Обнаружено его происхождение из Бьернеборга, откуда успели уже отправить в Куоккалу целый вагон винтовок. Обнаружен был и получатель этого груза, некто Маннелин. Маннелин показал, что груз этот принадлежал умершему уже в то время председателю союза воймы, который отдал в его распоряжение некоторую часть оружия для вооружения местных кадров национальной милиции. Маннелина судили, и финляндский суд присудил его за нарушение таможенного устава к штрафу в 300 марок! Затем, господа, в течение всего 1907 г. ввоз оружия в Финляндию продолжался и целые партии его были арестованы в Англии. Полиция установила даже фирму в Гамбурге, которой оружие заказывалось. Установлены, господа, не только месяц, установлены числа, дни месяца, когда эти партии были направлены в Финляндию.

В начале действий общества «Воймы» местные власти относились к ним довольно снисходительно. Вот отзыв прокурора. Когда обнаружен был преступный характер тайного общества «Воймы», то прокурор Сената в первоначальном своем заключении не находил ничего преступного в том, что члены общества ставили своей целью защиту закономерного и общественного строя, как против всякого режима, нарушающего конституцию края и благоприобретенные права граждан, так и против других враждебных обществу элементов.

Точно так же установлено участие в этих враждебных действиях некоторых должностных лиц. Вполне удостоверена на судебном процессе виновность таммерфорсского полицмейстера Нандельштадта и бьернеборгского — Эмана. Они оба устранены были от должности, и первый из них был даже судим. Что касается воззваний общества «Воймы», то полиция неоднократно обращала внимание на них финляндских властей, но судебные финляндские власти относились подозрительно к показаниям нашей

полиции, даже подозревая подлинность этих воззваний и намекая на то, что они русского происхождения. Ввиду этого, мне пришлось в очень категорической форме напомнить финляндским властям, что нельзя безнаказанно обвинять клеветническим образом целое ведомство в таком проступке, притом в официальном документе. Точно так же довольно подозрительно относились финляндские власти к заявлениям русской полиции о действиях наших революционеров в Финляндии. Между тем, гг., опять-таки полицией установлено, что в течение одного 1907 г., начиная с февраля и кончая декабрем, на территории Финляндии происходило 25 конференций и собраний именно революционного характера. На территории Финляндии, гг., готовились и организовались многие из тех покушений, которые имели место в Петербурге. Там организован был взрыв 12 августа 1906 г., ограбление в Фонарном переулке, причем похищенные деньги увезены были в Финляндию; покушение на убийство генерал-адъютанта Дубасова, убийство генерала Мина, убийство генерала фон-дер-Лауница, главного военного прокурора Павлова, начальника петербургской тюрьмы полковника Иванова, дерябинской тюрьмы Гудима, акатуевской тюрьмы Бородулина и начальника главного тюремного управления Максимовского. Там же подготовлялось покушение на военного министра, покушение на министра юстиции, наконец, покушение на Великого князя Николая Николаевича, и если бы не своевременный арест знаменитого Карла, организатора всех этих убийств и покушений, то нельзя было бы, вероятно, предотвратить и покушение посредством взрыва в зале Государственного Совета. Всем памятно, гг., что в течение нынешней зимы предупреждено было покушение на ограбление посредством взрывчатых веществ кассы конторы Императорских театров, так как своевременно арестована была вся злодейская шайка революционеров. Конечно, на памяти у вас и лаборатория взрывчатых веществ в Хаапола, затем 20 начиненных бомб, найденных подо льдом в течение текущей зимы около станции Куоккала вместе со всеми приспособлениями и с массою взрывчатых веществ. Конечно, гг., и на территории Империи приготовлялись и приводились в исполнение такие же террористические акты, но если принять во внимание, что территория Финляндии равняется территории одной нашей хорошей губернии, то и в наше даже ненормальное время только что описанные мною явления не могут быть признаны нормальными. Но нормален ли, правилен ли и другой ряд явлений, затронутых в вопросе, — направление тех дел, которые имеют общеимперское значение, которые касаются и Финляндии, и России. Я не хочу, гг., касаться личностей; не хотел бы никого обвинять и хотел бы оставаться в мире фактов, но и в этой области я должен признать, что многое обстоит неблагополучно.

Еще 1 августа 1891 г. состоялось Высочайшее постановление о том, чтобы по тем законодательным делам, которые касаются равномерно и Империи, и Финляндии, министр-статс-секретарь запрашивал заключение надлежащего министра Империи. Таким образом, по самой основной постановке вопроса, финляндское должностное лицо, финляндский министр-статс-секретарь является вершителем вопроса: касается ли данное дело интересов Империи или не касается? От его доброй воли, от его усмотрения зависит, запросить по этому поводу имперские власти или не запрашивать. Такая постановка вопроса, конечно, дала себя знать очень скоро и привела, конечно, и к ненормальным результатам. Уже в следующем году после издания Высочайшего повеления, а затем и в 1896 г. были изменены некоторые параграфы учреждений финляндского сената, именно по милиционной его экспедиции без запроса военного министра. Затем, 20 апреля 1906 г. был издан закон о русском языке в делопроизводстве присутственных мест Финляндии — опять без запроса русских властей. По закону о печати пропозиция сейму была предложена без запроса русских имперских властей. Самый же законопроект о печати дошел до моего сведения вследствие запроса министру внутренних дел по одному только пункту; между тем сам генерал-губернатор считал необходимым заключение министра юстиции, министра двора и министра иностранных дел. Таким образом, случайно, благодаря одному лишь пункту, мне стало известно о законе, который в других пунктах, в других параграфах, в целом своем, касался очень существенных интересов России и русских уроженцев.

Затем многие законопроекты мне стали известны только из газетных слухов. Правильно ли это? Между прочим, таким образом я узнал о законопроекте о промыслах, об оскорблении Величества, наконец, об отзыве сейма по предложению Государя Императора относительно ассигнований сумм на те расходы, на которые не хватало ординарных средств. Это тот самый отзыв сейма, на который, после обсуждения в Совете Министров, последовала резолюция Государя Императора, позднее опубликованная, подтвердившая незыблемость прав Монарха распоряжаться штатными и другими правительственными фондами Финляндии. Даже самый сеймовый устав 1906 г. чуть было не миновал имперских властей, так как по инициативе только Государя Императора была в то время образована комиссия под председательством статс-секретаря Фриша — для обсуждения тех вопросов этого устава, которые касались и интересов Империи. Наконец, в самое последнее время, в феврале месяце 1906 г., без сношения с имперскими властями министр-статс-секретарь доложил Государю Императору о том, что Сенат приступил уже к составлению проекта новой формы правления. Между тем,

этот проект клонится к почти полному освобождению Финляндии от связи, от уз ее с Державным Государством, с Россией. По этому законопроекту предполагается проводить в порядке финляндского законодательства даже некоторые такие определения, которые нашли себе место в основных законах и которые никоим образом не могут составить предмета законодательства местного.

(...) Но при этом я думаю, что корень зла совершенно не в закономерных действиях или бездействии властей, а лежит гораздо глубже — к этому я сейчас приду, но раньше, вскользь, по крайней мере, я должен сказать несколько слов о том, что же сделала русская правительственная власть за эти два года? Я не буду вас утомлять рассказами, пересказами тех сношений, которые имели почти все министерства с финляндскими властями, как по поводу «воймы», красной гвардии, так и общего законодательства, так как для этого нужно было бы вам прочесть целые тома. Я не буду говорить и о трудности действия нашей полиции в Финляндии, у которой там нет специальных агентов, скажу только, что эти самоотверженные действия, может быть, предупредили не одно злодейское покушение в Империи. Я принужден, однако, хотя мимоходом, указать на то, что Правительство употребило все усилия, чтобы установить такой способ, который бы обеспечил сохранность нашего государства. Вот в этом смысле велись переговоры с финляндским сенатом, и в течение 1906 г. было найдено как будто соглашение. Так, гражданская экспедиция Сената в октябре 1906 г. издала циркуляр относительно способа обысков, арестов и, наконец, выдачи нашим властям наших русских революционеров. Но циркуляр этот не имел реального значения, не имел последствий, так как финляндская полиция, по собственной инициативе, наших русских революционеров не преследовала. Ввиду этого революционеры, перешедшие границу, находили себе в Финляндии, на территории Русской империи, самое надежное убежище, гораздо более надежное, чем в соседних государствах, которые с большой охотой приходят в пределах конвенции и закона на помощь нашей русской полиции в этих преследованиях. Таким образом, когда наступили особенно тревожные события, когда ежеминутно готовились из Финляндии покушения на русских министров и великих князей, то, само собой разумеется, Правительство должно было подумать о каких-нибудь экстренных мерах. Это была, несомненно, его обязанность, так как опять-таки повторяю, **за 26 верст от границы России, от столицы, от резиденции Государя, готовились ежеминутно злодейские покушения.** Вот в это время и состоялось Высочайшее повеление о том, что если не будут ликвидированы самые опасные организации революционеров в Финляндии, то объявить Выборгскую губернию на военном положении. И вот почти накануне объявления Выборгской губернии на военном положении, стараниями русской полиции, которая организовала это дело, был задержан и арестован тот знаменитый «Карл», о котором я выше упоминал, т. е. организатор всех последних покушений, с ним вместе была задержана масса документов, которые осветили революционное движение в Финляндии, причем, к сожалению, почти одновременно с арестом другого революционера, Вайнштейна, документы, задержанные с ним, через два дня были похищены из канцелярии местного ленсмана вооруженной шайкой, напавшей на эту канцелярию. Вследствие упомянутых арестов необходимость военного положения временно отпала и Государь Император ограничился повелением установить по границам Финляндии сплошной военный кордон для того, чтобы механически не допускать подозрительных лиц — революционеров из Финляндии в Россию. Вот таким заслоном, таким путем и была временно огорожена наша граница, была обеспечена безопасность столицы со стороны Финляндии, обеспечена от вылазок из Выборгской губ., из Выборга, который когда-то был завоеван Петром и назван им подушкой С.-Петербурга. После всего этого дальнейшие переговоры с финляндскими властями повели к тому, что мы теперь ближе к более реальному осуществлению надзора на местах при совместных усилиях и русских и финляндских властей за нашими революционерами, и от доброй воли, от успеха этих совместных действий зависит спокойствие столицы.

Точно так же, господа, и по другому вопросу — вопросу об общем законодательстве, — Правительством принимались те меры, которые были Правительству доступны без нарушения местных финляндских узаконений. Я обратился с просьбой ко всем министрам и главноуправляющим, чтобы те заключения, которые посылаются ими министру-статс-секретарю по запросам его относительно общих законопроектов, были предварительно посылаемы в Совет Министров для общего их объединения и направления. Таким образом, Советом Министров был рассмотрен целый ряд очень важных законопроектов, между прочим, законопроект относительно выплаты известного денежного вознаграждения Финляндией за отбытие или, вернее, за неотбытие финляндскими гражданами воинской повинности за минувшие два года. Затем рассмотрен был законопроект относительно приобретения прав гражданства русскими уроженцами, законопроект, который предполагалось направить сначала в порядке финляндского законодательства, причем в этом порядке отменялись бы даже некоторые статьи нашего свода законов. Но, господа, все эти мероприятия Правительства, по проявлениям, затронутым в вапросе, имеют, по-моему, второстепенное значение. Для того, чтобы разрешить вопрос в корне, нужно прежде

всего отдать себе отчет, в чем причина тех ненормальных отношений, которые создались между государством и завоеванной силой его оружия провинцией? Механически разрешить этот вопрос нельзя. Мне кажется, что для этого недостаточно даже, может быть, и глубокого теоретического его изучения; тут нужно проникновение во внутренний мир противной стороны, и для того, чтобы разрешить домогательства, предъявленные Россией со стороны мирных, честных, культурных, трудолюбивых наших финляндских сограждан, нужно с полной справедливостью, без всякой предвзятости, отнестись к этим домогательствам. Я не желаю, господа, затрагивать каких-нибудь теоретических правовых вопросов, — это дело ученых исследований, ученых диспутов. Я хотел бы лишь остановить ваше внимание на некоторое время на всем известных, впрочем, исторических фактах, которые в разном освещении, взятые с различных углов зрения, приводят к различным выводам, что и служит причиной того неоправданного, даже, скажу, тягостного положения, в котором находятся наши отношения к Финляндии. Попробуем же, господа, проникнуть в мировоззрение финляндцев, но для этого необходимо считаться с тем, господа, что почти все политически мыслящие финляндцы, почти все финляндские политические партии в отношении своих исторических верований единодушны и почти солидарны. Это мировоззрение их основано прежде всего на том заявлении, которое было сделано на Сейме в Борго в 1809 г.[3] Императором Александром I. Вот, господа, подлинные слова Его грамоты: «Произволением Всевышнего, вступив в обладание Великим Княжеством Финляндским, признали Мы за благо сим вновь подтвердить и удостоверить религию, коренные законы, права и преимущества, коими каждое состояние сего княжества в особенности и все подданные, оное населяющие, от мала до велика по конституциям их доселе пользовались, обещая хранить оные в ненарушимой их силе и действии». Таким образом, финляндцы все признают, что на сейме в Борго Император Александр I даровал Финляндии конституцию и признал особую финляндскую государственность. Дальше, в течение всего царствования Александр I неоднократно подтверждал, что Он желает свято хранить все старинные установления и законы Великого Княжества. Особенно ярко подчеркнул это Император Александр I в манифесте от 1816 г. Вот, господа, выдержки из этого манифеста: «Быв удостоверены, что конституция и закон, к обычаям, образованию и духу финляндского народа примененные, и с давних времен положившие основание гражданской его свободе и устройству, не могли бы быть ограничиваемы и отменяемы, без нарушения оных, Мы, при восприятии царствования над сим краем не только торжественнейше утвердили конституцию и законы сии с принадлежащими на основании оных каждому финляндскому гражданину особенными правами и преимуществами, но по предварительном рассуждении о сем с собравшимися земскими края сего чинами Мы учредили особенное правительство под названием Правительствующего Совета, составленного из коренных финляндцев, который доселе управлял гражданскою частью края сего и решал судебные дела, в качестве последней инстанции, не зависев ни от какой другой власти, кроме власти законов и сообразующейся с оными Монаршей Нашей волей».

Наконец, Монарх заявляет, что Он конституцию и законы, Им для Финляндии утвержденные, «силою сего акта во всех отношениях паки утверждает». Затем, господа, Император Александр II, созывая вновь сейм в 1863 году, упоминает о конституционной Монархии. В 1869 году Император Александр II утвердил сеймовый устав. Затем Он даровал Финляндии особую монету и особое войско. Сеймовый устав был признан нерушимым основным законом, который не мог изменяться без согласия Монарха с земскими чинами. Общеизвестно также, что все русские Государи, начиная с Александра I, вступая на престол, торжественными Манифестами подтверждали особое положение Финляндии в составе Русского государства, особую организацию ее судебной и административной части.

Все эти акты в связи с другими актами, с другими действиями тех же Государей получают и другую окраску. Но согласитесь, гг., что эти исторические прецеденты были достаточны для того, чтобы внушить финляндской интеллигенции твердую веру в то, что Финляндии присуще особое государственное устройство, существенно отличная от России государственность. Это сознание укрепилось у финляндцев еще тем, что в конце прошлого столетия Россия, занятая своими домашними делами, мало интересовалась финляндскими делами, а от местных генерал-губернаторов требовалось только спокойствие и установление добрых отношений к финляндским гражданам. Вот почему эти **принципы отдельной финляндской государственности начали понемногу переходить в особую науку своеобразного финляндского государственного права. Для того чтобы создать эту науку, подбиралась масса документов, причем, конечно, груда таких же документов, не подтверждавших этих принципов, отбрасывалась в сторону.** Эта теория укреплялась еще проповедью профессоров Александровского университета, местными учеными и лицами свободных профессий. В Александровском университете все питомцы проникались этим политическим миросозерцанием, а затем, так как эти

[3] Сейм в Борго в 1809 г. — сословное собрание во вновь образованном Великом княжестве Финляндском, утвердившее автономное положение Финляндии в составе Российской империи после русско-шведской войны 1808—1809 гг.

питомцы занимают все должности в крае, начиная с должности сенатора и кончая должностью ленсманов и даже констеблей, то учение это и проникало с успехом в самую толщу народа. Народные университеты и публичные лекции продолжали это же дело и, совершенно естественно, что теория скоро перешла в верование, верование перешло в догмат, догматы же трудно опровергать какими-либо рассудочными доказательствами. По этому догмату Финляндия — особое государство, и при том государство конституционное, правовое, государство, которое имеет задачи совершенно различные от задач России; и чем теснее связана будет Финляндия с Россией, тем осуществление этих задач станет невозможнее. Вот, гг., то верование, которое из теории начало переходить в своеобразную науку финляндского государственного права; и для того, чтобы перейти в практическую науку, дóлжно было быть проведено сначала в жизнь. На это и направлены были старания всей финляндской интеллигенции, начиная с 63-го года, начиная с возобновления созыва сеймов. Старания эти были направлены, главным образом, на область административного законодательства и финансовую прерогативу Монарха. Вам известно, гг., что законодательство Финляндии делится на две категории: первая категория — это сеймовое законодательство, принадлежащее сейму, вторая же весьма обширная категория законодательства, обнимающая всю область общего хозяйства, принадлежит исключительно Монарху и называется законодательством административным или экономическим. По учению финляндцев, **если в каком-нибудь административном вопросе следует сделать добавление сеймового характера, то весь вопрос раз навсегда переходит в ведение сейма.** Таким образом, к сейму перешли все почти нормы промыслового права и многие другие. По проекту новой формы правления, о которой я говорил, все школьное дело, начиная от низших школ и кончая университетом, передвигается в сеймовое законодательство.

А что касается финансовой области, то известны, конечно, неоднократные попытки сузить самое право распоряжения правительственными фондами и затем уменьшить самое питание этих фондов статного, милиционного и других. Вам, конечно, памятен, господа, перенос доходов с винокуренного налога, гербового сбора из области статных фондов в фонды временных налогов, т. е. сеймовые: точно так же были попытки передвинуть в разряд сеймовых законов все таможенное законодательство со всеми таможенными доходами, наконец, непрерывно проходит во всей истории политической жизни Финляндии попытка сузить финансовые прерогативы Монарха, право Государя распоряжаться статными фондами. Вот, гг., в этой политической атмосфере и застают Финляндию события 1905 г., которые послужили пробным камнем и для многих русских, которые в это время, может быть, усомнились в будущности России. Поэтому понятно, что и многие политические деятели Финляндии должны были естественно задать себе вопрос: не наступил ли психологический момент для осуществления накопившейся политической мечты если не обособления Финляндии, то приобретения ею, насколько возможно, большей самостоятельности. А так как горячие головы идут всегда впереди интеллигенции, идут, может быть, дальше, чем хотела сама создавшая их сила, то станет понятно и появление красной гвардии, и войны, и наполненные оружием корабли, которые нам кажутся как бы страницею, вырванною из романов Майн-Рида. Помянутое настроение и господствующее политическое течение, может быть, и получили бы естественное развитие, может быть, и привели к широкому развитию финляндской самостоятельности и почти полному обособлению страны с сохранением только фактической ее связи с Россией, если бы в это время навстречу финляндской волне не хлынула другая волна, волна русского народного самосознания, русской государственной мысли (...)

(...) Ведь совершенно естественно, господа, что раз Финляндия и Россия составляют одно общее политическое тело, то общим и единым не могут быть только одни внешние международные отношения, а должно быть и единство некоторых государственных задач. Конечно, затруднительно было бы сейчас же вам представить исчерпывающий список этих задач, но, конечно, для всех ясно, что к ним относятся, например, общая задача всех подданных русского Государя — наблюдение за крепостями, наблюдение и защита береговых вод, наблюдение за почтовыми учреждениями, управление телеграфом, некоторые отрасли железнодорожного, таможенного управления и, наконец, упорядочение прав русских уроженцев Финляндии. Все это настолько близкие России вопросы, они настолько задевают наши кровные интересы, что не могут быть предметом радения одних только финляндцев, особенно в порядке одного только финляндского законодательства. Этим порядком могли бы быть действительно, отменены и некоторые статьи нашего свода законов. Русская точка зрения совершенно ясна. **Россия не может желать нарушения законных автономных прав Финляндии относительно внутреннего ее законодательства и отдельного административного и судебного ее устройства**, но, господа, в общих законодательных вопросах и в некоторых общих вопросах управления должно быть и общее решение совместно с Финляндией и с преобладанием, конечно, державных прав России. Финляндцы толкуют иначе. Они полагают, что ни один общегосударственный закон не может воспринять силы, если не будет утвержден сеймом; но если стать на эту точку зрения, то мы можем прийти к нелепому положению — **один и тот**

же вопрос будет обсуждаться и решаться нашими законодательными учреждениями и финляндским сеймом. Скажем, что разрешен будет этот вопрос различно, не получится единогласного решения и в Империи не будет той державной воли, державной власти, которая могла бы разрешить этот спор. Вопрос останется неразрешенным или приведет к острому конфликту. Это, господа, конечно, ненормально, и, повторяю, не в бездействии властей, не в закономерных действиях коренится зло, а в том, что целая область нашего законодательства, громадная область наших взаимоотношений с Финляндией не урегулирована совершенно. Господа, этот громадный пробел нетерпим, его надо пополнить. Господа, нельзя такие важные вопросы оставлять на произвол случая, случайных обстоятельств, случайных людей и событий.

Не может и Дума постоянно регулировать их путем запросов. Запросами вы не можете уловить всех возникающих в этой области фактов. Затем, гг., я должен вам напомнить, что у нас есть теперь один незыблемый способ для разрешения всех законодательных дел, определенный ст. 86 Осн. Зак.[4]. Это путь через Гос. Думу и через Гос. Совет. В интересующей нас области общего для России и Финляндии законодательства надлежит различать два момента. Первый момент — подготовительный — разрешение вопроса о том, касается ли вопрос Империи или нет; при этом весьма важно, чтобы Монарх был осведомлен о тех вопросах, которые касаются России, своим же русским правительством, как при предложении законопроекта, так и при его утверждении. Этот первый момент принадлежит к области Верховного управления, относительно разрешения этого вопроса я получил совершенно определенные указания Государя Императора, которые и будут приведены в действие. Но есть и другой момент законодательства. Это самое рассмотрение и расширение законодательных вопросов. Определен он может быть, конечно, только законодательным порядком. В этой последней стадии, несомненно, нужно знать мнение, и нужно считаться с точкой зрения финляндцев. На обязанности и Правительства и Гос. Думы лежит однако же поднятие вопроса о выработке общего порядка законодательного рассмотрения наших общих с Финляндией дел. Повторяю, вопрос этот слишком важен; он касается распространения власти Государя Императора по общеимперским делам через общеимперские учреждения на протяжении и пространстве всей Империи. Гг., в этом деле не может и не должно быть подозрения, что Россия желает нарушить автономные, дарованные Монархами права Финляндии. **В России, гг., сила не может стоять выше права. Но нельзя также допускать, чтобы одно упоминание о правах России считалось в Финляндии оскорблением.** Гг., в Финляндии и в обществе и в печати раздаются голоса, что финляндский вопрос поднят в России темными силами реакции; ищут защиты в более интеллигентных, вероятно, в более либеральных кругах, которые должны защитить Финляндию, финляндские права от надвигающейся бюрократической грозы. Прислушиваются в Финляндии к тем голосам, которые не понимают или не могут понять, что суровая сила, подавляющая и ликвидирующая революцию, в связи с творческой силой, стремящейся преобразовать и местный и общий строй, имеет одну цель: установление на пространстве всей России стройного и стойкого правового порядка. Я не понимаю, гг., каким образом могут заподозрить Правительство, творящее волю Государя и совокупно с представительными учреждениями, стремящееся водворить в России спокойствие и прочный порядок, зиждущийся исключительно на законах, заподозрить его в том, что оно стремится рушить подобный же порядок у наших финляндских сограждан.

Забывают при этом одно — забывают, что с введением нового строя в России поднялась другая волна реакции — реакция русского патриотизма и русского национального чувства, и эта реакция, гг., она вьет себе гнездо именно в общественных слоях, общественных кругах. В прежние времена одно только Правительство имело заботу и обязанность отстаивать исторические державные приобретения и права России. Теперь не то. Теперь Государь пытается собрать рассыпанную храмину русского народного чувства, и выразителями этого чувства являетесь вы, гг., и вы не можете отклонить от себя ответственности за удержание этих державных прав России. Вы, гг., не можете отвергнуть от себя и обязанностей, несомых вами в качестве народного представительства. Вы не можете разорвать и с прошлым России. Не напрасно были пролиты потоки русской крови, не бессмысленно и не бессознательно утвердил Петр Великий державные права России на берегах Финского залива. Отказ от этих прав нанес бы беспримерный ущерб русской державе, а постепенная утрата, вследствие нашего национального слабосилия, при нашей государственной близорукости, равнялась бы тому же отказу, но прикрытому личиною лицемерия. Сокровище русской нравственной духовной силы затрачено в скалах и водах Финляндии. Простите, что я вспоминаю о прошлом, но и забывать о нем не приходится. Ведь один с морским флотом, построенным первоначально на пресной речной воде, с моряками, им самим обученными, без средств, но с твердой верою в Россию и ее будущее, шел вперед Великий

[4] Ст. 86 Основного Закона Российской империи (1906 г.) гласила: «Никакой новый закон не может последовать без одобрения Государственного Совета и Государственной Думы и воспринять силу без утверждения Государя Императора».

Петр. Не было попутного ветра, он со своими моряками на руках, на мозолистых руках, переносил по суше из Финского залива в Ботннческий свои галеры, разбивал вражескнй флот, брал в плен эскадры и награждал чернорабочего творца новой Россин Петра Михайлова скромным званием адмирала. Гг., неужелн об этой стремительной мощи, об этой гениальной силе наших предков помнят только кадеты морского корпуса, которые поставили на месте Гангутской битвы скромный крест из сердобольского гранита? Неужели об этой творческой силе нашнх предков, не только силе победы, но и силе сознания государственных задач, помнят только они и забыла Россия? Ведь кровь этих сильных людей перелилась в ваши жилы, ведь вы плоть от плоти их, ведь немногие же из вас отрицают отчизну, а громадное большинство сознают, что люди соединились в семьи, семьи в племена, племена в народы для того, чтобы осуществить свою мировую задачу, для того, чтобы двигать человечество вперед. Неужели и тут скажут, что нужно ждать, пока окрепнет центр? Неужели в центре нашей государственной мысли, нашего государственного чувства ослабло поиимание наших государственных задач? Да, гг., народы забывают иногда о своих нацноиальных задачах, но такие народы гибнут, господа, они превращаются в назем, в удобрение, на котором вырастают и крепнут другие, более сильные народы. Мы, гг., обращаемся к вам не за жертвой, мы не требуем от вас угнетения другой, менее сильной народностн, — нет, гг., Правительство просит от вас лишь вашей нравственной поддержки в том деле, которое оно считает правым. Я уверен, гг., что вы отвергнете запрос, но вами в ваших русских сердцах будут найдены выражения, которые заставят побудить Правительство представить на ваш же суд законопроект, устанавливающий способ разрешения наших общих с Финляндиею дел, законопроект, не нарушающий прав маленькой Финляндни, но ограждающий то, что нам всего ближе, всего дороже — исторические державные права России.

Заседание Г. Д. 22/V 09 г. По законопроекту о переходе из одного вероисповедания в другое.

Гг. члены Гос. Думы. Внесенные Правительством вероисповедные законопроекты породили уже целую литературу, сделались предметом оживленных прений в политических кругах и волнуют не только лиц, близко стоящих к вопросам веры, но и равнодушных к ней, видящих в том или другом их разрушении признак, знамение общего направления нашей внутренней политики. Поэтому, я думаю, что помогу сокращению прений и более скорому рассмотрению дела, если теперь же, не ожидая общих прений, изложу точку зрения Правительства на этот вопрос в постараюсь рассеять некоторые возникшие, по моему мнеиию, вокруг него недоразумения. Напомню вам прежде всего, что начало религиозной свободы в России положено тремя актами Монаршего волеизлияния: Указом 12 декабря 1904 г., Указом 17 апреля 1905 г. и Указом 17 октября 1905 г. Утруждать вас повторением содержания этих актов, хорошо всем известных, я не буду; упомянул же я о них потому, что значение, чрезвычайное значение их содержания породнло необходимость после их нздания в некоторых действиях со стороны Правительства в сторону изменения многих из существующих уголовных и гражданских норм. Не говоря о целом ряде административных стеснений, противоречащих принципу вероисповедной свободы, которые тогда же были отменены в том же административном порядке, в котором они были нзданы, осталась еще обширная область действующего законодательства, которая требует изменений и дополнений в законодательном порядке сообразно возвещенным Монархом новым началам.

Дарование свободы вероисповедания, молитвы по велениям совести каждого, вызвало, конечно, необходимость отменить требование закона с согласия гражданской власти на переход из одного вероисповедания в другое, требование разрешения совершать богослужение, богомоления, сооружать необходимые для этого молитвенные здания. Вместе с тем явилась необходимость определения условий образования и действий религиозных сообществ, определения отношения государства к разным исповеданиям и к свободе совести, прнчем все эти преобразования не могли получить осуществления вне вопроса о тех преимуществах, которые сохранены основными законами за Православной Церковью. На Правительство, на законодательные учреждения легла таким образом, обязанность пересмотреть нормы, регулирующие в настоящее время вступление в вероисповедание и выход из него, регулирующие вероисповедную проповедь, регулирующие способ осуществления вероисповедания, наконец устанавливающие те или другие политические или гражданские ограничения, вытекающие из зероисповедного состояния. Но вступая в область верования, в область совести, Правительство, скажу, даже государство, должно действовать крайне бережно, крайне осторожно. Не всегда (...) в этой области чисто гражданские отношения строго ограничены от церковных, и часто они тесно между собою переплетаются. Отсюда возникает вопрос, какое же должна принимать Церкоаь господствующая, Православная Церковь, участие в установлении нового вероисповедного порядка в стране. Я оставляю в стороне инославные, иноверные исповедные вопросы, скажем, вопрос о переходе католика в лютеранство и обратно, или о смешанных браках между протестантами, магометанами и евреями (иудеями), которые допущены н существующими законами; Православная Церковь в этих вопросах не заинтересована, и я думаю, что мало кто в настоящее время будет держаться той точки зрения, в силу которой Святейший Правительствующий Синод в 30-х годах XVIII столетия ведал делами католического, лютеранского и даже еврейского духовенства. Но Православная Церковь сильно затронута в тех вопросах, которые касаются отношения Государства к православной вере, к Православной Церквн и даже к другим вероучениям, поскольку онн соприкасаются с православием, например, в вопросе о смешанных браках. И вот, поскольку можно судить по современной прессе, по доходящим до Правнтельства и до общества партийным, полнтическим откликам, и в настоящее время существует, между прочнм, мнение, что все вопросы, связанные с Церковью, подлежат самостоятельному, единолнчному вершительству Церквн. Оговариваюсь, что это не есть мнение, высказанное Святейшим Правительствующим Синодом, но это мнение, должен сказать, нмеет за собой некоторый, как бы исторический прецедент. Вспомним, господа, времена патриаршества, вспомним положение патрнарха в московский период Русского Государства, подвсдомственный ему приказ, суды, темницы. Конечно, внешние признаки патриаршей власти имеют мало отношення к затронутому мною вопросу, они скорее принадлежат к областн исторического воспомииания, но, повторяю, все же существует мнение о том, что Церковь должна сама определять свои права, свое положение в Государстве, поэтому мнение это обходить молчанием не прнходится. На чем основано это мнение или, скорее, откуда оно выводится, я скажу дальше.

Но ранее этого позвольте мне обратиться к вопросу о том, какое же в течение двух последннх столетий было отношение Государства к церковному законодательству? Какой в этом отношении сложился порядок со времени учреждения Св. Синода? После уничтожения патриаршества, после уничтожения поместных соборов к Св. Правительствующему Синоду всецело перешла вся руководственно соборная власть. В вопросах догмата, в вопросах канонических с этого времени Правительствующий Св. Синод действует совершенно автономно. Не стесняется Синод государственной властью н в вопросах церковного законодательства, восходящего непосредственно на одобрение Монарха и касающегося внутрениего управления, внутреннего устроення Церкви. К этой области относятся, например, синодальное и консисторское законодательство, законодательство учебное, относящееся до академий, до семинарий, учебных духовных комнтетов, касающееся церковных старост и много других еще вопросов. Но независимо от этого, вполне самостоятельного церковного законодательства, Св. Синод, со времени его учреждения, принимает также живое участие и в общей законодательной жизни страны, связывающей Церковь с другими сторонами государственного строя, государственного управления. В этом отношении создался обиход (обычай) в большннстве случаев такой: если какой-лнбо законопроект возникал в Св. Синоде, то последний через оберпрокурора Св. Синода запрашивал заключение заинтересованных ведомств. Если же законодательная инициатива возникала в том или другом министерстве, то министерство запрашивало со своей стороны заключенне обер-прокурора Св. Синода, но после этого всегда, во всех случаях, после разработки законопроекта он поступал на государственное уважение в общем законодательном порядке.

Я не буду приводить в доказательство этого положения много примеров из истории церковно-гражданского законодательства минувшего века, так как она изобилует скорее случаями излишнего, и скажу даже, неправнльного вмешательства государственной власти в церковное законодательство; вспомним, иапример, случай о перенесении на ревизию в Гос. Совет дела о браках в VI степени родства, причем мнение Гос. Совета получило силу вакона. Но я считаю необходимым указать на то, что все законодательные постановления в области взаимодействия господствующей церкви и призианных инославных и иноверных исповеданий всегда проходнли в общем законодательном порядке и что провозглашение свободы вероисповедания последовало в порядке Высочайшего Указа Правительствующему Сенату, основанного на Высочайше одобренных суждениях комитета министров. Обращение к прошлому показывает, таким образом, что естественное развитие взаимоотношений Церкви и Государства повело к полной самостоятельности Церкви в вопросах догмата, в вопросах канонических, к нестеснению Церкви Государством в областн церковного законодательства, ведающего (включающего в себя) церковное устроение и церковное управление н к оставлению за собою Государством полной свободы в деле определения отношений Церкви к Государству. Наука государственного права вполие подтверждает правильность такого порядка вещей. Говоря о господствующем исповедании, наш известный ученый Чичерин указывает на то, что Государство, конечно, вправе наделять господствующую Церковь н полнтически-

ми, и имущественными правами. «Но,— говорит Чичерин,— чем выше политическое положение Церкви в Государстве, чем теснее она входит в область государственного организма, тем значительнее должны быть и права Государства».

Отсюда, я думаю, вытекает, что отказ Государства от церковно-гражданского законодательства, перенесение его всецело в область ведения Церкви, повело бы **к разрыву той вековой связи, которая существует между Государством и Церковью, той связи, в которой Государство черпает силу духа, а Церковь черпает крепость той связи, которая дала жизнь нашему Государству и принесла ей неоценимые услуги.** Этот разрыв ознаменовал бы также наступление новой эры взаимного недоверия, подозрительности между церковной властью и властью общезаконодательной, которая утратила бы природное свое свойство власти, с Церковью союзной. Государство в глазах Церкви утратило бы значение Государства православного, а Церковь, в свою очередь, была бы поставлена в тяжелое положение, в необходимость самой наделять себя политическими и гражданскими правами, со всеми опасными отсюда проистекающими последствиями. Поэтому ясно, господа, что то мнение, о котором я говорил в начале своей речи, мнение о том, что Церковь должна сама определять свои права, свое положение в Государстве, проистекает из инстинктивного недоверия к существующим государственным установлениям, особенно с того времени, когда начали принимать в них участие иноверцы и лица нехристианского вероисповедания. Я думаю, забывают при этом, что законодательные решения, и то не окончательные, принимают не отдельные лица, не думские даже комиссии, **а Дума в своем целом**, которая, по словам Царского Манифеста, **«должна быть русской по духу и в которой иные народности должны иметь представителей своих нужд, но не в количестве, делающем их вершителями дел чисто русских».** Затем, если бы Дума допустила ошибку, что всегда возможно, то законопроекты переходят ведь на рассмотрение Государственного Совета и затем идут на суд **Монарха, который по нашему закону является защитником Православной Церкви, является хранителем ее догматов.**

Вот, господа, тот законный путь, который обеспечивает вероисповедные порядки в стране. На этот законный путь я уже указывал, и, повторяю, заключается он в том, что Государство, не вмешиваясь ни в канонические, ни в догматические вопросы, не стесняя самостоятельности Церкви в церковном законодательстве, оставляет за собою и право и обязанность определять политические, имущественные, гражданские и общеуголовные нормы, вытекающие из вероисповедного состояния граждан. Но и в последнем вопросе Правительство должно прилагать все усилия для того, чтобы согласовать интересы вероисповедной свободы и общегосударственные интересы с интересами господствующей первенствующей Церкви, и с этой целью должны входить с нею по этим вопросам в предварительные соглашения. Быть может, в цикле вероисповедных вопросов, внесенных на ваше усмотрение, вследствие спешности работы и ее новизны, могут быть усмотрены какие-либо уклонения от этих принципов, может быть усмотрено, в частности, что затронуты в чем-либо и права господствующей Церкви, но, при всестороннем рассмотрении этих вопросов, при всестороннем освещении их в комиссии, несомненно, уклонение в ту или другую сторону скоро обнаружится, и Правительство всегда охотно возьмет на себя переработку того или другого законопроекта или его части, была бы лишь ясна общая руководящая мысль. Но тот вопрос, тот законопроект, который вы будете рассматривать сегодня, свободен, как мне кажется, от упреков в уклонении от только что высказанных мною положений. Как вам известно, Св. Синод высказал пожелание, чтобы законопроект был дополнен правилами о том, что уклоняющийся от православия обязан подвергаться увещеванию в течение 40 дней со времени начала увещевания, с тем, чтобы переход в иное вероисповедание мог состояться лишь после представления удостоверения о безуспешности увещевания. Правительство в свой законопроект такого правила не включало, так как на него нет указания в Указе 17 апреля; думская комиссия, как только что было вам тут доложено, дополнила законопроект установлением промежуточного срока со времени заявления о переходе в другое вероисповедание до момента фактического перехода. Такого промежуточного срока не знает также министерский законопроект, так как министерство в то время думало, что это правило скорее относится к области другого закона, закона регистрационного (...). Но в чем же состоит принципиальная сторона этого дела? Конечно, этот вопрос не касается ни догматов, ни канонов церкви, но он относится к разряду вопросов, касающихся внутреннего церковного распорядка, так как обязывает церковнослужителей производить наставление, увещевание отпадающему не оставлять исповедуемой им религии; таким образом, это вопрос чисто внутреннецерковный, а я имел честь вам указать, что вопросы церковного устроения получают законодательное разрешение в другом, чисто автономном порядке. Поэтому, по мнению Правительства, такого рода правила могли бы получить силу лишь в порядке ст. 65 Основных законов, в силу которых Самодержавная власть в деле церковного управления действует через Святейший Правительствующий Синод, Ею учрежденный; поэтому включение этих правил в гражданские узаконения и проведение их общим законодательным порядком нанесло бы, как мне кажется, ущерб правам Православной Церкви. Но возникает вопрос, не должно ли Государство в порядке содействия господствующей Церкви установить какие-нибудь карательные нормы или гражданские ограничения для тех лиц, относительно которых увещевание оказалось безуспешным? Но едва ли, господа, дело исключительно пастырского, исключительно нравственного воздействия возможно связывать с какими-либо карательными мерами, едва ли эти карательные меры соответствовали бы и духу начал вероисповедной свободы.

Для меня совершенно ясно, что гражданская власть, получивши от прихожанина заявление о желании перейти из православия в другое вероисповедание, обязана немедленно сообщить об этом приходскому священнику; для меня очевидно, что в силу существующих уже законов гражданская власть должна ограждать от всякого насилия, от всяких оскорблений священнослужителя, исполняющего свой долг увещевания, но для меня совершенно также очевидно и бесспорно, что какие бы то ни было принудительные меры по отношению к уклоняющемуся противоречили бы духу начал свободы верования. Поэтому правильно решила комиссия, когда постановила не присваивать общим законодательным учреждениям права регулировать чисто церковные вопросы, когда в процессе отпадения от православия она оставила промежуточный срок, который, может быть, а по мне, и должен быть заполнен в порядке законодательства церковного. Я, господа, не буду касаться нескольких других менее, по мне, важных пунктов настоящего законопроекта, например, пункта о возрасте, по достижении которого разрешается переход в другие вероисповедания, о правах малолетних, о гербовом сборе и т. д. Если понадобится, разъяснение по этим вопросам даст вам присутствующий здесь представитель ведомства. Но я не могу не коснуться одного весьма важного дополнения, предложенного комиссией, дополнения, имеющего чрезвычайное значение. Если совершенно бесспорно, что раз провозглашена свобода верования, то отпадает надобность всякого разрешения гражданской власти на переход в другое вероисповедание, если совершенно бесспорно, что в нашем законодательстве не могут быть сохранены какие-нибудь кары за вероотступничество (уже 14 декабря 1906 г. уничтожена ст. 185, карающая за отпадения от христианства в нехристианство), то величайшему сомнению должно быть подвергнуто предложение комиссии о необходимости провозглашения в самом законе свободы перехода из христианства в нехристианство.

Я должен сказать, что включение в законопроект правила о возможности такого перехода для лиц, ближайшие предки которых исповедывали нехристианскую веру, совершенно не соответствует тому принципу, который только что был тут приведен докладчиком. Вникнем в соображение комиссии. Комиссия, как я понял из слов докладчика, находит, во-первых, что раз переход из христианства в нехристианство не наказуем, то неузаконение такого перехода было бы актом недостойного государства лицемерия. Во-вторых, комиссия находит, что было бы стеснительно для свободы совести лиц, отпавших в нехристианство, исполнять некоторые христианские таинства и обряды, необходимые в нашем гражданском обиходе, например, брак, крещение, погребение. В-третьих, по мнению, комиссии, самое исполнение этих таинств и обрядов было бы не чем иным, как узаконенным кощунством. Наконец, по мнению комиссии, сама церковь должна отлучать от себя лиц, отрекшихся от Христа... Так я понял докладчика. И мне кажется, что оспаривать эти принципы невозможно — они теоретично совершенно правильны. Но, господа, прямолинейная теоретичность ведет иногда к самым неожиданным последствиям, и сама думская комиссия не довела до конца этого принципа, не пошла до конца по избранному ею пути и впала, как мне кажется, сама с собой в некоторые противоречия. Ведь в действительности, господа, гораздо больше лиц, которые себя признают совершенно неверующими, чем таких, которые решаются перейти в магометанство, буддизм или еврейство (иудаизм). И все соображения комиссии относительно лиц, перешедших в нехристианство, могут быть отнесены полностью к лицам, заявляющим себя неверующими. Ведь эти лица точно так же кощунствуют, совершая таинство, ведь они точно так же должны были бы быть отлучены от церкви. Между тем, комиссия совершенно правильно признает, что у нас невозможно признание принципа в невероисповедности Confession-losigkeit.

С одной стороны, комиссия идет гораздо дальше многих европейских законодательств, которые не знают открытого признания перехода из христианства в нехристианство, с другой стороны, комиссия не следует до конца за западными образцами и не решается признать принцип вневероисповедного состояния. Однако торжество теории одинаково опасно и в том, и в другом случае: везде, господа, **во всех государствах принцип свободы совести делает уступки народному духу и народным традициям и проводится в жизнь строго с ними сообразуясь.** Это подтверждается изучением всех иностранных законодательств; возьмем на выдержку прусское законодательство, и оно ставит некоторые преграды свободе совести и свободе вероисповедания, оно требует, во-первых, предварительного заявления о переходе в другое вероисповедание, оно требует затем и уплаты со стороны отпадающего в продолжение двух лет повинностей в пользу той общины, от которой он отпадает. В школьном законодательстве прусское государство требует церковного обучения всех детей, даже не принадлежащих ни к какому исповеданию. Австрия не признает браков между христианами и нехристианами. Наконец, в стране свободы совести, в Швейцарии, эта свобода совести подвергнута также некоторым стеснениям. Не говорю уже о том, что

в Швейцарии не дозволяется сооружать монастырей, не допущена проповедь иезуитов (...). Но поражает в Швейцарии то, что тогда, когда в некоторых кантонах совершенно изгнан из школ Закон Божий, в других кантонах школьное обучение строго конфессионально; в Люцерне, например, все школьное обучение отдано в руки католического духовенства, а так как там существует обязательность обучения, то, как кажется, образование юношества в Люцерне не находится в строгом соответствии с принципом свободы совести. **Неужели, гг., если в других странах, более нашей индифферентных в религиозных вопросах, теория свободы совести делает уступки народному духу, народным верованиям, народным традициям, у нас наш народный дух должен быть принесен в жертву сухой, непонятной народу теории?** Неужели, гг., для того, чтобы дать нескольким десяткам лиц, уже безнаказанно отпавшим от христианства, почитаемым церковью заблудшими, дать им возможность открыто порвать с церковью, неужели для этого необходимо вписать в скрижали нашего законодательства начало, равнозначащее в глазах обывателей уравнению православных христиан с нехристианами. Неужели в нашем строго православном государстве отпадет один из главнейших признаков государства христианского? **Народ наш усерден к церкви и веротерпим, но веротерпимость не есть еще равнодушие.** Не думайте, гг., что этот вопрос, вопрос простой, доступный совести каждого, я хотел бы затемнить непристойными, скажу прямо, в этом деле совести, приемами какого-то дутого пафоса. Я не хотел бы взывать даже к вашему чувству, хотя бы чувству религиозному. Но я полагаю, что в этом деле, в деле совести, мы все, гг., должны подняться в область духа. В это дело нельзя примешивать и политических соображений. Мне только что тут говорили, что вероисповедные законы поставлены на очередь в Гос. Думе по соображениям свойства политического. На этом, мол, вопросе скажется, полевело или поправело Правительство. Но неужели забывают, гг., что наше Правительство не может уклониться то влево, то вправо, что наше Правительство может идти только одним путем, путем прямым, указанным Государем и еще недавно названным Им, недавно всенародно Им признанным незыблемым. Вот и теперь мы стоим перед великим вопросом проведения в жизнь высоких начал Указа 17 апреля и Манифеста 17 октября. Определяя способы выполнения этой задачи, вы, гг., не можете стать на путь соображений партийных и политических. Вы будете руководствоваться, я в этом уверен, как теперь, так не раз и в будущем, при проведении других реформ, соображениями иного порядка, соображениями о том, как преобразовать, **как улучшить наш быт сообразно новым началам, не нанося ущерба жизненной основе нашего государства, душе народной, объединившей и объединяющей миллионы русских.** Вы все, гг., и верующие и неверующие, бывали в нашей захолустной деревне, бывали в деревенской церкви. Вы видели, как истово молится наш русский народ, вы не могли не осязать атмосферы накопившегося молитвенного чувства, вы не могли не сознавать, что раздающиеся в церкви слова для этого молящегося люда — слова божественные. И народ, ищущий утешения в молитве, поймет, конечно, что за веру, за молитву каждого по своему обряду закон не карает. Но тот же народ, гг., не уразумеет закона, закона чисто вывесочного характера, который провозгласит, что православие, христианство уравнивается с язычеством, еврейством (иудейством), магометанством. Гг., наша задача не состоит в том, чтобы приспособить православие к отвлеченной теории свободы совести, а в том, чтобы зажечь светоч вероисповедной свободы совести в пределах нашего русского православного государства. Не отягощайте же, гг., наш законопроект чуждым, не понятным народу привеском. Помните, что вероисповедный закон будет действовать в русском государстве и что утверждать его будет русский Царь, который для слишком ста миллионов людей был, есть и будет Царь Православный.

Заседание Г. Д. 27/IV-11. Ответ на запрос о применении ст. 87 Основных законов.

Господа члены Государственной Думы! Время, протекшее со времени внесения в Гос. Думу запроса о незакономерном применении Правительством ст. 87 Осн. Зак., закрепило ходячее мнение о причинах, руководивших действиями Правительства в этом деле, и придало им в глазах многих характер совершенной бесспорности. Моя задача — противопоставить этим суждениям совершенно откровенное изложение всего хода взволновавшего вас дела и, насколько возможно, полное и точное разъяснение побудительных причин, вынудивших Правительство прибегнуть в данном случае к неожиданной и чрезвычайной мере. Понятно, что речь моя, какой бы летописный характер она ни носила, все же, ввиду сложившегося в различных политических кругах понимания правительственной политики, будет восприниматься с некоторой неприязнью моими слушателями. Это первое и большое затруднение, с которым мне придется считаться в моих объяснениях. Но оно не единственное. Другое неблагоприятное для меня обстоятельство то, что мне приходится отвечать Гос. Думе после того, как мною уже даны разъяснения по тому же предмету Гос. Совету, как стороне, наиболее заинтересованной в деле. А так как доводы Правительства уже значительно исчерпаны, то мне не избежать некоторых повторений, хотя повторить я постараюсь лишь то, что, может быть, повторить и не бесполезно. Повторения эти будут касаться, главным образом, формальной стороны дела, несмотря на то, что я огораживаться формальным правом не намерен. Но обойти эту сторону вопроса я не могу, так как мне в дальнейшем изложении придется опираться, как на установленный факт, на то, что в данном случае при других необходимых условиях не было со стороны Правительства ни нарушения, ни обхода закона. Это необходимо мне и для более ясного освещения ст. 87, значение которой определяет права Короны, и не может быть умалено без создания нежелательного прецедента. Какие же формальные права присущи нашим законодательным учреждениям? Гос. Дума так же, как и Гос. Совет, вправе, конечно, предъявлять Правительству запросы из области управления, но весьма сомнительно, чтобы эти же учреждения вправе были запрашивать Правительство по предметам свойства законодательного, хотя бы законодательные функции временно осуществлялись через Совет Министров. Права наших палат в этом отношении твердо и ясно выражены в самом законе. Они заключаются в праве последующего обсуждения временных законов и отказа в последующей им санкции. Все возражения по этому поводу основаны, по моему мнению, на смешении двух понятий, двух моментов: прав палат, после того, как закон уже внесен в законодательные учреждения, и прав палат предварительного контролирования формальной закономерности правительственного акта до этого. Первое право, право отвергнуть закон по всевозможным мотивам и даже без всяких мотивов, совершенно бесспорно, а второго права просто не существует, оно представляло бы из себя юридический nonsens. Первым обширнейшим полномочием поглощается право запроса, им определяются права законодательных палат, которые не могут стать цензором формальной правильности акта Верховной власти. Я знаю в практике западных государств случаи отклонения временных законов, проведенных в чрезвычайном порядке, но я не знаю случаев запроса о незакономерности таких актов, так как субъективная оценка и момента чрезвычайности и момента целесообразности принадлежит во всяком случае не палатам. Это логично и понятно: законодательные учреждения не могут сделаться судьею закономерности (законности) законодательного акта другого учреждения. Обязанность эта по нашим законам принадлежит исключительно Правительствующему Сенату, который не имеет права опубликовать или обнародовать незаконный, незакономерный акт. Точно так же законодательные учреждения вправе запрашивать и председателя Совета Министров, и отдельных министров, и главноуправляющих о незакономерных их действиях, но едва ли они вправе запрашивать о том же Совет Министров, как учреждение, не подчиненное Правительствующему Сенату, в котором, когда Ему это благоугодно, председательствует Его Императорское Величество. Единственный раз, когда мне был предъявлен запрос о незакономерных действиях Совета Министров как учреждения, а именно по изданию правил 24 августа 1909 года[5], я сделал оговорку о том, что существо этого запроса не соответствует природе запросного права. Предъявленный в настоящее время Гос. Думою запрос составлен с формальной стороны более осторожно, чем запрос Гос. Совета, так как в нем отсутствует один довод, который лег в основу Советского запроса. Но довода этого касались во время прений о принятии запроса некоторые ораторы, и поэтому мне в двух-трех словах придется коснуться и его. Я подразумеваю опорочение права Верховной власти применять ст. 87 при чрезвычайных обстоятельствах, возникших до роспуска палат. Но это право неопровержимо, оно зиждется, основано на жизненных условиях, и как бы наши жизненные и наши законодательные условия ни были различны от таких же условий в западных государствах, но и там, на Западе, это право понимается именно так, а не иначе, и авторитетное мнение науки признает правильность обращения к указанному праву во время перерыва занятий палат, вызванного действиями самих палат. Всякое другое толкование этого права не приемлемо, оно нарушало бы смысл и разум закона, оно сводило бы и право Монарха применять чрезвычайные указы на нет.

Чтобы покончить с формальной стороной запроса, я отмечу еще по поводу Указного права как права чисто политического, что и в Западной Европе не существует норм, так сказать, конституционного его применения. Если вы не хотите обратиться к примеру Австрии, то возьмите пример Пруссии. Все чрезвычайные указы, изданные за последнее полстолетие в порядке § 63 прусской конституции, подвергались оспариванию в прусских палатах, и хотя

[5] «Правила 24 августа 1909 г.» — правила, предусматривающие применение чрезвычайных средств борьбы с террором. 12 октября 1909 года фракция социал-демократов внесла запрос в Думу с целью объявить эти правила противозаконными. Запрос был поддержан лидером октябристов А. И. Гучковым, закончившим свою известную речь по этому поводу вызывающим «мы ждем». Обсуждение этого запроса Думой началось 26 марта 1910 года. В связи с этим и была произнесена речь П. А. Столыпина о терроре, в которой правила 24 августа были определены им как «инструкция министрам». В итоге Дума отвергла запрос социал-демократов 161 голосом против 100.

большинство из них были в конце концов приняты палатами, но многие из них вызывали сильные сомнения, как, например, касавшиеся натуральных повинностей, нового обложения, таможенных сборов и т. д. То, что пытаются представить у иас нарушеннем закона, иезакономерностью, и в Пруссии и в Австрии никогда не признавалось нарушением коиституции. Но если формальная сторона этого дела настолько безукоризненна, то чем же объяснить, господа, тот шум, который поднялся вокруг последних действий Правительства: возбуждение в политических кругах, негодование одних, недоумение других? Конечно, наивно было бы со стороны Правительства объяснять это непременным желанием сделать ему во что бы то ни стало неприятность. Несомненно, причины лежат гораздо глубже. Чтобы исчерпать вопрос до дна, надо обратиться к ним, и я попытаюсь совершенно спокойно и беспристрастно разобраться в происшедшем, но ввиду только что высказанных мною соображений, и я в дальнейших своих объясиениях буду опираться не на ст. 58 Учр. Государственной Думы, а на ст. 40[6] просто, добросовестно, насколько это мне доступно, изложу вам сведения по делу, которое согласно этой 40 ст. будет в будущем подлежать вашему рассмотрению. Я считаю это совершенно необходимым, так как Государственная Дума не судебное учреждение, разрешающее уже законченный, совершившийся факт, анатомирующее мертвое тело; Государствениая Дума имеет дело с событиями длящимися, с жизнью страны, а жизненные явления требуют объяснения. В дальнейшем мне, к сожалению, придется подчеркивать пункты и поводы к разногласию между мыслью, заложенной в основание запроса Государственной Думы, и мыслью правительственной. Но ранее этого я мимоходом отмечу одно положение, которое не вызывает и не вызовет между нами разногласий. Правительство, точно так же, как и Дума, понимает и признает применимость ст. 87 только в самых исключительных обстоятельствах и статью эту оно не может, конечно, считать обычным оружием своего арсенала. Что же касается разногласий, о которых я только что упомянул, особенно тех, которые ведут в конце концов к применению чрезвычайных мер, то я охотио признаю, что всякое правительство должно их предвидеть и должно сообразовать свои действия с ожидаемыми последствиями. Gouverneur — c'est prêvoir (руководитель — прежде всего),— говаривала еще Великая Екатерина, и, конечно, Правительство, действующее не в безвоздушном пространстве, должно было знать, что придет час и оно столкнется с двумя самостоятельными духовными мирами — Государственной Думой и Государственным Советом. Но так как эти два духовных мира весьма между собою различны, то люди, искушенные опытом, находили, находят и теперь, что Правительство должно было мириться с политикой, скажем, некоторого оппортунизма, с политикой сведения на нет всех крупных, более острых вопросов, между прочим, и рассматриваемого нами теперь, с политикой, так сказать, ващитного цвета. Эта политика, конечно, не может вести страну ни к чему большому, но она ие приводит и к конфликтам. Очевидно, во всяком случае, что ключ к разъяснению возникшего недоразумения — в оцеике и сопоставлении психологии Гос. Совета и Гос. Думы и Правительства, а в правильности их анализа и заключается разъяснение, требуемое от меня Гос. Думой. Психологию Гос. Совета предвидеть было нетрудно. Законопроекту Правительства, внесенному в Гос. Совет, придавалось уже заранее значение неудачной затеи, и, конечно, трудио было ждать от Гос. Совета отождествления его же отказа в принятии этого закона с чрезвычайным обстоятельством. Признавая Правительство по-прежнему лишь высшим административным местом, не считая его политическим фактором, Гос. Совет должен был увидеть и увидел в совершившемся лишь борьбу между двумя началами, началом административным и началом законодательным, а в действиях Правительства усмотрел лишь ущерб, ианесенный второму началу, законодательному, высшею правящею бюрократией. Психология Гос. Думы несколько сложнее, так как авторы запроса приписывают Правительству нечто другое, и значительно худшее. Я, конечно, не касаюсь, и не буду впредь касаться, личных против меня нападок, личных выпадов: я остановлюсь на более существенной аргументации. Правительство, господа, попросту заподозрено в том, что, пренебрегая всеми законами, даже и Основными, желает править страной по собственному усмотрению, собственному произволу, и для того, чтобы было легче этого достигнуть, желает приобщить к этому законоубийственному делу и самую Гос. Думу, поэтому отношение правительства к Гос. Думе понималось тут — иу, как яркая провокация или, как оратор Гос. Думы более мягко выражался, как вызов. А так как закои был опубликован в думской редакции, то этому придавалось значение искушения, введения в соблазн Гос. Думы с целью поссорить ее с Гос. Советом, с целью уронить авторитет Гос. Думы и воскресить эру административного засилья. Кроме этого в попутных замечаниях обращает на себя внимание еще упрек в крайнем искажении смысла ст. 87, путем создания искусственного перерыва, и обвинеиие Правительства в нарушении избирательного закоиа. Вот приблизительно, что думали, чувствовали и выражали авторы запроса Гос. Думы.

[6] Ст. 40 Учреждения Государственной Думы (взд. 1906 г.) гласила: «Государственная Дума может обращаться к Министрам и Главиоуправляющим отдельными частями за разъяснениями, непосредствеиво касающимися рассматриваемых ею дел...»

Мне, конечно, придется дольше остановиться на этих мыслях, но раньше я попытаюсь отстранить одно привходящее обвинение, на которое я только что сослался: попрек в нарушении избирательного закона. Я думаю, гг., нет ли тут недоразумения. Указ 14 марта ии одним словом не касается этого вопроса; наоборот, если в указе была бы сделаиа оговорка о сохранении прежнего порядка выборов, то этим самым были бы изменены правила выборов в Гос. Совете, и нарушена была бы ст. 87 Осн. Зак. Конечно, несомненно, с введением в Западной России земства, отпадает ст. 5 этих правил, но не указ 14 марта поражает эту статью, а она сама определяет себя, как меру времеиную, подлежащую уничтожению при наступлении известных обстоятельств, ожидаемых закоиодателем. Само собою, что полномочия нынешних членов Гос. Совета остаются в силе и с введением земства, до окончания срока их выборного, а за это время, очевидно, выяснится, окончательно определится судьба временной меры, проведенной в порядке ст. 87. Покончив с этим эпизодическим обстоятельством, я возвращаюсь к основному вопросу. Из суждений гг. членов Гос. Думы ясно, что корень вопроса, т. е. отклонение законопроекта о западном земстве, до настоящего времени не рассматривался Думою, как нечто необычайное, как обстоятельство чрезвычайное. Если видели нечто чрезвычайное в последних событиях, то исключительно только в наружном, бьющем, бросающемся в глаза действии Правительства, т. е. в способе, а не в причине. Словом, решительность меры затмила ее цель, и чрезвычайность была признана ие в существе вопроса, а лишь а применении ст. 87, как в доказательстве возвращения к худшему (...) из абсолютизмов, к абсолютизму зарвавшихся чиновникоа... А Правительство со своей стороиы видело корень вопроса в исключительности политического момента и ст. 87 понимало лишь как совершенно, конечно, исключительное средство, но как законный способ выйти из ненормального положения. Чтобы понять ие только действия, но и побуждения Правительства — надо исходить из предположения, что политические обстоятельства сложились не совсем обыденным образом. Припомним же, гг., положение гоосударственных дел до мартовских событий. Всем известен, всем памятен установившийся, почти узаконенный наш законодательный обряд: виесение закоиопроектов в Гос. Думу, признаиие их здесь обыкновенно недостаточно радикальнымв, перелицовка их и перенесение в Гос. Совет, в Гос. Совете признаиие уже правительственных закоиопроектов обыкновенно слишком радикальиымн, отклоиение их и провал закона. А в конце концов, в реаультате царство так называемой вермишели, застой во всех принципиальных реформах. Заметьте, гг., что я ие ставлю вопроса на почву обвинения каких-либо политических партий в излишней радикализации или в излишней реакционности. Я рисую положение так, как оно есть, я хотел бы правдиво изобразить вам те необычные условия, а которых приходилось действовать Правительству, в которых возник и получил дальнейшее развитие закон о западном земстве. Совершенно подчиняясь безусловному праву обеих палат и изменять и отклонять предлагаемые им законопроекты, Правительство все же должно было дать себе отчет в том, что бывают ли такие исключительные минуты, когда и само Правительство должно вступать в некоторую борьбу за свои политические идеалы? Правительство должно было решить, достойно ли его продолжать корректно и машинально вертеть правительствеиное колесо, изготовляя проекты, которые никогда яе должны увидеть света, или же Правительство, которое является выразителем и исполнителем предначертания Верховной воли, имеет право и обязано вести определенную, яркую политику. Должно ли Правительство, при постепенном усовершенствовании представительных учреждений, параллельно ослабевать или усиливаться и ие есть ли это обоюдное усиление, укрепление нашей государственности? Наконец, вправе ли Правительство испрашивать у Монарха использования всех находящихся в его распоряжении законных средств или это равносильно произволу? И, конечно, господа, Правительство не могло решить этого вопроса в пользу правительственного бессилия! Причина этому не самолюбие Правительства, а прочность государственных устоев. Поэтому и в данном деле, если только придавать ему крупное значение, если учитывать тот волшебиый круг, в который попало наше законодательство, Правительство должно было представить Верховной власти законный и благополучный из него выход. Какой же, господа, мог быть выход из попавшего в изображенное мною только что колесо дела, дела осуществления западного земства, которое имело за себя сочувствие Монарха, которое в главиых основиых вачалах прошло через Гос. Думу и было отвергнуто Государственным Советом? Конечно, первый, самый естественный и законный выход заключался во вторичном внесении этого закона на обсуждение законодательных учреждений. Многие говорят: если бы Правительство не отвернулось от народного представительства, если бы оно не предпочло остаться одиноким, вместо того, чтобы идти рука об руку с Гос. Думой, то при некотором терпении были бы достигнуты желательные результаты без нежелательных потрясений. Но ведь это, гг., не так, это было бы актом самообмана, если ие лицемерия, это была бы отписка перед западной Россией, отписка тем более жестокая, что ваши полномочия, полномочия третьей Думы, в скором времени заканчиваются, и для того, чтобы покончить с западным земством, от Гос. Совета не требовалось даже шумиой процедуры обыкновен-

ного погребения недоношенных законов, — достаточно было сдать его в комиссию и несколько замедлить его рассмотрение. Но, говорят, в таком случае был другой законный способ — это испрошение у Государя Императора роспуска законодательных учреждений. Но роспуск палат из-за несогласия с Верхней Палатой, которая является, главным образом, представительством интересов, а не представительством населения, в котором только половина членов выборных, лишено было бы практического смысла и значения. Оставался третий выход — статья 87-я. Я уже говорил, господа, что Правительство ясно отдавало себе отчет, что оценка законодательными учреждениями акта Верховной власти представляет из себя юридическую невозможность. Но, принимая вопрос именно так и зная, что законодательные учреждения снабжены гораздо более сильным средством — правом полного отклонения временного закона, Правительство могло решиться на этот шаг только в полной уверенности, что акт, изданный по ст. 87, по существу своему для Гос. Думы приемлем. Внесение в Гос. Думу на проверку закона, явно для Гос. Думы неприемлемого, представляло бы из себя, конечно, верх недомыслия, и вот отсутствие этого недомыслия, тождественность акта, изданного по ст. 87, с законопроектом, прошедшим через Гос. Думу, опорочивается как соблазн, как искушение, как лукавство! Опорочивается также и искусственность перерыва, и проведение по ст. 87 закона, отвергнутого Верхней Палатой в порядке ст. 86. Но, господа, то, что произошло теперь в более ярком освещении, молчаливо признавалось Гос. Думой при других обстоятельствах! Я не буду касаться мелких законов, я напомню вам прохождение законопроекта о старообрядческих общинах. Вы знаете, что по этому закону не состоялось соглашения между обеими Палатами и что в настоящее время требуется лишь окончательная санкция этого разногласия Гос. Думою и закон отпадет! Ни для кого не тайна, что Гос. Дума заслушает это разногласие перед одним из перерывов своих занятий, в полной уверенности, что Правительство исходатайствует у Государя Императора восстановления существующего закона, в порядке 87 статьи. Совершенно понятно, что если бы постановление Государственной Думы воспоследовало не перед естественным перерывом, то перед Правительством во весь рост стал бы вопрос о необходимости искусственного перерыва, так как нельзя, господа, **нельзя приводить в отчаяние более 10 000 000 русских по духу и по крови людей из-за трения в государственной машине.** Нельзя, господа, из-за теоретических несогласий уничтожать более 1 500 существующих старообрядческих общин и мешать людям творить не какое-нибудь злое дело, а открыто творить молитву, лишить их того, что было им даровано Царем. И в этом случае Гос. Дума, устраняя необходимость искусственного перерыва, сама прикровенно наводит, толкает Правительство на применение 87 ст.! Я в этом не вижу ничего незаконного, ничего неправильного, но я думаю, что оратор, на которого я раньше ссылался, должен был бы усмотреть тут, по его собственному выражению, «вызов», но уже со стороны Государственной Думы по отношению к Правительству, а Правительство по этой же теории должно было бы, вероятно, воздержаться от этого «искусительного предложения». **Взвинтить на ненужную высоту возможно, конечно, каждый вопрос, но государственно ли это?** Конечно, ст. 87 — средство крайнее, средство совершенно исключительное. Но, господа, она дает по закону возможность Монарху создать выход из безвыходного положения. Если, например, в случае голода законодательные учреждения, не сойдясь между собою, скажем, на цифрах, не могли бы осуществить законопроект о помощи голодающему населению, разве провести этот закон возможно было бы иначе, как в чрезвычайном порядке? Поэтому правильно было искать в этом же порядке утоление духовного голода старообрядцев. **Но отчего же менее важны культурные интересы шести западных губерний?**

Почему они должны быть принесены в жертву нашей гармонически законченной законодательной беспомощности? Потому, скажут мне, что эти 6 губерний жили до настоящего времени без земства, проживут без него и далее, потому что этот вопрос не касается всей России и не может быть поэтому признан первостепенным. Но ведь старообрядческие общины и неурожаи — вопросы, которые по распространению своему не касаются всей России. Всей России в вопросе западного земства касается нечто другое и более важное, чем географическое его распространение. Впервые в русской истории на суд народного представительства вынесен вопрос такого глубокого национального значения. До настоящего времени к решению таких вопросов народ не приобщался, и, может быть, поэтому он становился к ним все более и более равнодушен; чувство, объединяющее народ, чувство единения тускнело и ослабевало! И если обернуться назад и поверх действительности взглянуть на наше прошлое, то в сумерках нашего национального блуждания ярко вырисовываются лишь два царствования, озаренные действительной верой в свое родное русское. Это царствование Екатерины Великой и Александра III. Но лишь в царствование Императора Николая II вера в народ воплотилась в призвание его к решению народных дел; и быть может, гг., с политической точки зрения не было еще на обсуждении Гос. Думы законопроекта более серьезного, чем вопрос о западном земстве. **В этом законе проводится принцип не утеснения, не угнетения нерусских народностей, а охранения прав коренного русского населения,** которому Государство изменить не может, потому что оно никогда не изменяло Государству, и в тяжелые исторические времена всегда стояло на западной нашей границе на страже русских Государственных начал. Если еще принять во внимание, что даже поляки в городах Царства Польского молчаливо одобряют ограждение их от подавляющего влияния еврейского населения, путем выделения его в отдельные национальные курии, если того же самого в более или менее близком будущем в той или другой форме будут требовать и немцы Прибалтийского края по отношению к эстонцам и латышам, то вы поймете, насколько скромна была попытка нашего законодательного предположения оградить права русского населения в шести западных губерниях. Не без трепета, гг., вносило Правительство впервые этот законопроект в Гос. Думу: **восторжествует ли чувство народной сплоченности, которым так сильны на Западе и на Востоке, или народное представительство начнет новую федеративную эру русской истории?** Победил, как вы знаете, исторический смысл: брошены были семена новых русских политических начал, и если не мы, то будущие поколения должны будут увидеть их рост. Но что же произошло после этого? Отчасти случайно, по ошибке, отчасти нарочито, эти новые побеги, новые ростки начали небрежно затаптываться людьми, или их не разглядевшими, или их убоявшимися. Кто же должен был оградить эти всходы? Неужели гибнуть тому, что было создано, в конце концов, взаимодействием Монарха и народного представительства? Тут, как в каждом вопросе, было два пути, два исхода. Первый путь — уклонение от ответственности, переложение ее на вас путем внесения вторично в Гос. Думу правительственного законопроекта, зная, что у вас нет ни сил, ни средств, ни власти провести его дальше этих стен, провести его в жизнь, зная, что это блестящая, но показная демонстрация! Второй путь: **принятие на себя всей ответственности, всех ударов, лишь бы спасти основу русской политики, предмет нашей веры...** Первый путь — это ровная дорога и шествие по ней, почти торжественное, под всеобщее одобрение и аплодисменты, но дорога, к сожалению, в данном случае не приводящая никуда. Второй путь — путь тяжелый и тернистый, на котором под свист насмешек, под гул угроз, в конце концов — все же выход к намеченной цели. **Для лиц, стоящих у власти, нет, господа, греха большего, чем малодушное уклонение от ответственности.** И я признаю открыто: в том, что предложен был второй путь, второй исход, ответственны мы; в том, что мы, как умеем, как понимаем, бережем будущее нашей родины и смело вбиваем гвозди в вами же сооружаемую постройку будущей России, не стыдящейся быть русской, ответственны мы, и эта ответственность — величайшее счастье моей жизни. И как бы вы, господа, ни отнеслись к происшедшему, а ваше постановление, быть может, по весьма сложным политическим соображениям, уже предрешено, как бы придирчиво вы ни судили и ни осудили даже формы содеянного, я знаю, я верю, что многие из вас в глубине души признают, что 14 марта случилось нечто, не нарушившее, а укрепившее права молодого русского представительства. Патриотический порыв Гос. Думы в деле создания русского земства на западе России был понят, оценен и согрет одобрением Верховной власти.

Гонорар за публикацию текста выступлений П. А. Столыпина И. Дьяков перечисляет в Фонд восстановления храма Христа Спасителя.





ВАЛЕНТИН РАСПУТИН

CHERCHEZ LA FEMME

Излишне хорошо известная криминальным юмором, в область которого она перешла, французская поговорка «Cherchez la femme» («ищите женщину») будет иметь самый серьезный смысл, если вдуматься в нее внимательно применительно к нынешнему состоянию женщины. От женщины в обществе всегда зависело и зависит так много и роль ее настолько особенна, что мы еще по-настоящему и не заглянули в эту роль и, быть может, чувствуем ее лишь интуитивно. Мы все ждем чего-то от женщины, каких-то желаных изменений и, не дождавшись, не дав себе даже труда сознать, чего же мы ждем, снова и снова не удерживаемся от саркастического «ищите женщину» — в каждой отдельности и во всех бедах вместе.

А между тем так и есть: ищите женщину. Только на другом уровне поисков, претензий и желаний, чем мы себе позволяем. Ищите женщину там, где она осталась, и в том, что составляет ее природное предназначение.

Без малого сто лет назад полностью забытая ныне писательница Н. А. Лухманова выпустила книгу рассуждений и очерков о современной ей женщине под названием «Черты современной женщины». И книжку бы с годами настигло забвение, если бы ее по выходе не заметил и не отозвался о ней замечательной статьей философ В. В. Розанов, слава богу, возвращающийся ныне в круг умов, к которым сделалось доступно обращаться. Книгу Лухмановой было бы полезно переиздать, она звучит настолько злободневно, будто написана лишь вчера, и настолько искренне, со знанием проблемы и предмета разговора, с указанием на главные потери и на истоки этих потерь в женщине, что невольно ощущаешь пришибленность: вон когда это имело уже трагические последствия, а значит, начало надо искать значительно раньше, и, стало быть, ныне зашло значительно глубже, чем нам представляется. Вот лишь один отрывок (не забудем, что писано это женщиной):

«Душа, мысль и спокойствие исчезли с лица современной женщины, а с ними исчезла и духовная прелесть, составляющая настоящую красоту женщин. Тревога, жадность, неуверенность в себе, тщеславие, погоня за модой и наслаждением исказили, стерли красоту женщин. Прибавьте к этому чуть не поголовное малокровие, нервозность, доходящую до истеричности, фантазию, граничащую с психопатией, и новый бюрократический труд, к которому так стремится современная женщина...» — и— «...глядя на портреты прабабушек, говоришь: «какие красивые лица». Любуясь витриной модного фотографа наших дней, восклицаешь: «какие хорошенькие мордочки».

«Это зло, — подхватывает Розанов,— и слишком; но, в самом деле, упадок женской красоты и даже какой-нибудь определенной выразительности женских лиц так глубок и всеобщ, что, бывая ежедневно на улице, т. е. ежедневно видя (в Петербурге) около сотни лиц — в течение зимы два или три раза, не более, подумаешь при встрече: «какое прекрасное лицо» или даже: «какое милое лицо». Т. е. перед вами продефилирует около 30 тысяч женщин, и из них у двух-трех такие лица, что с обладательницами их вы захотели бы заговорить, что за «лицом» здесь вы угадываете внутренний и небезынтересный «духовный» мир. Женщина (и девушка) стерлась, от нее осталось платье, под которым менее интересный, чем платье, человек. Это так глубоко, до того странно; мы далеки, чтобы выразить отношение к этому факту словом «мордочки» (однако — правильным), и находим, что это предмет не насмешки, но скорее рыдания; и оплакиваемое здесь — не женщина только, но вся наша цивилизация. Ибо какова женщина, такова есть или очень скоро станет вся культура (разрядка моя.— В. Р.)».

Вот она, удивительно верная, достойная женщины мысль, поднимающая ее на высоту, выше которой в духовном ее (женщины) значении ничего быть не может. И вот она, трагедия культуры и женщины, когда женщина сочла возможным оставить свое главное и великое призвание.

Надо ли объяснять, что под культурой здесь Розанов имеет в виду не гипертрофированное, как понимается ныне, отдельное развлекательное отращение на общественном теле, а весь его морально-духовный свод, весь запас человеческого благородства. Ибо что же и

есть культура, как не мера красоты и добра, чему же и быть цивилизацией, как не очистительному расстоянию, пройденному от существа, впервые осознавшего себя человеком, до современного его представителя!

Мы не предлагаем по примеру Розанова пройтись по улицам любого города, от самого старинного до самого последнего, и всмотреться в женщину дальше ее «мордашки». Не предлагаем, потому что это все равно что встречать потерпевших крушение, ищущих торопливо утешения. Женщина вправе сказать то же самое и о мужчине, и даже много резче; все мы под внешней оболочкой несем страсти весьма невысокого полета, оттиском проступающие на наших лицах. Что делать! — это плоды цивилизации в ее не желательном, а действительном образе, в наших условиях усугубленные еще и местными неудобренными почвами. Всему свое время, настанет черед в мужчин.

Быть может, самая большая беда женщины (и вина, и беда) — она не помнит себя, не подозревает, чем ей предстояло быть, если бы не произошли в ее психологии необратимые процессы. Бессознательно она нащупывает в себе еще не отмершие совсем, еще болящие окончания своей второй, природой намеченной фигуры, как бы контурно располагающейся внутри фигуры телесной, но только бессознательно вслушивается в странное резонаторное звучание, не понимая его смысла. Фигура в фигуре — это не тип «матрешки», как может показаться какому-нибудь насмешнику, а что-то вроде носимого в себе женщиной прообраза богородичного склада. Вынашивая плод, любя мужчину, воспитывая детей, то есть материнствуя, женствуя и учительствуя, она словно бы делала все это не от себя только, но в согласии с проведенным через нее заветом. Эти отзвуки и отсветы богородичности должны все же являться женщине время от времени неожиданной и страстной тоской по самой себе; они должны являться даже самым потерянным и отпетым, и им, быть может, чаще и болезненней, как при всяком окончательном разрыве. Если у человека болит отнятая рука или нога, то как, надо полагать, болит и жалкует отнятое существо! Перенеся его изнутри вовне, в наряд, в упакованный в соответствии с модой образ, упрятывающий даже и последние, даже и телесные черты, женщина, кажется, готова сама из себя выскочить, лишь бы не быть женщиной. Не станем останавливаться на том, что одежда призвана подчеркивать индивидуальность, а не уничтожать ее; не станем также отклоняться в ту сторону, где девушка, сбросив одежду, ступает на длинных обмеренных ногах по постаменту конкурса красоты, являя собой хорошо отформированную куклу с заводной улыбкой и заводным тщеславием — все это со временем минет и придумается что-нибудь другое, но где, в каких запасниках и анналах рода женского сыскать то, что уже не одно десятилетие изгоняется из него, яко беси, и что в действительности содержало залоги нашего благонравия.

«Мироткущая» — так издавна называли женщину. Призванная давать жизнь, она призвана была создавать вокруг себя такие условия, такой мир, чтобы произведенная ею новая жизнь могла развиваться правильно. Охранительность — вот сущность женщины. Уют, тепло, ласка, умирение, утоление, верность, мягкость, гибкость, милосердие — вот из чего женщина состоит. Окормление семьи, оприятие мужа, воспитание детей, добрососедствование — круг ее забот. Но над этим кругом возвышался еще и купол, являющийся веровой надмирностью, выходом из мирского в небесное, без которого обыденность и повторяемость трудов могли бы показаться узким и скучным мирком.

Главой семьи считался мужчина, но вела семью женщина, и как бы ни была она в прошлом унижена и угнетена, ее роль в доме всегда признавалась значительней. Сколько ни сильно, ни гордо стояло мужское «превосходительство», перед женской «светлостью» оно смирялось и даже искало случая смириться, при соблюдении внешних приличий. При умной жене и дурак становился умнее, а при глупой и умный дурел. От податливости жены выигрывали оба, и женщина не могла от нее страдать. Она страдала от другого.

В своей книге Н. А. Лухманова, размышляя о женщине и смысле ее неудовлетворенности, рассказывает о создании в то время в Америке «общества христианского брака», в котором сошлись женщины, решившие выходить замуж «только за калек, уродов и больных, дабы усладить их страдальческую жизнь». Это религиозный порыв, это своего рода самопожертвование могли бы показаться актом мученичества, если бы женщинами не двигала при том своеобразная корысть — желание найти нравственный приют в нравственно искалеченном мире, то есть предлагая верность, быть уверенной в верности даже по необходимости. Тут нет, разумеется, ничего дурного; в России такое происходило и изредка еще происходит без обществ, а по движению сердца. Не сразу поймешь, чем настораживает общество. Не столько публичностью и связанной с ним демонстрационностью — там, где требуются одинокие и свободно избранные решения; не столько невольной рекламой своего поступка — там, где уместней тихое и скрытое соединение судеб... Пугает, когда начинаешь вдумываться глубже, сама необходимость общества — так силен, стало быть, и всемогущ встречный поток, охвативший уже в ту пору женские массы и несший вместе с эмансипацией перерождение «слабого пола».

Кончилось это нравственной мутацией.

Года два назад в «Комсомольской правде» появилась маленькая заметочка, опубликованная под негласной рубрикой «Есть же дуры!..». Мало кто всерьез, без издевательства обратил на эту заметочку под заглавием «Ухожу в мона-

стырь» внимание, а между тем в ней горько и страстно вскричало самое женское сердце. Собираясь в монастырь и видя в нем единственное свое спасение, девушка Ира из Донецка объясняет свое решение с тем простодушием, без которого невозможна искренность. Она пишет: «В личной жизни мой удел — одиночество. Я это поняла очень давно, еще учась в школе, но тогда я все еще надеялась. Теперь же мои надежды испарились. Все дело в том, что я воспитана в старых понятиях о девичьей чести, гордости. В моем понятии любовь — это не только величайшее наслаждение, но и величайшая мука. Мне хочется любить и быть любимой».

Примерно в то же время в той же газете громогласно прозвучала огромная статья небезызвестной любительницы и подогревательницы острых общественных ощущений Е. Лосото под названием «Ключи от счастья женского», напоминающая о «подвиге» Софьи Перовской, Веры Засулич, Веры Фигнер и других подруг террора, отомкнувших свое «счастье женское» с помощью убийств. Статья, вливая старое вино в новые женские мехи, неприкрыто звала женщин не забывать о высоте завоеванного для них когда-то величия.

Вон куда, в какие пределы зашел «женский вопрос».

* * *

У Бунина есть рассказ «Богиня Разума» — о судьбе французской артистки Терезы Анжелики Обри, на долю которой выпала невиданная дерзость вместе с неслыханной славой, когда 10 ноября 1793 года во времена Великой французской революции она участвовала в низвержении и поругании Богоматери в соборе Парижской богоматери, а затем была провозглашена Богиней Разума.

«Революционные вожди, как и полагается им по революционным обычаям, развивали сумасшедшую деятельность, каждый божий день поражали народ какой-нибудь выходкой, так что в конце концов и восприимчивости не хватало на эти выходки, и самое неожиданное уже теряло характер неожиданности. И все-таки торжество 10 ноября свалилось на Париж (а на Обри еще более) истинно как жуткий снег на голову... Шомет в четверг седьмого ноября вдруг распорядился на воскресенье десятого о «всенародном» празднестве в честь Разума, о беспримерном кощунстве в стенах Парижского собора, а Обри было объявлено, что ей выпала на долю величайшая честь возглавить это кощунство...

...Под стук пушек, пение, барабаны и шум толпы — четыре босяка, ухмыляясь, подняли на свои дюжие плечи Обри вместе с ее троном и понесли, в сопутствии хора и кордебалета, пробиваясь сквозь толпу, сперва на площадь, «к народу», а затем в Конвент. И опять — давка, говор, крики, смех, остроты, а ноги чавкают по грязи, попадают в лужи, ветер рвет голубую мантию и красную шапочку посиневшей Богини, кордебалет тоже стучит зубами в своих вздувающихся от ветра белых рубашечках, забрызганных грязью, а сзади высоко качаются над толпой шесты, на которых надеты, для вящей потехи, золотое облачение и митра Парижского Архиепископа. А в Конвенте — торжественный прием Богини всем «высоким собранием» во главе с президентом, который ее приветствует «как новое божество человечества», «заключает от имени всего французского народа в объятия», возводит на трибуну и сажает рядом с собою...»

31 марта 1878 года в Петербурге состоялся суд над 29-летнею Верой Засулич, за два месяца до того выстрелом в упор тяжело ранившей петербургского градоначальника генерала Трепова. Председательствовал на суде знаменитый А. Ф. Кони. Засулич, как известно, была оправдана. Кони до мельчайших подробностей описал в своих воспоминаниях этот процесс. После провозглашения старшиной присяжных «не виновна»:

«Тому, кто не был свидетелем, нельзя себе представить ни взрыва звуков, покрывших голос старшины, ни того движения, которое, как электрический толчок, пронеслось по всей зале. Крики несдержанной радости, истерические рыдания, отчаянные аплодисменты, топот ног, возгласы: «Браво! Ура! Молодцы! Вера! Верочка!» — все слилось в один треск, и стон, и вопль. Многие крестились; в верхнем, более демократическом отделении для публики обнимались; даже в местах за судьями усерднейшим образом хлопали... Все было возбуждено... Все отдавалось какому-то бессознательному чувству радости...».

Дальше уже не Кони, а со слов других очевидцев в предисловии к книге воспоминаний Кони о деле Засулич:

«Огромная толпа — в тысячу или полторы тысячи человек — студентов, курсисток, рабочих со строящегося неподалеку Литейного моста уже с утра ожидали окончания процесса. Когда из здания суда вышел защитник, его подняли и понесли на руках. Когда же на улице показалась освобожденная Засулич, раздалось оглушительное, долго не смолкавшее «ура», крики «браво». Девушку приподняли над толпой и с триумфом понесли на плечах. Затем ее посадили в карету и толпа сопровождала ее по Шпалерной и Воскресенскому проспекту. Демонстрация приобретала все более внушительный характер...»

Так из Богини Разума родилась Богиня Мести, вслед за которой неминуемо должна была явиться Богиня Разрушения.

До чего легко было адвокату Засулич взывать к милосердию присяжных и публики — он защищал женщину. Но куда, в какие тартарары провалилось милосердие той, которая должна быть обителью милосердия?

Софья Перовская 1 марта 1881 года руководила убийством царя. Участница этого покушения Геся Гельфман в момент убийства была беременна. Жизнью жизнь поправ... Что рядом с этим молитва о милости и спасении душ врагов наших!..

Высота, на которую не нравственным трудничеством, не подвижничеством, не духовной питательностью, а мстительным «подвигом» и взятой на себя страшной ролью поднялась женщина, — высота эта пугает разверзшейся перед нею бездной.

Тереза Анжелика Обри, нареченная по прихоти свихнувшихся умов Богиней Разума, уже в пору Империи сорвалась с помоста, на котором она в одном из спектаклей была поднята высоко над сценой, и навсегда осталась калекой. Известно, что, всеми забытая и презираемая, она жила лишь во имя больной дочери, хлопоча, чтобы нашлись люди, которые не погнушались бы похоронить их достойно. Дочь немногим пережила свою мать.

* * *

Историки и философы старой школы считают, что в основании нашей нации лежат женские начала. «Основная категория — материнство», — находит Н. Бердяев, одновременно замечая, что «всякий народ должен быть муже-женственным». Не вдаваясь в этот слишком серьезный вопрос, вспомним, что Россия издавна верила в себя, как в Дом Богородицы, Богородица была покровительницей России, и все казавшиеся чудесными избавления от врагов и бедствий объяснялись ее заступничеством. Н. Лосский в своем исследовании характера русского народа приводит наблюдения англичанина Грэхема из его книги «Неизвестная Россия» о русских женщинах, которые «стоят пред Богом; благодаря им Россия сильна». И это писалось Грэхемом всего-то накануне первой мировой войны.

В крестьянской стране роль женщины, естественно, была не гражданская, не государственная, а семейная, и по складу характера русской женщины — жертвенная. «Но я другому отдана, я буду век ему верна» — ее судьба, и от брака по любви, от жизни, от которой она получала, а не отдавала, она чувствовала как бы неудобство, вину, потому что привыкла добиваться благополучия по капле. О своей социальной неразвитости и приниженности она мало подозревала, везя на себе все домовое строение и не имея времени задуматься о женских правах. Конституцией для нее было евангелие, социальная справедливость заключалась в понятиях «по-божески» или «не по-божески». Испытывая часто нужду, страдая от самодурства, она находила силу и нравственное равновесие в милосердии, возведя милосердие в первый закон, имеющий внутри страны такое же хождение, как горе. Историк В. О. Ключевский, рассказывая о Юлиании Муромской, жившей в 17-м веке и разорившей неудержимой милостью свое крепкое хозяйство до основания, приходит к парадоксально русской, нигде более не сумевшей бы появиться мысли о том, что как для развития медицины нужны больные, так и для добродетельства в Древней Руси нужны были нищие. «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет» — и это в характере русской женщины, но основная ее служба была в целительности сердца. Это служба скрепляющего раствора в любой кладке, которая без раствора развалится, и это служба тыла в любом продвижении вперед, которое без тыла провалится.

Жертвенность и целительность сердца были настроением женщины и в просвещенных кругах вплоть до середины и даже за середину прошлого века, о чем свидетельствует русская литература, всегда умевшая чутко уловить внутренние общественные звуки. У Гончарова Ольга Ильинская надеется победить лень Обломова. Вера в «Обрыве» рассчитывает смягчить губительный нигилизм Марка Волохова. Соня Мармеладова у Достоевского, готовая на все, чтобы спасти от отчаяния Раскольникова, по бескорыстному сложению своей нравственной фигуры достойна памятника; коли и литературным героям дарованы теперь эти почести — чей еще образ мог бы служить указанием на величие женщины!

Но литература не обманывается и сегодня, когда в рассказах Василия Шукшина, в «Воспитании по доктору Споку» Василия Белова, в произведениях многих и многих наших современников говорят о трагическом надломе женщины, который пришелся на ее сердце.

Смысл всяких потрясений за последние века заключается в жажде требовать и брать силой после того, как начинают давать, в неумении удовлетвориться необходимым и нежелании отдавать труды, чтобы безболезненно осваивать достигнутые свободы, прежде чем добиваться новых, в буйной страсти к полной развязности, к языку ультиматумов и бомб. Словно бешенством заболевает общество и, пока не перебесится, пока не нанесет себе страшного урона, не захочет принять никаких уступок, уступки лишь разжигают его ярость, а захватив в конце концов все, удовлетворив свою страсть, когда наступает время созидания, оказывается неспособно к нему и небрежно.

Русская женщина включилась в активную борьбу за эмансипацию уже после того, как получила возможность учиться в университете и играть подобающую ей роль в обществе как гражданской службой, так и культурной деятельностью. Просветительским и прочим женским кружкам, хоть и заведениям по типу Веры Павловны из романа «Что делать?», никто не препятствовал, и они появлялись во множестве и в столицах, и в провинции. Из своего общественного сокрытия и «темного царства» женщина всюду выходила на вид, стеснительно оглаживая свою фигуру, которая после вечного прозябания в «темном царстве» казалась ей излишне приземистой, а оркестры и речи уже торопили на площади.

Это был соблазн такой страсти, какой женщина никогда не испытывала даже в самых темных уголках своей души; это

был экстаз и непорочное зачатие от духа, объявленного властителем дум Писаревым с предельной откровенностью: «все, что может быть разрушено, должно быть разрушено». Едва ли подозревала женщина, надрывая горло в требованиях, что и ей предназначено войти в это «все».

В конце концов ведь и Софья Перовская с Верой Засулич — тоже жертвенность, которую мы ставим женщине в заслугу, только с того конца, который подхвачен писаревским духом.

* * *

Когда-нибудь, будем надеяться, явится женщина-писательница, которая вслед за Лухмановой изнутри больного вопроса скажет о происшедших в женщине переменах и назовет их собственными именами. Хотелось бы, чтобы это «когда-нибудь» не затянулось: сама женщина жаждет правды о себе и вожделенно прислушивается к голосам, способным подсказать «блудной дочери» пути возвращения. Раскрепощенная и свободная от старых пут, вышедшая из тесных четырех стен и взошедшая на самые верхи общественной пирамиды, плотной государственной массой шагающая по утрам равноправно с мужчинами в цеха, лаборатории, на стройки и в учреждения, соперничающая с ними умом и мускулами, громкая, целеустремленная, активная, передовая — она, следовало ожидать, должна быть счастлива: нет ни одного занятия, ни одного мужского подвига, которые бы остались для нее недосягаемыми.

Казалось, и общество должно было выиграть: разве вместе с женщиной, ставшей государственной фигурой, не смягчаются в государстве нравы, не исцеляются многие язвы и не утоляются печали? — женщина, взойдя, должна была и милость сердца своего вознести на государственный уровень.

Но этого можно было ожидать лишь на механический взгляд; скрытые общественные законы механику не признают, и на взгляд, проникающий в глубинные процессы, этого ожидать было нельзя.

Перемещение женщины произошло грубо, не обогащающим взаимно женщину и общество подъемом роли, а перемеНой роли. Здесь не эмансипацию надо винить, а смелость и безоговорочность, с какими она, словно кукуруза, внедрялась. И не цивилизацию, а уродливые односторонние пути, по которым пошла цивилизация. Женщину совратили публичной значительностью и освободили (а потом она и сама себя принялась освобождать) от ее извечной и тихой обязанности культурного ускорения народа; духовность она заменила социальностью, мягкость и проницательность особого женского взгляда — категоричностью, женственность — женоподобием, материнство — болезненным детоношением, расчетливым или горьким, как кукушка, подбрасывая затем птенцов в общие гнезда детских учреждений; семейственность — непрочными связями. И так далее. Она сняла с себя завесу тайны и интимности, растеряла не половой лишь один, не физиологический, а каких-то несказанных звуков и свойств природный магнетизм, вызывавший ее привлекательность. Музыкальное звучание женщины в мире сделалось прерывистым, ее вовлекли механические, диссонансные ритмы; «песнь песней» осталась недопетой, переходя постепенно в «плач плачей».

Уйдя из семейного «рабства», будучи при этом одновременно и оружием, и жертвой, она попала в рабство не менее гнетущее — социальное, все заметней превращаясь в функцию, в слагаемое, значимость которого подгоняется под утешительную сумму.

Этот неприглядный и далеко не полный портрет дается не для того, чтобы бросать в женщину камни. Она и без того наказана. И вина ее и беда срослись так, что по отдельности их уже не рассмотреть. Видно лишь, что оставшаяся в женщине природа вопиет от ужаса за свою будущность. Человеческий мир вокруг женщины — это и дитя ее, и она инстинктивно сознает свое материнство и ответственность за человеческие итоги. Но сознает смутно, сновидениями отвергнутой в ней женщины. Реальность погоняет ее на службу за рублем, в детсад за ребенком, в очередь за молоком, и «неделя как неделя» одна за другой промелькивают перед нею в жилистых социальных усилиях по инерции продолжающегося самоутверждения. Редко слышит она: «любимая», «родная», «единственная», а все больше — «гражданка», «партнерша», «мужичка».

Статью, комментирующую почти сто лет назад книгу Лухмановой, В. В. Розанов назвал «Женщина перед великою задачею» и видел эту задачу в воспитании человека, прежде всего в семье. Ныне задача женщины стала гораздо трудней, и шире, и значительней, и величественней. Вернуться на прежнее место нельзя, да и не нужно, поскольку сместилась целая эпоха, сместив вместе с собой человеческое содержание. И подобрав затверженное: «Cherchez la femme», мы пользуемся им не ради указания на виновницу, а во имя обращения к женщине: ищите женщину.

Ищите и находите. В этом и состоит сегодня великая задача женщин.



КРИТИКА



ТАТЬЯНА ОКУЛОВА

«НАМ ДОБРЫЕ ЖЕНЫ И ДОБРЫЕ МАТЕРИ НУЖНЫ...»

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЖЕНЩИНЕ И «ЖЕНСКОЙ ТЕМЕ» В СОВРЕМЕННОЙ МАССКУЛЬТУРЕ

Весенний снег, нежданный-негаданный, нарядил этот скромный подмосковный уголок, весело таял на теплых щеках девушек, жительниц Старой Рузы. Глядя на них, радоваться хотелось, что живешь на белом свете... Мы вышли вместе из тесного кинозальчика, где механик, как всегда опоздавший, прокрутил «Дорогую Елену Сергеевну» и что-то еще модное «про любовь», с которой грубыми торопливыми руками не то что срывали — сдирали покров тайны.

— Знаете, — вдруг сказала одна из девушек.— Мы теперь ни во что светлое не верим. Вот и в кино показывают. Мы ведь все понимаем...

Я совершенно растерялась. И ели, показалось, и дубы, на которых по-весеннему барабанили дятлы, призывая подруг, и речка, разговорчивая Вертушинка,— все замерло. Так противоестественно звучали слова эти, сказанные на ходу, спокойным будничным голосом юными совсем существами, для которых — бог ты мой — все только начиналось.

Глядя на их снежные челочки, на растерянный вид, хотелось понять, почему все больше людей, подобно этим девушкам, выходит на улицу после кино- или телепросмотров, хлестких и вроде бы правдивых журнальных публикаций — в таком угнетенном состоянии. Что за «генератор» заряжает их, каких героинь, какие образцы для подражания видят они перед собой? И что особенно тревожит в том, какой предстает русская женщина, ее прошлое и настоящее? Последний вопрос — отнюдь не от чувства национального превосходства. Недаром повторяет писатель Карем Раш, что Россия живет, пока есть русская семья. Почему в худшем положении должна быть эта семья, которая всем помогла подняться и принесла больше всего жертв?

Итак, что мы видим?

О «ГОЛЫХ КОРОЛЯХ» И ГОЛЫХ «КОРОЛЕВАХ»

Какой прогресс! Еще в 1988 году в журнале «Смена», поздравлявшем наших тружениц с Международным женским днем, была пропета целая ода западным «секс-звездам», которые — «как сто пирожных на одном блюде», а не «сто соленых огурцов», в отличие от наших актрис, у коих слишком много «крестьянства». Еще вчера, казалось бы, только начинали «первые ласточки» в нашем кино раздеваться перед камерой и к ним бежали со всех ног корреспонденты популярного молодежного органа, чтобы узнать, что они чувствовали «до» и «после». Помню, как одна из них, знаменитая лишь публичным раздеванием и словно по иронии судьбы носящая фамилию Плоткина, выступала в роли учителя жизни, призывая немедленно «раскрепоститься», «резко что-то открыть» для «наследников сталинской культуры», закупив побольше западной эротической продукции. Были тут и вздохи, что в Италии, например, есть порно-депутатка [1], а у нас...

А сегодня глядишь — хотя порно-депутатки у нас еще не появились, но зато иные «стахановки» перестройки в нашей «замшелой» культуре успели уже и в «Плейбое» сняться, успешно конкурируя на его страницах не только с американскими «звездами», но и с «работающими девушками», тоже, впрочем, актрисами в своем деле, судя по снимкам. Поднимают совместными усилиями тираж небезызвестного издания, упавший в последние годы... Впрочем, не это главное.

---

[1] Эта самая Илона Сталлер уже успела побывать в Будапеште, призвав открыть там публичный дом. Когда горсовет отказал, шустрая Илона стала вести переговоры о «секс-клинике» («Эхо планеты», 1989, № 33).

«Мы за мир» — написано по-русски на лихо задранной майке у «нашей». Прочитав эту надпись, надо думать, уже не так будут бояться «советской угрозы» американцы. Будут себе спать спокойно — в штате Нью-Гэмпшир, например, в законодательстве которого, кстати, не так давно был сохранен закон о супружеской неверности, которому уже 200 лет, — в подтверждение традиционных ценностей. Этот закон наказывает штрафом в тысячу долларов и тюремным заключением сроком до года. Впрочем, такая Америка, с такими ценностями нас, похоже, мало интересует. Нас иные образцы манят — «легкодоступных земных девушек», киноэпопей «Грубые ласки» («СК» от 13.07.1989 г.).

«Надо же и нашим актерам как-то выйти на мировой рынок», — скромно прокомментировала в «Кинопанораме» свои заслуги советская фотомодель «Плейбоя» Негода, снявшаяся в фильме «Маленькая Вера».

Спустимся, однако, с мирового рынка на наш собственный: не зря же реклама упомянутого фильма — задолго до выхода его на экраны! — была такая, что не хочешь, а побежишь. И побежали многие, и написали, как К. Сергеева, например: «После того, как я из этого кино вышла, комок тошноты в горле весь день стоял. А когда пришла домой, то мой сын четвероклассник спросил меня: «Мама, ты ходила на тот фильм, в котором матятся?» Что я ему могла ответить? Что там не только мат во всех вариантах, но и половой акт крупным планом показывают? Зачем? Объясните мне это. Какую цель преследовала съемочная группа?» («Семья и школа», 1989, № 1).

Охотников учить уму-разуму эту и других мам и учительниц, считающих, что сценка эта не только неимоверно пошлая, но и просто выпадает из сюжета фильма, было — пруд пруди. Еженедельник «На экранах Подмосковья» убеждал, что эта сцена позволяет «увидеть скрытый трагизм ситуации, не осознанный героями фильма», тем более что «авторская точка зрения скрыта». И впрямь — самое время скрывать «свою точку зрения» и раскрывать пошире дверь в спальню, что «поможет исследовать проблемы нашей семьи» и повысит нашу культуру, по мнению В. Дмитриева. Любители подглядывать в замочную скважину всегда отличались большой культурой...

А вот — словно взывающий к бесчисленным эротоманам взволнованный голос Г. Симановича в «Вечерней Москве»: «Кино впервые призвало нас серьезно задуматься над тем, сколь агрессивно отстаиваем мы наши во многом архаичные воззрения на любовь, как наивно недооцениваем чисто сексуальный фактор в отношениях между молодыми людьми, воспитанными социально-культурной средой 70—80-х». Дух захватывает от перспектив развития этой самой «социально-культурной среды», скажем, в 90-е годы: видимо, женщин, не утративших способность краснеть, надо будет заносить в «Красную книгу». Таких, как преподаватель З. Згеева, к примеру, настолько «архаичная», что целый месяц находилась под угнетающим впечатлением фильма «Фотография с женщиной и диким кабаном»: «Учительница истории ложится в постель со своим учеником, отнюдь не воспламеняемая любовью, — это как бы в порядке вещей... Фотограф как творец искусства занимается порнографией. Инвалид теряет веру в себя, в людей, деградирует. Самоубийство — не во искупление грехов, как в некоторых классических произведениях, а от страха перед расплатой. Вот и получается, что фильм не возвышает чувства, не поднимает на высшую ступень разума... Ни одного светлого пятна. Даже цветы в нем не радуют...» («СК» от 1.10.1988 г.).

Впрочем, это, действительно, цветочки — ягодки будут впереди, если судить, скажем, и по некоторым высказываниям в той же газете о проблемах свободы творчества в кино. Главное для художника — раскрепоститься, а не повторять надоевшие слова о нравственности и воспитательной роли искусства — таков, к примеру, пафос выступления М. Ромадина. На замечание одного из своих коллег по «Круглому дому» В. Межуева: «То, что называется на Западе «сексуальной революцией XX века», применительно к нашим условиям будет порнографией, поскольку мы помещаем вещи в несвойственную им атмосферу», — он многозначительно ответил: «С точки зрения искусства эротика в этой ситуации тоже интересна». («Советская культура» от 21.02.1989 г.).

Еще бы не интересно: мат и изображение полового акта становятся чуть ли не «символом» привнесенного перестройкой внутреннего освобождения художника! Это подтверждает и И. Ермаков, возбужденный показом по Ленинградскому телевидению постельных сцен и увидевший в этом мощный залп по... сталинщине: ведь «сталинисты, уничтожая тысячи людей, отводили глаза народа от этих чудовищных преступлений, забивая ему голову ханжеской борьбой с эротикой и сексом» («Собеседник», 1989, № 2).

«В этом деле я усматриваю еще один ракурс, — прозревает Румянцев из Москвы. — Повышение здорового интереса к женщине заставило бы мужчин пересмотреть свое отношение к алкоголю. Согласитесь, пьянице ничего сексуального не нужно. А когда на экране показывают красивых мужчин и женщин, пускай не совсем одетых, иные тоже захотят получать удовольствие от любви, а не от водки». Это не из рубрик «Афоризмов» или «Нарочно не придумаешь», а из журнала «Советский экран» — читательский ответ на призывы к «одухотворению секса» (1988, № 8).

«И как искусно умеет пес чувственности умолять о кусочке духа, когда ему отказывают в куске мяса!» — так говорил Заратустра у Ницше, отвергавший общепринятую мораль.

Эх, яблочко, куда ты катишься... Так и видишь, как под призывы «созидающих»: «Раскрепоститься!» уносятся в светлое будущее счастливые, «пускай не совсем одетые» мужчины и женщины...

«Глядя на современные фильмы, можно подумать, что в жизни нет ни жен, ни мужей порядочных, а девушки только и стремятся в постели к чужим мужьям. И все они в фильмах — положительные герои», — замечает А. Иванова («Советская культура» от 12.09. 1988 г.). «Герои безо всяких моральных преград», по словам О. Марфенко из города Волжский («Советский экран», 1988, № 8). Очень подходят к ним, по-моему, такие характеристики: «Если ты не любишь самозабвенно, то тебя и разочарование не постигнет. Вот пожалуйста: молодая женщина, постоянно меняющая партнеров, совершенно спокойна и уравновешенна». И борется при этом против «мещанского рабства», ибо «материнство делает женщину рабыней своей расы»: «Рожать детей, которые, пройдет время, тоже будут рожать, — словно до бесконечности повторять один и тот же унылый рефлекс». Что касается сильного пола, то «мужчина — это обычный самец, сообщник женщины в часто ненавистном, постыдном, иногда вызывающем потрясение, но всегда эпизодичном занятии. Он тащит ее за собой в грязь и свинство».

Все это давнишние высказывания французской писательницы Симоны де Бовуар, еще в юности воскликнувшей вслед за Андре Жидом: «Ненавижу вас, семьи!» и развившей потом свою программу убежденной антиматери. Размышляя об этом в интереснейшей статье «Ограбление будущего», венгерский писатель Дюла Фёкете пишет, что ее бунтарско-куртизанские рецепты, поразившие в свое время немало женщин своей броскостью, ультрасовременностью, прямиком стали приводить к сокращению рождаемости, эксплуатации будущего, то есть чреваты крахом общества. Так же как, по сути дела, рецепты совсем из другой «оперы», точнее, индустрии с массированным воздействием — порнографии, промискуитета, пошлой рекламы сладкой жизни, пахучих находок многочисленных культурмусорщиков, сделанных на свалках быта, ехидных насмешек по адресу материнства, брака, семьи, супружеской верности, половой морали, удручающе скудной философии танцевальных шлягеров.

Продукция эта существует на Западе уже давно, как и каждый сверчок, занимая свой шесток в шоу-бизнесе, запускающем лапу в карман зрителя с особо невзыскательным вкусом, бизнесе, наживающемся на человеческих слабостях, а то и бедах. Насколько мне известно, во многих европейских странах существуют специальные цензурные комитеты, стремящиеся оградить молодежь от фильмов дурного свойства.

Кстати, французы, будто бы поголовной ветрености которых мы изо всех сил пытаемся подражать, распевая провинциальные песенки на тему ночного Парижа, по опросу общественного мнения, главным в жизни считают семейный уют. Кризиса семьи нет, наоборот — массовый возврат к семейным ценностям, домашней теплоте, которые дают чувство безопасности, прочности, защищенности в этом небезопасном мире. И, главное, молодежь, по мнению специалистов, семью не отвергает.

А в Америке, скажем, еще 25 лет назад появилась книга «Мистика женственности» — разоблачение того идеала буржуазной семьи, женского счастья, который ставит на пьедестал потребительницу, делает секс главным назначением женщины. Б. Фридан, автор работы, построенной на опросе жительниц разных штатов, изучении женских журналов, сделала вывод, что лишь «больное, незрелое общество не хочет смотреть в лицо реальным проблемам женщин, ограничивая их сферу интересов «сексуальной лирикой», «розовыми и голубыми одеялками»: «Все это наполняет твой болезненно сжимающийся мозг, и он не может от этого избавиться» (См.: «Женщины в современном мире». М., «Наука». — 1989 г.).

И разве ни о чем не говорит нам сегодня вышедшая в 80-е годы в США книжка «Конец секса. Что сталось с сексуальной революцией 60-х годов?» — о крахе идей этой революции и возрождении семейных идеалов, супружеской верности, романтической любви?

Вывод прост: «Счастливы — любящие» [2]. (Недаром американские психиатры считают одной из главных причин стрессов — развод, смерть партнера.)

В связи с сексуальным «бумом» 60-х интересно замечание нашего социолога К. Мяло о той распущенности на грани полной асоциальности, которую общество находит возможным позволить своим «отбросам». Степень их распущенности прямо пропорциональна мере их социальной ненужности. Впрочем, еще в античные времена знали: «Низшим» дозволено то, что не дозволено «высшим». Недаром спартанцы показывали своим детям пьяных илотов... Вот почему сегодня многие молодые американцы воспринимают как социальное унижение предоставленное им право ходить в попугаичьих нарядах в знак компенсации, что ли, за отнятую у них возможность нормального взросления.

...А у нас тем временем «телки», «мочалки», «розовые и голубые одеялки»

---

[2] Кстати, американский опыт говорит, что чрезмерное увлечение «техникой» интимных отношений отнюдь не сделало людей счастливее, да и проблем не убавило. У нас же набирает силу сейчас пропаганда весьма своеобразного пути к семейному счастью: если «по-научному» лечь, улыбнуться, прикоснуться пять раз подряд к эрогенной зоне № 3, найти зону № 9, то получится гармония и любая трещинка во взаимоотношениях преодолеется.

правят бал. Вместо розовых одеялок, правда, демонстрируются все чаще мусорные кучи — на фоне отбросов сексуальная лирика наполняется новым содержанием. Показательно мнение И. Нечипуренко из Ростова-на-Дону, который пишет, что все больше создатели картин стремятся привлечь зрителя из коммерческих соображений сценами насилия и секса («Советская Россия» от 25.12.1988 г.). А врачи предупреждают, что молодые люди при любых экранных сценах насилия идентифицируют себя не с жертвой, а с насильником.

Однако кто-то, видимо, думает иначе, считая, что «с точки зрения искусства» эротика и в этой ситуации тоже интересна, что ничего не надо запрещать: пусть народ объестся «жареным» и сам научится отделять зерна от плевел.

Что дальше? В наших фильмах уже наглядно показывают, как пытать раскаленным утюгом[3]. Можно увидеть не только интим случайно встретившихся людей, но и групповые «игры». А в программе «Взгляд» 6 октября 1989 года, например, пропев очередную оду «свободной любви» «свободных людей» и так называемому «индивидуальному средству профилактики СПИДа», провозгласили, что наше общество находится «в процессе полового созревания». И в назидание зрителям дали поглядеть видеоклип с месивом из наползающих друг на друга тел, в том числе лесбиянок, гомосексуалистов. Что — дальше?

Может, поискать ответ в той же «свободной Америке» у женщин, которые давно и не без причин, наверное, воюют против пошлых, изобилующих сексуальной «лирикой» фильмов и телепередач, против пропаганды порнографии, насилия, помогая молодым людям отделять зерна от плевел? Ибо параллельно приходится бороться и с беременностями школьниц, ранними половыми связями, которые, по мнению врачей, строятся больше всего на обезьянничанье («Парус», 1989, № 6). Открываются «центры кризисной ситуации», где жертвам изнасилования оказывают помощь и юридические консультации. Показательно, что еще в конце 70-х верховный суд США удовлетворил иски к телекомпаниям нескольких американок, ставших жертвами насилия, совершенного по образцам, показанным в фильмах этих телекомпаний накануне преступления («Молодежь и культура», 1989, № 3).

Все течет... Пресытившись умеренными дозами подобного зелья, к которому порой привыкают, как к наркотикам, начинают искать более изощренные ощущения, что привело уже к порнодегуманизации секса, к фашизации эротики, где нет запретов даже в отношении детей. В Америке сняли, например, фильм, для которого заставили позировать десятилетнюю девочку, пытали, а затем замучили ее до смерти, записав на пленку стоны и крики о пощаде — небывалую садистскую порномузыку.

Не пора ли и нам всерьез задуматься, прервать бесконечные и все еще «трепетные» интеллигентные беседы, которые ведут интеллигентные люди, — о снятии всех и всяческих табу и об «устаревших» моральных нормах?

«НАС ПРИУЧАЮТ ВИДЕТЬ ЗЛО И НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ...»

Зарубежные ленты определенного рода, по мнению врача М. Цирюльникова, бесспорно, вносят свою лепту в «помолодение» секса, а значит, и рост подростковой беременности, бесплодия, браков-скороспелок, быстро распадающихся, когда под венец идут, потому что «так сложились обстоятельства» («Семья», 1988, № 35). Созерцание порносцен или того, что мы часто с пафосом величаем «здоровой эротикой», как утверждают ученые, неуклонно ведет к опустошению, к мужской и женской импотенции.

В СССР рекордное в мире число абортов — 7 миллионов в год. В США — 1,5 миллиона и в 2,5 раза ниже, чем у нас, младенческая смертность. Тысячи девичьих жизней не удается спасти, скажем, после возвращения из пионерлагерей, когда, попав в затруднительное положение, обращаются к разным «бабушкам». Примерам несть числа. Бытовая культура, охрана здоровья женщины, сексуальное воспитание, цель которого — любовь и ответственность, — все это на таком уровне, что принимаются меры по спасению положения. Но если тут мы пока не очень преуспели, — прививки против стыда наловчились делать мастерски. Чем вам не «прогресс нравов» — ведь не что иное, как стыд испокон веков на нашей земле помогал юноше и девушке, мужчине и женщине оставаться самими собой, а не смахивать на клиентов ветеринаров.

«Мне семнадцать лет. Я так верила в красивую любовь, и мои подружки тоже, — написала после «пошлой и развратной» ленты, оставившей в душе «только гадкое», Оксана Светличная из Новороссийска. — Зачем это? Что в нас пытаются воспитывать? Хватит над нами издеваться и показывать в таком виде. Хватит!» («Советская Россия» от 25.12.1988 г.).

«В погоне за доходами, подражая Западу, с экранов мы пропагандируем разврат, а потом с именем Ленина собираем деньги на содержание брошенных детей», — пишет А. Иванова из Ярославля в «Советскую культуру». Немыслимое для мирного времени число наших сирот пополняется во многом за счет 15—18-летних «кукушек». Дети нередко рождаются дебильными, с красной сыпью и диагнозом: «Сифилис. Врожденный». Сейчас эпоха СПИДа...

Самое время публиковать раздумья о порнографии, рождающейся, мол, от неудовлетворенности, неустроенности: «Старик Фрейд утверждал: «Что ни делается в постели, — все прекрасно!», и, может быть, он все-таки прав?» («Молодежь и культура», ТАСС, 1989, № 3).

В таком духе делается сейчас масса сексологических опусов, богато иллюстрированных. Взять хотя бы огромный снимок — прямо-таки ода однополой любви! — к статье «Оля + Юля» в приложении к «Комсомолке» «Собеседнике» (1989, № 46). К подобным материалам у нас возникает постепенно притерпелость, что очень опасно. Ведь тут вопрос не только морали, но и, если хотите, правовых норм.

Вот привыкаем и к ядовитым снадобьям, которыми потчуют нас в сотнях видеосалонов. Соседский мальчик 12-ти лет, шагая со мной мимо киосков, украшенных открытками с раздетыми красотками, говорит: «Вы на эротику ходите? Я — нет, противно. А вот девчонка знакомая, совсем маленькая, рассказывала, что интересно, все в зале гогочут. Даже воспитательница из детского сада со своей группой пришла...»

Похоже, всем группам населения есть на что поглядеть в таких зарубежных картинах, как «Иди, девочка, разденься», «Все виды извращений», «Нагая среди каннибалов»... Тут нам у «них» еще учиться и учиться. И плоды этого «учения» — в наших условиях, на нашей почве — непредсказуемы. Ведь если, скажем, по числу автомобилей мы во много раз отстаем от США, то по количеству погибших в автокатастрофах идем бок о бок.

Еще два года назад Е. Стрельникова заметила, что набирает силу тенденция жестокости по отношению к женщине, дискредитировавшая себя на Западе. Зритель просто беззащитен перед «находками» режиссеров. И если в жизненной ситуации за человеком остается гражданское право вмешаться, то в фильме от страшной ситуации никуда не деться. Он не властен ничего изменить из происходящего на экране, не властен себя защищать от агрессии. «Происходит ужасное, — считает она. — Нас приучают видеть зло и несправедливость, видеть в изощренном обличье, с натуралистическими подробностями. Можно ли после этого удивляться жестокости, усилившейся в наше время» («Работница», 1987, № 7).

С тех пор немало воды утекло. И стоит задуматься, почему у нас катастрофически растет число преступлений на сексуальной почве, не связано ли это с насаждением сцен насилия, эротики, переходящей в порнографию. Вспоминаются кричащие строки письма В. Штырькова из Чапаевска, отца двух девочек. Если в начале прошлого года в Куйбышевской области фиксировалось 3—4 изнасилования в неделю, то в августе уже 8—9! («Правда» от 22.11.1989 г.) Сейчас там эта цифра, видимо, еще подскочила, а как в других областях?

Снятие излишней регламентации, неоправданных запретов в искусстве и на телевидении открыло не только несправедливо замалчивавшиеся ранее высокогуманистические, честные, глубокие произведения, но и открыло, к сожалению, широкие шлюзы для потока низкопробной халтуры, пропагандирующей вседозволенность, насилие, разврат, культ денег и силы, нигилистическое отношение к закону и правопорядку, преклонение перед западными не всегда лучшими, а порой им же отвергнутыми образцами. Все это способствовало росту преступности. Таково мнение В. Белова. С ним согласен и министр В. Бакатин:

«Наш анализ, анализ десятка авторитетных социологических групп убеждает, что эти далеко не безобидные «опыты и эксперименты творческого плана» содействуют разболтанности, вспышке жестокости и насилия в среде эмоционально незрелой, нравственно нестойкой. Жестких связей здесь нет. Речь идет о формировании определенного нравственного микроклимата». По словам министра, это не могло не повлиять на темпы роста преступности несовершеннолетних, наркомании, проституции... («Правда» от 17.07.1989 г.)

Кстати, большинство сторонниц столь рьяно рекламируемой ныне свободной любви проститутками не являются. Физическая близость с ровесниками для них — лишь форма проведения досуга, не более. Мысль о том, что из этого занятия можно извлекать еще и выгоду, приходит потом. Не ко всем, но приходит — считает психолог Т. Малофеева.

«Татьяна К. рассказала, что впервые вступила в половую связь в 14-летнем возрасте. Однажды старшеклассники пригласили ее и подружек посмотреть «классный видеофильм». После просмотра предложили повторить виденное на экране и в жизни. Под воздействием спиртного и «из интереса» подружки согласились. «Просмотры» продолжались несколько раз. Потом Татьяна сообразила, что от «любви» можно иметь выгоду. Сейчас, заканчивая школу, жалеет только о том, что эта мысль «не пришла к ней раньше». (Из материалов исследования старшего научного сотрудника НИИ физиологии детей и подростков АПН СССР А. Меликсетяна.)

«У нас есть фильмы по профориентации: слесаря, инженера и так далее... Этот фильм, по-моему, из той же серии: если он и добьется какой-нибудь цели, то только одной — у нас будет больше проституток, обслуживающих иностранцев», — пишет о документальной ленте «Хау ду ю ду» педагог Л. Романовская («Неделя», 1988, № 19).

«Образ» этих «бизнесменок» в кино, средствах массовой информации окутывается порой флером таинственной привлекательности. Это уже давно не какая-то серая масса из желтого дома. Проститутка стала птицей заметной, дает интервью по телевидению — в самое что ни на есть зрительское время, в пятницу вечером, когда старшеклассницы еще не спят, а представительницы так называемой «группы риска» могут еще позволить себе провести часок-другой у своих экранов. За кадром таких интервью — «отталкивающие» сюже-

[3] Работники правоохранительных органов бурно протестуют, когда в прессе, к примеру, описывается способ изготовления ядовитого снадобья или употребления одурманивающих веществ.

ты, например, масса правонарушений, связанных с этим «бизнесом», трупы грудных младенцев, найденные в мусоропроводе, на трамвайных путях...

Кстати, наши журналы в прошлом веке серьезно изучали связь этого явления с детоубийствами, психическими заболеваниями. Резко ставился вопрос и об ответственности публицистов за освещение материала: «...Для вас должно быть дорого то нравственное влияние, которое дело оставит после себя в обществе... Вы можете внести в общество новую чистую нравственную струю или еще больше увеличить те миазмы, которыми вносится деморализация...» — писали «Отечественные записки» (1878, № 7).

А сегодня ответственные работники МВД говорят, что после некоторых выступлений наших средств массовой информации в ряды проституток стали вливаться не только старшеклассницы, но и совсем юные, 12—13-летние девочки, чье воображение распалилось от живописуемых «заработков» и безнаказанности («Комсомольская правда» от 27.01.1989 г.). Можно понять тревогу автора рассказа о юной «ночной бабочке» в «Пионерской правде», но не знаю, насколько оправданна публикация на эту тему в детском издании тиражом более 8 миллионов. Что вносит она в еще неокрепшую душу таких, как моя дочка-третьеклассница?

«Раз у нас находятся клиенты, значит, мы нужны людям!» — заявила некая Анна («Советская Россия» от 18.12. 1988 г.). Такие, как она, наверно, с карандашиком в руках читают статьи типа «Древнейшая профессия: на пути из трущоб» («Молодежь и культура», 1989, № 6).

Статья, начинаясь с лозунга: «Проститутки Бразилии, объединяйтесь!», повествует о том, как, воспользовавшись демократизацией в стране, «работающие девушки» начали борьбу за свои права, издают газету «Поцелуй улицы». Проститутки там, оказывается, — «спасительницы семейных очагов» (!), «одна из основных гарантий семьи» (!!), «буферная группа», «громоотвод при семейных неурядицах» (!!!), их — миллионы. Вот сколько полезного сразу можно узнать из одной небольшой статейки под рубрикой «Любопытный факт». В разряд «нелюбопытных», видимо, попадает информация об очень популярных в той же Бразилии клубах домохозяек и матерей, о крепнущем движении женщин совместно с представителями католической церкви за улучшение жизни, против разгула насилия, нестабильности общества, зависимости от иностранного капитала... А если перенестись по континенту, чуть севернее, можно было бы попасть в Мексику и узнать об удивительном мире, где в каждом доме, говорят, живет бог одной семьи, есть своя любимая народная песня, поклоняются ближним своим, предкам...

Но об этом прочитать что-то нигде не удается. В рубрике «В гостях у Гименея» в другом номере «Молодежи и культуры» сообщают о «короле любви» из Камеруна Монго Файя, человеке незаурядных способностей, ибо он является мужем 36 жен. Корреспондент ТАСС Копылов информирует, что «король секса» вызывает зависть мужского населения и повышенный интерес — женского, что утром он совершает пробежку вместе со всеми своими женами. Главное, говорит он, «вести здоровый образ жизни».

Новый, диковинный для нашего умеренного климата сорт «здорового образа жизни» пропагандируется нынче прямо-таки с африканской страстью. Люди уже не могут договориться, что считать добром и злом даже по отношению к такому явлению, как проституция, которое эксперты ЮНЕСКО считают преступлением против женщины, аналогичным изнасилованию и кровосмешению!

Что же удивляться тому, что «платоническая» форма продажи тела на конкурсах красоты, где наши школьницы получают купальники от «Бурды» и прочие дары от иностранных фирм-покровителей, воспринимается с восторгом колонии, торгующей сырьем! Впрочем, по мнению одного комсомольского лидера, конкурсы играют «важную преобразующую роль» и призваны «спасти женщину от урбанизации, от затерянности в толпе, повысить престиж женщины в обществе»...

Показательны слова Ференца Бардоша, руководителя будапештской полиции нравов, по поводу наступления дельцов на ниве «секс-бизнеса» и массы связанных с этим преступлений: «Образовавшаяся в Венгрии политическая оппозиция то и дело пускает в ход обвинение государства в полицейском режиме. В этих условиях многие граждане ведут себя с полицией так, как они бы никогда не посмели в западных демократиях» («Эхо планеты», 1989, № 33).

Кстати, не пора ли и нам создавать свою полицию нравов? Бурный мутный поток не останавливается уже и перед дверями храмов. В здании бывшего костела Святого Александра в Киеве, например, помимо давно существующего там Дома атеизма действует видеосалончик, где показывают те же «красоты».

Созерцающий красоту, говорят, становится соучастником ее создания. А соучастником чего становится ребенок, когда смотрит на «женщину-торт» в программе «Время»? Не западает ли ему в голову мысль, что и маму его можно так же вымазать сладким и отдать на съедение толпе, в которой могут быть и его учителя? Не станет ли и он постепенно зверем, пожирающим собственную мать, если женщина не сумеет или не успеет объяснить ему, что к чему? «И лицо поколения будет собачье»... С детства убивается в человеке восприимчивость, способность ужаснуться злу — ведь то и дело массированной атакой преступаются границы дозволенного, спокон веку существовавшие у нас. «Люди, — писал в «Окаянных днях» Бунин,—живут мерой, отмерена им и восприимчивость, воображение, — перешагни же меру. Это — как цены на хлеб, на говядину. «Что? Три целковых фунт!» А назначь тысячу — и конец изумлению, крику, столбняк, бесчувственность».

Трудно не согласиться со словами В. Распутина, сказанными на Съезде народных депутатов: нужно взять под охрану нравственность, нужен закон, запрещающий пропаганду зла, пороков.

...Морские гиганты киты погибают, теряя способность ориентироваться. Без умения определять свое положение в окружающем пространстве не выжить ни одному живому существу, сколь сильным и молодым бы оно себе ни казалось. И человеку — без ориентиров нельзя, и один из них, по-моему, особенно важен: если выигрывает семья, значит, дело пошло на лад.

«ЗАЧЕМ ВЫ ПРИНЕСЛИ СЮДА ЭТОТ МУСОР?»

«Некоторые события вашей страны заставляют моих товарищей и меня сомневаться в правильности перестройки, в развитии социалистической демократии, — говорит Максимо Пуэнте Ремиро из испанского города Сарагосы, в частности о конкурсах красоты. — Я думаю, что вы впадаете в старые обычаи буржуазии — продвигать женщину таким образом. Социалистические страны, тем более СССР, могли бы рассказать о том, что в обществе нет дискриминации женщины, что женщина может принимать участие в любой социальной сфере. А на конкурсе красоты женщина становится предметом, происходит ее овеществление».

«Неужели моральные принципы должны быть принесены в жертву некоторым экономическим выгодам?» — спрашивает президент Международной демократической федерации женщин Фрида Браун. Спрашивают и полные достоинства американские участницы телемоста с советскими женщинами, когда, скажем, наш ведущий пытается их вовлечь в разговор о дешевой рекламе: «Зачем вы принесли сюда этот мусор?».

Как же все-таки работают и живут советские женщины — интересуются американки и жители Сарагосы. Не одних же «интердевочек» они воспитывают, а в свое время воспитали и многих детей испанских интернационалистов...

Далеко не все за рубежом в восторге от нашей неспособности отделить в культуре Запада подлинное от уродливого, вызывающего все больший протест западной интеллигенции.

Что же произошло? По словам К. Мяло, — замена стереотипов на контрстереотипы, касающиеся восприятия коммерческой масскультуры Запада и связываемого с ней некоего целостного его образа.

Критика стала восприниматься, независимо от ее профессиональности и квалифицированности, как пережиток вчерашнего дня, свидетельство неспособности освободиться от стереотипов, как граничащее с шовинизмом неприятие Запада. При этом уже не замечают, что в самом отождествлении «Запада» с коммерческой шоу-индустрией как раз проступает зеркальное сходство со схемой восприятия этого мира, сформировавшейся в самые что ни на есть застойные 70-е годы. Тогда все многообразие современной западной цивилизации ассоциировалось только лишь с ее потребительски-развлекательной стороной. Тайная зависть, с которой одни и те же люди произносили дежурные фразы о буржуазном разложении культуры, восторженно взирая на эту жизнь, прорвалась наружу.

А с ней — и опасность, которая в наших мирных условиях грозит, по словам писателя Д. Фекете, опустошениями более страшными, чем во все минувшие войны. «Мы завшивели... Да, мы завшивели, но этого не хотят замечать компетентные лица», — говорит один из героев писателя. Речь — об эксплуатации будущего, о культе антиматери, о философии, приверженцы которой размышляют примерно так:

«Если даже народ погибнет, пустоты на его месте не будет. Туда придут люди, говорящие на том или ином языке — на каком именно — не так уж важно. Важно, что это люди более жизнеспособные, пережившие остальных, а потому с большим на то правом берущие в свои руки дело человеческой культуры».

Слышится в этой песне что-то очень знакомое... Задумываясь, почему так часто отходит у нас на задний план критическая оценка того, что мы воспринимаем, интересно взглянуть, скажем, на опыт японцев. Они, как показывает история, стараются перенимать из-за рубежа только то, что отвечает традициям и благу их нации, отвергая все, что им противоречит. Япония дает своего рода пример сохранения национальной самобытности и рациональности. К примеру, на основании социологических исследований японцы пришли к выводу, что чрезмерное увлечение любыми разновидностями поп-музыки не только расстраивает психику, вызывает угнетенное состояние, опустошает хуже любого наркотика, но и резко снижает производительность труда. У работников с малой низкой общей культурой мала ответственность за порученное дело. Хозяева ряда ведущих фирм теперь требуют, чтобы и рабочие и директора посещали занятия по истории мировой литературы, живописи, музыки, — высокооплачиваемые искусствоведы знакомят их с записями великих музыкантов, гениальными полотнами («Правда» от 18.06. 1989 г.).

У японцев почитание предков, традиций соединяется даже с некоторой патриархальностью. Национальные цели, самобытность, гордость... Когда мы догоняем и перегоняем Америку по части раздевания своих женщин, когда телеэкстрасенсы, приняв позу «фараона»,

«гипнотизируют Америку», жители этой страны, чью культуру стимулировала русская эмиграция, интересуются совсем другим: сумеем ли мы сохранить традиции нашей классики, это «уникальное достояние», «резервуар духовности», «вместилище душевного тепла, искренней сердечности» («Литературная газета» от 18.01.1989 г.).

О СЕСТРАХ МИЛОСЕРДИЯ И ЛЮБИТЕЛЯХ ХОРОНИТЬ ЗАЖИВО

«Пустота — неодолимый наш соблазн, сама блудница Вавилонская, раздвигающая ноги на каждом российском распутье», — подводит теоретическую базу под многие искания «от фонаря» творческих озарений М. Эпштейн, заявив, что главные черты русского народа — «пустота и хандра» («Искусство кино», 1988, № 7).

Послушать Эпштейна (или Синявского — ряд можно продолжать, да неохота), так это «пустота любимой родины» заставляла ленинградскую медсестру Татьяну Белоусову (отец — русский, мать — украинка) ехать в Афганистан и простаивать там, бывало, по 12 часов у операционного стола, спасая чьих-то мужей и сыновей. (О ней хорошо написала «Правда».)

«На проводке колонн работала вместе с врачом. Под обстрелы попадала довольно часто. В такие минуты забота одна: раненые. Не думаешь ведь, что в тебе когда-то достанется: за мной люди, не до своей персоны», — рассказывала она. Милое мягкое лицо, «Красная Звезда» и две боевые медали на груди, бескомпромиссность в оценках — она имеет на это право: «Солдат уважаю. Война ведь и не каждому мужчине по плечу. (Это уж точно. Кстати, почему до сих пор мы не знаем данных о национальном составе потерь в той войне? Надо думать, это не в последнюю очередь — боль славянства. — **Т. О.**) А солдаты — те же мальчишки: 18—19 лет. Иногда смотришь: и питаться бы им получше, и с девчонками побегать... Уважаю. Подавляющему большинству мужества не занимать».

Медсестра Ольга Шинаева из Коломны, как и Татьяна, сопровождала колонны, раненых на самолете. Последняя машина, на которой она летела с больными из Джелалабада в Кабул, была сбита «Стингером».

Она родилась в 1962 году, окончила медучилище, уехала вольнонаемной в Афганистан. Посмертно представлена к ордену Красной Звезды. Такая вот короткая строчка биографии «афганки» из Коломны. Слишком простая, наверно, для «планетарного» «концептуального» мышления тех, кто предпочитает орудовать скальпелем «этнической патопсихологии», сидя дома, вдали от разбитых российских и тем более — расстрелянных афганских дорог...

...Черчилль считал, что русские всегда грешили идолопоклонством по отношению к своему государству. А тоже немало повидавший на своем веку житель Кимр Калининской области Г. Акулов называет это просто человечностью. «Не будь его, этого фактора, — говорит он, — совсем бы худо нам всем пришлось, именно за его счет мы и удержались в начальный период войны. И не знаю, поднимется ли нынешняя «Маленькая Вера» до высот маленькой Тани... (партизанская кличка Зои Анатольевны Космодемьянской. — **Т. О.**) О, если бы сегодня тот человеческий фактор — как бы двинулась перестройка» («Литературная газета» от 26.04.1989 г.).

«Положить душу за други своя» — то же самое стремление двигало женщинами Великой Отечественной, уврачевавшими и поставившими в строй миллионы раненых. И их предшественницами, благодаря которым родилось впервые — именно на русской почве — такое понятие, как «сестра милосердия»[4]. Кстати, не пора ли задуматься: почему существует лишь медаль Международного Красного Креста имени Флоренс Найтингейл — мужественной англичанки, последовавшей в Крымскую войну примеру своих русских сестер, организовавших с благословения Пирогова первые общины попечения о раненых и больных воинах, — и почему до сих пор нет награды имени Даши Севастопольской? Или — памяти одной из участниц русско-турецкой войны 1877—1878 годов? Что же, ни одна из трех тысяч сестер милосердия и первых наших женщин-врачей, принявших участие в героической эпопее освобождения Болгарии от турецкого ига, — не заслужила этого?

...Столь массового движения женщин к полям сражений история еще не знала. Они переходили с войсками через заснеженные балканские хребты и даже Шипкинский перевал. Простые женщины из народа, — а их было большинство, — не имеющие возможности, как баронесса Вревская, пожертвовать на спасение раненых свое имение, — отдавали им свое жалованье, чай, куски холста, хлеба, а когда надо, — кусочки собственной кожи — для заживления чужих ран. Едва оправившись от тифа, эпидемия которого охватила армию, они устремлялись в те же тифозные бараки, войти куда — значило почти наверняка снова обречь себя на заражение.

В одном из таких бараков до последних своих дней исследовала патологию тифа Варвара Степановна Некрасова, студентка первых Женских медицинских курсов, дочь московского священника, добровольцем ушедшая на войну за свободу славян. Мне довелось читать строчки ее дневника, где 13-летняя Варя дает себе слово выучиться медицине (женщины в то время лишь добивались права врачевать) и «пройти всю эту дорогу или же сломать себе на ней шею». Видела я на тех страницах и ее впечатления от любимых книг — Тургенева, к примеру, его повести «Накануне»... А потом читала письма девушки с театра военных действий, в том числе последнее, написанное матери и сестрам поздней осенью 1877 года в промерзшей землянке болгарского города Систова.

Вот она где, разгадка русской души, — в этих строчках и в свидетельствах, воспоминаниях очевидцев подвига русской женщины, в документах...

«Придет, сядет около тебя, — бывало, говорили раненые, — да так посмотрит, так и хочется заплакать, под сердце что-то подступит, подумаешь, где такая добрая барышня росла, что не токмо не брезгует нашим братом, а убивается за нас».

Вспоминая о въезде русских войск в Габрово, известный врач и художник П. Пясецкий писал: «Мы поехали улицей, встречаемые всюду выражениями неподдельной радости. Самый живой интерес, приветствия и восторги вызывали «русские жены», то есть ехавшие со мной сестры. Мужчины только кланялись, произнося «Здравствуй, братушко», с любопытством смотрели на них, а женщины подбегали к ним, здоровались словами «Добре дошли» и, не спуская с сестер словно влюбленных глаз, лепетали им все вдруг свои приветствия... Так как мы ехали шагом, то некоторые болгарки успевали сбегать в свой сад нарвать цветов и, догнав, оделить ими «русских жен». Отрадно было видеть проявление этого искреннего удовлетворения и радости, в которых было чуть-чуть детское, чистое; это не было поклонение победителю или сильному и богатому в ожидании от него милостей».

Нередко среди глубокой ночи врачи заставали в палате этих тружениц, обмывавших заскорузлую, усеянную мириадами насекомых голову больного и очищавших от гангрены язвы даже обмерзших турок—врагов! Турецкие раненые военнопленные преподнесли адрес с выражением искренней признательности «за ревностную заботу и попечение» о них нашим женщинам, например, хирургу Софье Больбот, подруге Вари Некрасовой...

Зачем я обо всем этом говорю? Да хотя бы затем, чтобы девушки из Старой Рузы, которые теперь «ни во что светлое не верят», знали, почему ворошит прах времен болгарский публицист Калина Канева. Много лет роется она в архивах, ищет потомков людей, которые покинули тогда родной дом, чтобы помочь в беде (пять веков турецкого ига!) другому народу, пусть и родственному, но совсем ведь мало знакомому... Пусть бы знали и мои милые случайные знакомые, почему чужестранка благодарит судьбу за то, что довелось долгое время жить возле одного из самых трогательных, по ее словам, памятников в мире — в честь медицинских чинов России, погибших за свободу болгарского народа. И почему имена, высеченные на каменных плитах, из которых сооружена пирамида, стали спутниками ее юности, свидетелями первых встреч, мечтаний, а потом и детского лепета дочурок («Правда» от 3.03. 1988 г.).

И по какой, скажите, причине нет такого памятника у нас, забыты или полузабыты поистине светлые имена, достойные вечной славы, сближающие Россию с другими народами? Может, для наших детей не важно знать имена своих прабабушек, засыпавших на окровавленной соломе летучих лазаретов на чужой стороне? Или — на койках дешевеньких пансионов, которые снимали студентки первых Женских курсов в Петербурге и Москве, — голодая, отказывая себе во всем, чтобы добиться права для женщин лечить и учить детей, приносить пользу общему делу. Нет, это не громкоговорение: врачей и учителей тогда в России не хватало. И самоотверженностью своей, энергией, первопроходческой деятельностью — особенно в медицине и педагогике — русские студентки в прошлом веке значительно опережали своих европейских сестер. Это слова известного историка и литературоведа из Бельгии Каролины де Мэгд-Соеп. Увлеченно, на гигантском фактическом материале, исследует она «духовный потенциал» русской женщины в литературе и в жизни, взаимосвязь их. Богатейший мир встает перед нами с этих страниц, написанных по-английски.

Поистине на разных языках говорит преподаватель Гентского университета и многие другие зарубежные исследователи с русскоязычными «знатоками» народного характера, работающими по принципу: «А я так вижу». А посему не хотят видеть, скажем, того, что поражало до крайности венских и цюрихских профессоров, у которых учились русские, англичанина Джона Стюарта Милля и французскую писательницу Андре Лео, американцев. И сегодня феномен русской женщины исследуют Ричард Стайтс в США, англичанка Кэти Портер...

...«Нет истины, где нет любви», — предупреждал поэт, который в образе своей «милой Тани» выразил веру в высшую смелость и самостоятельность русской женщины, веру великую в русский народ. Именно об этом говорил на открытии памятника Пушкину в Москве Достоевский. Словно предчувствовал он «высокомерных господ, о народе пишущих», всех этих «умников-обличителей», устраивающих «прогулки с Пушкиным» и фарсы у его памятника (фильм «Утоли моя печали», к примеру). Писатель резко возражал против обличительства, лишенного идеала, считая это удобной формой опорочивания всех черт народа, всего самого светлого в нем.

Нет, ангелом народ наш никогда себя не считал и самодовольством не отличался, скорее наоборот, склонен был

[4] Недаром так развита была в России филантропия. На пожертвования строились больницы, культурно-просветительные учреждения, богадельни, детские приюты, странноприимные дома, где жили одинокие, бедные, даже — народный университет.

к самобичеванию, доходящему до самоистязания (чем многие и пользовались). Поступая дурно, он сознавал, что поступает дурно, и себя не оправдывал. Не потому ли даже в каторжниках, в обитателях «Мертвого дома», умел писатель увидеть что-то доброе, не совсем пропащее, помогая человеку подняться, а не втаптывая его в грязь. Обличая пороки, умел он показать и то, каким человек должен быть...

Видел он и у женщины нашей недостатки. К примеру, «чрезвычайную зависимость ее от некоторых собственно мужских идей, способность принимать их на слово и верить в них без контроля» («Дневник писателя»). Но за этим всегда и везде вставало главное — прекрасные черты русской женщины, ее жажда жертвы и дела — без тщеславия, самоупоения своим подвигом... После войны за свободу славян, где так высоко, светло и свято проявила себя «матушка» и «сестрица» русского солдата, поразившая милосердием даже врагов, Достоевский был убежден, что главное и самое спасительное обновление общества выпадет на долю женщины. Есть у него замечание и о том, что женщина наша гораздо менее мужчины поддавалась разврату «стяжания, цинизма, материализма», оставаясь более верна «чистому поклонению, служению идее».

Думаю, это верно и для нашего века. То же стремление «положить душу за други своя», отзывчивость, которой в минувшую войну удивлялись даже немцы... Уже этого одного достаточно, чтобы считать кощунством безграничным все разговоры, что «от русских ничего не осталось», лишь «пустота». И думаю, со мной согласились бы родители сестры милосердия Ольги Шинаевой, 1962 года рождения, погибшей между Джелалабадом и Кабулом, сопровождая раненых...

Циничная и не новая давно игра, опошляющая и охамляющая лучшее в народе, идет под видом борьбы с недостатками. Игра на снижение ценности наших идеалов [5].

И когда в конце XX века, самого кровавого в истории, нам усиленно подсовывают маленьких Надежд и маленьких Вер в качестве героинь своего времени, «эталонов» в нашей «неэталонной жизни» «с не совсем спокойной обстановкой дома» и т. д. («Советская культура» от 18.10.1988 г.), упрекая сомневающихся в дурном вкусе и пристрастии к утешительным суррогатам, — я думаю иногда вот о чем. Что сказал бы, живи в наше время, автор поразившего меня в «Записках революционера» признания Петр Кропоткин? (Может, и «Записки» его назывались бы иначе?)

Ведь послушать сегодняшних витий, так надо было б молодому Кропоткину, сидя в одиночке бастиона Петропавловской крепости, в не совсем, наверное, спокойной обстановке, и мечтать о какой-нибудь особе «с не совсем эталонной жизнью»... Впрочем, поздно поправлять Кропоткина — он сделал иной выбор: тургеневская повесть «Накануне» с ранних лет определила его отношение к женщине, помогла найти жену по сердцу и прожить вместе счастливо более двадцати лет. Своим личным счастьем Кропоткин считал себя обязанным Тургеневу: «Он вселил высшие идеалы и показал нам, что такое русская женщина, какие сокровища таятся в ее сердце и уме и чем она может быть как вдохновительница мужчины. Он нас научил, как лучшие люди относятся к женщинам и как они любят. На меня и на тысячи моих современников эта сторона писаний Тургенева произвела неизгладимое впечатление, гораздо более сильное, чем лучшие статьи в защиту женских прав».

Во времена переломные — сомнений и надежд — особенно нужны нам эти высшие идеалы (как, впрочем, и лучшие статьи в защиту женских прав). Нужна любовь.

СВЯТОСТЬ ГОРЯ И ЛЮБВИ

Не случайно, наверно, за два года до декабрьского восстания, словно предчувствуя испытания, которые выпадут на долю его товарищей, пишет Рылеев историческую думу о Наталье Борисовне Долгорукой, вызывая из прошлого ее неброскую на первый взгляд тень. Но только — на первый. Потому что судьба этой женщины, дочери сподвижника Петра I фельдмаршала Шереметева, которая не оставила в роковую минуту жениха, разом терявшего все — волю, титулы, состояние, — и последовала за ним в ссылку, — позволяла говорить об идеальном женском характере. Поэмой зачитывались, перед тем как пойти на свой подвиг, женщины, обращаясь к которым декабрист А. Беляев восклицал: «Слава страны, вас произраставшей! Вы стали поистине образцом самоотвержения, мужества, твердости при всей вашей юности, нежности и слабости вашего пола. Да будут незабвенны имена ваши!» Да, у декабристок были предшественницы. И Наталья Долгорукая, ее «Своеручные записки», опубликованные в начале прошлого века, были широко известны.

«Войдите в мои рассуждения — какое это мне утешение и честная ли эта совесть, когда он был велик, так я с радостью за него шла, а когда он стал несчастлив, отказать ему, — читаем строки исповеди Долгорукой. — Я не имела такой привычки, чтобы сегодня любить одного, а завтра другого... Я доказала всему свету, что я в любви верна: во всех злополучиях я была мужу своему товарищ». И дальше: «Плакали оба и присягали друг другу, что нас ничто не разлучит, кроме смерти. Я готова была с ним хотя все земные пропасти пройти».

[5] Поэтому лишь и осмеливаюсь великие имена в этих заметках называть рядом с именами теоретиков «пустоты».

И она прошла их, как ни тяжело было, принуждая «дух свой стеснять и скрывать свою горесть для мужа милого», подкреплять его, «чтоб он себя не сокрушил: он всего свету дороже был».

...После гибели мужа, вернувшись из ссылки, 28-летняя красавица отклоняет приглашение ко двору, отказывает всем женихам, а позже постригается в монахини. По словам близких ей людей, несчастный супруг беспрестанно жил в ее мыслях: «В любви есть тайное, святое, ей нет конца...»

Издать бы сейчас, да хорошим тиражом, записки Долгорукой — это же как глоток чистого воздуха! А он очень нужен и тем 16-летним девушкам с глазами, как у последней электрички, которые ни во что не верят и никакой цели не видят. Строчки эти дали бы почувствовать то тайное, святое, что есть в жизни, что делает земное существование человека осмысленным, да и не столь зависимым от мирских благ. Ведь вот и в ссылку уезжала Наталья Борисовна, не взяв с собой ни шуб богатых, ни бриллиантов на черный день — лишь скромную сумму денег, простой тулуп да черное платье прихватила. И жила все время так же скромно, несуетливо, и духом была спокойна, не кляла судьбу за беды безмерные, ни в чем не раскаивалась.

«Счастливу себя считаю», — написала она, подводя итог жизни. И вспоминаешь еще одно, столь же дорогое признание другой женщины, выстрадавшей свое счастье, — декабристки Александры Муравьевой: «Я самая счастливая из женщин...»

Святость горя и любви
Сильнее бедствия земного.

Разве не заставляют эти слова, долетающие из прошлого, подумать о тысячах наших современниц, в которых течет кровь Долгорукой, и мимо которых мы так часто проходим... Например, об Антонине Антоновне Кирпань из Касимова на Рязанщине. Провожая любимого на войну, она дала обет, что верной будет ему до конца жизни — что бы ни случилось... И когда случилось худшее и пришла похоронка, так и осталась она вечной невестой, храня свое слово. И сегодня, вместе с сестрой, тоже потерявшей в войну близкого человека, собирая деньги в Фонд мира к каждому празднику Победы, об одном мечтает: «Чтобы не было войны. Девочкам нужны отцы, женщинам — мужья, иначе не может быть нормальной полнокровной жизни» («Советская Россия» от 18.10.1988 г.).

«Святая женщина», — говорит о своей жене, своей Таюшке, Захар Иванович Чечеткин из села Дальнее Константиново Горьковской области. После войны пошла эта молодая женщина замуж за израненного солдата, заменив мать пятерым его малым детям. До сих пор вспоминает Захар Иванович, как сробел, в первый раз увидев ее красоту, это чудо из чудес, лишь промолвил: «Не спешите, Таисия Ивановна, на детей моих посмотрите...». Она отказалась: «Я, чай, не в магазин собралась».

Давно услышала я эту историю — обычную в общем-то, незатейливую, а вот осталась в памяти сероглазая женщина с соболиными бровями и ее спокойное: «Я, чай, не в магазин собралась». Сколько всего в этих словах... Не взвесишь такую красоту на весах, как в магазине, аршином общим не измеришь. Воистину — в нее можно только верить.

Как верили, мне кажется, летчики, водившие в 30-е годы караваны судов Северным морским путем, — рядом с ними ведь там же, на Чукотке, жили их жены. Цветы посадят, занавески повесят, кошку заведут — и тепло, и дом будет! Все поднимала, облагораживала женщина...

Описать бы жизнь Елизаветы Урванцевой, жены выдающегося исследователя Арктики, благодаря которому были открыты несметные сокровища Таймыра и Северной Земли. Сколько сил прибавляла она этому человеку, спасая от тысячи напастей: и зимовала, и участвовала в маршрутах вместе с мужем, как врач боролась с цингой и пьянством. Это не единичное геройство кавалерийских атак, а ежедневный стоический труд.

Любила ты, и так, как ты, любить —
Нет, никому любить не удавалось! —

приходят на память самые проникновенные, может быть, строки, которые написал Тютчев по возвращении в Россию после долгих лет службы своей в Европе. Обращены они к женщине, поразившей поэта своею вполне самоотверженною, бескорыстною, безграничною, бесконечною, безраздельною и готовою, по словам современников, на все любовью, — «любовью, которая готова была и на всякого рода порывы и безумные крайности с совершенным попранием всякого рода светских приличий и условий».

Да разве истощилась на нашей земле такая любовь — с максимализмом, с переливом за грани и пределы... Та любовь, что и радость, и терзания, и сомнение в том, во что веришь больше всего, — с безумными ночными письмами, наутро счастливо сжигаемыми и подхваченными ветерком, всею ожившей природой...

И разве истощилась на нашей земле тяга к красоте, к гармонии... Взгляните в лицо ребенка — оно чисто. Дети всегда стремятся видеть в жизни лучшую сторону, а не худшую, порадуются и еловой иголочке в деревенском чае.

Вот дочка моя из книжек о животных выбирает, к примеру, историю голубя, который умер от разрыва сердца, потеряв подругу. Или рассказ о волке Каскыре из московского зоопарка, поставившем под вопрос поговорку «Как волка ни корми, он все в лес смотрит». Ког-

да его вывезли однажды к детям в пионерлагерь, разлучив с волчицей, оставшейся в клетке, он выскочил по дороге из окна машины и со всех ног бросился в лес, чтобы через сутки, до смерти перепугав сторожа зоопарка, вновь оказаться у решетки, за которой металась без него подруга...

Трудно поверять гармонию алгеброй, ибо такую науку, как социальная психология, мы, кажется, пока не очень жалуем. Но вот хотя бы одна цифра: 80 процентов опрошенных жителей Орловской области — родителей и взрослых детей, живущих своими домами, стремятся к душевной близости, помогают друг другу в тяжелых работах, всячески поддерживают родственные связи. И в молодых семьях — все сильнее желание возвратиться к вековым традициям народа, у которого любимыми дома всегда были иконы с изображением Богородицы, чей образ связывался с женщиной-матерью, хранительницей очага.

Вот бы поддержать сейчас эту тягу — ведь народ наш сохранил свое представление об идеале красоты, испытав на себе, как никто другой, что такое «ломать природу и историю», по словам выдающегося русского публициста М. О. Меньшикова. (В самом начале века предупреждал он о возможных последствиях этой ломки, не учитывавшей ни неравенств, из которых сплетена природа мужчины и женщины, ни национальной самобытности.)

Помню магазинчик в селе Погорелка под Рыбинском: полки полупустые, лишь шеренги бутылок, которые неизменно обрушивались на крестьянские семьи. Да мало ли чего еще обрушивалось на них... Все эти издержки эмансипации, урбанизации, индустриализации, унизительные бытовые условия... Великий народ, который не раз снимал последнюю рубаху, чтобы потеплее одеть «младших братьев», — на одном из последних в стране по уровню жизни мест! Бесчестная социально-демографическая политика привела к тому, что в России, говоря ученым языком, — сильнейшие антистимулы семейного благополучия, то есть постоянное ограбление ее будущего. И вот сегодня, когда все громче звучит требование дать стимулы русской семье, помочь, наконец, и донору, — с другой стороны — грабеж средь бела дня — множатся новые антистимулы в массовой культуре.

И спрашивает доярка во время утренней дойки секретаря райкома как реальную власть: «А почему это вчера по телевизору проституток показывали, а меня за тридцать лет работы нигде не показывали? — И с горечью добавляет: — Им — сострадали, а они — красовались». Рассказавший об этом Ю. Першин из Курска задает вопрос: «Когда я слышу: «Семейная ферма», «Арендный подряд на селе», «Надо накормить страну», — я думаю: все это хорошо. Но что — это должны сделать дочь или сын сегодняшней доярки? А мы им будем показывать «несчастненьких» на панели и печатать повести про «интердевочек»?» («Литературная Россия», 1989, № 27).

Действительно: кто будет кормить страну? Может,

> Непонятный какой-то и странный
> Из чужой стороны человек?

А мы будем потчевать людей всей этой жвачкой, приманками сладкой жизни, щедро разбрасываемыми по нашей обнищавшей земле — «Чем меньше хлеба, тем больше зрелищ»? И тут же — советы не ждать от перестройки быстрых плодов... Но кто будет работать и отвечать на призывы?

Так и хочется иногда сказать словами нилинского Лазаря Баукина: «Ты меня не понукай! Ты сначала накорми, напои, а потом запрягай!»

Помните, с какой болью писал автор «Преступления и наказания» о том, как нужда физическая, ударяя в душу человека лишь извне растленного (Сонечки Мармеладовой), как бы продырявливает ее, открывая уже для вступления внутреннего порока[6].

Нынче идет продырявливание души и мощными средствами массового давления — причем на языке Достоевского, Толстого, Гончарова. Оплевывание святынь, умиожение не любви, а скверны — под крики о недопустимости окрика и что «под видом национального мышления возрождается мышление репрессивное». Ниспровергнуть все, посеять в зрителе тревогу, сомнение: в женщине — неуверенность в том, что можно найти человека, который стал бы отцом ребенку, в мужчине — известное «После меня хоть потоп». И не дать ни лучика надежды.

Можно живописать — вспоминаю хорошие слова актера Г. Жжевова — самые мрачные стороны бытия, рисовать картины разрушения, грубого насилия над личностью, которых народ наш насмотрелся вдосталь. И если при этом силы зла, как о волнолом, разбиваются о нравственную позицию художника, его этический и эстетический идеал, то повествование о насилии превращается в гимн добру. И наоборот. Можно сколько угодно рядить героев в тогу высоконравственности, но если нет нравственного стержня в самом авторе, то все равно получится слово от сатаны, а не от Бога.

...Народ наш, даже пройдя историческую Голгофу, выжил, сохранил способность беречь, сохранять, передавать. Когда рушилась «тысячелетняя раба», а с нею — храмы, жизни, семьи, — женщины все равно пели колыбельные и утирали носы детям, которые потом уходили под Сталинград; женщины вкалывали, получая нищенские трудодни, засыпая и просыпаясь на одном боку, — за всех своих убитых, раскрестьяненных, расказаченных кормильцев. Оставляя после себя горькие запасы привыкших к вечным военным, до- и послевоенным нехваткам людей — соль, спички, мыло. Как моя бабушка из деревни Большое Семино на Волге, чьи предки строили древний город Мологу.

«Матушка, заступница, пресвятая Богородица», — лишь шептала иногда моя сильная, казалось, двужильная бабушка. До старости краснела она, вспоминая, как подарил ей в юности влюбленный парень красные стеклянные бусики, которые она хранила до последних дней. Хранила, как и тысячи других женщин, в своей душе многое другое.

> Эти бедные селенья,
> Эта скудная природа —
> Край родной долготерпенья,
> Край ты русского народа!
>
> Не поймет и не заметит
> Гордый взор иноплеменный,
> Что сквозит и тайно светит
> В наготе твоей смиренной.
>
> Удрученный ношей крестной,
> Всю тебя, земля родная,
> В рабском виде царь небесный
> Исходил, благословляя.

Да, в России можно принимать всерьез только самое — Россию. Тогда поймешь, почему певица и писательница Т. И. Лещенко-Сухомлина, рассказывая о лагерной своей жизни, говорит, что — нет, не ужасы больше всего запомнились, а доброта, не дававшая душе озлобиться. (Спасибо за встречу с ней передаче «Добрый вечер, Москва!») Когда однажды отстала она от своих, шагая по ледяной хляби тундры, ее подождал конвойный и сказал лишь одно: «Мужайтесь, Татьяна Ивановна!» Спасли в какую-то минуту и слова случайного незнакомого человека: «Смотрите на это как на ваш экзамен»...

Много экзаменов пришлось выдержать русской женщине, слишком много. Были и надрыв, и отчаяние. Видишь это и в письмах, которые приходят в Общественный комитет спасения Волги. Россию сравнивают с прекрасной женщиной-матерью — разутой, растерзанной (слова Л. Сухановой из Москвы). Но есть в них и такой подъем национального чувства, убеждение, что каждому человеку, самому, без громких фраз и отговорок нужно делать в меру своих сил то дело, которого ждешь и требуешь от других людей. «Отечество в опасности, — пишет 30-летняя Людмила Машина из Новосибирска, мать двоих детей. — Каждый русский человек идет на его защиту. Так было и так будет!»

И что, если не Отечество — от бродячего хаоса с идейкой относительности всех ценностей — защищает молоденькая светловолосая Наталья Карпекина из Алтайского края, руководительница детского творческого объединения «Сирин». Школы народной культуры, где учат ремеслам, ткачеству, росписи по дереву, песням старинным; где идут от родословной человека — русский он, украинец или татарин.— «Дети преображаются на глазах, — говорит Наталья. — Летом выступают на фестивалях в пионерлагере «Колосок» в Бийском районе в сшитых собственными руками костюмах. И расцветки платьев — народные, впитавшие все краски родной природы, — тоже ведь согревают, силы придают, оберегают...»

Да, народ наш выжил, сохранил свои духовные силы. Сама Россия — в одном факте из жизни, да, из жизни, хотя и как бы после конца света, — взорванной и затопленной Мологи. О нем рассказал мне Ф. Шипунов. Когда однажды сухим летом верхняя часть города вышла из воды, появился снова на свет и древний, знаменитый на всю эту землю Богоявленский собор — полуразрушенный, без куполов. И вскоре послышались в его стенах детские голоса — это приехали из окрестных мест молодые женщины с грудными младенцами, кто-то — всей семьей, чтобы преклонить голову перед святыней, которая осталась святыней даже обезглавленная. Чтобы помолиться — пусть даже «мы молимся, не зная ни строчки из отеческих молитв», по словам Ю. Лощица. Поистине: сильнее бедствия земного!

И НЕ СТЫДНО ЛИ НАМ ПАДАТЬ ДУХОМ?

Еще раз — об инстинкте самосохранения

«И не стыдно ли было бы нам падать духом, когда слабые женщины возвысились до прекрасного идеала геройства и самоотвержения?» — воскликнул Александр Бестужев. Радостно, гордо читать это и горько: слишком долго произносились такие слова полушепотом, сознательно или подсознательно окружались молчанием, десятками запретов и словесными эквилибристами, умеющими из большого сделать малое, а из малого — большое. Вот с чего табу надо окончательно снимать! На своей родине порой — как на чужбине!

«Как получилось, что русская история и культура оказались на задворках?» — задумывается на художественной выставке «Лики России» О. Иванов, останавливаясь и перед портретом Ольги Прекрасы (автор — О. Лукьянец) — мудрой и вещей правительницы России, бабушки святого Владимира, крестившего Русь, одного из предков Пушкина[7]. В эпоху, когда война была главным решением политических споров, Ольга показала пример борьбы за признание в мире без применения силы: во время ее правления Русь не воевала ни с одним из соседних государств. Она сделала шаг к сближению и с западным миром, и с христианским, приняв крещение в

[6] Это прекрасно почувствовал русский философ В. Розанов, исследуя творчество Достоевского.

[7] Так считает А. Черкашин, автор грандиозной, до 46-го колена родословной поэта. И сколько в его роду было замечательных женщин!

Царьграде, где была причислена к «знаменитым и великим людям». Летопись рассказывает, как византийский император при решении одного мудреного вопроса «удивился разуму ея» и воскликнул: «Переклюкала мя еси, Ольго!» (Перехитрила ты меня, Ольга! — Т. О.).

«Это хорошо, потому что имеет национальный колорит», — написал в «Книге отзывов» выставки по-французски наш гость. Знал ли он нашу Ольгу до этого, знает ли Марфу Борецкую, защитницу новгородской вольницы, которую — за великий ее ум и умение овладеть народом — Карамзин называл Катоном своей республики и чья судьба схожа во многом с подвигом Жанны д'Арк?

Французам нужны были легендарные герои наподобие Жанны д'Арк, чтобы развить в себе национальное чувство, по словам негритянского романиста Джона Оливера Килленза, который затем говорил: «Нам нужны наши собственные предания и мифы, чтобы вернуть себе утраченное чувство собственного достоинства, веру в себя как в народ... Нам нужно это культурное наследие, чтобы по-настоящему поверить в конечную победу».

Работая в Ливане, я видела, что давало силы растить детей в разрушенных домах, верить в свою конечную победу палестинскому народу-изгнаннику, который не может даже предать тела своих павших героев родной земле, потому что ее отняли оккупанты. Народные песни и предания о своих славных людях, картины художников, строки стихов, в которых живет Палестина, поддерживают чувство родины даже в людях, никогда не видевших ее, родившихся на чужбине. Вспоминаю кадры любительской кинопленки, снятые во время осады Бейрута в 82-м году: бойцы сливают горючее из двух бронетранспортеров, чтобы запустить генератор, питающий радиостанцию патриотов. Поднять моральный дух, национальное самосознание — значит не дать людям умереть дважды — в жизни и в смерти.

Это верно для любого народа. Разве дело, когда, скажем, на окружном смотре художественной самодеятельности на нашем Севере бывшие оленеводы в потертых джинсах поют под «Битлов», забывая свои древние протяжные напевы, а старые ненцы и эвенки говорят: «Это русские привезли. Нет от вас, русских, житья». Там ведь любой приезжий — будь то латыш или еврей — все равно русский.

Не пора ли русское называть русским, латышское — латышским, а еврейское — еврейским? Чтобы была правда — а правда всегда интересна.

И у нас тоже кое-какие заслуги перед человечеством есть.

Во всем мире растет тяга к русской классике, приобщение к которой, по словам американских литераторов, «в высшей степени благотворно для каждого, кто жаждет не просто благополучного, но осмысленного, одухотворенного состояния» («Литературная газета» от 18.01.1989 г.). Вот и мечтает парижская актриса Изабель Юппер о тургеневских героинях, а один из лучших мастеров мирового кино Жерар Депардье чуть ли не в каждом интервью говорит о своем желании сыграть Митю Карамазова, героев русской классики, открывающих, по его словам, глубины человеческого чувства. И добавим — национального характера.

Святость горя и любви — вот в чем главный урок драматической и величественной истории русской женщины. И не станем мы свободными, если не поклонимся ей, как кланялись когда-то «матушке» и «сестрице» солдата, «самоотверженнице и мученице за русского человека». Если не поклонимся своим славным соотечественницам и маленьким великим людям, которые, по словам Лескова, больше всего делают историю. Маленькие они, потому что незнамениты, а великие — потому что героически выполняют свои жизненные обязанности. Это — ежедневное словом и делом участие в судьбе тех, кто рядом с ними. В их судьбах отражается лучшее, что есть в народном характере, они утверждают бесконечную ценность каждой человеческой души, первейшую важность личной морали, которую нельзя смешивать с общественной, личного греха и личной ответственности за него. Последнее люди нередко любят перекладывать на общество, коллектив или застой, и это никогда к добру не приводило. Давайте вспомним не столь далекое прошлое, миллионы жертв и народную драму, плоды которой до сих пор пожинают и наши женщины, наши семьи...

И не на кого будет валить нам свою личную вину, если не будем мы переиздавать и экранизировать книги, в которых — живая связь времен и нет места профанации, если не будет у нас своего исторического кино и телепрограмм, раскрывающих подлинный облик российской женщины.

...Думаю вновь и вновь об инстинкте самосохранения, который, как говорит знакомый мой, «афганец» из Коломны, Дмитрий Федоров, особенно обострялся там, где каждый день мог стать последним. Потому и была совершенно неприемлема фальшь, потому и пели солдаты в основном свои да народные песни. Это правда — песня воюет! Держа на руках маленькое существо в чем-то сшитом из папиной куртки защитного цвета, Дима рассказывает, как, вернувшись домой, стал одним из руководителей молодежного движения «Отечество». Восстанавливают сейчас с ребятами — школьниками и нешкольниками — древний Старо-Голутвин монастырь, кроют своими руками крышу, проломы в стенах заделывают, причем девчонки, оказывается, — Дима улыбается, — орудуют мастерком лучше ребят. И работают все — домой не загонишь, хотя никто их не заставляет. Мечтают открыть в этих стенах лицей, чтобы преподавали там отечественную историю, А на будущий год собираются пройти путем, которым шли русские ратники из Коломны на Куликовское поле...

Я очень верю в наш инстинкт самосохранения. Как хорошо, думаешь, что дожили мы и до торжественного вечера, посвященного 600-летию со дня кончины великого сына России Дмитрия Ивановича Донского. Как радостно, что вспомнили здесь и жену его Евдокию, родившую ему двенадцать детей, всех женщин, дававших родной земле силы противостоять сковывающей власти иноземного ига.

Были, как говорится, времена и более тяжкие, да и те прошли. Но недаром в самую кровопролитную пору, когда Русь превратилась в пепелище, писалась «Повесть о разорении Рязани Батыем», в которой воспевался, звал к жизни прекрасный образ Евпраксии Рязанской. Самой дорогой ценой, но сохранила она верность мужу своему, роду, не приняла чуждое и разрушительное, рабское. Женская вера и верность тысячами ручейков вливалась в то духовное достояние, которое привело к победе на поле Куликовом. И ведь не только себя защитила тогда Русь, но была и щитом Европы, заслонившим ее от варваров. Была им еще не раз в истории, прикрыв и от Наполеона (вспомним и смоленскую крестьянку, старостиху Василису Кожину) и от Гитлера...

Нам очень нужны наши Жанны д'Арк, рязанские невесты и жены, Ярославны — далекие и близкие, в чьей душе живы законы, которые никогда не станут для человека ветхими. Нужно чувство, заставившее поэта произнести:

Тихая моя родина,
Я ничего не забыл...

СТАНЕМ ЛИ МЫ САМИМИ СОБОЙ?

У каждого народа свои примеры, возвышающие душу. Вот смотрела я недавно документальную ленту киевского режиссера В. Шкурина «Разделю твою боль» (автор текста — Б. Сааков) — о том, как откликнулась Украина на армянскую беду. Смотрела и думала: какие лица все хорошие... Например, девушки-собаководы — Инна Джадан, учительница детской музыкальной школы, и ее подруги, десять дней после землетрясения пытавшиеся прорвать бюрократические заслоны и тяжелые, как вериги, формальности, чтобы уехать на помощь. При мысли об армянских детях они не есть, ни пить не могли. В конце концов, отчаявшись, сели на свой страх и риск в поезд, отправлявшийся туда, и хотя их несколько раз ссаживали, вырвались все-таки. С ними ехала — «детям кашу варить» — пожилая женщина-повар, отдавшая пенсию в фонд помощи...

Режиссер Виктор Шкурин говорит, что вся жизнь его перевернулась после Армении, отношение к людям — другое, когда он поглядел, на что способны и эти вот юные решительные девушки, готовые горы свернуть и с каждым днем все больше горевавшие, что десять дней потеряли...

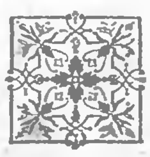
Вот кого бы поддерживать почаще да покрепче, а не ссаживать с поезда, как это сплошь и рядом происходит и во второй нашей реальности, создаваемой масскультурой. А эти люди — даже издалека — поддерживали бы нас и ровесниц своих из Старой Руссы, когда, кажется, земля плывет под их ногами и надо опереться на что-то твердое, незыблемое, увидеть суть за вереницей противоречивых, подчас сбивающих с ног фактов. Такие люди, выросшие от древних корней родной стороны, скрепляют вековые связи между народами, помогая общаться, сглаживая противоречия и шероховатости и спасая, — сегодня ведь все нации нуждаются в защите перед общими бедами.

Как бороться с землетрясениями и прочими опасностями, всюду подстерегающими человека, если разрушать в нем то, что не раз было сильнее бедствия земного? И кто подсчитает, сколько дней и жизней мы тут теряем? Как бороться с алкоголизмом, преступностью, проституцией, в то же время одурманивая людей горючей смесью, которую изготавливают сторонники плюрализма нравственности в нашей культуре и те, кто видит прогресс единственно в оплевывании всего русского?

Сегодня ведь мир реальных событий и мир придуманных событий, по словам английского писателя Энтони Берджеса, все больше становится одним целым... И если говорим мы о государственной поддержке семьи, пытаемся бороться с бездушием, безжалостностью, с болью брошенных детей, матерей, стариков, то государственный подход должен быть и к закону, взявшему бы под охрану нравственность. Запретившему бы пропаганду вседозволенности, пороков — с неизменным унижением женщины и оскорблением чувств ребенка. Мы должны искать противоядие бесовщине во что бы то ни стало.

«Нам добрые жены и добрые матери нужны. В них нуждается Россия более, чем в гениальных министрах и генералах, — как никогда современны ныне лесковские слова. — Наша страна такова, что она семьею крепка».

...Станем ли мы самими собой? Вот он, главный женский вопрос.



В конце номера

О ДОСТОИНСТВЕ НИЩЕГО БОГАЧА

Наше время противоречиво — все хают рубль и все стремятся заработать побольше рублей. В рубле будто бы всего лишь копеек 26 от прежнего рубля, и в это легко верится. Короткий рубль никому не нравится, и все рады длинному рублю.

Совсем недавно одно из наших финансовых ведомств заявило о нашем полнейшем банкротстве и о нищете всех — о нищете государства, о нищете каждого из нас. Оно заявило об этом с радостью. С нескрываемой радостью. И это заявление, как уверяют нас, было встречено с одобрением во всем мире.

Вот как поступило ведомство — оно определило новый курс рубля для ряда операций, например, для частных поездок за рубеж. Курс, напомню, такой: 1 доллар = 6 рублей 26 копеек.

Это значит, отныне всякий человек, выезжающий за границу по своим частным делам, — кажется, это распространяется и на деловые поездки сотрудников институтов и других государственных организаций, где деньги меняют организации, а не частные лица, — может менять свои рубли по такому курсу: 6 рублей 26 копеек на 1 доллар, 62-60 — на 10 долларов, 626 рублей — на 100 долларов.

С другой стороны границы: въезжающий в нашу страну валютный иностранец может поменять 100 долларов на 626 рублей, 1000 долларов — на 6260 рублей.

Пока читатель будет проверять, не ошибся ли я в арифметике, вспомним, для чего введен новый курс. Вот одно из обоснований: иностранец теперь скорее будет менять валюту в банке, а не у спекулянтов. Хотя, правда, спекулянт платит за доллары больше.

И еще одно соображение из комментариев наших газет: теперь наш советский человек крепко задумается, прежде чем пуститься в частную поездку за рубеж.

Задумаемся и мы над этими доводами. Побежит ли иностранец в банк менять валюту? Положим, побежит. Но за чем же? Чтобы поменять гроши. Напомню: иностранец получит за 1000 долларов 6260 рублей.

Куда ему? Что делать ему с этими деньгами? Разве что обклеивать ими стены своей комнаты или опять менять на доллары? Наверное, иностранец крепко задумается, прежде чем менять свою валюту на бумажки, и ограничится только обменом мелочи. Естественно, валютой. Ведь суммы в 10 долларов достаточно, чтобы объесться и упиться в московском ресторане. Вот эту валютную мелочь и получит банк, если только иностранец не предпочтет все же обменять их у спекулянта.

Зато крепко задумается советский человек и сразу же поймет, что думать ему не над чем. Ведь 6260 рублей — это сумма, на которую в течение двух лет живет семья из четырех человек. Получая 250 рублей в месяц, такой суммы не получишь, тем более не соберешь в два года. Кстати, какова же среднемесячная зарплата в новом валютном пересчете — 36 долларов? Не густо. Но ведь даже имея в кармане много раз по 6260 рублей (сколько у нас таких людей?), не побежишь менять их на пустячную сумму в 1000 долларов, если только нет у тебя перспективы *делать на этом деньги*. И именно поэтому, пока советский человек будет крепко задумываться, недоверчиво качая головой, поспешит за границу спекулянт, который знает, что можно делать с 1000 долларов и сколько рублей можно из них выкачать, — вот тот не задумается. Можно сказать, что тот не считал деньги раньше, не будет считать их теперь. Нет, почему же не считал, он всегда хорошо считал их.

Есть хорошее слово — «пресмыкательство». Оно хорошо своей точностью, но оно не хорошо тем, что низкое передает в высоком стиле. Можно еще пресмыкаться перед долларовой бумажкой. Однако перед фантомом валютного грош уже не пресмыкаются, а гадко распластываются. Распластываются, не будучи уверенными в том, что даже и эти жалкие гроши окажутся в банке.

Но так ли мы нищи, как сигналим о своей нищете?

И не возвышеннее ли было в стародавние времена говорить: приходите и правьте нами, — чем теперь: приходите и разоряйте нас?

Если страну десятки лет громят и разоряют, а она все еще стоит, то что это — знак нищеты или знак богатства?

И даже если наша страна банкрот, то имело ли полномочия заявлять об этом во всеуслышание одно только ведомство?

* * *

Есть в нынешней ситуации и еще одна сторона. Прежняя так называемая командно-бюрократическая система крепко держалась на противоречии: в ее «глазах» советский человек одновременно был идеальным, идейно выдержанным и морально устойчивым — идеальным в идеале; практически же — всегда и везде преступником и пройдохой, обманщиком, вором и плутом. Вся наша система стояла и стоит на презумпции виновности. Из нее же исходит и новейшая акция частичной девальвации рубля, неизвестно только, не благотворительная ли это акция в пользу спекулянта или, может быть, чистая глупость, — образ человека тут еще и обобщен, иностранец тоже подпадает под действие основного противоречия. Он, иностранец, потенциальный преступник — он так и рад поскорее сунуть свои бумажки в лапу валютчику, а приезжает он в нашу страну, чтобы жадно объедать и обирать ее. Хорош и советский человек, которого понесло за кордон, который виноват еще и тем, что нищ, поскольку едва зарабатывает больше 50—60 долларов в месяц, как ни выбивается из сил, даже если и живет безбедно. Он морально низок, потому что его единственная мечта — о колбасе, при виде которой он (новый бродячий сюжет) замертво падает от чувств. Свои и чужие даже сходятся в том, что жадно приобретают и жрут, — заведомо единственная цель их в жизни.

Командно-бюрократическая система — припечатанная таким громоздким, но не обидным для нее словом — разваливается на глазах. Параллельно уходят в прошлое и сколько-нибудь идеальные представления о человеке. И действительно подлинные, и задуманные, и искусственно подогреваемые. Идеальность уступает место сугубой трезвости — неверию во что бы то ни было у одних, безудержной жажде наживы у других, у третьих... Но третьи — это, безусловно, большинство. Это большинство — непреступников, большинство нормальных людей, которые, не дай-то бог, поверят наконец в те небылицы, которые распространяются о них, — эти люди работают, трудятся, между тем как вокруг разгорается о них спор: они-де и воры, они и любители наживы, они слабонервны перед чужой колбасой, жадны до чужого богатства, это их, бездельников, тянет за рубеж... Впрочем, как один склочник может перемутить большой коллектив, как один преступник — сделать невыносимым жизнь целого города, так одна подлая идея может испортить жизнь целому обществу. И такая идея есть — уже распространяемый на все общество образ собственной подлости, есть такая мутящая и портящая жизнь общества идея. Конечно, общество, в котором некоторые лица одержимы жаждой наживы и доказывают другим, что все таковы, от этого портится. И никого не утешит то, что раньше общество портили другие, не менее подлые идеи. Такая же идея — и образ собственной нищеты. Трудно поверить, что государство, которое каждый год выбрасывает без всякого проку миллиарды рублей, — богато. Но трудно поверить и в то, что оно — нище. Его хватало и еще хватает на себя. Человек, уверовавший в то, что он нищ, беднее себя самого, вчерашнего, еще не подозревавшего о своей нищете. Так и государство: если оно поверит в свою бедность (вместо того чтобы начать считать деньги), оно недалеко от банкротства. Ведомственные акции очень ему «помогают».

И еще ужаснее, если государство усвоит, что все его граждане — потенциальные преступники. Ладно, с «идеальными» представлениями покончено. Но остается еще некоторая трезвая «нормальность». Пусть люди не слишком, хороши, но они и не слишком плохи. Не следует думать, например, что все — спекулянты. Меж тем политика многих государств, не только нашего, в последнее время строится на своего рода экономическом изоляционизме — государство очень беспокоит то, что какой-нибудь иностранец вывезет лишний, «не положенный» утюг или телевизор. Было бы что везти!

Одним словом, вот новейшее веяние в политике целых государств: исходить из низкого, «оподленного» образа своих граждан, вообще человека. С чего началось, то и продолжается: все на подозрении, все преступники втайне и тайком. Нет ничего легче, как говорить сразу обо «всех» — на это так и сбиваешься, сбился и я, когда говорил: все хают рубль... Да нет, не все — есть ведь очень много людей, которые попросту заняты делом, им некогда менять дело на болтовню. Они знают, что мы жили и живем, что мы проживем и при длинном, и при коротком рубле. Что мы будем жить, пока не помрем. Пока не помрем сами или же нас не задушит тень длинного доллара.

Но ведь есть же и такие, кому нужен беспорядок, кому нужна деморализация, кому выгодно объявлять нас банкротами?!

* * *

Большой скачок! Вот он: в воздухе запахло миллионером. Хотя пока не так уж много миллионеров объявилось у нас в открытую. Это, кстати, те миллионеры, которым очень вероятно превратиться вскорости и в миллиардеров, — довольно лишь подтолкнуть рубль на тот водопад, с которого скатились уже польский злотый и югославский динар. Десять тысяч динаров за какой-нибудь год сбежали по курсу с рубля пятнадцати до тринадцати копеек. Такой головокружительный скат ожидает и рубль, если только упражняться в демонстративных десятикратных девальвациях его. Упражняться как бы только из желания сильно понравиться другим, людям с мошной. И чужеземцам, и туземцам.

И вот в этом желании изо всех сил непременно понравиться и сказался большой скачок — это мы сами скакнули и вроде бы даже не заметили того. Скакнули в очередной раз и в прежней своей традиции: стоило только появиться в нашем воздухе запаху миллионера, как все почти непостижимо и весьма спешно вывернулось наизнанку. Прежде провозглашалось фантастическое поголовное бессребреничество всех, — а нынче все стало делаться ради того фантастического человека, который есть наш родной миллионер, в известном смысле хитроумнейшее произведение официального всеобщего бескорыстия. Бескорыстия как некоторой религии для легковерного и податливого на хорошее народа. Стоило только чуть пахнуть миллионером, и вся экономика, и вся торговля перестроились на него, — они перестроились и подравнялись на него, и это ради него стали расти списки нашего дефицита, и это ради него стали, как ныне принято говорить, «вымываться» товары. Для «вымывения» же даже и бук-

вально пользуются тем самым мылом, которое исчезло, разумеется, не от покупательской внезапной жадности на него, но, как теперь и в открытую признается, вследствие специальных усилий мафии. Это и с самого начала как-то чувствовалось, и не очень-то слушали люди заверения официальных лиц, объяснявших дефицит закономерными плановыми просчетами и взрывом мыльных страстей.

И наша частичная девальвация производится перед образом миллионера, вызывающим умиленные чувства. Проповедовать миллионерство начали в нашей печати — не один только проинтервьюированный «Правдой» Бжезинский, но и некоторые наши экономисты.

Задумаемся, однако: есть ли в наших условиях, так сказать, здоровая почва для выращивания своих миллионеров? Думаю, что нет. Против миллионерства свидетельствует не только социальное чувство справедливости, — которому, замечу, отроду вовсе не только 72 года, — но и здравомыслие. Разочтем: в нашей стране миллионы людей честно трудятся не покладая рук и при этом зарабатывают всего лишь 120—140 рублей. Это не бездельники, а труженики, и если «жертвы», то порой только своей любви и привязанности к определенным профессиям. Среди них музейные работники и библиотекари, которые так до пенсии и будут получать гроши, а по нынешним валютным курсам — всего по 20—25 долларов в месяц. Среди этих «жертв» очень многие любят свою профессию, любят беззаветно, хотя государство только и делает, что отбивает в людях любовь к своему делу: кому же, наконец, охота всю жизнь «вкалывать», по давно уже въевшемуся в память поганому выражению, преодолевая всевозможные препоны и препятствия, которые ставит на пути работы само же государство, то есть борясь за хороший труд с самим же работодателем, а притом еще обходиться сущими копейками? Среди жертв своей любви к профессии и те инженеры, которые получают те же самые суммы в окружении «богатых» рабочих. Конечно, те инженеры, которые при этом не бездельничают и не опускаются. Те, которые в своей душе выносили уже семена не того бессребреничества, что проповедуется в обществе только ради того, чтобы другие спокойнее обогащались за их спинами и, в сущности, сидя на их шее, но того мудрого нестяжательства, что общеполезное дело ставит выше денег. В таких людях есть что-то от святых, есть в них что-то и от коммунистической сознательности. Однако они не святые, а потому не могут не держать обиды на тех, кто мешает им делать нужную всем работу с радостью, а притом еще и лишает их минимальных средств к существованию. Им свойственно тихо роптать. Однако такой ропот никому не слышен, потому что его не хотят слышать, — робкие голоса раздались было вразброд на страницах газет: почему, мол, мы должны жить впроголодь, если вовсе не желаем бежать в кооператив? Что, разве мы «безынициативные», если просто хотим делать свою любимую работу, трудясь честно, и за это надо нас наказывать рублем?! Но робкие голоса эти раздались и умолкли, никому они не интересны, потому что вывороченному сознанию интересно не типичное и распространенное, а исключительное — сенсационное; ему предпочтительнее призрак исключительности, пусть даже только призрак.

Вот и совершился нежданно-негаданно очередной большой скачок — раз уж начали скакать, так трудно остановиться в своем порыве, даже если и скачут ради совсем разного и вовсе противоположного. На памяти недавнее: в одно прекрасное лето старушкам не давали торговать укропом, потому что это нетрудовой доход — ведь не требуется высиживать укроп, как яйца, корпя над ними, потому он и нетрудовой. На следующее лето уже все стало, наоборот, трудовым, и рекордный месячный доход в три миллиона рублей обошел газеты, вызывая к себе недоверие и внушая завистливое изумление. Это был как бы честный доход, полученный в свободное от работы время. И как оказалось все честным и трудовым, так и пошло до сей поры: соревнуясь с соблазнительными честными доходами, расцвела спекуляция, и нет с ней никакого сладу. Вышли на страницы газет и оправдатели спекуляции: пока есть дефицит, останутся и спекуляция и воровство. Их не одобряют, но оправдывают, оправдывают, как всегда, стечением обстоятельств, хотя проще было бы сказать вообще: спекулируют и воруют ведь везде и всегда; когда кончится дефицит, настанут новые обстоятельства и появятся новые аргументы для спекуляции и воровства. Новые оправдания и самооправдания. С одной стороны, газеты кричат о нравственности, с другой стороны, оправдывают объективными обстоятельствами спекулянтов и воров, и оправдание это навеки, потому что объективные (так называемые) обстоятельства будут всегда — нет им конца.

Вот такой раскол сознания: с одной стороны, нравственность и милосердие, с другой — попустительство ворам, продолжающим растаскивать наше государство, и моральное же их оправдание обстоятельствами. Итак, то гнать старушек, то ласкать спекулянтов всех пошибов. И где же была тут пресловутая «идеология»? Как это она так вдруг перекувырнулась? Как это она так совсем и вывернулась наизнанку? Да нет, тут не идеология — тут старинное и традиционное: закон что дышло... Дышло, а не идеология; и чтобы повернуть дышло, достаточно было всего лишь того, чтобы был влиятельный человек, мнение которого веско, и ровно ничего кроме этого не надо было поворачивать: вчера шло так, сегодня идет так, а завтра пойдет еще и так... Строительные институты внезапно приучились к тому, чтобы по восемь и десять раз получать за одну и ту же работу, и я что-то не слышал, чтобы кто-то возроптал, — например, какой-нибудь сотрудник такого института, положим, член партии или член профсоюза; такого что-то не замечалось, все просто обрадовались возможности сорвать нежданный куш, никакой идеологии нигде и ни в ком не было примечено, и все совершалось само собою и во вполне удовлетворявшей всех вывернутости и вывороченности. Порок заразителен, и, хотя это не новость, приходится испытывать это снова, мир не всегда богат задним умом, и под луной совершается все то же, в общем-то известное уже с библейских времен...

Порок заразителен, и вот навис над нами призрак негаданного богатства.

Тут надо сказать, — чтобы кто-нибудь не заподозрил иного, — что я, конечно, не против богатства. Не против богатства, которое было бы естественностью и природой. В конце концов, мы ведь живем в богатой стране, в стране, богатства которой можно усердно расточать, как это и делается с давних пор, — например, богатства недр, и вот только-только теперь виден нам их конец. Но самое страшное богатство — это, наверное, то, которого нет, то есть то, которое действует как призрак и которое как призрак разлагает. Это неестественное богатство — его нет и не будет, и тем не менее в нем корни одичания и озверения, и ощеривания друг на друга. В нем начало разъединения и конец человеческой солидарности, конец человеческого сочувствия друг другу; обидно думать, что всем нам грозит погибель от того, чего не было и нет, от призрака. Не погибли от одного, можем еще погибнуть от другого, от вывороченного призрака. Правда, — и это нужно признать, — вся эта вывороченность неприметно вскормилась на идеологических мнимостях (служивших прикрытием разных реальных интересов), на мнимости всеобщей «сознательности», но теперь-то вывороченность действует уже вполне реально.

Но пока эти вполне реальные по своей действенности мнимости и фантомы выворачивались наизнанку, оставалось и что-то постоянное, оставалось давнишнее, и твердое, и стойкое, затаившееся в глубине, — это исподтишка, а то больше и напрямую заглядывание на Америку, страшная, нечеловеческая, нелюдская зависть тонкого победившего слоя к толстому американскому богатству, страшное наперекор словам и лозунгам скашивание глаз в сторону Америки и высматривание в ней чего-нибудь исключительно образцового, то просто богатой жизни, то каких-нибудь дьявольских вакханалий, каких в жизни не бывает и в Америке, потому что они рождаются в голодном сознании, кормящемся призраками, то каких-нибудь конвейеров, муштрующих рабочую силу, то какой-нибудь спасительной технологии, которая потом годами уничтожается под открытым небом на нашем замусоренном складском дворе, то каких-нибудь парламентских форм, в которых панацея от всех болезней, стоит только эти формы перенять, и т. д., и т. д. И везде и всюду хищнический алчный инстинкт одиночек, связанных общим интересом... Везде и повсюду одно только подражательство, да и то такой Америке, которой на свете еще не бывало и до сих пор нет. Тут уж никакая провозглашенная идеология не целила от зависти и от жадности, и все это кормилось и росло. И возросло, и принесло свои плоды, от количества породив уже и новое качество. Отсюда уже и распластывание перед фантомом валютного гроша, и, конечно, очень тут естественно, что именно перед фантомом. Ведь даже и длинный рубль становится все притягательнее по мере того, как он становится все короче. Неестественно бедному естественно грезить о неестественном богатстве. Вроде бы так: пресытились одним раем, и теперь захотелось вкусить от другого и готовы идти ради этого на все, — но ведь мы живем на земле!

Только совершенно естественно, что всем нам следует решительно не соглашаться с какими-либо ограничениями заработной платы — или, скажем даже так, «доходов». Пока человек трудится, его безнравственно ограничивать; пока человек честно трудится, безнравственно лишать его заработанного. Гнусно лишать заработанного и рабочего, и ученого, и изобретателя, и писателя, и художника. Теперь мы знаем ведь, что всякие ограничения, всякие нелепые установления «потолка» заработной платы — это от «безграничности» на каком-то другом боку, идеологическая непримиримость от примитивности инстинкта, сдерживание с одного краю — от потребности растаскивать с другого и для того, чтобы делать это незаметнее; с этим «потолком» все точно так, как с потолками жилых домов: где им быть ниже, где выше, и если где-то они ниже, то где-то выше. Но именно потому, что ограничивать нелепо, как нелепо и уравнивать всех, честно трудящегося с бездельником и честно трудящегося с проходимцем, — нелепо смешивать честный труд с авантюризмом, честный труд с погоней за длинным рублем всеми средствами, инициативу с ловкачеством, предприимчивость с предпринимательством. Безнравственно, чтобы «доходы» одних, уходя в заоблачную высь, безмерно превышали заработную плату других, честно работающих людей; чтобы одинаковый по времени, по интенсивности, может быть, даже меньший труд одного оплачивался несоизмеримо выше, чем такой же или даже больший, честный и самоотверженный труд другого.

Многое выявилось в «свете» нового валютного курса, и в «частности» его отразилась полнота скрытых мечтаний. Свое происхождение он ведет от завистливо скошенного взгляда. «Зарится на чужое, теряет свое» — такая была бы тут басенная мораль, и к месту. Но если государство даже и не попробовало защитить права турок-месхетинцев, уступив головорезам и предпочтя раскидать людей по пустотам широкой земли, то защитит ли оно от духа спекуляции, который, словно рак, разъедает и здоровое тело?

А. В. МИХАЙЛОВ.

Слово художнику

СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА

Вспоминаю свое детство. Рязанская деревня — два «порядка» изб по берегам маленькой речушки. В одном ряду — небольшое здание сельской начальной школы.

Небо в детстве голубое, речка — широкая, дома — огромны. Отчетливо помнятся запахи коровы, конской сбруи, дегтя, маленькая закопченная кузница у речки. Идет война, но она далеко, о ней напоминает нам, детям, только председатель колхоза на деревянной ноге — протезе, в выглаженной гимнастерке с целлулоидным белоснежным подворотничком. И еще «от войны» — чернилка-непроливайка, наполненная свекольным соком. Таких чернил хватало на один день — прокисали и сворачивались. Любимый предмет — чистописание. Писали на исписанных тетрадях между строк.

Какое это было наслаждение — выводить бледно-розовые буквы — заглавные и прописные, соединять их в слова! Нажим — закругление в тончайший переход — волосок к следующему нажиму.

Слова были какие-то значительные, не деревенские. Слова диктует нам учительница, она же выдает нам из маленькой коробочки со старинными надписями и двуглавым орлом стальные, отливающие синевой упругие перья.

Наша учительница, набросив пуховый платок на плечи, ходит между четырьмя рядами парт.

Первый ряд, у окна, — первый класс, второй — второй, третий — третий, четвертый — четвертый. Справа от доски — филенчатая дверь, куда учительница уходит, когда отпускает нас на перемену.

За этой дверью она живет. Учительница для всех нас — человек особенный. Она так же сильно отличается от нашего деревенского народа, как слова в тетради от деревенского говора. Одевается вроде бы как все, но и фуфайка, и платок, и аккуратно подшитые валенки, все — другое, чистое, изящное. Она и ходит по-особенному — не спеша, держится прямо, красиво. Не знаю, просила ли она когда-нибудь помочь ей по хозяйству, но деревенские мужики всегда и дров ей привезут, и наколют, а бабы — муки, картошки, и меду, и другого какого продукта дадут. И все это считалось как бы само собой разумеющимся.

Когда она приходила к нам в избу, бабушка пугалась и на всякий случай начинала нудно меня ругать, а учительница улыбалась и тихо хвалила меня.

До сих пор отчетливо вижу ее удивительной красоты красную пятерку, выведенную в моей школьной тетради с идеальным нажимом и завитушкой. Подписи своей она под отметкой не ставила.

Я всегда любовался пятерками. Они были все немножко разные, но наполненные каким-то таинственным смыслом.

Очень даже может быть, что именно эти удивительной красоты пятерки учительницы сделали меня художником.

Иногда мне кажется, что основание человека закладывается только в начальной школе и только в деревенской, где природа и изначальное объемное слово сливаются воедино, где нравственный, а не гражданский закон поверяется практикой крестьянского труда, годового, природного цикла жизни. Сколько по России было разбросано сначала церковно-приходских, потом начальных четырехлеток. Сколько в них трудилось подвижников. Сколько из них вступало в неравную борьбу за души маленьких будущих граждан России!

Ведь ради чего-то они терпели и холод, и неустроенность, и бедность, и дурость, и врагов, и жуткое слово «РОНО».

Наверное, мало сейчас сельских учительниц, — все больше специалистов.

Сколько по России закрыто начальных школ, да и остались ли они вообще?

Где теперь можно за один день поучиться сразу в четырех классах? У меня получилось даже так, что из второго ряда я пересел за парту в четвертом ряду.

Было все-таки что-то в начальных сельских школах такое, чего нет в нынешних десяти- и одиннадцатилетках.

Считается, что время движется вперед, но чтобы представить умом будущее, думаю, что надо по времени двинуться назад, проверяя направление по реальным вехам, расставленным в прошлом, как говорят судоводители, — «по створу».

Одними из главных вех являются нам начальная школа и сельский учитель.

Натурой для этой моей картины послужила моя родная тетушка сельская учительница Елена Михайловна Буренина, учительницей была и вторая моя тетушка Капитолина Михайловна Баранова. Им я и посвящаю эту свою картинку.

И. ШИЛКИН.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Судьба популярного российского журнала под угрозой. Для третьего номера "Нашего современника" лишь чрезвычайными мерами и в самый последний момент удалось достать необходимое количество бумаги. Что будет со следующими номерами – неизвестно.

Кооператоры за бешеные деньги скупают у вас бумагу, а государственная система снабжения парализована хаосом и не может выполнить собственные планы и распоряжения.

Наши обращения в ЦК КПСС, в Госплан СССР, в Совет Министров СССР и РСФСР, в Министерство лесной и бумажной промышленности пока безрезультатны.

А ведь в России, которая дает стране 80% отечественной бумаги, – полмиллиона подписчиков нашего журнала и миллионы его читателей. "Наш современник" – язык российской гласности.

Мы обращаемся к руководителям бумажных комбинатов России, к ее инженерам и рабочим: чтобы мы с уверенностью в завтрашнем дне издавали журнал – поддержите нас, нам не хватает всего 1000 тонн бумаги в год. Не бесплатно. Мы можем платить за бумагу цену выше государственной, но, конечно, ниже той, которую платят вам хищные кооператры и дельцы теневой экономики.

Есть вещи, которые дороже денег: это национальное самосознание и духовное возрождение Родины. Мы ждем понимания и помощи от вас, патриоты России.

Члены редколлегии, работники редакции
и авторский актив журнала "Наш современник"